90 коп.

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 3. 1—208.

1990 3 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

3

1990

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

3

1990

МАРТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

К 100-летию со дня рождения Б. Пастернака

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Борис ВАСИЛЕВСКИЙ

Отрочество в городе

ПОВЕСТЬ

> «Уцелеют по крайней мере хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени — дознание не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения...».
>
> Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «Подросток»

1

«12 июня 1968 г.

8-го, в субботу, вечером, в половине десятого умер папа. Далеко от нас, один, в Звенигороде, куда он уехал с утра на открытие пионерлагеря. Я гулял с детишками перед сном поодаль от дома, на лужайке, и вдруг увидел жену, молча бегущую к нам. Почему-то не встревожил меня этот молчаливый и стремительный бег. «У нас дома несчастье. Инфаркт у папы»,— сказала жена. Теперь я бежал к автобусной остановке, оглядываясь, не нагонит ли такси,— найти такси на нашей окраине можно только случайно. «Но ведь это инфаркт, только инфаркт, не смерть»,— говорил я себе и вдруг поймал себя на том, что думаю, как будет без папы... Когда я вошел в квартиру, мама твердила: «Мы его не застанем! Мы его не застанем!..» Оказывается, уже шла за нами из Звенигорода служебная машина, на которой он уехал. Улучив момент, сестра позвала тихонько: «Поди-ка!» — и ушла в спальню, я за ней. «В общем, знаешь... папа умер»,— сказала она и заплакала. Мы обнялись, и тут вошла мама: «Вы что-то знаете, он умер, да, вы скрываете от меня!..» Потом я ехал на этой машине в Звенигород уже ночью, один. Сначала мы выехали вместе, и мама продолжала просить: «Ну, скажите, умер, да? Ведь вы не понимаете, ведь тогда надо взять одежду, одеть его...» Я колебался, наконец сказал шоферу: «Вернемся за одеждой». И когда развернулись, мама поняла. Тут было ощущение: пока мы не говорили ей, папа еще как-то не совсем умер, а теперь, когда и мама узнала, он умер уж окончательно... Из дому я позвонил в звенигородскую больницу, чтобы не переносили папу в морг, подождали, пока мы приедем. Врач, заведующая отделением, обещала, только просила не привозить жену, то есть маму. И я сказал маме, что ехать поздно, папу уже перенесли в морг и нам не покажут и не отдадут его до вскрытия, а вскрытие будет только в понедельник, завтра выходной. Все это тоже объяснила мне заведующая... «Пойду отпущу машину»,— сказал я, глядя на сестру, и, кивая ей, спустился и поехал. За городом был туман, он находил из низин, и когда мы въезжали в такую низину, то двигались очень медленно и машина точно была, как похоронная. Шофер рассказывал — он и перевозил папу из лагеря в больницу,— что после торжественной линейки был концерт, и вот посреди концерта папе стало плохо. Он вдруг встал, пошел куда-то в сторону и упал. Когда приехали в больницу, ему

сделали укол, прямо в машине. Потом стали укладывать на носилки, а он сказал: «Я сам пойду». Но ему не разрешили. Подъехали они к старому корпусу, а надо было в новый, и его несли туда на носилках, там с километр... «Так вот когда он почувствовал,— думал я.— Когда стали класть на носилки... И он не захотел...» В машине был телефон, и я еще несколько раз звонил заведующей, что еду. Слышимость, хотя и приближались мы к Звенигороду, с каждым разом делалась все хуже, потому что связь все равно была через Москву, а от Москвы мы удалялись. Под конец телефон вообще не ответил.

Этот новый корпус мы долго искали, наконец остановились возле совершенно темного здания. Все подъезды были заперты, я упрямо стучал, пока какой-то старик не приоткрыл мне. Я протиснулся, он глядел с недоверием. «Какую заведующую? Больницей? А здесь общежитие техникума. Больница там»,— он махнул в темноту. Я кинулся в ту сторону, там тоже оказалось неосвещенное здание с вывеской при входе. Разобрать вывеску было невозможно. Тут из соседнего дома вывалилась подгулявшая толпа с песнями. «Где больница?! — крикнул я. И еще раз: — Больница где?!» — потому что с первого раза они не услыхали. «Больница? Вон».— Мне показали на белеющий в отдалении корпус... На первом этаже уборщица мыла пол. «Заведующую? Вы из Москвы? Это на третьем, в хирургическом...» Я взлетел по лестнице, стал искать, две девушки сказали мне, что это четвертый этаж. На третьем я пошел на голоса, толкнул дверь с надписью «Операционная». «Сюда нельзя! — Женщина в белом халате решительно загородила мне дорогу, и я в этот момент увидел, как из другой двери, в глубине операционной, выносили какие-то окровавленные тряпки.— А заведующая должна быть у себя, на втором». При входе на второй за столиком сидела молоденькая медсестра. «Я из Москвы,— опять начал я.— Мне...» Она встала. «Пойдемте. Он в первой»,— сказала она и повела меня по длинному коридору, в самый конец. Я смотрел: дверь в палату была стеклянная, и я испугался, что сразу увижу папу через дверь и буду идти к нему, *видя* его. В узкой комнате со множеством кроватей никого не было, а в углу, на самой дальней кровати, я увидел *накрытое* — под простыней обозначилось острие лица. «Да, ведь накрывают!» — с каким-то облегчением вспомнил я. Я посмотрел на девушку, чтоб она догадалась уйти. Она не уходила. Тогда я сказал, она ушла, а я пошел к той кровати. Теперь я уже сожалел, что накрыто, теперь мне самому предстояло открывать. Я взял простыню за углы и осторожно стал отворачивать, открыв сначала лицо, всегда страшное лицо мертвого, только теперь это был папа. Это был он, но непохожий на себя — в застывшей последней смертной гримасе. Я продолжал открывать, обнажая грудь и живот, все ожидая увидеть какую-то страшную рану — окровавленные тряпки запомнились мне,— но не увидел. Дальше открывать я не стал. Я снова посмотрел на папино лицо. Оно было как-то очень напряжено, и это впечатление напряжения усиливала мощная поднявшаяся, будто замершая на вдохе грудь, и мощные, вытянутые вдоль тела, будто с силой вжатые в туловище руки, и неестественно запрокинутая голова с запавшим подбородком, отчего губа казалась прикушенной... «Папа,— тихонько позвал я.— Папа...» — как давно уже не называл его: про себя «отец», а в обращении коротко — «па...» Я заметил, что и шея, и плечи у него — в синих пятнах, особенно с левой стороны. Я приложил ладонь к его груди, где сердце. Тело было еще теплое, и я ощутил, как пульсирует кровь. Нет, я ни на секунду не поверил, что он жив, слишком мертвое было лицо, но что-то нелепое, дикое, смятенное: «Как так, тело живое, а лицо мертвое?!» — все-таки мелькнуло. Ну, а следом я понял слишком обычную вещь — что это пульсирует кровь в моих пальцах.

Тут я услышал, как набегают по коридору, топот близился, но я успел поцеловать и закрыть папу, прежде чем вошли. Они не вошли, а влетели — две молоденькие и одна пожилая — и застыли у двери, таращась на меня с жадным и простодушно откровенным интересом.

— Вы заведующая? — спросил я старшую, хотя мог бы и не спрашивать.

— Нет, сестра.

— Тогда что надо?

— Я тут работаю,— ответила она с достоинством.

— Выйдите,— велел я.

Они исчезли, но тут же вошла другая, это и была заведующая. Быстро и внимательно глянув, она пригласила меня в свой кабинет и стала рассказывать со множеством специальных терминов, из которых я запомнил: острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклероз коронарных сосудов.

— Он говорил что-нибудь? — спросил я.

— Жаловался на боли в груди...

— А еще?

— А так ничего не говорил. Потерял сознание...

Заведующая еще раз повторила уже сказанное по телефону — что тело нам отдадут в понедельник, после вскрытия. В морг надо приехать до четырех.

Я сказал, что хочу еще посмотреть, но чтобы никто не входил.

— И мне не входить?

— Да.

— Знаете, по-разному ведь бывает,— как бы извиняясь, сказала она.— Обмороки, слезы...

...Снова я открыл и снова увидел страшное, непохожее, напряженное папино лицо, и сколько ни вглядывался, ничего больше не мог прочесть, кроме вот этого последнего, предсмертного мучительного усилия. Я еще раз поцеловал папу и ушел.

Шофер спал, но тут же проснулся, как только я подошел к машине. «Извините, что причиняем вам столько беспокойства»,— сказал я. Действительно, мотался ведь человек с самого утра. Но он не ответил, не возразил, как я ожидал, «ничего» или «что вы», и я подумал, что и мне извиняться в общем-то не следовало. Я сел теперь сзади, и мы поехали. И вот тут меня охватила дикая слабость. Перед рассветом похолодало, туман сошел, и шофер вовсю гнал по пустынной ночной дороге. На поворотах меня кидало из стороны в сторону, не было даже сил, чтобы ухватиться за что-нибудь. У меня перед глазами все был отец — как он лежит там, в узкой палате с пустыми кроватями, с мертвым, без абажура светом. И вдруг я вспомнил, что когда проходил по коридору, там, несмотря на поздний час, сидели на подоконниках и бродили какие-то старички в больничных пижамах. Теперь я догадался, что это были больные из той палаты, дожидавшиеся, пока папу перенесут в морг.

13 июня.

В понедельник после обеда приехала наконец машина с папиной службы — небольшой газик с гробом. Гроб не помещался в кузове целиком, торчащий снаружи его конец был обмотан материей. Еще в машине сидели трое мужчин — тоже с папиной службы. По дороге я думал, успеем ли до четырех, и еще думал, отдадут ли мне папу без моих документов — у меня с собой был только его паспорт. К четырем мы опоздали: сначала долго ждали перед шлагбаумом на Звенигородском шоссе, потом искали старый корпус больницы — его называли чеховским, потому что когда-то здесь работал Чехов. Но мы все равно успели, морг еще был открыт. Он находился в глубине двора. Там стоял крытый грузовик, тоже с гробом, и толпились люди. У входа, прислонясь к дверям, курила старая, очень худая женщина с веселыми глазами. Я направился было внутрь, спросив мимоходом, где врач. «Никого нет. Вам ко мне»,— сказала она. «Да, да. Вот они — наши хозяюшки»,— подтвердил мужчина из ожидавших возле грузовика. «Приготовьте гроб, но не вносите, пока не скажу»,— велела женщина. Спутники мои принялись разматывать материю, а я, захватив узел с папиной одеждой, пошел за женщиной. Там было помещение с мокрым цементным полом, со стоками для воды, с сосудами на полках, как в какой-нибудь лаборатории, и двумя столами из мраморной крошки. На одном столе лежал уже одетый молодой человек с недовольным выражением лица. Возле него хлопотала другая «хозяюшка» — плотная, приземистая деваха с большой грудью, очень бойкая.

— Что, Клав, завтра отдыхаешь? — спрашивал ее какой-то мужик.

— Какой отдыхаешь, вон полну кладовку накидали,— отвечала она.

А на другом столе опять было накрыто белым, и моя «хозяюшка» — не так, как я, но свободно и разом сдернула это и спросила: «Ну? По-

хож?» Я не понял ее сначала, я подумал, что она хочет, чтоб я подтвердил, что это отец, что она не перепутала, и сказал: «Да, это он...» Теперь папа лежал не так строго, как на больничной койке, а вольно раскинувшись на широком столе и подбородком упершись в грудь, потому что под голову ему было сунуто комком красное грязное одеяло. И меня снова поразило, какой он мощный, складный и подобранный, без намека на полноту, столь обычную у мужчин его возраста. Я думал, кого он мне напоминает, где я уже видел такую же позу, и вспомнил: на каком-то древнем барельефе, изображавшем борьбу богов и титанов. Поза была найдена точно: титан лежал поверженный, но упираясь подбородком в грудь, и этот крутой и упрямый наклон головы все равно выражал противоборство... Еще я заметил на руках у папы кровавые ранки — видимо, следы уколов, — а вдоль всего живота и груди шел теперь грубо перевитый шов...

— Сразу откроете окна, двери, видите, у нас все открыто, и никакого одеколона и духов, а то будет дуть, — объяснила другая «хозяюшка» тем, кто приехал за молодым человеком.

К мраморному столу приставили скамейку, на нее гроб и перевалили туда насупленного, чем-то недовольного покойника. Стали выносить, и шедшая следом плачущая женщина обернулась и спросила:

— Сбережем ли мы его?..

Папу меж тем тоже одевали: белье, носки, сорочка, брюки. Мне показалось, что он небрит, я присмотрелся, это было не так, но почему-то я еще сказал:

— А мне показалось, он небрит.

— Как же! — возразила «хозяюшка» и потрепала папу по щеке. — Как солдат!.. Лицо-то белое-белое, а был весь синий, — прибавила она не без гордости за свое умение, и я теперь понял, что она имела в виду, спросив, похож ли, — это значило, похож ли на *живого*.

Действительно, папино лицо не выглядело сейчас таким мертвым, как два дня назад. Правда, и покоя в нем еще не было, оставалось оно суровым и сосредоточенным, но то мучительное, пугающее предсмертное напряжение сошло... Женщина как-то так по-особенному ловко вывернула пиджак, что он вроде бы сам наделся.

— Окна-двери настежь, не слушай, что старухи будут говорить. Цветы живые убрать. Они их боятся, живых цветов-то, — сказала она, кивнув на папу. — ...Вот, кладу формалин, он пятен не дает. И дома: посмотрите и закройте. И на ночь закройте...

— Да, надо мне на Лешку формалин положить, — вспомнила молодая и зашла в «кладовку».

Я невольно заглянул. Мне бросился в глаза распростертый на полу обнаженный мужчина лет тридцати, а на нем, поперек его груди, совсем маленький мальчик, тоже голый, с раскинутыми в стороны ручками. «Вот, значит, как они тут лежат... И отец, значит, лежал так...»

— Мать-дурища! Увидала на станции: через дорогу в ларьке чего-то дают. Лешенька, говорит, сыночек, постой здесь, я сейчас... — Клава наложила на почерневшее лицо мальчика тряпку с формалином. — Лешенька постоял-постоял и потопал за мамкой. А тут электричка!.. Мать теперь в беспамятстве валяется... А я бы их самих давила, таких матерей-дур, — сказала Клава, без особой, впрочем, злости, привычно.

— Ну, теть Груш, помочь тебе?! — крикнула она, закрывая кладовку. — Да пойдем, пока нас тут покойники не съели!..

Но тетя Груша уже заканчивала, завязывала шнурки на папиных ботинках. Я позвал своих спутников, мы уложили папу в гроб, вынесли и поставили гроб в машину. Они принялись опять заматывать торец, я вернулся за необходимыми бумагами и спросил «хозяюшку», сколько должен.

— За заморозку пять, за одевание — сколько сможете...

Я дал ей десять рублей — за то, что она заморозила и одела папу...

По дороге останавливались в каком-то поселке — папины сослуживцы захотели пить и пошли искать бочку с квасом. Правда, жара была под тридцать. Я тоже хотел пить, но не позволил себе отойти. Пока стояли, к машине подошел какой-то мужчина. Смотрел, смотрел, потом, вглядываясь в меня близко сведенными глазами, спросил:

— У вас кто умер?

— А вам на что?

— Интересно, — сказал он.

Он был не одинок, меня и потом удивлял этот непонятный жгучий интерес посторонних людей к чужой смерти. Вот и после, на кладбище: только поставили гроб возле могилы, как какая-то старуха — откуда она взялась? — кинулась, отталкивая меня и маму, заглядывая папе в лицо: «Сколько лет? Сколько лет?!»...

Когда мы подъехали к дому, я попросил спутников подождать, поднялся к нам, открыл дверь своим ключом, остановился тихо на пороге. Что-то меня томило, мне не хотелось входить. Если бы дома были только мама и сестра... Но в квартиру уже набилось полно народу: и ближних родственников, и дальних, и друзей, и знакомых, и соседей — и стол был приготовлен для гроба, и окна в этой комнате, конечно, были наглухо закрыты и завешены. Я все стоял не двигаясь на пороге, но вот меня заметили, и я увидел, как на всех лицах, обратившихся ко мне, сквозь горе, скорбь, сочувствие, приличную печаль невольно проступило уже знакомое мне выражение боязливого интереса...»

2

Кроме дома в деревне, был еще дом в Москве. Добротный, из красного неоштукатуренного кирпича, пятиэтажный, с высокими потолками, с большими трехстворчатыми окнами — такие окна назывались, кажется, «итальянскими». О толщине его стен можно было судить по глубокой, поместительной нише, устроенной под окном нашей кухни, — зимой в этой нише держали продукты... Дом стоял в соседстве многих других, точно таких же. Все эти дома выстроили в тридцатые годы, тут же назвали «Новыми», и название это держалось долго, наверное, лет сорок. Так и трамвайная остановка объявлялась: «Новые дома». Не так давно я был там, остановку наконец переименовали, однако я уверен, что для старожилов, оставшихся в тех домах, они до сих пор — «Новые»... Наши дома не походили на позднейшие унылые новостройки, не выстраивались ни в затылок друг другу, ни в безликие шеренги. Изогнутые в форме буквы «Г» или напоминающие квадратные скобки из наших школьных уравнений, они располагались так, что между ними образовывались уютные замкнутые дворики. *Дворы*... И наша, и все близлежащие улицы были тихие, летом очень зеленые и назывались, как одна, — Звенигородские, различались лишь номерами: 1-я, 2-я, 3-я... Улица, на которой жили мы, 6-я, завершала этот счет. А неподалеку проходило еще Звенигородское шоссе... И улицы, и шоссе я помню сплошь булыжными и помню, как перекапывали их траншеями, когда к нашим домам подводили газ, потом их заасфальтировали, по обочинам устроили широкие газоны, насадили тополя. Тополя эти никогда не обрезали, не превращали в кургузые метелки на толстых коротких стволах, пускали расти свободно, и сейчас они стоят вровень с домами... Совсем в раннем детстве смутно еще помнится в окрестностях несколько больших пустырей, позже на них разбили скверы... С одной стороны у нас помещался завод «Пролетарский труд», с другой — лакокрасочный заводик, с третьей — фабрика «Трехгорная мануфактура». Несколько поодаль имелся еще сахарный завод. Вот внутри этого четырехугольника и находились наши замечательные дома. Пруды рядом с сахарным заводом звались «сахарными». Кажется мне теперь или действительно считал я в детстве, что вода в них сладкая? Не помню, не могу утверждать. Но на территории того же завода брал начало ручей, он тоже назывался «сахарным», протекал через отдаленный угол нашего районного парка культуры, впадал в «Москвареку», не замерзал всю зиму, чернел среди снега, парил, и теплый этот пар в самом деле отдавал чем-то приторным... И все это: заводы, парк с «Москварекой», Ваганьковское кладбище и рынок, трамваи «Аннушка» и «22», «трамвайный круг» на Тестовке, где они делали разворот, «Застава», Большая и Малая Грузинские, Зоопарк, кинотеатр «Баррикады» — все это составляло то, что называлось Красной Пресней. С центром, разумеется, в наших «Новых домах», которые — а вовсе не всю Москву — полагаю я своей родиной.

...«Но время — ведь тоже родина!» — воскликнул недавно один наш писатель, обрадовавшись своей догадке, как озарению, и как бы забыв, что давно существует такое, например, расхожее выражение: «сын своего времени». А физики уже несколько десятилетий исследуют два понятия, как одно: пространство-время... Мне кажется, что я с самого начала, когда пробудилась даже не мысль, а только способность чувствовать, инстинктивно не разъединял эти понятия. Однажды на улице — я был еще маленький — мама указала мне на незнакомого мальчика и сказала, что я родился с ним в один день. «Его зовут Юра. Мы с его мамой лежали рядом, в одной палате». Не помню, как я отнесся к слову «родился» и вряд ли заинтересовался конкретно, что это значит, потому что сразу уловил общий и главный смысл: мы с этим мальчиком начали быть в один день, рядом. Я так и не познакомился с ним, ни тогда, ни впоследствии, он жил на соседней улице, у него был свой двор. Но я запомнил его, и, встречая, всегда внимательно рассматривал, и чувствовал между нами какую-то связь. Почти родство. Нас ведь было только двое, мне и в голову не приходило, что еще какие-то мальчики — а девочки тогда вообще не подразумевались — могли родиться в этот же день и тем более рядом. Я старался уловить, не смотрит ли и он на меня, — как знать, представлялось мне, может, и его мама однажды показала ему: вот с этим мальчиком ты родился в один день... Наше совпадение во времени и месте вызывало во мне какое-то тайное умиление и, видимо, представлялось значительным — ведь не смотрел же я с таким чувством на других мальчиков, которые наверняка родились в другие дни и в других местах... Но вот что интересно: я хорошо помню, что через некоторое время — на каком году это произошло? — мое умиление сменилось ревностью. Мне вдруг захотелось одному родиться в свой день. И я понимал уже, что ни дня, ни места рождения я у того мальчика отнять не могу, но бессознательно нашел гениальный выход. Теперь при встречах я разглядывал его еще внимательнее, но с отчуждением, я отмечал в нем несходство с собою, мне было нужно, чтобы он был другим. И тогда я действительно стану — единственный... Да, сколько же лет мне тогда было?.. А еще повзрослев, я забыл, конечно, и свое умиление, и ревность, и ощущение всякой связи, хотя и продолжал узнавать Юру, но, сталкиваясь с ним где-нибудь на улице, тоже повзрослевшим, взирал на него совершенно равнодушно. Да он и в самом деле был совсем другой подросток.

А затем, в юности, мне и самому, как это обычно случается в таком возрасте, захотелось быть «другим». Стремление это несравнимо было с мечтаниями детскими, когда переносишься в иные времена, воображаешь себя то предводителем пиратов, то атаманом шайки разбойников, то мушкетером. Отлично, кстати, помню, что я не желал походить на кого-то одного из героев Дюма, но мне хотелось быть сразу четырьмя, соединять в себе ловкость и предприимчивость Д'Артаньяна, благородство и загадочность Атоса, красоту и изящество Арамиса, мощь и удаль Портоса. Хотя, если б предложили все-таки выбрать, я остановился бы в конце концов, наверное, на Атосе. У него была роковая тайна, определившая всю его жизнь, он страдал, он был несчастен — это со временем стало привлекать меня больше, чем нерассуждающая храбрость... И, конечно, мы с кем-то сражались, кого-то побеждали, спасали. И, конечно, я то и дело бывал ранен, каждый раз, конечно, смертельно, товарищи уносили меня, истекающего кровью, в укромную пещеру, увозили на необитаемый остров, прятали в неприступном замке. Я почти умирал, а то и совсем умирал, чтобы посмотреть на неподдельное горе друзей. Но тут же, разумеется, воскресал... Однако, предаваясь всем этим бедным мечтаниям — и предаваясь не без увлечения, — я всегда тем не менее чувствовал, что все это несерьезно, это «понарошке». А вот в юности мне очень серьезно и не переносясь ни в какие другие времена, именно «здесь-теперь» захотелось быть другим. Противоположным себе во всем. Я был здоров и силен — мне хотелось стать хрупким и слабым, я был сосредоточенным и погруженным в себя — мне хотелось обратиться к жизни внешней, я любил книги и уединенные размышления, а хотел полюбить футбол и джаз, я выглядел в своих глазах до уныния «правильным», помнил все свои обязанности и исполнял их, но очень

хотел бы обрести забывчивость и беспечность, мне казалось, что я мыслю и ощущаю грубо и тяжеловесно, а я мечтал стать чувствительным и тонким, при всем при этом я был до ужаса влюбчив — но это не противоречило всему складу, не свидетельствовало о легкомыслии, потому что относился я к своим влюбленностям весьма серьезно, — так вот, мне хотелось, чтоб «женщины» играли в моей жизни как можно меньшую роль... В общем, мне вдруг понадобилось стать «полегче». Наверное, я уже устал тогда от изнуряющей юношеской рефлексии. Но переменить себя полностью пока не удавалось — удавалось, может, на какой-нибудь день, а на другое утро я снова с разочарованием узнавал себя прежнего — и тогда я понял неотвратимое назначение «места». Меня начало тяготить сознание, что я родился и вырос на Пресне, среди прозы проходных дворов, грубых деревянных заборов, улиц с овощными ларьками и бочками с квасом, очередей с авоськами, в соседстве с прачечной, рынком, кладбищем, гремящим трамваем, фабричным клубом, сквером с гипсовыми фигурами. Меня угнетало, что все это наложило на меня «неизгладимый отпечаток» и я никогда теперь не смогу перемениться. Вот если бы я вырос в каком-нибудь старинном доме по ту сторону Садового кольца, где не подворотни, но арки, где бульвары, ажурные чугунные ограды, памятники, театры, рестораны, ярко освещенные по вечерам улицы, шелестящие троллейбусы — вот тогда бы, казалось мне, я, несомненно, был бы «другим»...

Но теперь, по прошествии многих лет, когда я давно уже не вижу никакой нужды переделывать себя и не хочу, да и поздно, если б и захотел, я даже горжусь «неизгладимым отпечатком». Точнее, печатью, произведшей этот отпечаток. Я рад, что родился именно там, на Пресне, и именно там, в Новых домах. Я усматриваю... теперь, когда в Москве все рушится и пересоздается — и центр не устоял, и Арбат исковеркан, и даже Пресню задело: одна сторона улицы Красная Пресня снесена напрочь и застроена очень современными домами, которые торчат там, как выставленные на прилавок большие кубы сливочного масла... — я усматриваю благоволение судьбы и ко мне в том, что наши Новые дома остались в своей первозданности и непоколебимой тишине. И будут стоять так, наверное, долго. Чувствуется в этом своя крепость, надежность. Туда, действительно, в полном смысле можно возвращаться, обретая не только то место, но и с его помощью — хоть на миг, хоть в воображении — иллюзию того времени. Что я и делаю иногда... Вот только Звенигородские наши переименовали, назвали в честь Героев Советского Союза, погибших в войну, об этом говорится в табличках, прикрепленных к домам. Лишь одна сохранилась — 3-я Звенигородская, и хотя единственная она теперь, номер почему-то по-прежнему при ней.

3

Писатель, провозгласивший, что время тоже родина, не додумал... Нет, я понимаю, что и задача у него была иная, гражданственная: обращался он прежде всего к сегодняшнему интеллигенту, подрастерявшемуся, подзапутавшемуся в истории, занявшемуся игрой в перестановку времен, и, напомнив нашему интеллигенту, что время, как и родину, не выбирают, писатель призвал его осознать, что другого времени у него все равно не будет, будет только это, данное, и посему надо оставить игры с историей, оставить бесплодные домыслы типа «как обернулось бы теперь, если бы тогда...», и честно поработать для своего времени, как для отечества... Но у идеи времени-родины есть и еще ответвление, и если совсем немного продолжить, приходишь тоже к простой мысли. Как не безгранична родина в пространстве, так ограничена она и во времени. Вовсе не дожидаясь конца отпущенных нам лет, наступает момент, когда родное нам время обрывается, иссякает, мы начинаем чувствовать себя словно в чужом, незнакомом времени и, даже оставаясь в родных местах, живем по отношению к своему детству, как на чужбине... В своей книге «Другие берега» Владимир Набоков растолковывал читателю, «беспечному иностранцу»: «Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству». Тоска по родине и тоска по утраченному детству у него совпадали, дополняли друг друга, усиливали и, объединяясь,

порождали гипертрофированную тоску — ностальгию. Но оставайся Набоков в России, он с той же неизбежностью ощутил бы в назначенный миг, что детство у него все равно отнято — не чужедальней стороной, но временем. Разве что не было бы тогда ностальгии, а была бы, как принято именовать у нас в подобных случаях, «светлая грусть». Да еще слишком обычное недоумение. Как сказала моя мама, вспоминая незадолго до смерти свой когда-то наполненный, веселый, дружный, работящий родительский дом, со множеством ее братьев и сестер, теперь уже покойных: «Ну, почему нельзя сделать так, чтобы снова все были?!»... Так что в определенном смысле — как писателю, как автору «Других берегов» — Набокову повезло: ничто не подвигает так человеческое сердце к обновленной любви и к самому проникновенному воспоминанию, как «гипертрофия тоски». Ведь и Бунин свою «Жизнь Арсеньева», свой «горький и сладкий сон прошлого» писал не в Орле. Зато какие удивительные слова! Недаром сказано в одной восточной книге: «Только слугам, убирающим стол и скатерть знания, известно, сколько надо выстрадать душе, чтобы придать словам соразмерность и смысл...»

Что ж до меня, то, увы, не испытываю я никакой ностальгии по ушедшему детству, ни даже «светлой грусти». И стремления «одушевить его в слове» вовсе у меня нет. Почему же я принялся за свои воспоминания? Вот я и думаю — почему?

4

Во-первых, я почти ничего не помню из своего детства. Так, нечто случайное, никак меж собой не связанное, не прикрепленное ко времени и без всякого намека, по которому теперь можно было бы что-то разгадать. Правда, есть воспоминания, несомненно, относящиеся к войне или к другим знаменательным событиям, поэтому сейчас, задним числом, можно установить, когда это происходило и сколько мне было лет. Но что это за воспоминания?.. Мама спешно одевает меня, маленького, и сносит с нашего четвертого этажа вниз, в подвал рядом с соседним подъездом. (Подвал этот, бывшее бомбоубежище, до сих пор сохранился: лестница, уводящая под скошенную железную крышу, а в глубине небольшая, тоже обитая железом, всегда запертая дверь. В детстве с той крыши хорошо было кататься — как с горки...) На улице очень темно. В подвале собралось много народу. Тусклый свет. Все негромко разговаривают, и этот говор в разных углах постепенно сливается для меня в неясный убаюкивающий шум, и я задремываю на руках у мамы... Это налет, значит, начало войны, мне, значит, два года. И это, наверное, вообще самое первое, младенческое, запомнившееся мне ощущение себя. Нет, еще одно: мы с мамой перешагиваем через множество железнодорожных путей и подходим к красному деревянному вагону. В верхнем углу вагона, страшно высоко, маленькое, незастекленное, но зарешеченное окошечко, в котором я различаю бледное пятно лица, грустно улыбающегося нам. Это дядя Ваня, мамин брат. Его увозят на фронт. (Больше мы его никогда не видели, он пропал без вести...) На этом надолго обрываются воспоминания о детстве в городе, потому что вскоре меня увезли в подмосковную деревню, где родилась и выросла мама. Сколько я там жил тогда — не помню. Война нашу деревню почти не задела. Был какой-то единственный день, когда проскочили на мотоциклах немцы — случайный, видимо, отряд, — и почти сразу, следом за ними, пришли красноармейцы. Немцы заходили в наш дом, и я, хотя никто не подсказал мне, что надо спрятаться, залез от них под кровать. А когда зашли наши солдаты, не испугался и под кровать не полез. Ничего этого я тоже не помню, а знаю потому, что впоследствии бабушка с дедушкой неоднократно пересказывали мне эту историю, заключая всякий раз одобрительно, что, значит, уже тогда я был «смышленый». Смышленый... Но какая такая работа мысли происходила во мне, заползающем под кровать и выползающем из-под кровати?.. Затем еще одно, опять мое собственное воспоминание: отец и я на крыше нашего московского дома. Чердачная дверь в нашем подъезде заперта, мы спешим в соседний, поднимаемся по лестнице — там, к счастью, открыта. И все это быстро, бегом, потому что вот-вот должен начаться салют. Никогда после не смотрели мы салют с крыши, но тот был самый главный, салют в честь Победы, и, наверное, отцу хотелось, чтоб я разглядел и запомнил его получше. Мне же запомнились запах и темнота пустынного чердака, где то и дело приходилось переступать через какие-то балки, и слабо брезжущее вдали слуховое окошко, сквозь которое мы наконец вылезли наружу, и просторная, слегка покатая крыша с загородочкой из железных прутьев по краям. Отец ушел за какую-то трубу, откуда было лучше видно, звал меня, а я все не решался оторваться от надежного выступа слухового окошка, потом все-таки двинулся осторожно, согнувшись, цепляясь руками за гребень крыши и боясь, что вот сейчас оступлюсь и покачусь к ее краю и никакая загородочка не удержит меня... (Странно: долгое время потом и даже во взрослом состоянии меня преследовал сон о чердаке. О чердаке именно нашего дома. Очень мне зачем-то надо на этот чердак, а лестница туда — из добротной, каменной, забранной толстыми перилами — превращается вдруг в узенькую, шаткую, деревянную, лепящуюся вдоль стены и без всяких перил. Я тем не менее карабкаюсь, а когда долезаю до середины, вижу, что впереди и ступенек нет, провал, одни голые балки. И понимаю, что и вниз не смогу спуститься... Что это — боязнь высоты? Но уезжая на лето в деревню — ведь залезал я в те же детские годы свободно и без страха на березу в нашем палисаднике, на высокие ветлы возле речки, на огромный дуб у лесной опушки...) А самого салюта не могу вспомнить. Но — конец войне, Победа, 45-й год, мне, следовательно, шесть лет... Зато помню хорошо другие салюты. Я был уже побольше и бегал в такие вечера с мальчишками в наш парк. Там, над рекой, на обрыве, устанавливалась батарея. Нестрогие военные не прогоняли нас, околачивающихся возле пушек, только советовали открывать рот во время залпа, чтоб не оглохнуть. И так, с раскрытыми ртами, мы задирали головы и следили, как струящимися дымками истаивают высоко в небе разноцветные огни, а затем в темном вечернем воздухе вокруг нас начинают сеяться красные тлеющие кружочки пыжей. Конечно же, мы ловили их...

Была еще трофейная выставка. Ее устроили в Центральном парке культуры, отец водил меня. Там, на набережной и на пустыре, сразу налево от главного входа, вразброс стояла немецкая военная техника: пушки, минометы, самолеты и танки с крестами. По всему этому дозволялось лазить, забираться внутрь. Я облюбовал небольшой броневичок, уселся в нем. Над моей головой оказалась ручка, изогнутая, совсем как у нашей мясорубки, с такой же деревянной рукояткой. С ее помощью поворачивалась башня. Я повращал башню, однако без особого энтузиазма — несерьезность, «невзаправдошность» механизма разочаровала меня... Вот, пожалуй, и все из «военных» воспоминаний. Что же еще? Еще запомнился праздник 800-летия Москвы. Накануне или в этот день я зачем-то позвонил отцу на работу, не узнал его, взявшего трубку, и очень вежливо попросил: «Будьте добры Александра Ивановича». Вечером отец рассказал об этом маме, похвалил меня, и вот в поощрение моей благовоспитанности и заодно в честь праздника мне были выданы одиннадцать желтых новеньких рублей. Кажется, изображался на них тогда шахтер в каске и с отбойным молотком на плече... Гулянье в нашем районе происходило неподалеку, на пустыре, где сейчас большой сквер. Там к этому дню настроили балаганов, торговых палаток, ларьков. В нашей квартире были еще двое мальчишек, постарше меня, Валюшка и Левка — всем нам в этот вечер разрешили погулять подольше. Приятелям моим тоже дали какие-то деньги. Мы долго кружили возле прилавков, выбирая, как бы получше, повернее истратить наши богатства, и оттягивая, продлевая этот момент, и наконец купили по ружью. Ружья выстреливали деревянными палочками с резиновыми наконечниками. К каждому ружью прилагалось по две таких палочки. Все освещенное пространство было заполнено народом, мы, чтобы пострелять, ушли в сторонку и там, в темноте, все свои палочки быстро потеряли. Это 47-й год — мне восемь лет... Примерно в том же возрасте я впервые попал на парад. Мы с отцом ходили только на демонстрации, а сосед Илья Самойлович, отец Левки, — он был журналист — получал в эти праздничные дни гостевой пропуск на Красную площадь. По такому пропуску можно было провести с собой «одного ребенка до десяти лет». Наступил год, когда Левке уже исполнилось десять, а мне еще нет, и Илья Самойлович взял меня. Мы стояли на огорожен-

ном тротуаре, на противоположной Мавзолею стороне Красной площади. Мне ничего не было видно — прямо перед нами высились спины построившихся солдат. Отец, разумеется, посадил бы меня на плечи, как всегда это делал, когда проходили мы в колонне по площади, а Илья Самойлович не догадывался или не хотел, и попросить его об этом, конечно же, я не мог. Зато я увидел, как офицер неподалеку от нас в ответ на приветствие командующего парадом выхватил шашку и сделал это так неловко, что поранил стоявшего рядом солдата. Солдат, пригнувшись и зажимая шею рукой, бросился мимо нас внутрь здания, где теперь ГУМ. И по руке солдата, и по шее быстро растекалась кровь. Вскоре его товарищи и тот офицер развернулись и ушли, печатая шаг под бодрые звуки оркестра, и мне стали видны и Мавзолей с досадно далекими и маленькими фигурками на нем, и площадь, и уж, наверное, ехали по ней и танки, и пушки, и «катюши», но я не могу утверждать, что помню именно т о т парад. Скорей всего он смешался, он растворился потом во многих других парадах. Но вот пораненного солдата запомнил хорошо. Меня поразила даже не кровь, а как он бежал — пригнувшись. И точно помню, что уже понимал тогда, что согнулся он для того, чтобы его не было видно о т т у д а, сверху, с Мавзолея, который я, приподнимаясь на носках и вытягиваясь, все силился разглядеть из-за сплошной стены солдат...

Не бог весть, конечно, какие значительные воспоминания, а что касается «поэзии детства», все они не сто̀ят, к примеру, единственного красного закатного блика на темной бревенчатой стене нашей избы, неведомо почему и зачем до сих пор посвечивающего мне из моего деревенского младенчества. Но я привожу их, первые пришедшие на ум, и записываю скорее для себя, чтобы хоть как-то начать, чтобы пробудить и расшевелить память. Ибо я не понимаю да и не очень верю, когда говорят «невольно вспомнил», и далее идет длинный и связный рассказ. «Невольно» вспомнить можно мгновение, а развернутое воспоминание требует усилий, это работа.

5

Впрочем, может быть, мои усилия — от нелюбви? А когда любишь что-то в прошлом, то и вспоминаешь об этом без напряжения, свободно? Ведь та же ностальгия — я уже сказал — предполагает соединение обостренной любви и обостренной памяти, и что в данном случае первичнее, изначальнее, любовь или память — праздный вопрос. Тут они, как сообщающиеся сосуды: из памяти переливается в любовь, из любви в память. Полон один сосуд, полон и другой... Как прекрасно, например, вспоминалось детство в деревне! Я любил и люблю там все: бабушку, дедушку, наш дом на бугре, соседских ребят, лес, речку, зеленый луг возле речки и каждую ветлу на нем... — словом, весь окружавший меня мир и себя заодно, потому что я был неотделим от того мира, я в нем растворялся. К миру городского детства — параллельному, кстати, бывшему в те же годы — я отношусь более сдержанно. (И это — во-вторых.) Не то что не люблю, но... испытываю теперь, по прошествии лет, некоторые, как говорится, «теплые чувства». И что мне кажется существенным: себя и этот другой мир я всегда, сколько помню, воспринимал р а з д е л ь н о. Но это не означает, что к тогдашнему себе я отношусь лучше, чем к миру. Может быть, еще сдержанней. К о г о там любить, в самом деле? Вот этот белый сверток на руках у мамы, над которым она склоняется с такой трогательностью? Мама сидит на какой-то городской скамейке, сзади просвечивает сквер. Рядом отец и тоже смотрит на меня — юношески худой, взлохмаченный, счастливый... Или вот этого упитанного младенца в ползунках, сидящего в позе плюшевого медвежонка? Ручки растопырены, на голове единственный и лихой завиток первых волос, беззубый рот радостно ощеряется, и глазки, тоже как у медвежонка, круглые, пуговичные, таращатся с бессмысленной веселостью... А вот в этом, простодушно и доверчиво взирающем, что-то есть. В руке большой молоток — откуда молоток? зачем? — палец указует в раскрытый рот. Это я знаю, после рассказали: попросили «показать зубки», улыбнуться то есть, вот и показал. Но сам я его не помню, как не помню и вот этого: с аккуратной челкой на лбу, из-под тюбетейки, благонравно восседающего на трехколесном велосипеде... Школа, четвертый класс, нас всех фотографируют, вызывая поочередно и усаживая за первую парту. Стриженный наголо мальчик в белой рубашке с галстуком, пионер, руки примерно сложены на крышке парты, и так же примерно глядит в объектив. Вот этого мальчика помню немного, но в общем-то не представляю себе, что там, за гладким бездумным лбом, и какое-то унынье охватывает меня при виде этой исполненной прилежания позы... Да, я и сейчас без всякого умиления смотрю на свои детские фотографии, они для меня лишь как немногие уцелевшие документы, свидетельства давнего времени, в котором мне интересно было бы разобраться. Но интерес этот скорее исследовательский и, повторяю, никак не связан с любовью.

И ч т о там любить?.. Научился выговаривать «р», вдруг в какой-то момент сам заметил, что выговариваю, позвонил отцу и долго демонстрировал: р-р-р... р-р-р... Приснился сон про медведя, медведь какой-то ненастоящий, сильно смахивающий на игрушечного, но все равно большой, сердитый, ворчит, лезет на меня... — тут я просыпаюсь. И говорю, блаженно потягиваясь в своей кроватке, — помню и эту голубенькую металлическую кроватку с веревочными сетками, которые можно было закреплять на разной высоте, и в каком месте нашей комнаты она тогда стояла, помню и маму, тотчас подошедшую ко мне... — и говорю с облегчением: «Как хорошо, что это был только сон!..» Раз уж о «кроватке», то вот только что вспомнилось: иногда проснешься — совсем, наверное, еще маленький? — и в тот же миг с безнадежностью ощутишь, что простынка под тобой мокрая. И пребываешь в двойной тоске: лежать противно, но и вставать не хочется — сразу заметят. Ругать не будут, только укорят, но в этом ли дело — самому ведь неприятно...

Были игрушки. Отец сам сделал для меня кубики, раскрасил их грани в разные цвета. Еще принес с работы черную железную коробку, и эта коробка оказалась универсальной. Могла быть уединенным островом, на котором из тех же кубиков возводился дворец. Могла превратиться в корабль.. Расположение кубиков варьировалось, но одно условие оставалось почему-то неизменным: вся постройка должна была вписаться в коробку. И обязательно всякий раз внутри сооружения оставлялся укромный, потаенный уголок, куда запрятывался какой-нибудь солдатик. Оловянные — и, разумеется, облупившиеся — солдатики тоже были. Немного, и помню их наперечет: шагающий краснофлотец, пехотинец с винтовкой наперевес, скачущий со знаменем всадник и лежащий пулеметчик. Помню также, что мне для охраны моих крепостей недоставало часового — не поставишь же часовым бегущего пехотинца или летящего всадника... А еще имелись разные нехитрые железки, подобранные на улице: шарики, трубочки, шайбочки, болты, гайки... Был даже телефонный аппарат, правда, разобранный до предела. Мною, конечно. Однажды отец принес его и, стоя у порога и раздеваясь, вручил мне: «Держи». Это «держи» я истолковал прямо, в том смысле, что аппарат — персонально для меня, и на другой день занялся им вплотную. В итоге в нем не осталось ни одной детали, над которой можно было бы еще потрудиться, — все было разъято на простейшие элементы. Вскрыл я и те круглые блестящие коробочки из телефонной трубки — в них обнаружился непонятный черный порошок. Этот порошок не понравился мне — пачкался и ни для чего не годился, — я спустил его в уборную. Самым же замечательным оказались чашечки звонка с молоточком между ними, а еще маленькие спаренные катушечки с тончайшей золотистой проволокой, так изумительно ровно намотанной. И проволочку я размотал. Когда же захотел намотать обратно, чтоб снова получилась такая же красивая катушечка, у меня вышел уродливый, бесформенный проволочный ком... Отец, придя вечером, огорчился. Оказывается, он собирался поставить этот аппарат взамен нашего старого... (И вот оттого, что отец не выбранил меня тогда, никак не наказал, а только огорчился — так его сейчас жаль!..)

Словом, играть мне было во что, я вовсе не сетую здесь, что было у меня мало игрушек, и более того, даже считаю теперь, что отсутствие настоящих, «всамделишных» игрушек очень помогало воображению. Ведь магазинный танк — только танк, и магазинный автомобиль — только автомобиль, ни подо что другое их не приспособишь. Может быть, поэтому теперешние дети так быстро охладевают к купленным для них готовым

игрушкам? А вот железная коробка, я уже говорил, могла обратиться во что угодно, и обыкновенный железный болт, прочно поставленный на свою шестигранную головку, вполне сходил за часового... Помню, я услышал однажды, как мама говорила соседке: «Он у меня спокойный. Сидит, играет себе...» Теперь я знаю, где-то прочел, что детская игра — серьезное дело, что, играя, ребенок как бы «проигрывает» варианты своей будущей, взрослой жизни и приготавливает себя для этой жизни. Да, теоретически-то я это знаю, но вот какая внутренняя работа происходила во мне, пока я «играл себе», — не могу представить. Может быть, именно и только вот эта уединенная работа воображения, которая и сделалась для меня главной работой во всю дальнейшую жизнь?..

Перед сном я складывал все свое хозяйство в ту же бесценную коробку и задвигал под кровать. Никто не приучал меня, не заставлял это делать — я сам не терпел беспорядка. Я не мог заснуть, если мои ботиночки не были составлены рядом, аккуратно, носочек к носочку. Бывало, уже улегшись, я снова приподнимался и еще раз проверял, ровно ли они стоят. И если мне казалось, что все-таки не совсем ровно, я опять вставал, поправлял и тогда уже засыпал... И это мне теперь удивительно, потому что в юности я точил карандаши над ящиком своего письменного стола и стряхивал туда же сигаретный пепел...

Как большинство, наверное, тогдашних детей, я рисовал исключительно войну и салюты. Причем салют изображался всегда канонически, композиция была выверена и заранее известна: по бокам две кремлевские башни, между ними зубчатая стена, над стеной скрещенные лучи прожекторов и снопы разноцветных огней. А вот война каждый раз импровизировалась, рисунок как бы развертывался во времени и походил на действие. (Так ведь, наверное, и древние воспроизводили свои сцены охоты — не как заранее заготовленную в уме картину — но как действие...) Впрочем, импровизация тоже бывала довольно однообразной: по земле навстречу друг другу шли наши и фашистские танки, над ними навстречу друг другу летели наши и фашистские самолеты. Наши танки и самолеты были зеленые с красными звездами, фашистские — черными и с черными крестами. Наши всегда почему-то располагались справа, немцы — слева. Потом открывалась пальба. От орудийного ствола нашего танка я начинал траекторию, обозначавшуюся красными штрихами, и упирал ее точно в башню вражеского танка. К подбитому танку пририсовывал большой огонь и дым. Когда уничтожались все черные танки, наступала очередь самолетов... Однако я уже знал, что на настоящей войне т а к н е б ы в а е т, что и н о г д а гибнут и наши. И с каким-то замиранием, но ради п р а в д ы проводил красные штрихи от единственного уцелевшего черного самолета к зеленому и скрепя сердце тоже подрисовывал к нему — правда, очень небольшое — пламя... «А летчик все равно спасся!» — вслед за этим решал я, и под горящим самолетом появлялся парашют. И немедленно на земле устанавливалась наша зенитка, красные штрихи устремлялись вверх, и последний немецкий самолет — о с м е л и в ш и й с я п о с я г н у т ь! — тут же настигало возмездие... Рисовал я левой рукой, возможно, мне так было удобнее проводить свои траектории — справа налево. Родители заметили и стали отучать. Тогда я пустился на весьма, казалось мне, тонкую хитрость — брал по карандашу в каждую руку и, когда сидел в комнате один, продолжал рисовать левой, а когда кто-то заходил, в дело соответственно шел другой карандаш...

Мимолетное, очень смутное и тоскливое воспоминание — детский сад. Когда меня туда отдали, когда забрали? Видимо, скоро. Помещался он недалеко, за трамвайной линией, в таком же, как наш, доме, в похожей на нашу квартире. Помню, как на гулянье ставили в пары, велели взяться за руки. В коридоре вдоль стены стояли шкафчики для верхней одежды. На моем было нарисовано яблоко. Очень не хотелось ложиться в кровать после обеда — в самом деле какой-то «мертвый» оказывался час. Но самая большая мука близилась с наступлением вечера. Все дети поужинали и играют в ожидании, когда за ними придут родители, а я один сижу в столовой над остывшей тарелкой. Из-за стола встать нельзя — то ли это наказание за то, что я н е е м, то ли средство принуждения, чтоб ел. Приходит и моя мама. Не помню точно, но кажется мне теперь, что с ее приходом мое воспитание какое-то время еще длится: мама ждет

в коридоре, а я продолжаю страдать над нетронутым ужином. И побеждаю — наконец меня отпускают...

6

Довольно рано, еще до школы, я выучился читать. Обучила меня мама — на какое-то время, чтобы сидеть со мной, она оставила свою работу. И поначалу очень неохотно усваивал я все эти буквы, слоги. Существовавшие сами по себе, отдельно — и самостоятельность эта еще подчеркивалась в букваре чрезмерно крупным их начертанием, — они не представляли никакого интереса, ничего внятного не сообщали конкретному детскому уму и никак не походили на то цельное, живое, захватывающее, что я слышал от мамы, когда она сама читала мне. Я честно недоумевал, зачем мне эти «Аа», «Бб»... И, например, «ма-ма» вовсе не связывалось с «мамой». Совершенно не помню — скорей всего и не заметил, — как начало связываться. Но хорошо помню, что в очередной приезд в деревню потряс деда тем, что как бы мимоходом заглянул в его газету и небрежно прочел: «СМЫЧКА»... Кстати, я долго не понимал, что означает это название районной газетки. Но и не спрашивал. Потому что я знал, что существует «скрипка», а при ней «смычок». И «смычку» я воспринимал как нечто противоположное, обратное «скрипке», как нечто такое, при чем непременно должен, следовательно, быть еще и «скрипок». Как могут выглядеть в реальности эта «смычка» и порожденный ею «скрипок» — таким вопросом я не задавался, мне было довольно самих осуществившихся в своем соединении слов... Да, мама читала мне вслух недолго; как только я постиг, что слившиеся буквы и слоги превращаются во что-то совсем иное, чем разрозненные, во что-то, обретающее стройный порядок и смысл, — с того момента я безоглядно и с радостью предался самостоятельному чтению. Читал я, разумеется, как взрослый, «про себя» — вслух только, когда спрашивали на уроке, — поэтому воспринимал в первую очередь начертания слов, и лишь откуда-то издали, с окраины завороженного чтением сознания доносилось до меня, как они звучат. (С тех пор облик слова и значение его стали для меня неразделимы. Я и теперь напрягаюсь, когда мне что-то зачитывают. Чтобы скорей и верней понять смысл написанного, мне надо у в и д е т ь это, пробежать глазами...)

Что я читал? Точно помню, что самой первой прочитанной самостоятельно книгой была — «Как крокодил наше солнце проглотил». Ее вручила мне женщина в детской библиотеке, куда я записался. Библиотека находилась на Тестовке, за «сахарными» прудами. Книжку я прочел на ходу, по дороге домой, не так уж и далеко отойдя от библиотеки. Но возвращаться и просить другую — постеснялся. К внутренней стороне книжной обложки был приклеен бумажный кармашек, а в него вложена карточка, где указывалось, за какой срок (за неделю? две?) я должен был прочесть эту книжку. И мне казалось, что женщина-библиотекарь не поверит, что я прочитал ее так быстро, а если и поверит, то все равно осудит: значит, читал н е в н и м а т е л ь н о, небрежно... Очень скоро после «Крокодила» порядок моего детского чтения смешался. Известная последовательность — «для младшего школьного возраста», «для среднего...» и т. д. — еще соблюдалась, конечно, в тех книгах, которые рекомендовали мне в библиотеке, ну, а помимо библиотеки, я читал все, что подворачивалось. Дома у нас книг было мало. Родители мои совсем недавно приехали в Москву из своих деревень и познакомились здесь же, полюбили друг друга, поженились, получили комнату в коммуналке — в общем, московский наш дом только начал образовываться. Это потом отец увлечется собиранием книг, а в те годы были они случайны. (Да и во всех окрестных семьях, которые я узнал, навещая своих школьных приятелей, было так же: все книги умещались на одной полочке этажерки. Могу вспомнить лишь один дом, где они занимали целый книжный шкаф, и это — книжный шкаф — было невообразимо много...) Все взрослые читали тогда и передавали друг другу «Порт-Артур», «Угрюм-реку», «50 лет в строю», «Сагу о Форсайтах» и «Джен Эйр». Читали и мои родители, читал, следовательно, и я. Не все слова бывали мне понятны, но сам книжный мир,

как только я вошел в него, обрел для меня сразу такую убедительную безоговорочную достоверность, что непонятное, загадочное слово не вызывало вопроса и сомнения, наоборот, придавало этому миру в моих глазах еще большую истинность и смысл. Мне не приходило в голову спрашивать у взрослых о значении непонятных слов — таинственность книжного мира возвышала его и делала реальнее, вернее жизни, окружавшей меня и хорошо знакомой...

Из первого домашнего чтения помню еще толстую книгу «Бои на Карельском перешейке», в которой были собраны рассказы участников войны с белофиннами. Запомнились истории, как наши снайперы выходили на единоборство с финскими «кукушками», — их называли так потому, что они сидели на деревьях. А особенно нравился мне там рассказ «Непредвиденный случай» — как наш танк провалился под лед невидимого, заметенного снегом озера и танкисты спасались, выныривая по очереди через люк... Каким-то образом оказалась еще в нашем доме книга об искусстве северной резьбы по кости — со множеством фотографий, и я любил разглядывать фигурки оленей, белых медведей, тюленей, моржей, читал непривычные для уха имена мастеров, создавших эти фигурки: Вуквутагин, Туккай, Хухутаи... И необыкновенные имена, и сами скульптурки, матово светящиеся на черном фоне, заставляли воображать страшно далекую жизнь, где-то на *Крайнем Севере*, и белый цвет фигурок естественно связывался для меня с вечными снегами, а сплошной черный фон — с вечно *царящей* над теми снегами полярной ночью. Видимо, из-за географической карты полушарий, на которой все пространство, окружающее полушария — Землю, законно воспринималось мной, как небо, Крайний Север представлялся мне местом, где небо почти смыкается с землею, воображался бесконечной мерцающей заснеженной равниной с близко нависающим над ним темным небом... И как-то странно мне до сих пор, что десятка через полтора лет я вдруг очутился за двенадцать тысяч километров от своей Пресни и именно в том поселке, где жили действительные Вуквутагин, Хухутаи и Туккай, и узнал этих и многих других художников, увидел воочию их работы, и сам стал жить среди вечных снегов, полярной ночи, и увидел настоящих оленей, китов и моржей, и убедился, что был прав когда-то насчет соединившихся неба и равнины... Конечно, было бы просто сейчас сказать, что «значит» уже тогда, в раннем детстве, «отложилось», поразило, а потом «неосознанно повлекло»... Да, проще всего было бы так предположить, но нет — все равно: странно!..

Особенно же я любил тогда две книги, также, по счастью, случившиеся у нас в доме, — «Чингисхан» и «Петр Первый». Сказать, что с их помощью я впервые постигал историю, узнавал о жизни в другие времена, было бы неверно. «Других времен» я вообще не представлял и как «исторические» эти романы не воспринимал, но все, о чем в них повествовалось, сразу, с первых строк стало мне понятно и очень близко — ближе, пожалуй, и узнаваемей, и интересней, чем, например, какие-то нескончаемые приключения Васька Трубачева и его товарищей, хотя и были этот Васек с товарищами всего на несколько лет постарше меня... «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь... Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы... Артамошка, самый маленький, едва выговорил: — Ничаво, на печке отогреемся...» Деревня, изба, печка — это был хорошо знакомый, *мой* мир; ведь это и мои деревенские приятели, Валька с Витькой, так же выскакивали босиком на мороз, и так же отогревались потом на печке, и так же рассказывали мы друг другу «про разные страсти». Весело было читать, как бедовый Алексашка Меньшиков торгует пирогами и учит мальчика Петра протаскивать сквозь щеку иголку, и как Петр-царь в одних портках и грязной рубашке везет тачку и стреляет горохом из пушки в помертвевшего от унижения и страха боярина... Все это воспринималось, как сказка, и даже жестокая расправа Петра с помышлявшими против него сторонниками Софьи — они ведь были злые, они ведь *первые начали*, ну вот по справедливости им и воздалось... И в «Чингисхане» не ощутил я никакой «страшной исторической дали» — без труда вообразил я себя в той жизни и хотел быть благородным Джелаль эд-Дином, и отверженным «черным всадником», «неукротимым барсом пустыни», чтобы у меня был такой же высокий рыжий конь

с серебряным ошейником и длинный меч — «кончар», и хотел быть смелым Мстиславом Удатным, чтобы за плечами у меня развевалось алое корзно и на голове сверкал золотой шлем... Эти две книги я перечитывал бесконечно, открывал на любой странице и читал, хотя мог бы, не глядя, продолжать уже наизусть. Но мне, повторяю, нужно было видеть, доставляло удовольствие еще и еще раз *увидеть* знакомые слова... Я и сейчас помню: «Читатель, салям! Сокол в небе бессилен без крыльев. Человек на земле немощен без коня. Все, что ни случается, имеет свою причину, начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнины вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели...» «Я изучил много наук, много перечел сказаний... Но, кроме сожаления и кроме тяжести грехов, я не вижу другого следа моих юных дней...» «Я дам тебе три черных шарика, и ты их проглотишь. Тогда ты будешь неподвижен, как мертвец, перестанешь чувствовать боль и увидишь сон, будто ты перелетел через горы в долину прохладных потоков и благоухающих роз. Там пасутся белые, как снег, кони и поют золотые птицы. И там ты снова встретишь девушку, которую любил в шестнадцать лет...» Я радовался, что мудрый дервиш Хаджи Рахим будет спасен из своей ужасной железной клетки, жалел только, что в книге об этом уже не рассказывается...

Однажды у нас собрались гости и мама захотела продемонстрировать, как хорошо я читаю. Я взял своего любимого «Петра», открыл наугад и бойко начал: «Борис Алексеевич позвал: — Емеля... За дыбой из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро, — сел на пятки, — голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева, — лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув — поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил до пояса... Федька хотел было честно крикнуть, — вышло хрипло, невнятно: — Господи, все скажу...» Я читал громко, отчетливо, «с выражением». «Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки...» «Хватит, хватит... Хорошо!» — дружно запросили гости, которых, видимо, смутил этот нарастающий натурализм. Да я и сам уже ощущал, что отрывок для чтения «вслух» не совсем удачен. Но ведь сколько раз перед тем читал я эту страничку «про себя» и без всякого смущения! И, значит, была, есть разница между словами, прочитанными «про себя», и теми же самыми словами, произнесенными «вслух»?.. Но в чем эта таинственная разница, какая такая грань отделяет слово «подуманное» от слова сказанного — остается для меня загадкой до сих пор...

В общем, чтение сразу, с ранних лет сделалось страстью, и на мой собственный теперешний вопрос, *что* любить в детстве, можно было бы ответить: книги. Прелесть детского чтения... Но дело в том, что чтение я вообще отделяю от детства, я считаю, что это занятие *вневозрастное*. Хотя бы потому, что чтение и тогда, в детстве, по самой сути процесса, по степени серьезности и углубленности в нем уже было взрослым, и хотя бы потому, что оно и теперь в чем-то остается наивным и детским. В чем? Может быть, в той же серьезности и углубленности...

Были, конечно, радости и удовольствия целиком ребячеcкие. Например, Новый год. Отец обязательно приносил елку и обязательно — до потолка. Наряжали все вместе: отец, мама, я, позже возле елки появилась еще сестра, к которой я отнесся спокойно, без всякой ревности... Каждая извлекаемая из коробки и забытая за год игрушка воспринималась как бы заново, но и с радостью узнавания. Из плотной синей бумаги мы изготавливали самодельные хлопушки, в которые насыпали собранные летом в деревне орехи. Еще мы развешивали на елке удивительные разноцветные лампочки: одна половина лампочки была красной, другая — синей, одна — желтой, другая — зеленой. Отец подключал эту гирлянду к специальному устройству, и лампочки начинали мигать попеременно своими половинками... Мы зажигали колкие и холодные бенгальские огни. Мне дарили большой детский календарь, из которого столько всего можно было

вырезать и склеить!.. Да, вот Новый год в отличие от книг — это праздник исключительно для детства: никогда после не ощущался так остро, не ударял, не пощипывал так ноздри запах снятого с елки, очищаемого мандарина...

И все-таки общее впечатление тех лет — сумерки. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений», — пишет Толстой. Обычные сентиментальные и, как бы мы сейчас сказали, расхожие слова. Бунин гораздо точнее. Он говорит о печали младенчества: «Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время? Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое...» Чтобы так написать, нужно обладать особой и ранней обостренностью чувств, нужно действительно родиться с ощущением своего полного и мучительного одиночества в этом мире и навсегда запомнить его. Я же не ощущал тогда, в те первоначальные детские годы, ни такой вот заброшенности и отъединенности от всего, ни, как мальчик Николенька, чрезмерных восторгов, и умиления, и потребности молиться, плакать, и любить с «надеждами на светлое счастие» — чувства мои дремали. Я был недвижен, невозмутим, как маленький лесной бочажок, надежно укрытый под сенью старых деревьев. Порябит случайный ветерок, посеется дождик, слетит палый лист и, напитавшись водой, опустится на дно... — вся жизнь. И посему, вспоминая о том времени, не испытываю я ни печали, ни тем более «лучших наслаждений» — разве что сожаление. Вот, родился мальчик, и сколько еще должно пройти лет, сколько дней, унылых, серых, бог знает чем заполненных, прежде чем он начнет сознавать себя, осмысливать окружающий мир, соотносить себя с этим миром...

7

А пока что не только я существовал (если допустить подобное существование — без мысли) отдельно от мира, но и сам мир дробился, распадался на множество не связанных друг с другом, независимых миров.

Во-первых, была наша комната. Одно из самых ранних, навсегда соединившихся с нею впечатлений — запах свежей краски... Осень, мы возвращаемся из деревни в Москву на пикапе. Небольшая такая машинка, вроде легковой, но с открытым низким железным кузовом и двумя маленькими, тоже железными скамеечками вдоль бортов. Ехали долго, чуть ли не весь день, дело к ночи, я устал и задремываю на своей скамейке. Мама сидит напротив, а отец в кабине — показывает шоферу дорогу. Но вот сквозь сон до меня доходят запахи — разогревшегося за день асфальта, металла, камня, многих машин, особенный запах пыльной листвы, еще чего-то. Значит, мы въехали наконец в город, и после многих деревенских запахов, с которыми я сроднился за лето, запахи города непривычны и возбуждают. А как завершение — запах свежей масляной краски, едва мы входим в нашу комнату. Это отец, как всегда, сделал ремонт к нашему приезду. Побелил потолок, покрасил полы, батареи, оконные рамы, просторные каменные подоконники. Запах скоро выветривался, но в памяти сохранился прочно. Вообще всякие запахи в детстве действовали чрезвычайно. Примерно лет до двенадцати я не мог ездить в автобусе — не переносил, как пахнет бензин. Кружилась голова, мутило... Так что запахи в те годы были для меня, пожалуй, сутью вещей, сами же вещи — признаком запахов. Вот как автобус был признаком запаха бензина, как наша комната в первые дни по приезде — признаком запаха краски...

Комната была очень большая — теперешняя двухкомнатная квартира. (В юности, вернувшись из Сибири, я привез охотничье ружье, один ствол у которого был малокалиберный, нарезной. И вот из этого ружья я даже стрелял в нашей комнате, укрепив в одном углу самодельную мишень — толстую доску с нарисованными на ней кругами, а сам отойдя в противоположный...) И каждое лето, помимо упомянутого ремонта, отец еще разгораживал по-новому нашу комнату. Интересно было, приезжая из деревни, смотреть, как она теперь выглядит, где перегородка, как переместилась наша нехитрая мебель. Наконец, в какой-то год отец нашел

окончательный вариант, так что у нас действительно образовалось что-то вроде двухкомнатной квартиры, и даже с небольшой прихожей...

В доме я чаще и отчетливее всего помню себя одного. Как обычно говорили тогда — и не знаю, говорят ли сейчас: «Отец с матерью целый день на работе, ребенок предоставлен самому себе». Прекрасное, однако, было время для разного рода исследований! Взять шкаф. В двух его половинках, разделенных большим зеркалом, лежало белье и висела одежда, зато нижний выдвижной ящик был очень занимателен: в нем, неизвестно для чего, сохранялись разнородные вещи непонятного происхождения. Во-первых, настоящая буденовка с матерчатой звездой, только почему-то черной. Затем большой ранец с меховой... как назвать то, чем сверху закрывается ранец: полость? клапан? крышка? Меня удивляло, зачем мех и почему он обращен наружу? Какое может быть от него тепло, если он не прилегает к спине? И только много лет спустя, припомнив в очередной раз этот ранец, я сообразил, что был он, наверное, походный, солдатский, и если на привале приспособить его под голову, мехом кверху, голове будет не так холодно и жестко. Весьма предусмотрительно... А еще были мотоциклетные очки, которые мне нравилось воображать летными, и большие кожаные, с раструбами, шоферские перчатки. Откуда все это взялось в нашем доме? Дедушки, чья пожелтевшая фотография в буденовке хранится в семейном альбоме и чья шашка висит на стене — до поры, до времени, когда пылкий молодой герой срывает ее и начинает крошить мещанский уют... — такого дедушки в нашей семье не было. (Как не было, впрочем, и мещанского уюта.) Не имелось также ни автомобиля, ни мотоцикла. Так что, не знаю. И не могу сказать — не запомнил, не обратил внимания, когда и куда все эти вещи потом подевались...

Кроме шкафа, был буфет. Для посуды, продуктов. Короче, тот самый, куда в детстве залезают за вареньем. И варенье бывало, конечно. Однако к варенью я был равнодушен, а вот отдельная полка на самом верху привлекала весьма: там помещалось хозяйство отца. Кое-какой инструмент, запасные электрические пробки, олово для паяния... Там же сыскалась изогнутая коротенькая трубочка с увесистым прокуренным чубуком (опять — запах), и тоже не знаю чья — трубку отец никогда не курил. Курил, и очень помногу, папиросы, и позже, когда резко вдруг и навсегда бросил, на полке прибавилась — для памяти, видимо, — начатая пачка «Беломора». Последняя... Самым же интересным предметом было отцовское факсимиле: небольшая стальная продолговатая коробочка, а внутри печатка с обратным, зеркальным начертанием отцовской фамилии. По многу раз я мазал ее чернилами, прикладывал к бумаге — фамилия оттискивалась четко и полностью. Наверное, с тех пор я так и воспринял и запомнил — подпись, и когда мне самому в первый раз понадобилось расписаться, расписался, не колеблясь, тоже четко и полностью. И впоследствии не изобретал никаких завитушек... А еще хранились на полке три медали: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Памяти 800-летия Москвы». (Потом, когда отца хоронили, какой-то товарищ с его службы, видно, «распорядитель» — бывают такие товарищи, которых всякий раз назначают руководить этими печальными делами, — все ходил и озабоченно твердил: «Подушечки... А где подушечки? Для наград...» Пока я не сказал ему: «У отца было три медали. Три... Не надо никаких подушечек!»)... И вот, «предоставленный самому себе», я надевал отцовский китель с синеньким кантом, со значками связиста и майорской звездой в петлицах, пришпиливал к нему медали, клал в карман факсимиле (род документа), надевал еще очки и душную, пропахшую нафталином буденовку, за спину — ранец, натягивал на руки шоферские перчатки, а в зубы совал трубку. Кем я воображал себя в этом фантастическом убранстве? Но все эти вроде бы совершенно несоединимые вещи на мне и во мне тем не менее соединялись, и по комнате я расхаживал с полной серьезностью. Но ведь и понимал в то же время, что в коридор в таком виде выходить не стоит...

За дверью нашей комнаты начиналась наша квартира. Там жили соседи. О «коммуналках» сказано много. Сначала их описывали как очаг нескончаемых склок, сплетен и дрязг. Затем, когда люди поразъехались в отдельные квартиры, пошли сочинения умилительные — вплоть, кажется, до того, как бывшие соседи не вынесли разлуки, затосковали

и съехались опять жить вместе... Наша квартира была нормальная, средняя. Не то чтобы преувеличенно дружная, но и не скандальная — мирная. Бывали, конечно, и ссоры, и недоразумения, но без мелких пакостей. Соль, гвозди или что там еще в хрестоматийных рассказах про «коммуналки» — никто друг другу в борщи не сыпал. Скандалы случались редкие, локальные и возникали, как я теперь понимаю, по причинам чисто психологическим.

Расклад был такой. Через стену от нас, в комнате поменьше, чем наша, но тоже довольно большой, жили Магалифы: Илья Самойлович с женой, тетей Соней, и сыном Левкой. Не помню, год или два после войны их комната пустовала — Илья Самойлович работал в Германии, семья была при нем. Когда они вернулись, у Левки обнаружилось множество удивительных вещей. Например, шахматы в золоченом грецком орехе. Скорлупка настоящего грецкого ореха раскрывалась и закрывалась на крохотных петельках и запиралась крохотной защелкой. А внутри умещалась целая шахматная партия — все белые (только тут они были почему-то красные) и все черные фигуры. Доски, правда, не было, но доской мог служить клочок обыкновенного тетрадного листка в клеточку — восемь на восемь клеток. Двумя пальцами в такой тесноте фигурки никак не ухватывались, но каждая завершалась специальным тонким острием и, легонько наколов на палец, ее можно было переставить... Еще он привез несколько массивных альбомов с немецкими марками, и среди них была серия с Гитлером: голубой, зеленый, фиолетовый, малиновый, розовый Гитлер... Приволок, конечно, и фашистские ордена — тяжелые, гладкие, матово-черные кресты, окаймленные узенькой светлой полоской. Помню также записную книжку немецкого офицера — что-то вроде универсального карманного справочника. Среди многих тончайших страниц, заполненных убористым шрифтом, были плотные цветные вкладки: карты всех европейских стран, знаки различия родов войск — всевозможные погоны, эмблемы, кокарды, нашивки, знамена, витые шнуры, штандарты с орлами, свастики. Имелись там и краткие разговорники, тоже для всех стран. Отыскали мы и немецко-русский — латинскими буквами было выписано: «Как называется эта местность?», «Куда ведет эта дорога?» Странички в конце были оставлены чистыми — для личных записей. Но запись в той книжке оказалась одна: всего несколько строчек, черными чернилами, красивым бисерным почерком. То ли офицер был не охотник вести дневник, то ли его быстро убили... Помню, что мы, мальчишки, с удовлетворением разглядывали и эту книжку, и эти ордена: мы знали, что все это — *трофейное*, отнятое у побежденных фашистов, значит, теперь — *законно наше*...

Самой же удивительной, никогда нами не виданной, просто сказочной вещью была электрическая железная дорога. Составлялась она из отдельных звеньев. Звеньев было много, прямых, изогнутых, перекрещивающихся, разветвленных, со стрелками, и дорогу можно было сделать какую угодно: с разъездами, тупиками, запасными путями. Маленький паровозик выглядел совсем как настоящий — тяжелый, черный, с красными колесами, которые приводились в движение блестящими никелированными рычагами. К нему цеплялись вагоны — пассажирские, товарные, была и платформа. Кроме паровоза, имелся еще электровоз, тоже массивный, длинный, зеленый. Внизу у него, как и у паровоза, находились контакты, гладкие, желтоватые, и так они легко, но и упруго подавались под пальцами. И даже был вокзальчик!.. Странно: я оттого так подробно описываю эту дорогу, что теперь, в воспоминании, она поражает меня гораздо сильнее, чем в детстве, а тогда мы, в общем-то, естественно восприняли, что у паровоза и вагонов есть, как положено, буферные тарелки и по-настоящему открываются дверцы, а внутри вагонов видны маленькие скамеечки, и на черные покатые крыши ведут миниатюрные лесенки... Много лет спустя я купил своим детям железную дорогу, но все в ней было уже не то: и сами пути являли элементарный круг, и паровозик с вагончиками были легонькие, упрощенные, штампованные, с нарисованными окошками — действительно игрушечные!.. А тогда... Левка нажимал кнопку, состав двигался. С помощью других кнопок и рычажков можно было убыстрять движение, останавливать и давать задний ход. Стрелки тоже переводились автоматически. Мы пускали еще электричку, она шла с мерным

жужжанием. Мы увлекались. Каждый норовил нажать кнопку, стрелки щелкали. Состав залетал в тупик, вовремя удавалось затормозить его и направить обратно, на основной путь, но к этой же стрелке поспевал тяжелый электровоз. Вагоны опрокидывались. Начинался спор — кто виноват? Тетя Соня ласково, не раздражаясь, говорила нам, что мы не умеем играть, и велела Левке разобрать дорогу... Мы переходили в нашу комнату. И у Валюшки, и у Левки были такие же железные коробки, как у меня, — отец принес на всех, — каждую из них можно было превратить в танк, хоть в паровоз и возить прямо по полу, и сталкивать сколько угодно...

Да, для игр мы собирались в основном у меня, в нашей просторной комнате. У Левки играть было неудобно — в их комнате стояло слишком много мебели. Даже пианино. Кроме того, присутствовал постоянный надзирающий глаз — тетя Соня не работала... У Валюшки можно было играть разве что в шахматы. Вдоль коридора располагались еще две комнатки, очень небольшие, узенькие, по одному окну, — о таких комнатах когда-то было сказано точно: «пеналы». В одной из них, у самого входа в квартиру, жил Валюшка со своей матерью, тетей Марусей. Отец у него погиб на фронте. Тетя Маруся была неприметная маленькая женщина, я и лица ее толком не помню — помню, что худенькая, светловолосая. Она работала где-то уборщицей... А в другой комнатушке проживала тетя Настя, Анастасия Ивановна, с мужем Павлом Семеновичем. У них детей не было. Павел Семенович был милиционер, *участковый*, но не нашего, какого-то другого участка. Тетя Настя, как и тетя Соня, была домохозяйкой. В квартире Павел Семенович держался особняком, так что мужское общение осуществлялось между моим отцом и Ильей Самойловичем. Выражалось это в том, что по вечерам они курили на кухне и беседовали. Илья Самойлович уже тогда был лысым, полным и казался мне большим и важным рядом с моим худощавым, взлохмаченным отцом. Имелась у Ильи Самойловича привычка: время от времени, не разжимая зубов с зажатой в них папиросой, углом рта с шумом втягивать в себя воздух. Я пришел к выводу, что у него не хватает зуба — иначе как бы воздух проходил внутрь?.. О чем они разговаривали, я не помню. Не то что не понимал — просто не вслушивался. Но все, что говорил Илья Самойлович — вернее, *как* говорил, — производило впечатление чего-то очень значительного, умного. Он говорил неторопливо, не горячась, не повышая голоса, напротив, иногда наклоняясь в сторону собеседника и доверительно понижая голос, с таким видом, что спорить против того, о чем он говорит, бесполезно, что где-то *там* уже горячились по этому поводу, и повышали голос, и спорили, но потом пришли к единому мнению, и сам он, Илья Самойлович, тоже не спорит сейчас с этим мнением, лишь пересказывает. Посреди фразы он любил вдруг прерваться, откинуться назад, поглядеть оттуда, прищурившись, затянуться папиросой, втянуть воздух, помолчать — не для того, чтобы собраться с мыслями, но опять же с видом, что мысли эти уже определены, выверены, и доскажет ли он их минутой раньше, минутой позже — никакого значения не имеет... Я уже упоминал, что Илья Самойлович был журналистом, но работал он даже не в газете, а в журнале, и не в простом журнале, а в каком-то главном, идейно-направляющем, так что, конечно, у него были все основания говорить столь значительно. Кроме того, он жил в Германии... Отец мой слушал, порой переспрашивал, а если и высказывался сам, то с интонацией предположительной. В ответ Илья Самойлович, помолчав с некоторой снисходительностью, покурив и втянув очередную порцию воздуха — будто бы новую порцию энергии, — вновь принимался разъяснять...

Иногда, но редко из своей комнатки выходил Павел Семенович. Если Илья Самойлович казался мне большим (много лет спустя я встретил его: маленький старичок), то Павел Семенович был вообще... громоздким. Очень высокий, широкий, тоже лысый, но лысина у него была, как я теперь вспоминаю, не интеллигентская, как у Ильи Самойловича, не ото лба к затылку — как бы след, обозначение мучительного и неоднократного пути от мысли «передней» к мысли «задней» и наоборот, — но только вокруг лба, круглая, как поляна, какая-то простонародная, деревенская, свидетельствующая о надежном умственном и душевном равновесии... По квартире Павел Семенович ходил в белой нижней рубашке,

треугольником расходившейся на его мощном животе и волосатой груди, в домашних тапочках, однако в форменном галифе. Появлялся он, чтобы проследовать в уборную или заглянуть на кухню — если Анастасия Ивановна была в этот момент на кухне,— и осведомиться об ужине... И вот не знаю, не могу сказать — в детстве-то я таким вопросом, разумеется, не задавался, а теперь мне интересно,— тянуло ли Павла Семеновича присоединиться к курящим на кухне, послушать, вставить что-нибудь свое, и если да, то что в таком случае сдерживало: может быть, он был молчалив и замкнут по натуре, может быть, осторожен, что неудивительно по тем временам, а может, просто равнодушен к такого рода общению? Да он и не курил вдобавок... В общем, Павел Семенович навсегда остался для меня непонятен, я даже голоса его не могу вспомнить. Зато помню, что, когда мы, мальчишки, играли во дворе, а Павел Семенович в своей милицейской шинели и сапогах проходил через двор, с работы или на работу, он неизменно улыбался нам, тоже молча, но весьма дружелюбно, обнажая при этом сплошной ряд массивных золотых зубов... Тетя Настя была под стать мужу — тоже дородная, крупная. Как они помещались в своей комнатушке? Иногда мне доводилось туда заглядывать — когда тетя Настя зазывала угостить каким-нибудь свежеиспеченным пирожком. С одной стороны там стоял громоздкий буфет — выходило совсем, как у Гоголя: «И я тоже Павел Семенович!» — с другой широкая кровать, по тогдашней моде металлическая, с навинченными на спинках никелированными шарами — «И я тоже Анастасия Ивановна!» — а посередине оставался узкий, как для кошки, проход к столу у окна... Вот голос тети Насти я помню очень хорошо: басовитый, громкий, как тогда говорили, «на всю квартиру»...

Из всех «теть» мне, безусловно, нравилась тетя Соня — она была такая ласковая, приветливая, всегда улыбалась. Да и у нас с Левкой общего было больше, чем с Валюшкой: книжки, шахматы, марки. Учились мы с Левкой в одной школе. И отцы наши сходились потолковать по вечерам. И мама моя — как-то само собой вышло — более всего была дружна с тетей Соней. При самом добром отношении ко всем остальным соседям, конечно... Однако тетю Настю этот отдельный союз, видимо, задевал, уязвлял. И в отличие от невозмутимого Павла Семеновича она, наверное, ощущала себя о т т о р г н у т о й. Теперь я понимаю, что тетя Настя тоже хотела дружить с моей мамой, но отдельно, без тети Сони. Потому что тетя Настя хорошо чувствовала, что отторжение исходит именно от тети Сони — вежливое, внешне корректное, но со скрытым пренебрежением. Которое тоже тем не менее отчетливо ощущалось тетей Настей... Тут я хотел сказать, что в нашей квартире не было ярко выраженного лидера, но теперь вижу, что был. Точнее, были — мои отец с матерью. Не те энергичные, напористые, беспокойные лидеры, за которыми влекутся подчас — и чаще всего — помимо своей воли, но те, к кому сами инстинктивно тянутся. Я же говорил, что были они деревенские — несколько лет всего как из деревни,— с нетронутыми чувствами, простодушные, отзывчивые, кроме того, с тем врожденным внутренним тактом, который разом заменяет человеку долгий опыт общения с людьми... Вот из-за моих родителей и шло соперничество между тетей Настей и тетей Соней, внешне выражавшееся в их упорном и молчаливом неприятии друг друга. Но если тетя Соня могла жить в этом молчании сколь угодно долго, то тетя Настя, простая и горячая душа, не выдерживала, вдруг взрывалась. Думаю, что для этого достаточно было какой-нибудь мелочи. Разумеется, я — как и в разговоры отца с Ильей Самойловичем — не вслушивался в суть этой перепалки, мне было неинтересно, но и не слышать ее было просто невозможно. Вначале разражалась долгими и громогласными обличениями тетя Настя — ей коротко отвечал тихий и смиренный голосок тети Сони. Затем опять шел пространный гневный выпад тети Насти — и опять слышался кроткий ответ тети Сони, особенно кроткий, если на кухне в этот момент был кто-нибудь еще. Первой удалялась в свою комнату всегда тетя Настя, с шумом проносилась по коридору, хлопала, как положено, дверью. Как воспринимали тогда мы, дети? Естественно: кто первый начал, кто громче кричит — тот и скандалит. Вот мы и воспринимали: тетя Настя о п я т ь с к а н д а л и т. Справедливости ради надо сказать, что случалось это нечасто. И всю квартиру не захватывало. Мужчины, включая Павла Семеновича, никогда не вмешивались, моя мама — тоже. Тетя Маруся — та вообще не смела возникнуть, но молчаливо держала, уверен, сторону тети Насти...

8

Но как с возрастом по-новому все начинаешь понимать! Вернее, не по-новому, а просто — начинаешь понимать... Правда, и тогда, в детстве, что-то уже настораживало меня в ласковой тете Соне. Сидели мы как-то у Левки, вздумали играть в шахматы. Пока он искал их — не те, что в грецком орехе, а обычные, деревянные,— я вызвался принести свои. Но свои я обнаружил рассыпанными, раскатившимися по полу в разные углы, собирать их мне было лень, к тому же Левка, наверное, уже нашел, так я и вернулся — без шахмат. Так и объяснил — рассыпаны. Тогда тетя Соня и молвила, тихонько, как бы про себя, с коротким смешком: «О, эта бережливость!» Вот как в пьесах, в ремарках к репликам пишут в скобках: «про себя» или «в сторону» — и предполагается, что никто на сцене, кроме самого произносящего, этих слов не слышит. Но я-то слышал! Выходило, что я пожалел свои шахматы! И это было ужасно несправедливо, нечестно: и фигуры, действительно, были разбросаны, и, действительно, я поленился, а вот «бережливым», жадным то есть, не был никогда — тот же Левка мог бы подтвердить. Но и пускаться опровергать было как-то глупо и даже невежливо: ведь сказано тетей Соней в самом деле было тихо и сказано в р о д е н е м н е — получилось бы, что я подслушал?.. И в то же время четко я понимал: сказано м н е, в р а с ч е т е на меня — вот в чем штука!.. А тут еще Левка — тоже негромко, как-то по-взрослому, упреждающе и с укором произнес: «Мама! Ма-ма!..» И интонация показалась мне такой, что он вообще-то согласен с матерью, она права, не права только в том, что высказывается в моем присутствии. Надо, мол, быть снисходительнее... И опять невозможно было ничего возразить: а что он такого сказал, кроме «Мама, мама!» Вот так они, тетя Соня и Левка, при мне и обо мне же поговорили, а я при этом вынужден был стоять, как чурбан,— без слов. Что оставалось? Я сообразил сделать вид, что ничего, и правда, не слышал, а если и слышал, то не понял. Мы сели играть. А потом я обо всем этом напрочь забыл, конечно... Зато теперь вдруг вспомнил и думаю, что зачинщицей на кухне все-таки бывала тетя Соня. Я просто вижу и слышу, как она у своего стола возле окна, и не глядя на тетю Настю, как бы и не замечая ее, своим вкрадчивым, журчащим голоском выдает в ее адрес что-то ехидное, язвительное. А тетя Настя...— это ведь я, мальчик, мог смолчать в своей детской стеснительности и недоумении,— а вспыльчивая и прямая тетя Настя вскипала мгновенно...

Много лет спустя, в начале шестидесятых — я уже побывал в Сибири, вернулся, поступил в университет,— мы все постепенно разъехались с Пресни. По разным углам Москвы, по отдельным квартирам. О Валюшке и тете Марусе не знаю ничего, их след для меня потерялся. Левка тоже учился в университете, на искусствоведческом отделении истфака, специализировался по русской церковной архитектуре, причем по архитектуре северных церквей. Публика наша в массе еще не открыла тогда для себя русского Севера, никакой турист туда еще не стремился — может быть, лишь два-три художника со всей Москвы, никому не известных, упрямо выезжали писать свои вневременные, свои а с о ц и а л ь н ы е пейзажи с колокольнями. Да Левка шастал с фотоаппаратом: снимал в разных ракурсах эти колокольни, описывал, каталогизировал. Так что, когда Север стал модой, и жаждущие п р и о б щ и т ь с я толпами повалили во Псков, в Новгород и на Соловки, и церковные купола обозначились на каждой второй картине, и замелькали очерки об этих церквах — с призывами с п а с а т ь, и пошли статьи, специальные исследования, монографии и альбомы с «видами», Левка к тому времени уже оказался редким и заметным специалистом и писал предисловия к тем альбомам и монографиям... Он рано, еще студентом, женился, жил отдельно от родителей. Тетя Соня, очутившись в квартире без соседей и не находя, на кого теперь распространять свою кротость, обратила ее на доброго Илью Самойловича и затретировала его вконец. Дошло у них до того, что они,

муж и жена, живя бок о бок, совершенно не разговаривали — а как умела не разговаривать тетя Соня, я уже говорил, — и покупали отдельно продукты, и каждый готовил сам себе. Последние свои дни Илья Самойлович провел в больнице, проститься с ним тетя Соня не пришла... После его смерти тетя Соня занялась Левкиной семьей и так повела дело, что он развелся, оставил жену, детей и переехал жить к матери. Все-таки тетя Соня была уже старой, и ей нужно было, чтобы кто-то за ней ухаживал. Она и сейчас жива, ей под восемьдесят, зимой она регулярно ходит в бассейн, а летом совершает длительные поездки на теплоходе по Волге...

Моя мама, уехав с Пресни, все равно ездила туда — на свою работу, в сберкассу. И так получилось, что новая квартира тети Насти оказалась рядом с маминой сберкассой. Сбылась ее давнишняя мечта — дружить с моей мамой отдельно. Павел Семенович тоже умер. А Анастасия Ивановна чуть ли не каждый день приходила к маме, пока и сама не померла.

...С какой-то ведь мыслью начал я описывать нашу квартиру... Да, вот с какой. Лев Толстой очень четко различал границу между детством и отрочеством. Отрочество его героя наступило лет в одиннадцать-двенадцать, когда он осознал, что, кроме него, есть другие люди. «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами...» Вот я и хочу сказать, что, если считать по этому признаку, по этому пониманию, то моя «эпоха отрочества» началась очень рано, чуть ли не с того младенческого проблеска сознания в бомбоубежище, когда я ощутил, что я на руках у мамы, а кругом много чужих людей. Нет, это не означает, что тогда же кончилось и детство, оно продолжалось, но отрочество меж тем постоянно как бы вклинивалось в него. И, чтобы узнать, что «существует другая жизнь людей», мне, маленькому мальчику, не надо было совершать далекую поездку, не надо было даже выходить из дома — достаточно было выглянуть на кухню или в коридор.

9

Для полноты картины должен добавить, что свой небольшой, несложный раскладик в отношениях с нашей квартирой, с нашими соседями образовался и у меня. Конечно же, они были «другие», конечно же, выражаясь толстовскими словами, «не имели ничего общего с нами», потому что мы, мой отец, мама и я, были л у ч ш е. У нас была самая большая комната. У нас, у единственных в квартире, стоял телефон, не общий, в коридоре, а у нас в комнате, и звонить все приходили к нам. Когда в квартире перегорали пробки, все сидели в темноте, ждали моего отца — только он умел починить их... Да мало ли! У нас была самая лучшая, самая красивая фамилия. Например, Валюшкина фамилия была Горюшкин, и так я ее естественно и воспринимал: Валюшка жил в маленькой комнатушке, вдвоем с тихой, безгласной матерью, без отца. И учился он не в нашей с Левкой нарядной школе на бугре, а в какой-то дальней, на задворках, возле Ваганьковского кладбища. Действительно: Валюшка-Горюшка, как говорила ласковая тетя Соня... У тети Насти тоже была самая простецкая фамилия — Шумова, и она тоже казалась мне вполне соответствующей: тетя Настя — ш у м и т... Левкиной фамилии я не понимал, и вот ему-то, казалось бы, должен был завидовать. Ну, хотя бы потому, что были у него шахматы в грецком орехе, удивительная железная дорога... Но, во-первых, чувства зависти я был счастливо лишен вообще, а во-вторых, и орех и дорогу Левке выдавали крайне редко, и то со строгим условием — не выносить из комнаты. Так что играли мы все равно у меня — в кубики и коробки. Кроме того, Левку отдали в музыкальную школу, и после обычных уроков он плелся туда с болтающейся на тесемках нотной папкой и дома часами долбил на пианино что-то однообразное, скучное... Все это давало мне основание ощущать свое превосходство. Нет, разумеется, я не говорил своим товарищам: «А у нас самая большая комната, ага!» или «А у нас телефон, ага!» — и даже наверняка не думал об этом, просто вот сейчас, вспоминая те времена и размышляя заодно, как формируется характер человека, от каких под-

час напрочь забытых мелочей, от какого на нынешний взгляд ничтожного вздора зависят, оказывается, последующие важные, укоренившиеся черты его личности, прихожу к выводу, что в детском моем подсознании все это, наверное, тогда уже закладывалось, вырабатывалось...

Однако внутриквартирное мое самоощущение не годилось ни для двора, ни для улицы. Это тоже были самостоятельные, далекие миры. Настолько отдельные, что встречаться где-нибудь на улице или в магазинной очереди с тетей Настей или с тетей Соней было странно: они в моем восприятии целиком принадлежали нашей квартире. Конечно, на Валюшку и Левку это не распространялось, они, как и я, естественно вписывались во двор, но во дворе мое отношение к ним претерпевало существенное изменение: я становился младше, слабее и, следовательно, зависимее... Да, вспомнил: ж у х а л а!.. (Или как правильнее: ж у х а л о?.. «Жухать» означало жульничать, «отжухать», «зажухать» — то есть хитростью выманить, нечестно присвоить что-нибудь.) Это мы однажды играли с Валюшкой в шахматы. Играли мы тогда, в детстве, конечно, своеобразно. Я видел, что моя «королева» стоит под боем, но уходить с этого места мне не хотелось, это нарушало мои планы. Валюшкина «тура» тоже была под боем, и я предложил: он не будет «есть» мою «королеву», а я не буду «есть» его «туру». Валюшка согласился. Мы сделали еще хода по два, и вдруг Валюшка преспокойно мою «королеву» съел. Я возмутился — мы ведь договорились. А он сказал, что мы договорились только на «тот ход», а не на все ходы.

— Нет, на все, — доказывал я. — Я-то твою туру не ем!

— А ты съешь, — разрешил он.

— Нечестно! Если бы мы только на один ход договорились, я бы так и сказал: на один!

— А если бы мы на все ходы договаривались, ты бы должен был сказать: на все...

— А ты, если собрался есть, должен был объявить «гарде». По правилам!

— Зачем это я буду объявлять, если ты сам видишь?

— Жухала!

— А ты проиграл.

— А ты жухала!

— А ты проиграл.

— И вовсе я не проиграл! Мата нет!

— Давай играть, и будет.

— Не хочу я с тобой играть, потому что ты жухала!

— Потому что боишься.

— Потому что жухала!

— Потому что боишься.

Так мы препирались, и меня, помню, выводило из себя уже не то, что Валюшка «зажухал» мою королеву, а то, что на все мои доводы у него был свой ответ, и в то время, как я горячился, он оставался невозмутим, непрошибаем.

— Ну, и иди отсюда! — нашел я последний довод.

— Подумаешь, и уйду. Играть не умеешь...

И с этим же невозмутимым и даже презрительно-насмешливым видом Валюшка вышел, не торопясь, из моей комнаты и пошел в свою. Тогда я крикнул вдогонку: «Баран!» Это было его дворовое прозвище. Не знаю, откуда оно пошло, — от фамилии не могло, и никакого внешнего сходства не было, — но на того, кто обзывал его так, Валюшка кидался, не помня себя. Может быть, как раз нелепость, необъяснимость прозвища его и бесила. Вот и сейчас он ринулся обратно по коридору, но я успел захлопнуть и запереть дверь. Валюшка пнул в дверь ногой и ушел. Так. Его самоуверенность, его столь раздражавшую меня невозмутимость я пробил, значит, я победил... Но странно: когда я остался один, я снова начал чувствовать постепенно нарастающее возмущение и снова тем, что Валюшка все-таки «зажухал», именно нагло «зажухал» мою королеву. И в этом я его не убедил. Прав, разумеется, был я, но понимал, что противник мой ушел с убеждением, что прав он. Но прав-то был я!.. Что-то надо было сделать, как-то продолжить спор. Но не подкрадываться же к его двери, чтобы крикнуть что-то обидное и тотчас убегать в свою

комнату. Это не солидно, надо как-то поубедительнее. Я сообразил. У меня нашелся маленький чистый блокнотик, и весь его я исписал и изрисовал. Не помню, конечно, что я тогда сочинил, помню только, что от начала до конца сквозило там слово «жухала», а под конец я изобрел даже — «Всемирный Жухала». Текст перемежался рисунками: «Детство Жухалы», «Школьные годы...» и т. д. На последних же страничках я изобразил целую серию памятников «Всемирному Жухале» — во всех крупнейших городах и столицах мира. Жестокость идеи, пришедшей мне по ходу моей работы, признаюсь, заключалась в том, что на все постаменты — и в Риме, и в Париже, и в Лондоне, и «на его родине», на Пресне, — я водружал баранов. В различных видах: то в фас, то в профиль, то рисовал нашего деревенского Борьку, то величественного горного, которого я видел в зоопарке. (Кстати, на тогдашних, на старых воротах зоопарка среди других гипсовых зверей стоял и баран — не он ли меня и надоумил?..) Исчерпавшись, я обернул блокнотик чистым листом бумаги, заклеил и надписал невинно: В. Горюшкину. Потом прокрался тихонько по коридору и сунул блокнотик в наш общий почтовый ящик... Извлекла его тетя Соня. Но вручила не В. Горюшкину, а вечером тете Марусе. Не знаю — могла и полюбопытствовать предварительно... На кухне же состоялось обсуждение. Я, сидя в комнате, слышал. «Да он это, конечно же, это он! — восхищенно журчала тетя Соня. (Про меня.) — Это же его стиль!» (Хотя, господи, какой-такой мог у меня быть «стиль»?) «Это ты написал?» — спросила мама, придя с кухни. «Нет», — сказал я хмуро. Я не боялся, что «заругают», я считал, что родителям вмешиваться в такие дела незачем. Мама поняла и больше не спрашивала... Ответного послания Валюшка сочинять не стал. На другой день, когда я вышел во двор и остановился выжидательно в сторонке от ребят, Валюшка отделился, подошел и врезал мне по шее. (Можно считать, это был самый первый мой гонорар.) Я принял это как должное: я свой выпад сделал, свой удар нанес, теперь была его очередь. Я только изобразил на лице этакое гордое, одинокое и непонятое страдание за правду: королеву-то он все-таки «зажухал»! Валюшка правильно истолковал мое выражение и собрался врезать еще. «Будет, будет!» — примирительно сказал подошедший Левка. И снова можно было играть вместе...

Дворовое воспитание было жестким и четким. Во дворе не имело значения, какие отметки ты получаешь в школе, кто у тебя отец и есть ли он вообще. Здесь уважались твоя собственная сила, ловкость, быстрота, меткость, умение водить мяч, стоять в воротах. Проверялось все это в играх: в «козла», в «отмерного», в чехарду, футбол, казаки-разбойники. И тут выяснялось, что вовсе ты не лучший и вовсе не первый, что есть мальчишки, которые бегают быстрей, прыгают дальше, в футбол играют лучше. Но если ты и не обладал достаточной ловкостью и быстротой, то тебя могли ценить, например, за умение пересказывать книги о разных приключениях. Мой авторитет во дворе был именно такого рода, и, не скрою, я чувствовал какое-то упоение, какую-то особенную свою власть, когда вокруг меня где-нибудь в укромном уголке собирались ребята, среди которых были и постарше меня, и я излагал им про Всадника без головы, про Капитана Немо, Следопыта и Зверобоя и даже рассказывал русские народные сказки. Не те, разумеется, где Топтыгин и Кумушка Лиса, но где жадный поп, простоватый барин, находчивый солдат и обязательно хитрый, но справедливый мужик. И еще в такие минуты я испытывал к своим слушателям некую благодарность — стало быть, не одинок я, не «придурочный» какой-то в своей любви к книгам! (Впоследствии, в Сибири, мой новообретенный друг, из бывших зеков и тоже москвич, заметит мне, что я, с моей памятью на прочитанное, точно не пропал бы и среди уголовников, в лагере. Там такие рассказчики тоже, оказывается, уважались...)

Кроме н а ш е г о двора, был двор с о с е д н и й. Отношения с ним складывались, в общем-то, именно соседские: иногда мы враждовали, потом мирились и объединялись для общих игр. А дальше начинались ч у ж и е дворы. Заходить в них, особенно поодиночке, бывало рискованно. Помню, позвонила однажды с работы мама и попросила принести ей деньги. Объяснила, что лежат они в ящичке буфета, под устилающей ящик газетой, что я и без нее, конечно, знал. Деньги были большие —

тогдашних сто рублей. Я положил их в карман пальто, а для верности сунул в карман руку и зажал деньги в кулаке. Мамина работа была за трамвайной линией. Можно было пройти, огибая дома, по улице, но я шел напрямик, «по быстрянке», дворами. Мне оставалось миновать последний двор, и вот там меня обступило несколько ребят. Незнакомых. В таких случаях вначале всегда происходит взаимное «оттягивание», то есть диалог, который теперь пересказывать было бы смешно. Что-то вроде: «Парчушка», «От парчушки слышу», «Канай», «Канал бы я, только очередь твоя» и т. д. Ну, а далее, как получится. Драки не возникло, не из-за чего было серьезно драться, но началось — пихание. Тебя пихнут, и ты пихнешь. Тебя посильней, и ты посильней. Тебя плечом, и ты плечом... Не знаю, чем бы все это закончилось, попихались бы, может быть, и разошлись, но ребят заинтересовало, почему я даже в такой ситуации все не вынимаю из кармана руку. Кто-то из них, пошустрей, сам начал ее вытаскивать, я сопротивлялся. Я и сейчас вижу: зимний вечер, ранние сумерки, в некоторых окнах уже зажглись огни, и мы возимся в темном дворе, на утоптанном скользком снегу. Мимо шли прохожие, не приглядываясь, не обращая особенного внимания на нашу молчаливо пыхтящую, безобидную с виду компанию — мало ли какие у ребятни свои игры... В конце концов я потерял равновесие и упал, по-прежнему держа руку в кармане. Некоторое время ребята еще пытались выдернуть ее — бесполезно: изнутри я вцепился в свой карман намертво да еще повернулся так, что рука оказалась подо мной. Они стояли вокруг, не зная, что делать дальше: даже если бы мы дрались, существовало твердое правило — «лежачего не бить», а мы тем более и не дрались. «Вставай», — сказал наконец главный среди них. Я его приметил: он не толкался и не старался вместе с другими выдирать мою руку. Я продолжал лежать — так было надежнее. «Вставай, не бе, — повторил он и прибавил как окончательный довод: — Я — Кремень». Он наклонился, протянул мне руку, я ухватился за его руку и встал. Получилось, что мы как бы обмениваемся рукопожатием. «Запомни: я — Кремень», — еще раз сказал этот мальчик, прямо глядя на меня. Ребята расступились, и я пошел... На мамину работу я постарался войти как ни в чем не бывало, но что-то, видимо, в лице моем сохранялось, какое-то напряжение, след борьбы, потому что мама, беря деньги, вдруг вгляделась и спросила: «Что с тобой?». Я молчал. «Скажи мне, что случилось?!». Я молчал. «Ну, почему ты не хочешь сказать, ведь я вижу, что-то произошло!» — встревоженно воскликнула мама, и тогда я заплакал... Нет, во мне не было пережитого страха, что отнимут деньги, — ребята эти были такие же, как я, пацаны лет по десяти, не хулиганы, и в самом деле интересовала их только рука, непонятно и упрямо засунутая в карман, — и унижения поражения я не испытал, но когда вот так, впрямую, сталкиваются два столь разных мира: твой самостоятельный, суровый, взрослый мир двора и твой же, еще детский, ласковый, заботливый мир дома — то что-то в таких случаях в тебе происходит... в общем, верх обычно одерживает домашний мир, побеждает тебя, такого взрослого, обволакивает участием, и вдруг, помимо воли, расслабляешься и преисполняешься жалостью к себе, такому, оказывается, еще маленькому...

А с Кремнем мы, действительно, как-то вскоре после того встретились, на нейтральной территории, один на один, узнали друг друга, заговорили и подружились. Его звали Толик Деркач. Мы были ровесники. Прозвище Кремень ему дали за его твердость — он всегда исполнял то, что намечал и обещал. В девятом классе он перешел в нашу школу, как раз в наш класс, и часто приходил ко мне домой — я помогал ему по математике. Математика была ему очень нужна, он уже тогда занимался в школе планеристов, уже летал и собирался стать военным летчиком, как его отец. И я вспомнил сейчас, куда девались очки из нижнего ящика нашего шкафа, — я подарил их Толику, в самом деле уверовав тогда, что они летные... После школы я потерял его из виду и не могу сказать, стал ли он летчиком. Конечно, я мог бы написать, что верю в это, но я только надеюсь, потому что знаю теперь, что такие люди, как он — очень твердые, несгибаемые и прямые, — самые уязвимые из всех...

О московских дворах тех времен, 40-х — начала 50-х годов, написано немало, написано хорошо, ностальгически, и добавлять что-то в та-

ком же духе — нет смысла. Скажу только, что когда читаешь такие повести, то под законной любовью и грустью или рядом с ними обязательно чувствуешь еще отзвук былого, темного, детского страха перед двором. Перед шпаной, хулиганами, урками, финками... Или мне это кажется? Но нет, обязательно там какая-нибудь страшноватая компания или хулиган-одиночка, злобный, коварный, жестокий, обижающий маленьких и слабых, вымогающий у них деньги и т. д. Не знаю, может быть, мне повезло с двором, но во мне такого страха не осталось, хотя и жил в самом сердце Пресни, прославленной своей шпаной (соперничала по Москве с нами только Марьина роща), хотя, бывало, и поколачивали меня — в основном потому, что рано оторвался от своего двора и часто пускался исследовать окрестности в одиночестве. Но мир двора запомнился мне, повторяю, без страха. Был он жестким, но не жестоким. Всей «кодлой» одного не били. «Стыкались», если доводилось, всегда честно — один на один... Было, конечно, и в нашем доме несколько ребят гораздо старше нас — они жили своей, далекой от нас, загадочной жизнью. Мы их знали, знали, что побывали они в к о л о н и и. Если в колонии, могу сообразить я сейчас, значит, им не исполнилось и по семнадцати, но тогда они казались нам очень взрослыми. Они носили кепки-восьмиклинки, длинные прямые пиджаки, сапоги и обязательно белое кашне, обмотанное вокруг шеи, — такая была у них тогда мода. Нас, мельтешащих во дворе, они не только не трогали, но вроде бы и не замечали, однако ореол их силы сам собою окружал и нас — возле них мы жили в безопасности, как маленькие птички рядом с гнездами больших хищных птиц. Их имена мы использовали, выясняя отношения с пацанами из других дворов: «А ты Лапшу знаешь? А ты Кольку Свиста знаешь?!.» — давая тем самым понять, что Лапша и Свист в случае чего не замедлят явиться на твою защиту... В общем, мы взирали на этих ребят с почтением, заведомо наделяя их отвагой и бесстрашием, необходимыми для их таинственных дел. И если бы — думаю я сейчас — какие-то другие, более романтические времена... В студенчестве я начал в летние каникулы ходить на Трехгорку — работал там грузчиком. Как войдешь на территорию комбината, слева от проходной, на торцовой стене фабрики висела большая мемориальная доска — с именами погибших на пресненских баррикадах в 1905 году. Я все как-то невнимательно пробегал мимо этой доски, но однажды вгляделся, сличил даты рождения и гибели и увидел, что большинству тех героев было по пятнадцать — шестнадцать лет. Это были пресненские Гаврош, все та же пресненская наша шпана.

10

Улица была нейтральнее, безопаснее дворов, и уличные впечатления и воспитание были совершенно другого рода. Во дворе приходилось постоянно определять себя, отстаивать, отспаривать, кричать, «глотничать» — на улице можно было забыть о себе и раствориться. Например, в очереди. В доме напротив помещался продовольственный магазин. Этот дом, единственный среди прочих «наших домов», был оштукатурен, поэтому магазин назывался «Белый», он и сейчас, я знаю, называется так — «Белый магазин». По утрам я ходил туда за хлебом. Это было моей домашней обязанностью. Не помню, какие годы это были и были ли тогда карточки. Кажется, еще были, потому что эти бледно-розовые и бледно-зеленые квадратики и как их отстригают ножницами я запомнил. Не то чтоб отчетливо, но так, смутно. Задолго до открытия, в предрассветных сумерках перед входом выстраивалась очередь. Толклись и мы, пацаны. Очередь мы никогда не занимали. Когда изнутри лязгал длинный железный крюк и отворялась дверь, при входе, как бы твердо ни держалась очередь, неизбежно образовывались завихрение, свалка. Вот в этот момент и надо было кидаться в толпу, подныривать под локти, проскальзывать чуть ли не под ногами, вклиниваться между телами, которые, цепляясь и вращаясь, как шестеренки, сами проталкивали тебя дальше и вперед. А очутившись внутри, бегом в отдел, к прилавку, и для верности ухватиться еще за идущий вдоль него стальной поручень... Это называлось — «протыриться». И каждый раз так бывал горд, что «протырился»! (Думаю теперь, что взрослые все-таки

жалели нас тогда, щадили в этой давке.) А вот самого хлеба, и как он выглядел, и сколько его давали, и о с о б е н н о г о вкуса его — я не помню...

Здесь, вижу, следовало бы объясниться. Ведь в большинстве воспоминаний, подобных моему, — о военном и послевоенном детстве — обязательно читаешь о скудной еде, постоянном недоедании, даже о голоде. Конечно же, было так. А я позволяю себе писать, что в детском саду — в любом случае, значит, не позднее 45-го года, потому что в 46-м я пошел в первый класс, — да, что в детском саду томился над нетронутой тарелкой и что не помню, каким был хлеб. То есть х л е б того времени, про который написано столько драматических и проникновенных страниц. Про хлеб, «нечаянно съеденный» по дороге из магазина, или, напротив, про отрываемый от себя хлеб. Матерью — ради голодных детей, детьми — ради больной матери. Наконец, про потерянные хлебные карточки... Кстати, и вверенные мне мамой карточки я ни разу не терял. И — как сам помню, так и пишу. Мои отец и мать были обыкновенные, рядовые служащие, так что жили мы не лучше других. Жили, как все. И уж, наверное, проблема, как прокормиться, перед родителями стояла, и, уж конечно, «отрывали от себя» ради меня. Есть фотография отца тех лет: у него вообще было худощавое лицо, а тут совсем дошел, щеки ввалились. Впоследствии он рассказывал, как ездил в нашу деревню за картошкой, хотелось увезти побольше, набрал целый мешок, санок не было, тащил его на себе семь верст до станции зимой. Последние два километра дорога шла открытым полем, ее перемело, лезть пришлось, как по целине. И где-то неподалеку от станции отец свалился под мешком, лежал без сил в снегу и думал какое-то время, что не встанет... Вот поздний этот рассказ помню, а привезенную отцом картошку — нет... Может, будь я тогда постарше, запомнил бы? Не знаю, вряд ли. Думаю, что причина моего беспамятства заключается в ином, в том, что долгое время, и в войну, и после войны, и в детстве, и в отрочестве, я вообще ел чрезвычайно мало — «плохо», как говорили, ел — хватало мне даже тогдашней скромной еды, и голода я никогда не ощущал. Выше я писал, что чувства мои дремали, дремал, видимо, и организм. Еще я, как, впрочем, все, наверное, дети, был консервативен, за те несколько ранних лет что жил у бабушки с дедушкой, привык к деревенской пище и свободе есть, когда захочу, довольствовался иногда целый день разной травой из-под ног, а вечером, набегавшись, кружкой козьего молока и горбушкой хлеба. Поэтому особенно «плохо» ел в городе. Мяса вообще не мог переносить, лет до восемнадцати не воспринимал ни в каком виде, от запаха котлеты меня мутило. Естественный, как я теперь понимаю, рос человек. Но представляю, как выводил я из себя, как раздражал воспитателей в том же детском саду, как расстраивались родители. В то в р е м я... А голод или по крайней мере постоянное желание есть я впервые ощутил в Сибири, уже в конце пятидесятых, когда сорвался туда после школы, зачислился на первых порах учеником плотника, получал в месяц как ученик триста — теперешние тридцать — рублей, делал же все: копал землю, пилил бревна, штабелевал доски, разгружал пришедшие со стройматериалами платформы. Тогда и начал есть мясо. И не то вовсе, что я уехал один так далеко от дома, и не то, что занимаюсь по-настоящему тяжелой физической работой и живу в вагоне среди вербованных, — не это было для меня знаком, свидетельством моего повзросления, а то, что превозмог свое давнее отвращение и отважился съесть в столовой гуляш с макаронами... Однако денег на столовую хватало ненадолго, и вот вкус сибирского черного хлеба, с водой и солью, помню очень хорошо...

И еще. Разговорился я тут как-то со сверстником, тоже москвичом, принялись вспоминать детство — и он поднимался спозаранку за хлебом, и он, оказывается, «протыривался», — но главное, увидел я, как на лице моего собеседника по мере воспоминаний о тех утренних сражениях за хлеб стало проступать выражение этакой суровости, значительности. «Ты что — может, считаешь, что у нас было трудное детство?» — спросил я. «А что же — счастливое, что ли?» Я засмеялся: «Да уж не говоришь ли ты своим детям: «Вот я в ваши годы...»?!» «И говорю... А что? Живут теперь без забот, на всем готовом», — серьезно ответил он. Я тогда задумался — чем это объяснить? Может быть, жизнь моего знакомого сложилась не совсем так, как он хотел, и, разбираясь в причинах теперешних своих неудач и несчастий, он перенес их туда, уверил себя, что причины там, в его «труд-

ном детстве»?.. А может, это просто потребность известного возраста — поучать, а поучая, ставить себя в пример? И ему, невоевавшему и даже не успевшему постоять у станка на подставленном под ноги снарядном ящике, тоже все-таки хочется выглядеть повесомее в глазах следующего поколения?.. «Вот парадокс,— думал я,— росли вроде бы в «самой счастливой стране», и читали об этом в книжках, у того же Гайдара, и сами писали в тетрадках, и повторяли хором: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — а сейчас, кого ни послушаешь, кого ни почитаешь из сверстников — все, как один, с детством «трудным». Потому что он не одинок, мой знакомый,— и от других людей моего возраста я сколько раз слышал приблизительно то же. И мне кажется, что пошла уже тенденция, особенно в литературе, образовался некий трафарет, началось даже что-то вроде моды — на «трудное детство». Чем труднее, тем подлиннее, тем ценнее, что ли?.. И если детство у тебя самое обычное, нормальное, то и не выступай — никому это не интересно. А в «счастливом детстве» — вообще что-то недостойное, что-то даже нечестное по нашим временам... «И неужели это закономерность,— продолжал размышлять я,— неужели и наши дети, которые «живут сейчас на всем готовом», тоже когда-нибудь начнут искать, что им вспомнить с суровым и значительным выражением лица?! И что вспомнят они?..» Не знаю. Лично я не считаю свое детство «трудным». Нет, оно было, конечно, и трудным, и тяжелым, и, может быть, трагическим, особенно отрочество — каким оно бывает, я уверен, у всех во все времена — но в ином, в извечно мучительном деле внутреннего становления, а не во внешней скудости бытия...

Что же до тех очередей — возвращаюсь,— то стоять в них мне тогда даже нравилось. Особенно за мукой. Муку продавали в том же «Белом магазине», но со двора, через небольшое окошечко в железной двери, потому что сам магазин не вместил бы такую громадную толпу. Двор тот был через улицу, прямо напротив нашего окна, и сверху отлично была видна очередь — как она сначала шла, лепилась вдоль стен, по периметру двора, а потом закручивалась внутрь себя, стеснялась с каждым новым витком, образовывала к центру все меньшие и меньшие кольца, так что человек, стоящий в ее хвосте, помещался в самой середине двора. И очередь, продвигаясь к окошечку, как бы раскручивалась... должна была бы раскручиваться, если бы в центр не втягивались все новые и новые люди. Они, конечно, не стояли спокойно, отходили в сторонку поразмяться на просторе, рыскали вдоль очереди в поисках знакомых — поговорить, пробивались в голову разведать, хватит ли, и просто поглазеть, как дают,— в общем, мельтешили, отчего эта людская спираль не была четкой, выглядела размытой и напоминала мне, наблюдающему сверху, какую-нибудь космическую туманность из книги Воронцова-Вельяминова «Вселенная». Книга была в суперобложке с поражающим воображение рисунком: человек, висящий над бездной, над ним округлый краешек Земли, и он изо всех сил цепляется за ее шероховатую поверхность. Человек тот висел не мешком, все тело его было напряжено, ноги застыли в размахе, как у бегуна,— впечатление было, что он сорвался откуда-то, как метеорит, и несся сквозь пространство, сквозь такую же пустоту, что под ним, с далекими звездами, и наконец повезло, пролетал мимо, схватился за Землю одними только замершими в страшном усилии пальцами, и вот пытается теперь притянуться к ней понадежнее, спастись от бездны... (Думаю, что и отца моего заинтриговал этот жутковатый рисунок, когда он покупал книгу.) Еще в той книге было предисловие с категорическим заголовком: «Не читайте этого!» Разумеется, я тут же прочел. В конце его автор признавался, что именно на такое, обратное воздействие своего заголовка и рассчитывал. Я оценил эту невинную уловку и обманутым себя не почувствовал. Но про человека на обложке в предисловии не говорилось, не нашел я и в книге, хотя добросовестно пролистал ее скучные для меня, слишком специальные страницы. Зато увидел и запомнил множество фотографий вот с такими, как очередь во дворе, плоскими витыми туманностями...

Однако особенно-то долго наблюдать из окна, из тепла не приходилось, потому что в любой момент какие-нибудь энтузиасты могли затеять перекличку — они шли вдоль очереди, которая с их продвижением мгновенно утрачивала свою размытость и организовывалась в стройный

ряд, они выкликивали номер за номером, и если кто-то, скажем, не отзывался, он тут же безжалостно лишался места в очереди, а его номер передавался следующему. Свой номер имелся и у меня, записанный на ладони чернильным карандашом, а на другой ладони — другой, подальше, туда перекличка пока не доходила. Внутри огромной очереди по мере стояния образовывались как бы отдельные сообщества, и мне было лестно, что меня, пацана, в этом взрослом сообществе признают как равного. Потому что у меня, как и у них, был номер... Тут возникал какой-то азарт — достояться, взять этот пакет муки, оттаранить его домой, вернуться, встать на другой свой номер, достояться еще. Мне это, повторяю, нравилось, было весело, походило на всеобщий праздник, но и в самом деле — муку давали тогда только в честь больших праздников, значит, мама да и вся наша квартира будет печь пироги... И еще — сколько в той очереди можно было увидеть разных людей! Помню, например, был один человек, внешне как две капли воды похожий на Ленина. Он, конечно, и сам это знал, он это еще и подчеркивал — у него был такой же пиджачок с жилетом и галстуком в крапинку, такая же кепка, бородка и усы. Вокруг него собирались, особенно мы, ребята, стояли и глазели в каком-то немом остолбенении, не зная, как же отнестись к такому буквальному сходству, а он вдобавок заговаривал с нами, глядя на нас с проницательным, лукавым и добрым прищуром и повергая тем самым в еще большее смущение. Вот только не помню, картавил он или нет, и не могу сказать, так ли похож был лоб, потому что видел этого человека всегда в кепке... Жил он, наверное, где-то в наших домах, потом я встречал его не только в очереди за мукой, но и просто на улице. Последний раз встретил его, совсем старенького, одевался он так же, но уже не походил столь разительно на Ленина. А может, и походил — ведь мы не знаем, каким бы стал Владимир Ильич, если бы дожил до такого возраста. И сам этот человек не знал, привычно продолжая следовать классическому, всем известному облику...

Весною улица и двор соединялись, становились как-то ближе друг другу, даже буквально, напрямую: открывали запертое на зиму летнее парадное... Да, тогда, в детстве, были три главные приметы весны. Не листики, не солнышко, не цветочки, это все пришло потом, в сентиментальной юности, а тогда, во-первых — запахи. Вернее, запах. Лишь только сходил снег, ненадолго возникал запах влажной, отмякшей земли, запах бедного, сбитого, не дающего даже травы городского грунта, какой-то гнилостный, кисловатый, так созвучный с запахом помойки, которая также оживала в углу двора, в сарайчике, грубо сшитом из мятых некрашеных железных листов. Кто-то из наших современных писателей остроумно определил детский возраст как «помоечный». И действительно: сразу после снега, в той, еще не просохшей, еще не смытой дворниками из шлангов весенней грязи столько можно было всего, весьма ценного, найти! Тяжелую гайку, кусок толстой проволоки, годящийся на клюшку или на крюк, чтобы гонять колесо, шарик от подшипника, а если повезет, то и сам целехонький подшипник, который воспринимался тогда не иначе как «подшибник» и который можно было затем расколотить, чтобы извлечь те же шарики... Тогда же — и это вторая примета — начиналась домашняя борьба за то, чтобы выходить гулять раздетым, то есть без пальто. Первый вышедший без пальто имел право смотреть на прочих, в пальто, с превосходством. Так, и в общем-то закономерно, совпадало, что первыми выходили раздетыми дворовые лидеры. Их пример — «Вон Витька Гладышев уже без пальто!» — на мою маму не действовал, скорей наоборот. Но за ними начинали выходить раздетыми и другие мальчишки, и тут борьба велась уже не за то, чтоб оказаться в числе первых, но хотя бы чтоб не быть среди последних, чтоб еще иметь возможность взглянуть на кого-то с чувством превосходства. Мама об этих тонкостях дворового самоутверждения, конечно, не подозревала, ею был определен твердый критерий — шестнадцать градусов. Почему именно шестнадцать, а, скажем, не семнадцать? Не помню: может быть, поначалу говорилось и о семнадцати, но сам же я один градус отвоевал. «Вот будет шестнадцать градусов — тогда пожалуйста!» — повторяла мама в ответ на очередной мой довод, что «даже Фимка со второго этажа — и то!»... А однажды, вольно прыгая вниз по лестнице — наконец-то! без пальто! — вдруг замечал на пер-

вом этаже свет в той стороне, куда лестница обычно уводила в темноту. И сразу поворачивал туда. Летнее парадное открыли! Это еще больше добавляло свободы, и это означало окончательное наступление весны... Интересно: «парадное» понималось тогда как любой подъезд, и черный ход со двора, которым пользовались зимой — там еще висела железная доска со списком жильцов и с нашей фамилией тоже, — также звался «парадным». Зимним парадным... А вообще-то не «парадное», а «паратное» — так, как слышалось в детстве. И хотя ходил уже в школу и знал, как проверяется написание согласных: «парад — парады» — все равно эти «парады» существовали абстрактно, не выходили за пределы упражнений из учебника, и подъезды наши по-прежнему, и долго еще, оставались «паратными». Школа, как и наша комната, и квартира, и двор, тоже была отдельным, самим в себе миром.

11

...Взять хотя бы этого злосчастного Павлика Морозова, чей поступок, чей, вернее, возможный пример стал вызывать теперь в нашей общественности столько нареканий. Кстати, не знаю, как в других районах, а у нас на Пресне Павлик очень напоминал о себе: был у нас детский парк имени Павлика Морозова, с памятником ему (если не путаю и не принимаю за памятник обычного гипсового пионера), был районный Дом пионеров, куда бегали мы заниматься в разных кружках — тоже имени Павлика, имелась еще улица, и сама наша пионерская дружина, кажется, была его имени. И, конечно, в школе нам рассказывали про Павлика, и книгу о нем мы читали... И, может быть, — не помню, но уж наверняка — нас спрашивали, не каждого вот так, в отдельности: «Готов ли ты...», но обращаясь ко всему классу, в том еще возрасте, когда спрашивают всех разом: «Готовы ли вы поступить, как Павлик?», и все дружно, послушно и не задумываясь отвечают: «Готовы!». Однако ручаюсь, что конкретный смысл этого ответа уже тогда был для нас, детей, очень туманен. Содержал он в себе нечто абстрактное: «Да, готовы поступить так же, по-геройски...», — по-геройски вообще, а что именно подразумевалось под этим геройством, никто из нас, думаю, не представлял. Уж больно далеко уже тогда, в конце сороковых, обретались для нас эти злобные кулаки, где-то еще там, в древности, до революции, которая их всех, как известно, победила, так что никак не связывались они с нашим временем и тем более — помыслить даже было невозможно! — с нашими собственными родителями... (Кстати, вот вопрос: не противоречим ли мы сейчас сами себе? С одной стороны, твердим о ничтожности воспитательного воздействия школы, а с другой — все опасаемся заразительности примера бедного Павлика?..) Но это я так, к слову, — об отдельности школьного мира. Я пока не о школе. Я о родителях.

Что я о них знал? Об их прошлом, об их собственном детстве, об их жизни до меня? Конкретно — почти ничего, как, впрочем, не знаю и до сих пор. У нас не водилось обыкновения собираться семейно, делиться воспоминаниями, «преданиями» — разве что в редких родственных застольях, разве что рассказывались какие-нибудь отдельные забавные случаи... — да и не было никаких знаменательных преданий, как и в огромном количестве семей, похожих на нашу, не было истории семьи... Но я, помню, и сам не интересовался, никогда ни о чем не расспрашивал своих родителей, не делал ничего, чтобы начать эту историю. Была данность, факт, и этого было довольно: родители... Что связывалось для меня тогда с этим словом? Любил ли я их? Завидую тем, кому уже в раннем детстве было дано ощутить свою любовь к отцу, к матери, осознать ее именно как любовь, прожить с нею, потом вспомнить с отрадою и с печалью... Вот Бунин в «Жизни Арсеньева» пишет: «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни». И далее: «...я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней...» О ранней любви к матери говорит и Толстой в своем «Детстве». Правда, Толстой тут же высказывает догадку о «слезах воображения», сквозь которые мы стараемся вспомнить, воскресить «черты любимого существа». Что же, сквозь эти поздние «слезы воображения» мог бы теперь и я сказать о своей любви, но — мне хочется восстановить, что тогда, как именно тогда я чувствовал!.. Уж, наверное, случались и в моем детстве непонятные дяди и тети, с их непонятным любопытством, которые начинали вдруг приставать: «Ты папу любишь?» И я кивал: «Люблю». «А маму?» «И маму». «А кого...— с лукавой улыбкой взглядывая на присутствующих тут же папу и маму, — кого ты любишь больше, папу или маму?» И я, уже мрачнея слегка от этой назойливости, догадывался: «Одинаково...» И еще больше мрачнел, подмечая очередную, адресованную родителям поверх меня улыбку дяди или тети. Ведь дети, даже самые маленькие, гораздо взрослей, чем их обыкновенно воспринимают. И я, наверное, уже тогда понимал или, во всяком случае, чувствовал, что добиваться от меня этих «люблю» — все равно, что подводить к чему-то самоочевидному, все равно, что, допустим, заставлять меня говорить: «Я люблю дышать воздухом». Но любовь ли это?..

Помню, был такой возраст, когда я очень радовался возвращению отца с работы. «Папа пришел! Ура, ура, папа пришел!» — кричал я, кидаясь к двери, и повисал на шее склонившегося ко мне отца. Повторялось ежевечерне. Радовался и отец, он-то безусловно любил меня. Но, с моей стороны, было ли это изъявлением любви? Наружно выглядело так, на деле же, подозреваю теперь, я радовался тогда восстановившемуся в доме и в моем сознании порядку. Да, вернувшийся домой отец включался в тот же порядок, что и сложенные в коробку кубики, составленные перед сном ботиночки... (И, кстати, вот те встречания отца — это единственное, что запомнилось мне из детства столь бурным выражением чувств. Обычно же в нашей семье приветствовалась сдержанность. Отец по натуре был добрым, чувствительным и, как после я понял, втайне очень ранимым человеком и, видимо, поэтому наружно выработал в себе черты сдержанности и даже суровости. Этой сдержанности учил он и меня, полагая ее одним из пунктов мужского воспитания...) Так что, если говорить о моих тогдашних чувствах к родителям, надо, наверное, перестать задаваться вопросом, что такое детская любовь и вообще возможна ли она, и говорить о привязанности. В самом деле: та «любовь» вызывает теперь сомнения уже тем, что была «одинакова». А вот привязанность была разной. И если говорить о привязанности, то, конечно же, более всего, больше, чем к отцу и матери, в детстве я был привязан к бабушке и деду. Где-то я читал, что, как только у вылупившихся цыплят открываются глаза, зрачки их срабатывают подобно объективу фотоаппарата, первый взгляд мгновенно и навсегда запечатлевает образ матери-курицы, и с этого момента цыплята неотступно следуют за ней. Известно также: если яйца высидела утка — бегают за уткой. Действительно, как привязанные... Думаю, что вот так же прозревает в какой-то момент и ребенок, открывается в нем душевное зрение, чтоб увидеть наконец окружающих его, любящих его и потянуться к ним, отозваться на их любовь уже более или менее осмысленно. Думаю, что случается это года в полтора-два. На мои два года, я уж говорил, пришлось как раз начало войны, меня отвезли в деревню, где я и потопал за бабушкой и дедушкой. Сохранилось воспоминание, не мое, но много раз мне пересказанное, как не хотел я уезжать, когда приехали за мной родители, как дичился их, забивался в углы, не шел на руки, как плакала тогда моя мама...

А любовь к родителям — это позднейшее. Настоящая любовь к родителям, я считаю, возможна только в созревшей душе, которая сама уже многое претерпевает, научается страдать, и сострадать, и чувствовать свою вину... Недавно я перечитывал их письма друг к другу. Разлучались они редко, всего несколько раз в жизни и ненадолго — когда отец раза два или три ездил лечиться в санаторий да еще однажды, когда он собрался наконец побывать в свой отпуск у себя на родине, в Белоруссии. Но писем осталась большая стопка — писали, значит, часто. Отец сообщал обстоятельно, как доехал, как устроился, как с питанием, какое назначили лечение, где источник, куда он ходит пить воду. И мама отвечала подробно — о домашних делах, и что у нее на работе, и от каких родных пришли письма, и что у них. Так, в общем, мелочи, быт. Но сейчас я вдруг понял, что́ за этой обстоятельностью — тут не сосредоточенность на мелочах, не поглощенность бытом, но тут мысль о том, кому пишешь. Любовь, забота. Чтобы он поменьше беспокоился о тебе... Мама и меня всегда просила писать подробнее. А я писал очень коротко. И редко. Особен-

но в юности. Это соответствовало моему пониманию мужественности и сдержанности. Я даже позволял себе поиронизировать над мамиными вопросами. Действительно, что такое: «Как ты устроился с питанием, с жильем, кто твои товарищи», — что это такое в сравнении с проклятыми вопросами, которыми я мучился тогда, в сравнении с вечностью, которую ощущал тогда в себе?.. Надо, однако, сказать, что и не мог я писать подробно, это бы значило написать, что «жилье» мое — вагон, теплушка, «питание» — черный хлеб с водой, а самый близкий мой «товарищ» — на десять лет старше меня, вчерашний зэк, убийца. Но все равно, вижу теперь — можно ведь было что-то и сочинить?..

Из тех писем родителей друг к другу понятно, что я опять где-то далеко, но обо мне они почти не вспоминают, так, разве что мелькнет коротко: «не пишет...» И меня, читающего эти письма много лет спустя и навсегда смирившегося за эти годы с сознанием своей вины, все-таки слегка задевало: что же они обо мне-то ничего не говорят, ну, прибавили бы что-нибудь, ну, хотя бы «как-то он там?». И снова понимал: обо мне молчат, потому что жалеют друг друга, не хотят расстраивать... Конечно же, я их расстраивал, и сколько раз! Причинял... Как у многих родителей, не получивших высшего образования, у них была мечта — дать его мне. На меня они возлагали свои надежды. И я их поначалу оправдывал: кончил школу с золотой медалью, с ходу поступил в институт. Но потом... Через полгода бросил институт, захотел в университет. Вместо университета завербовался в Сибирь. Поскитался по Сибири, спустя год вернулся, сдал, слава богу, экзамены в университет. На третьем (или на четвертом?) курсе затосковал, добился академического отпуска, кинулся опять в свои места, на Ангару, на Устье Илима. Приехал из Сибири, окончил университет с рекомендацией в аспирантуру — улетел надолго на Чукотку... В общем, меня и самого оторопь сейчас берет, оторопь и недоумение, как вспомню о тех метаниях, а представляю, каково было родителям. Теперь-то я понимаю. Впрочем, нет, и тогда, конечно, понимал, хорошо видел, как это все их огорчает, удручает, но что я мог с собой поделать? «Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!»... И это я сейчас недоумеваю, тогда же никакого сомнения не было, я твердо знал, верил, что есть некая, существующая специально для меня, специально, чтоб мной руководить, высшая сила, рассчитавшая наперед, и пусть я пока не могу постичь ее замысла, он обязательно в какой-то момент определится, обнаружится, на всю жизнь в неведении эта сила меня не оставит, надо только довериться ей... Но не родителям же было объяснять — про «высшую силу»? И я бормотал что-то невнятно, в принятой в те годы терминологии: «Ну... чтобы узнать жизнь...» — что и для меня самого звучало малоубедительно. Думаю, что им было бы, наверное, понятнее, проще, если б я вообще не подавал надежд. А я то подавал, то разрушал. То опять подавал... Или — если бы я каким-нибудь образом «сбился с пути», вышел бы из меня откровенный неудачник, «пропащий человек», и меня можно было бы жалеть. Родителям моим тогда, повторяю, было бы тяжелее, но проще. А так — я был здоров, самоуверен, самонадеян, сама мысль о жалости при взгляде на меня отметалась, а жалеть приходилось не меня, а по поводу меня: что я такой нецелеустремленный, разбрасываюсь, «сам не знаю, чего хочу»... Отец, наверное, так и умер — с этим сожалением. Мама жила на пятнадцать лет дольше, дождалась моих книг, но все равно я чувствовал: что-то в моих занятиях по-прежнему казалось ей шатким, сомнительным, ненадежным...

Да, любовь к родителям — это уже труд сознательный, это работа души: понять, точнее, проникнуть, что же такое люди, родившие, вскормившие тебя. Почувствовать их... Для меня толчком к такой работе была вина. Но откуда, отчего вина? Оттого, что не исполнил «сыновнего долга», был черствым, невнимательным сыном, занятым только собой, своими делами, своими, пусть и возвышенными, помыслами? Я разбирался, что такое «сыновний», а поскольку сам давно отец — заодно и что такое «родительский долг». И в какой-то момент понял, что и «родительский», и «сыновний долг» — это то, чего (простите за парадокс) быть вообще не должно! Как, впрочем, и всякого «долга». Истинно, ценно лишь то, что совершается из естественной, внутренней потребности, но не «по долгу». Вот я родил своих детей — не из обязанности дать им жизнь, а для себя, себе на радость. И ухаживать за ними, оберегать, пока они были маленькие, кормить, растить — тоже было не «в долг», но в радость. Как и сейчас, когда они уже большие, когда у них своя жизнь, свои мысли, свои устремления. Они для меня по-прежнему — детишки. Но не следует мне, сказал я себе, надеяться на какой-то всегдашний их отклик, на вечную их благодарность и внимание только за то, что я родил и выходил их. И если уж говорить тут о «долге», пусть они в свой черед родят своих детей, так же пусть любят их, заботятся о них — это и будет «долг» мне... То есть вот так мудро учел и весьма логично разрешил я в отношении к своим детям то, что мучило меня в отношениях с собственными родителями. Мучило и оставалось вопросом, потому что одно дело — ты, мудрствующий, все понимающий, вполне современный, с опытом своего «сдержанного» сыновства, а другое дело — они, твои родители, не обязанные до всего этого доходить, ибо сами всю жизнь были любящими детьми... И долг не долг, и куда бы ты со своими глобальными размышлениями, «разом о всем человечестве», ни заносился, а надо было просто побольше с ними делиться, объяснять им, рассказывать. Это же элементарно, и только это, оказывается, было и нужно. Думаю, надеюсь, что со временем это бы пришло, но — опоздало прийти... А еще я понял: каким бы чутким, внимательным, заботливым сыном я ни был, всегда при родителях, вина моя все равно никуда бы не делась — хотя бы из-за одного того, что они умерли. Вот тогда, я и говорю, — начинается труд по сообщению с ними, по возвращению их, и когда почувствуешь, что знаешь их и они тоже теперь знают и понимают тебя, когда ощутишь, что ты и они — одно, тогда вина уходит.

12

...Был еще только август, конец августа, я стоял в огороде, смотрел, как дед выкапывает морковь, складывает ее на траву возле дорожки. Поодаль, у своих грядок, лежали уже выдернутые свекла, лук. Овощи были — для нас, в Москву. За мной приехали родители. Никогда еще не уезжал я из деревни так рано. Но в этот год мне надо было в школу. В школу я, разумеется же, хотел. Не потому, что жаждал учиться, но школа разом переводила меня в иное, более взрослое состояние. Вот и брюки мне привезли настоящие, длинные и с карманами, в которые можно было — совсем по-взрослому — засовывать руки. Так, помню, не вынимая рук из карманов, я и ходил в те дни и так — хоть и неудобно было, конечно, — ухитрялся даже протискиваться сквозь частые колья дедовой загородки. Отец, заметив, очень смеялся... Но поразительно, как рядом с детскими, глупыми возникали серьезные, действительно взрослые ощущения. Я тогда впервые в жизни почувствовал, что такое необходимость, увидел ее не только в этом конкретном, сиюминутном облике — «надо в школу», — но, мне кажется, я точно почувствовал, что с этого момента буду подвластен ей уже всегда, всю жизнь... И оттого, что надо было уезжать и в непривычное время, я по-иному, с каким-то особенным вниманием смотрел вокруг, на все, что до тех пор не замечалось, потому что было неотделимо от меня: на наш дом, деревья в палисаднике, речку под бугром, ветлы по ее берегам. Ощутив все это отдельно от себя, я и себя, тоже, может, впервые в жизни, осознал — отдельно. Мне было грустно, но с грустью соседствовала еще некая суровость — суровость самоотречения...

Школа, в которой я начал учиться, была из светло-серого кирпича, с огромными окнами, возвышалась торжественно на горке, всходить к ней надо было по широкой лестнице, что придавало ей еще больше значительности... Свои первые впечатления, как и вообще первые годы учебы, я помню смутно. Полная женщина с пышными рыжими волосами объявила громко, что она наша учительница, что зовут ее Марина Альфонсовна. Затем поставила нас, как в детском саду, в пары и повела в школу, в класс. Мы чинно шли по просторному коридору. Как что-то очень естественное воспринял я запах свежей краски, он и дома у нас еще стоял... Марина Альфонсовна не успела еще довести нас до нашего клас-

са и — исчезла навсегда. То есть я знаю, что занималась она с нами целый год, но, кроме как в первые мгновения благоговейного вступления в школу, я ее не запомнил... И все остальное — тоже обрывками, мгновениями. Например, мне оказалось все равно, где сидеть. Помню, как все кидались, захватывали парты, кто поближе, кто подальше, кто у окна, а я стоял неподвижно, смотрел и сел самый последний на оставшееся незанятым место... Еще помню разрезанные пополам тетради — трудно, наверное, тогда было с тетрадями — и «палочки», которые мы в них писали. Самая первая моя отметка была «пять с минусом» — «минус» за то, что залез на поля. Я довольно равнодушно, как должное, воспринял пятерку, мы с мамой уже писали эти «палочки». Но было приятно, что рады родители. И я, конечно, не знал, не мог тогда даже предположить, что эта первая пятерка обратится в нечто путеводное, станет как бы моим обязательством — получать их во все дальнейшие десять лет... Но учиться было легко: я еще до школы умел бегло читать, а тут начали с букв, слогов. Я мог считать в уме, но послушно вместе с остальными раскладывал перед собой «палочки». Другие «палочки», счетные, их выстрогал мне отец... Вот только пение досаждало. Слух-то у меня был, и петь я в детстве любил — в деревне от бабушки научился многим ее песням, — но уроки пения в школе всегда вызывали у меня, да и сейчас, в воспоминании, вызывают тоску. Как входили мы в прохладный актовый зал, становились вокруг рояля, как преподавательница музыки — совершенно ее не помню — ударяла по клавишам и мы заводили: «У дороги чи-бис! У дороги чи-бис! Он кри-чит, волнуется, чу-дак! А скажите, чьи вы, а скажите, чьи вы...» Может, вспоминал я в эти минуты ироническую поговорку, которую любил повторять дед: «Рот дери, головой тряси — в хору песельник»? В общем, очень я не хотел, тяготился «драть рот» и «трясти головой». И кажется мне... — сколько нас мучили пением: два года? три? — и кажется мне, что все эти два-три года так и тянули мы одного этого «чибиса»...

Позже добавились история, география. Но ни один предмет не поразил меня так, как чистописание. Уже одно то, что допустили нас к нему не сразу... Целых полгода постигали мы искусство выведения палочек, крючочков, кружочков — чтобы созреть для чистописания, которым овладевали потом еще полтора года. У нас были тетради — не в линейку, а в частую косую клетку. Так они и различались: в прямую клетку — для арифметики, в косую — для письма. Нам выдали «Прописи» — недостижимый образец каллиграфии. Чья рука с таким невозможным совершенством начертала все эти буквы? Не обычная же, человеческая?.. Когда же мы сами принялись перерисовывать их, обнаружилось столько прежде сокрытых тонкостей! Каждая буква строго вписывалась в определенное количество клеток. Каждый элемент буквы также вписывался в надлежащую клетку. Надо было уловить, в какой точке — не выше и не ниже, не левее и не правее — начать завиток. Надо было уловить, где сделать нажим и где, постепенно ослабляя его, плавно перейти к волосяной линии. Где снова начинать нажим. Не говоря уж о том, что перо твое должно быть обязательно № 86... Спустя годы, повзрослев и вспоминая школу, я, естественно, отнесся иронически к тем урокам чистописания («бесполезная трата времени» и проч.), но теперь, разбираясь заново, вижу: что-то в них все-таки заключалось... Нет, не навык культурного письма закладывался — у меня сейчас такой, например, почерк, что на другой день с трудом понимаю записанное накануне. Но, может быть, это был род своеобразного эстетического воспитания? Хотя не думаю, что наши тогдашние педагоги вкладывали в те уроки именно такой смысл. (А какой вообще смысл они в них вкладывали?) Ненужных предметов было много, но в них была хоть в и д и м о с т ь полезности, а чистописание — это что-то особое, какая-то мистика, что-то вовсе отвлеченное от реальной жизни, в себе оно начиналось, на себе же и заканчивалось. Помню, однажды я вознамерился написать диктант — вот так, прорисовывая каждую букву. (По чистописанию у меня тоже были пятерки.) Разумеется, очень скоро я от всех отстал. Я возился с предложением, учительница диктовала уже другое, третье, я поднимал руку, просил повторить. Наконец, она подошла посмотреть: в чем дело? чего я так ковыряюсь? И, конечно, принялась хвалить, «ставить в пример», демонстрировать всем мою тетрадь. Вот, мол, как надо

писать, и все вы должны так стараться, я всегда повторю, если кто не успевает, и т. д. Учительница стала диктовать медленнее, мне же почему-то тут же захотелось бросить свою затею: ведь она была уже н а п е р е д оценена, ведь о ней уже все з н а л и! И в осуществлении ее уже была и с к у с с т в е н н о с т ь... В общем, чистописание — это загадка и до сих пор. Может, оно еще тогда, в детстве, подготавливало мысль об идеале, внушало ощущение идеала, невозможного в действительности? Хотел бы я сейчас взглянуть на ту «Пропись»...

Благодаря родителям сохранились все мои школьные табели и дневники, и я могу теперь видеть, что учился-то, оказывается, так себе. Весьма неровно. Получал вначале и тройки, и двойки и лишь в конце четверти, в конце года начинал «наверстывать», там косяками шли сплошные пятерки, и общая, итоговая тоже выходила «пять». Иные пятерки — сам после был учителем и могу судить — с явной натяжкой. В четвертях — 3, 4, 4, 5, экзамен — 5, годовая — 5. Я бы не поставил. Типичная четверка. Но если мы и до сих пор толкуем о «процентомании», то что ж говорить о тех звонких, победных годах? Все школы соревновались одна перед другой, щеголяли количеством отличников, медалистов, а наша вдобавок числилась в «образцово-показательных». Можно, конечно, долго теперь рассуждать, осуждать. Но это — с нынешним знанием. Меня интересует другое — я пытаюсь вспомнить, как мы сами, ученики, тогда к этому относились, как относился я, тот же «отличник»?.. Наверняка не сразу, но постепенно, классе в шестом или седьмом, стал ясен этот «механизм»: сначала ты пошалопайничаешь немного, подзапустишь, а потом «подтянешься», и учитель обязательно тебя «переспросит». Потому что у тебя д о л ж н ы быть «круглые пятерки». Не знаю, как другие отличники, а я воспринимал это с законным удовлетворением: я действительно начинал изо всех сил стараться, допоздна сидел над учебниками и действительно нагонял и все знал. Так что заключительная пятерка была естественной наградой за труд. Но возникало еще ощущение своей исключительности, может быть, не совсем осознанное. Может быть, даже напротив — бессознательно изгоняемое. Воспитывались-то в духе товарищества, дружбы, и обязательно «всем классом», в духе помощи отстающим, и была честная уверенность, что, если позанимаешься как следует с этим отстающим, он непременно будет учиться так же хорошо, как ты... И тем не менее как-то само собой происходило расслоение класса. Внешне не очень заметное, еще нечеткое, но реальное. Отличники в основном общались между собою, к ним старались прибиться прочие хорошие ученики, середняки держались друг друга, у двоечников тоже была своя компания. Существовали, впрочем, исключения. Помню, что моим лучшим приятелем долго был отъявленный второгодник, хулиган из соседнего двора Парфенов. Парфен. И сидели всегда за одной партой. Кого из нас больше тянуло друг к другу: его или меня?..

Вообще-то странно, конечно, заглядывать сейчас туда — вовсе неизвестную страну, где все непонятно, и обычаи, и язык можно постепенно, со временем начать узнавать, понимать, а собственное детство давно немо, с о в р е м е н е м оно еще безмолвнее, глуше, и не к кому обратиться, никто ничего теперь не объяснит... Есть люди счастливые, для них минувшее детство — это нечто законченное, бесспорное, и единственный вопрос, который такие люди задают о детстве: «А помнишь?..» «А помнишь?» — вопрошает один, «Помню!» — радостно отвечает другой, и все, и детство снова обозначено и исчерпано. Встречаю и я иногда, очень редко и случайно, свидетелей своего детства, и мы тоже заводим привычно: «А помнишь?..» — но вскоре эти вопросы — может, только для меня? — начинают звучать все беспомощнее, ненатуральнее и наконец вовсе иссякают, и, отрезвев, я вижу перед собой вдруг совсем незнакомого человека. Сейчас, такой, как есть, он для меня не загадка — значит он незнаком мне, т о г д а ш н е м у. Но, следовательно, и сам я, тогдашний, — нечто совершенно иное, чем теперь?..

Вот явная подчистка в табеле. За четвертый класс... Не знаю, существуют ли сейчас такие табели и в каком виде, но те, оказывается, были очень грозными. Сразу, как развернешь, — крупными буквами и жирным шрифтом: «УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ». После обязанностей буквами помельче, но тоже четко: «За потерю табеля учащийся подлежит наказа-

нию». На следующей страничке опять крупными буквами: «УКАЗАНИЯ». Внизу снова помельче: «О порядке ведения табеля». Пункт 6: «Никаких исправлений и помарок в табеле не допускается». Не знаю, вчитывался ли я тогда во все это и если да, то с каким чувством, ощущал ли я тогда такой же трепет, какой ощущаю сейчас?.. Но подтерто откровенно, в графе против иностранного языка. Неужели никто тогда не замечал?.. И еще против географии — тут я перестарался и протер до дыры. Рядом с дырой моей рукой не так небрежно, как писали нам учителя, но каллиграфически выведена «пара». Ход мысли того несчастного четвероклассника я сейчас, при виде этой дыры и «пары», вспомнил совершенно точно. Дыру, конечно, заметят. Если спросят, скажу, что поставил в этом месте кляксу. Нечаянно. Стал стирать и протер. А ваша двойка вот, рядом... Но я не помню, пришлось мне все это врать или нет. Может, и нет, может, никто великодушно не спросил. Ведь и учителям, и родителям тоже, наверное, сразу делался ясен ход моей мысли... Но чего я боялся? За двойки меня родители не наказывали. Правда, очень огорчались. И естественно было бы сейчас предположить, что я не хотел их огорчать. Или самому огорчаться при виде их огорчения. Но это, думаю, слишком. Думаю, что стер я эти двойки просто импульсивно. То есть не могу объяснить, зачем... И больше, кстати, не стирал...

Да, проще всего, конечно, сказать себе, что тогда, что тот мальчик был не я. Вот Ромен Роллан говорит: «Я вижу перед собой странного мальчика, носящего мое имя и похожего — нет, не на меня (я не узнаю в нем себя!), а на кого-то другого, мне знакомого... Кто же он?..» Вот и любимый мой Бунин в любимом моем рассказе «Поздний час» пишет: «Да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?..» А кто же, действительно? Выходит, мы живем, оставляя позади себя многие наши прошлые, рассеянные во времени «я», вернее, уже и «не я»?.. Но так отстраняться проще всего. Я уверен в обратном: все эти разрозненные «я», потрудившись, можно понять и соединить, вопрос только — для чего? Целым народам, согласен, надо помнить собственное прошлое и разбираться в нем, чтобы разбираться в настоящем и не ошибиться, так сказать, в историческом своем предначертании. Но для чего отдельному человеку? Чтоб задаться вдруг весьма серьезным вопросом: а не способен ли ты когда-нибудь вновь «подделать табель»? Как это пугали нас тогда, в детстве, некоторые педагоги? «Сегодня ты соврал учителю, завтра обманешь всю школу, а послезавтра...» — бог знает, что им мерещилось! — «...предашь Родину!» Может, тогда это и воздействовало надлежащим образом на наши младенческие умы, но теперь, спустя сорок лет, ведь смешно?..

...И из чего собирать? Та же школа — по крайней мере первые ее семь-восемь лет — это тоже впечатление сумерек, вполне реальных, зимних. Учились то в первую, то во вторую смены, вставали затемно, шли по скудно освещенным — светом из окон — заснеженным улочкам, в школьных окнах тоже горел свет. Или затемно уходили, и опять все классы были освещены, а на снег ложились желтоватые отблески окон. Почему-то вовсе не вспоминаются — хотя были же они — яркие, солнечные морозные утра, дни. Видимо, само школьное существование представлялось, как поток вот таких дней, серых, скучных, невыразительных, и этот сплошной поток нес вас всех вместе, неотличимых друг от друга, и себя можешь вспомнить только в те редкие мгновения, когда был почему-либо выхвачен из этой массы, этого потока... Вот в каком-то классе — в первом? втором? — вы читаете рассказ про мальчика, которого где-то застал буран, но мальчик не растерялся, зарылся в снег и так спасся. Учительница спрашивает, можно ли считать, что мальчик проявил мужество, и вы подтверждаете: «Да». Тогда она спрашивает, как вы понимаете, что такое мужество. Ты поднимаешь руку и, удивленный, что это надо объяснять, отвечаешь: «Быть мужественным — значит в любой, даже самый опасный момент сохранять присутствие духа». На перемене учительница берет тебя за руку, подводит к высокому толстому человеку и просит тебя повторить,

что же такое мужество. И с некоторым внутренним сопротивлением — потому что смутно теперь ощущаешь какую-то свою «подопытность», — но и послушно ты повторяешь. Наверное, именно из-за этого повтора и запомнил — про «присутствие духа»... Теперь заодно можно вспомнить и высокого толстого человека, он тоже связывается с сумерками и толкотней в гардеробе, потому что часто стоит там, наблюдает, как мы раздеваемся и одеваемся, приходим и уходим. Это директор, Аркадий Львович. С первого класса известно нам и его прозвище среди учеников — Аркан. Известно еще, что вместо одной ноги у него протез, и, когда директор, величественно возвышаясь над нами, неторопливо проходит на перемене по школьному коридору, заметно, что он прихрамывает. Мы же в эти мгновения тут же прекращаем свое мельтешение и беготню и прижимаемся, кто к стене, кто к широкому подоконнику — кого где застигло появление Аркана. Потому что учительница в первый же день нам рассказала, что на переменах мы должны вести себя примерно, прохаживаться не спеша, не отходя далеко от своего класса, а если стоять, то вот так — или у стены, или у окна. И на каждый день назначается дежурный из нас же, учеников, чтобы следить за этим... Сказать, что мы боимся директора, будет неверно, это гораздо сильнее и непонятнее элементарного страха, это какой-то высший трепет, который может внушать только существо необыкновенное, загадочное и недосягаемое для наших умов. Помню, однажды кто-то из нас, первоклашек, не успел заметить Аркадия Львовича и, разогнавшись по коридору, влетел ему головою прямо в живот. Мы оцепенели — и внешне, и внутренне. А директор придержал его за плечо, отодвинул слегка от себя и... пошутил: «Тебя что — арканом ловить?!» И на целый день нам после хватило — шепотом сообщать друг другу и тихонько хихикать: «Аркан сказал: «Тебя что, арканом ловить?!» Так мало, оказывается, нужно нам было тогда для робкого нашего веселья...

Но как действительно становилось не то чтобы страшно, но как-то очень тоскливо, когда удаляли из класса. Огромные коридоры пусты, за всеми дверями безмятежные голоса объясняющих учителей, отвечающих учеников, они там — все вместе, а ты здесь, один. И главное, кто-нибудь может пройти и тебя увидеть: директор, завуч, другой учитель. Можно, конечно, было спрятаться в уборной, но там еще хуже, там как в ловушке: ведь и туда они могут зайти тоже. И обязательно спросят фамилию, из какого класса, за что выгнали. А то — что вовсе ужасно — отведут в учительскую, поставят там стоять под неодобрительными взглядами свободных от уроков учителей... И какое возникало чувство облегчения, когда удавалось остаться никем не замеченным, и звенел наконец звонок с урока, и ты мог смешаться с хлынувшей из классов толпою, стать, как они... Но вот что сейчас интересно: понимали ли наши тогдашние простодушные учителя истинный смысл этого наказания? Действовали они сознательно, или интуитивно, или просто выгоняли мешающего ученика, потому что так поступают и все другие учителя? Не знаю. Но скрытый, глубинный воспитующий смысл всех тех наказаний один — в отъединении, в отделении от всех. «Встань в угол, лицом к стене», «Выйди к доске, повернись лицом к классу и постой так», «Выйди из класса», «Останься после уроков»... Отъединение ведь никогда не выглядело как поощрение, никакому ведь педагогу, насколько я помню, ни разу не взбрело в голову сказать: «Ты, — допустим, — быстрее всех решил задачу, ты ответил на пять, можешь идти и погулять до конца урока...» В одиночестве ученику надлежало лишь «подумать» и «осознать», насколько он «хуже всех»... И если, в самом деле, пытаться теперь собирать многие «я», то можно, наверное, предположить, что уже тогда, с ранних лет, закладывалась в нас боязнь отделиться, «противопоставить себя коллективу», высказать мнение, не совпадающее с «мнением всех». Уже тогда, почти на уровне рефлекса, воспитывалось в нас стремление быть «со всеми» и «как все»...

Теперь я вижу, как мне повезло, что на лето меня отправляли в деревню, а не в пионерский лагерь, где воспитание такого рода, несомненно бы, продолжалось. В деревне же школа — с ее правилами, и предписаниями, и боязнями — позабывалась напрочь. Лишь одно лето было слегка испорчено, после четвертого класса. В тот год нам дали «летнее зада-

ние». Не говорю про гербарий, коллекцию насекомых, календарь погоды — это бы ладно, это, как обычно, но, кроме того, задали написать какие-то сочинения, выполнить множество упражнений по русскому и перерешать неимоверное количество задач. Конечно же, я — да и никто, кажется, — ничего этого не сделал. Никто и не спросил с нас нашего задания, потому что в пятом классе пришли совсем другие учителя. Но помню, как все это висело, как угнетало сознание, что до сих пор «не брался», как по вечерам, перед сном, давал себе слово, что «с завтрашнего дня обязательно», и высчитывал, по скольку задач в день надо решать, чтобы успеть. В последние дни лета выходило, кажется, задач по пятьдесят. Но для чего это было нужно, чья умная голова додумалась до такого эксперимента?..

В том же четвертом классе нас приняли в пионеры. Да, еще прежде — в октябрята. И в октябрята, и в пионеры принимали по одной схеме: сначала нескольких, кто отлично учится и примерно себя ведет, через некоторое время — всех остальных. Галстуки были шелковые и из какого-то другого материала, попроще. Мне не нравился шелковый галстук, узел его скользил и развязывался сам собой. Но родители купили мне шелковый. Появилась масса должностей: звеньевой, член совета отряда, председатель совета отряда, член совета дружины, председатель совета дружины. Нашивки: одна, две, три. Мама вырезала их из картонки, обтягивала красной материей и пришивала к рукаву моей курточки... Помню, как на выборах в совет дружины ко мне подошел незнакомый старшеклассник, сказал, что он из комсомольского бюро и ему поручено меня рекомендовать. Спросил, как меня зовут и из какого я класса. А через несколько минут, когда он вышел на сцену нашего актового зала, я с удивлением услышал, что он знает меня, оказывается, еще с первого класса и все эти годы я подаю пример в учебе и в поведении, помогаю отстающим. Меня выбрали. Старшеклассника я запомнил и потом, сталкиваясь с ним в школьных коридорах, всегда с любопытством смотрел на него, но он не обращал на меня внимания — наверное, сразу забыл. Более того, несколько лет спустя я встретил его в университетском дворике, курили рядом на лавочке. Я тотчас узнал его и спросил, помнит ли он, как рекомендовал меня в совет дружины. Он не помнил...

Что ж еще из тех мгновений?.. Ну, конечно же, еще «мальчик» — «мальчик из одной школы». Узнали мы про него от Юрия Арнольдовича, он вел у нас конституцию в седьмом классе, а позже историю СССР. Он нам нравился, потому что обращался с нами, как со взрослыми, и говорил, и глядел всегда серьезно и доверительно. Как-то, придя на урок, вот так же серьезно и доверительно он рассказал нам, что по московским школам ходит американская делегация, что гости из Америки всем интересуются и обо всем расспрашивают. Например, в «одной школе» они подошли к «одному мальчику» и спросили, что он ел сегодня за завтраком. И мальчик — а он, знаете, такой бледный, худенький и одет очень просто, они, вы понимаете, конечно, специально выбрали такого мальчика, и, знаете, как он им ответил? «Я, — сказал он, не задумываясь, — съел сегодня два яйца всмятку, два бутерброда с маслом и красной икрой и выпил два стакана какао...» Класс наш бурно заинтересовался этой историей, стали спрашивать, какая школа и когда американцы придут к нам, а кто-то даже задал наивный вопрос, правду ли сказал мальчик. На все это Юрий Арнольдович, тонко улыбаясь, отвечал, что больше ему ничего не известно, что к нам американцы, может, тоже придут, а может, и не придут, но что его дело было рассказать нам этот случай, а наше дело — подумать... Эх, как повезло этому «одному мальчику»! Не помню, сколько вечеров я предавался мечтам, как они окажутся в нашей школе и подойдут именно ко мне и именно с тем же вопросом, и придумывал, что я им отвечу! Но они так и не пришли... Нет, вряд ли это было в седьмом классе, седьмой класс — это все-таки уже четырнадцать лет. Думаю, что это было раньше, и Юрий Арнольдович еще ничего не вел у нас тогда, просто это ему было, наверное, поручено — побывать во всех классах и рассказать... А много лет спустя из разговоров со сверстниками, учившимися в то же время, но по другим углам Москвы, узнал я, что этот мифический «один мальчик» прошелся, оказывается, и по их школам, а в школах женских он превращался в «одну девочку». И ни в одну из этих школ американцы тоже не пришли... Узнал я и то, что был далеко не одинок в своих патриотических мечтах...

13

Да, единодушие в патриотизме было, это уж точно...

Кто-то из нашего класса незадолго до Ноябрьского праздника сказал, что на Красной площади поздно вечером происходит репетиция парада и можно посмотреть. Не помню, как другие, а я решил, что это «параша». Репетируют пьесу в театре, репетируем мы — свой концерт художественной самодеятельности, но само сочетание «репетиция парада» казалось мне невозможным. Репетиция — это же повторение. «Répétez», — говорила нам Анна Макаровна на уроках французского: «Повторите...» Как же можно повторить парад, да еще на Красной площади, как вообще можно повторить что-то величественное, торжественное, грандиозное? Да, он будет снова, через полгода, 1 Мая, но это будет другой парад, и тоже единственный, без повтора... Разумеется, они тренируются где-то там, за городом, отдельно танки, пушки, самолеты, солдаты, но это же не парад и не репетиция, это учения, а вот когда они съедутся и сойдутся все вместе на Красной площади (танки поедут по нашей Пресне, мы сколько раз смотрели), это будет парад... «Скажешь, может, что и демонстрацию репетируют?» — уничтожающе спросил я. Но приятель даже не ответил, глянул только и тоже уничтожающе... Однако компания составилась, вечером мы пошли. Репетиция была. Никого перед площадью не задерживали. Мы стояли там же, где когда-то я с Ильей Самойловичем, — на тротуаре перед теперешним ГУМом. И как-то странно было смотреть. Без музыки, без этих поднимающих, будоражащих маршей, без возгласов, без «ура» и «да здравствует», без привычного дикторского, ликующего: «Вот вступает на площадь наша прославленная в боях, краснознаменная, гвардейская, ордена... имени...» — все совершалось в тишине. И оттого, что не было всего этого, знакомого праздничного обрамления, кажется мне теперь, в воспоминании, что в полной тишине — что без лязга гусениц, без рева моторов, бесшумно двигались тяжелые машины по темной площади, слабо освещенной лишь несколькими прожекторами. И зрителей оказалось почему-то мало... В общем, удивительное было впечатление, нереальное. И поражало по-своему не меньше, чем сам парад...

К себе на Пресню мы вернулись далеко за полночь. У меня оставался невыученным помянутый французский, и было четкое предчувствие, что должны спросить. Подходило по времени. Но я махнул рукой и лег спать. Назавтра Анна Макаровна меня точно вызвала, я, не выходя к доске и не пытаясь что-то изобразить, честно сказал, что не выучил, и получил свою законную «пару»... Это-то все просто, неинтересно. Если бы этим кончилось. Но когда мне вдруг припомнился этот случай — припомнился не теперь, а несколько лет назад, — всплыла там еще одна деталь, и в ней была загадка. Дело в том, что после звонка, на перемене, мы с Анной Макаровной поговорили, и тут очень важно было бы еще вспомнить, кто к кому подошел. Она ли меня окликнула, выйдя из класса, — или, может, только глянула укоризненно, проходя мимо, в учительскую, и я подошел — или я сам дождался, когда она выйдет, и подошел? Увы, этого, самого-то главного, сейчас и не восстановить. Но — на ее ли вопрос: «В чем дело? Что произошло?» — или сам — я объяснил, что был допоздна на Красной площади, смотрел парад, репетицию парада, оттого и не успел выучить. И вдруг в глазах Анны Макаровны я увидел испуг. Не прямой, откровенный испуг, а промелькнувший лишь на мгновение, на долю секунды, в глубине ее глаз и сразу исчезнувший. Но я уловил... «Очень вас понимаю... (К каждому из нас, шалопаев, начиная с третьего класса, как только ввели язык, француженка стала обращаться исключительно на «вы».) Понимаю вас. И если бы вы предупредили меня до начала урока, этого бы недоразумения не произошло. Но вы, я надеюсь, все-таки выучите?» — ровно, сдержанно, как всегда, проговорила Анна Макаровна и пошла...

Спустя годы я начал жалеть, да и теперь всегда жалею о некоторых людях, которые пришлись на нашу жизнь слишком рано. Если бы попозже, если бы сейчас, когда с нами уже можно о чем-то поговорить, когда

мы и сами в состоянии что-то более-менее внятно промолвить! Но тогда?.. Анна Макаровна очень не похожа была на других наших учителей. Другие учителя были проще, доступнее нашему пониманию: могли пошутить, могли рассердиться, выгнать из класса, простить. Они были как-то «подомашнее», многие и жили в наших домах, и мы встречались иногда в очередях в магазинах... А француженка держалась всегда словно на расстоянии, голоса не повышала, никого не наказывала — уже одно ее «вы», обращенное к ученику, сколько нас изумляло, пока не привыкли. Но и «воблой засушенной» она не была, мы видели — когда кто-то из нас или общий шум в классе начинали уж очень ей мешать, Анна Макаровна опять не позволяла себе на нас прикрикнуть, лишь тонкие ее брови как-то страдальчески и недоуменно сдвигались. Словом, в ней чувствовалось воспитание, нам непонятное, оценить которое мы, дети, конечно, не умели, мы были в том возрасте, когда непонятное — непонятное именно в человеке — не пробуждает любопытства и стремления разгадать, но, напротив, оставляет равнодушным... Теперь я могу вспомнить ее: хрупкая, изящная женщина лет тридцати, с большими серо-зелеными глазами, с рыжеватыми волосами, причесанными гладко, просто, по-старинному и открывающими прекрасный, интеллигентный лоб. Но это — теперь, а тогда... Что нам за дело было до того, как выглядели наши учителя, и вообще, что они были за люди — судили мы о них на уровне: «добрый — сердитый — злой»... На ее уроках я обычно лоботрясничал; если на чистописании все-таки пробуждался какой-то азарт — написать так же красиво, — то французский казался вовсе ненужным: для чего нам мог пригодиться язык каких-то там далеких французов? Однако Анна Макаровна, несмотря на это, относилась ко мне хорошо, моим родителям на собраниях она внушала, что из меня может получиться способный переводчик. Литературный переводчик. Ей нравилось, как я перевожу художественные тексты...

Так что очень может быть, что моя двойка ее огорчила, и она сама окликнула меня на перемене, и сама поинтересовалась. Но я не уверен, вот в чем дело. Отсюда и вопросы. Меня не оставляет мысль, что уже накануне, вечером, я отлично сознавал, что причина у меня — уважительная, оттого и не стал учить. Спокойно ведь мог бы выучить — за каких-нибудь полчаса... Но я вдобавок еще нарочно не стал подходить перед уроком. Вот спросят, получу свою «пару», тогда и объясню. Выходит, я заранее предвидел, или, как сейчас любят выражаться, «проигрывал ситуацию»? Не знаю, не могу теперь утверждать. Но если это так, то твердо знаю, что не предвидел испуга. Испуг учительницы меня тогда поразил, я его не понял. Теперь понимаю, конечно... А тогда я, наверное, ожидал умиления. «Как же — мальчик, все бросил, пошел на Красную площадь, смотреть... и т. д.» А от двойки, оказывается, несправедливо поставленной этому мальчику, умиление должно было вообще... должно было перейти в некое сверхумиление. И, разумеется, в ощущение вины перед ним... Но разбираться в этом можно теперь до бесконечности. И будут возникать все новые варианты. Например, можно было и не подходить самому, а попасться на глаза — с несчастным видом... Но все это бесполезно и не даст ответа. Потому что точно я не помню. Я скорей всего вообще не вспомнил бы эту историю, если бы несколько лет назад, в начале восьмидесятых, не прочел в какой-то газете, как у одной молоденькой учительницы ученики всем классом прогуляли урок, а после заявили ей, что ходили класть цветы к памятнику погибшим воинам. Вот эти-то новые дети совершенно определенно экспериментировали со своей учительницей и откровенно упирали на уважительность причины, но — ошиблись. Новая учительница причину уважительной не сочла и не испугалась твердо им ответить. В том смысле, что эти воины для того и полегли, чтобы вы сейчас учились, а вы — дезертиры, потому идите и заберите ваши цветы обратно, возлагать их вы недостойны!.. С необходимым, конечно, в воспитательных целях нажимом и пафосом, но и по сути верно. Тогда-то я и вспомнил мимолетный испуг в глазах Анны Макаровны и почувствовал свою невольную перед ней вину. Но вот еще что удивительно. Узнав об этом случае, я припомнил свой, и переместился в наше с Анной Макаровной время, и остался там, и глядел оттуда — как бы в будущее. И в этом ином, новом по духу будущем я различал только одну молоденькую учительницу, а ее класс виделся мне, словно опять в нашем, в старом времени. Будто пучок незримых, но мощных силовых линий вышел из нашего времени, и миновал, изгибаясь и расходясь, эту учительницу, и, снова сойдясь, пронизал, захватил ее учеников...

Но как я, оказывается, сам того не подозревая, недалек был от истины, иронически предположив когда-то насчет «репетиции демонстрации». Много лет спустя после школы случилось мне проходить вблизи Красной площади. Опять был один из первых ноябрьских вечеров. Москва готовилась к очередному торжеству, повсюду развешивались портреты Брежнева, Подгорного, Суслова... С площади доносился чей-то голос, усиленный динамиком. Там что-то происходило. Я подошел. С краю площади собралась небольшая толпа любопытствующих. Так же, как тогда, давно, светили несколько прожекторов, рассекая темноту поверху и в разных направлениях. Один был установлен на трибуне Мавзолея, с краю. Оттого что сеялся мелкий дождь, казалось, что лучи вращались вдоль своей оси. Они почти не освещали огромную площадь, наоборот, как бы еще сильнее сгущали мглу, слепя, приковывая к себе глаза и не давая разглядеть, что вокруг. Лишь мокрая брусчатка блестела. Но постепенно я присмотрелся. По всей площади, в направлении от Исторического музея к храму Василия Блаженного, редкими параллельными цепочками стояли люди. Я разглядел ближних: в шапках, в пальто, в куртках — с виду такие же люди, как и мы, прохожие.

— Что это? — спросил я, как спрашивают в толпе, — ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Линейные коридоры. Репетиция, — тотчас отозвался голос сбоку.

А между тем с трибуны, откуда бил свет прожектора, кто-то, совсем невидимый, но, несомненно, властный, через динамик на всю площадь внушал:

— При лозунге «Слава советскому народу!» — направо и четыре шага вперед, за возглавляющим четверку! В ответ троекратное «Слава, слава, слава!» и «Ура!». Тянуть дольше! Включите фонограмму демонстрации!..

Из динамика грянуло: «Слава советскому народу!», люди на площади повернулись, как было велено, сделали четыре шага и закричали: «Слава! Слава! Слава! Ура-а-а-а...» Прозвучало пока слабовато. Видимо, предусматривалось, что подхватит весь народ.

— Здесь на площадь вступят спортсмены! — сказал невидимый на трибуне.

— Динамовцы. Динамовский поршень, — комментировал тот же голос сбоку.

— Почему «поршень»? — спросил я.

— Выталкивает остаток демонстрации, — пояснил сосед.

Я мельком взглянул. Очки, бородка. Обычный, неприметный человек, неприметное лицо.

— Откуда вы знаете?

Он тоже глянул и тоже не слишком меня рассматривал.

— Живу недалеко. Всегда прихожу. Очень помогает...

— ...За лозунгом идет песня: «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!» При слове «товарищи» все налево и шагом марш! — четко продолжал тот, с трибуны. — Фонограмму!.. Так... Хорошо. Повторим еще раз!..

После третьего повтора я повернулся было идти, но сосед мой порекомендовал:

— Подождите.

— ...А сейчас будет проведено дополнительное мероприятие! — раскатилось над площадью.

И уже не по фонограмме, а по какому-то другому, не увиденному и не услышанному нами сигналу распахнулись вдруг двери ГУМа, не те, что для покупателей, а выходящие на площадь и обычно закрытые, и из них поперек цепочек, в направлении кремлевской стены тоже цепочками побежали солдаты с автоматами на груди. И когда через несколько секунд они замерли, вся площадь оказалась рассеченной на небольшие ровные квадраты. Со сторонами из тех людей в штатском и солдат. Произо-

шло мгновенно. Но что-то, видимо, не удовлетворило распорядителя, и он скомандовал: «Еще раз!»

— Да. Очень, знаете, помогает...— повторил неожиданный мой собеседник.

— В чем же?

— В размышлениях о современности, конечно!

Теперь он повернулся и пошел, а я остался — посмотреть еще на «дополнительное мероприятие»...

С площади я уходил с каким-то неопределенным, грустным чувством. Нет, увиденное здесь не поразило меня, как поразил когда-то в детстве порезанный солдат на фоне всеобщего ликования, как поразил после бесшумный парад. За это время я стал, что называется, «взрослым», порядочно поездил, повидал, подумал. И эта «репетиция» даже не удивила и не навела ни на какие новые мысли о «современности», как наводила, должно быть, моего соседа по толпе,— я воспринял ее как нечто естественное. Она — соответствовала... В том институте, из которого я так скоро ушел, я все-таки успел усвоить кое-что из математики — например, если знаешь общую формулу данной кривой, незачем подтверждать эту формулу в каждой отдельной точке... Но мне было как-то жаль. Жаль тех, кто стоял там и бегал, и того, громкоголосого и властного на трибуне, почтительно прилепившегося сбоку, жаль тех, кто встанет через несколько дней на эту трибуну, и тех, кто со знаменами, транспарантами и с портретами стоящих на трибуне пойдет мимо, сквозь «линейные коридоры», вблизи засевших в магазине солдат... Но больше всего мне было жаль своего, нашего общего, взрослого, серьезного детства. Ибо только дети по-настоящему взрослы и предельно серьезны во всем, но стоит лишь «повзрослеть» — принимаются «играть в игры»...

14

...В том году я учился в седьмом классе. Была ранняя весна, не отличимая еще от зимы,— самое начало марта. Я проснулся на своем диване. Отец уже сидел за столом и завтракал. «Умер»,— сказал он. Я отвернулся к спинке дивана и заплакал... Что Сталин умрет, я во все эти дни, пока говорили о его болезни, знал. Не помню, страшился себе в этом признаться или нет,— во всяком случае, чувствовал точно. Уж слишком нагнетались день ото дня всеобщая подавленность и тревога. А еще — мне хотелось, чтоб он умер. Герой толстовского «Детства» признается в связи со смертью матери: «Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих... Сверх того я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастия...» Вот и я воображал в те дни, какое это будет потрясение, какое горе, скорбь и для меня, и для всех других людей, как все соединятся в этом огромном, непереносимом горе, какой будет всеобщий плач. И мне хотелось увидеть, ощутить все это в действительности. Я только боялся, сумею ли сам я должным образом выразить свое чувство. Поэтому в то утро я заплакал и в искреннем горе, и с облегчением. «Ну, будет, будет. Что ж теперь?..» — как-то довольно спокойно и слегка жалеючи сказал отец. Жалеючи, как показалось мне тогда же, в основном почему-то меня, а не Сталина... В школе нас, «хороших» учеников, сразу же начали по очереди вызывать с уроков — стоять в почетном карауле возле портрета. Портрет был установлен внизу, в вестибюле. Кроме нас, караула, там никого не было. Незаметно мы отвлекались, начинали переговариваться, привычно острить — не по поводу смерти, конечно! — даже смеялись, потом спохватывались и вновь «застывали»... Однако в Дом союзов смотреть Сталина я почему-то не пошел. Почему-то не стремился. Может быть, мне было достаточно осуществившейся мысли о всеобщей скорби и отдельные подробности были уже неинтересны?.. Но сообразительные ребята у нас нашлись. Дня два или три спустя Аркадий Львович собрал всю школу в актовом зале и объявил, что обнаружились,

к сожалению, в нашем коллективе несколько учащихся — фамилии он не называет,— которые прогуляли эти дни и пытались оправдаться тем, что стояли в очереди в Колонный зал. А их между тем видели на катке. И это в то время, когда вся наша страна вместе с трудящимися всего мира глубоко... Так что он нас строжайшим образом должен предупредить... В общем, пресненская наша шпана, как всегда, не растерялась... Вот, собственно, и все, что я конкретно помню о смерти Сталина. Еще помню, что сам, осознав, что событие историческое, решил сохранить траурную газету. Давно, правда, не попадалась на глаза, но где-то лежит... И мог ли я тогда предполагать, что всего через четыре года, в 57-м, очутившись в Сибири, узнаю о совсем другой его смерти. Расскажет мне мой отсидевший друг Анфилов, как подошел к нему в зоне приятель, такой же лагерник, только политический (Анфилов был хотя и уголовник, но с политическими дружил, набирался от них ума-разума), и тихонько шепнул, что «Усатый загнулся!». И как они собрались было тут же пойти, «обрадовать еще Мишу», но сообразили, что вот так сразу нельзя, что надо его как-то подготовить, «потому что у Миши больное сердце»... «А наутро,— расскажет далее Анфилов,— все они там построились, начальник речь толкает, плачет, и все они плачут, а мы подглядываем из-за угла барака и ну прямо уссываемся от смеху!..»

Что я знал о Сталине? И как воспринимал его? Важно бы вспомнить это, постаравшись отрешиться от всего, что все мы прочитали и услышали теперь,— да, важно вспомнить бы, как относился к нему именно тогда, в детстве и отрочестве, хотя бы потому, что начало моего сознательного возраста пришлось как раз на ту пору, когда он достиг предела своего могущества, когда всех победил. И что я мог знать? Если некий наш писатель, уже повидавший тогда войну, поспевавший всегда в гущу самых главных событий, столько раз наблюдавший его, разговаривавший с ним, пишет в своих воспоминаниях, что «жил, как глухой», то что говорить о мальчике, мир которого замыкался школой и тихим пресненским двором? Все страшное прошло мимо. Дом наш стоял далеко от набережной. В нашей семье никого не репрессировали. В квартире тоже. Не было внезапных ночных стуков в дверь, обысков, арестов. Да и во всем доме их, видимо, не было — ребята во дворе обязательно бы рассказали. И в школе — я не помню вот этих собраний и линеек, перед которыми заставляли отрекаться от отцов... Даже деда моего в свое время не раскулачили, хотя понимаю сейчас, что по всем признакам могли бы, перед самой коллективизацией выбился он из бедняков в крепкие хозяева, поставил новый большой дом под железной крышей, новую ригу, обзавелся племенным жеребцом, были и еще лошади и прочий скот. Правда, все это он сразу сдал в колхоз, но оставался ведь дом с железной крышей — говорят теперь, что раскулачивали за одну только железную крышу... И сын его, мой дядя, который в самом начале войны попал в плен и провел четыре года в концлагере, не поехал, как Иван Денисович, из Германии сразу в Сибирь, но был отпущен домой и снова вернулся к своей учительской работе. И я, так радостно встретивший его «с войны», конечно же, не подозревал, что могло быть как-то иначе...

В 49-м развернулась, оказывается, кампания против «космополитов». А для «всего народа» это был год 70-летия вождя, и мы с отцом ходили смотреть подарки ему. Мне было десять лет. Выставка подарков размещалась в Музее Революции, но для меня, да и не только, наверное, для меня, эта выставка и музей как-то сами собой соединились — в «музей подарков Сталину». Я запомнил нож, небольшой перочинный ножичек, но в нем было сто различных предметов! И все эти крохотные лезвия и миниатюрные ножницы, пилки, шильца, буравчики и бог знает, что еще, были вытащены и развернуты так, что каждый предмет можно было видеть в отдельности, и сам ножик, лежа под стеклом, походил на ощетинившегося сверкающего ежа... И еще мне понравился велосипед — я уже начал тогда мечтать о велосипеде. Велосипед для Сталина тоже весь сверкал, все его части, кроме разве седла и шин, были никелированы. Прочие подарки: ковры, вазы, кубки, картины, многочисленные портреты Сталина — и был, кажется, даже портрет из пшеничных зерен — не столь поразили меня и забылись, но когда, лет пятнадцать назад, случилось мне побывать в запас-

никах музея, некоторые из них я увидел и узнал. Но во что они превратились! Это были сваленные как попало осколки, обрывки и обломки, это был теперь никому не нужный хлам и мишура...

Совершенно не помню я и «дела врачей». Газет я тогда не читал — как, впрочем, почти не читал их и много лет после, — дома у нас об этом не говорили, а может, и говорили, даже наверняка отец с Ильей Самойловичем обсуждали, сойдясь, по обыкновению, покурить на кухне, но мне, повторяю, это было неинтересно. Мне было интересно, как Эдмон Дантес приходит неузнанный в дом своей бывшей невесты Мерседес, как Робинзон Крузо устраивает и укрепляет свое жилище, как капитан Немо незримо помогает обитателям таинственного острова, меня волновало, женится ли в конце концов Зверобой на Джудит, дочери старого Тома Хаттера... — да мало ли! И думаю, я был не одинок среди сверстников в своей полной отрешенности от жизни взрослых. (Не знаю, было ли кем-нибудь замечено, что жестокое время порождает, как ни странно, целое поколение высоких, абсолютно не от мира сего романтиков. Они весьма болезненно переживают борьбу добра и зла, но добра и зла вымышленных, они мечтают выступить бок о бок со своими излюбленными героями против этого вымышленного зла и положить там жизнь, а действительного, настоящего зла вокруг себя они не замечают, если же замечают случайно, мельком, остаются к нему равнодушны. И это не сознательный, взрослый уход от суровой реальности — такое поколение определяется сразу, с младенчества...) Поэтому я спрашиваю сейчас себя: ну, услышал бы я тогда про «врачей-убийц», про «космополитов», «генетиков» и прочих «врагов народа» — поселило бы это во мне хоть какой-то вопрос, перевернулось бы что-то в моем, завороженном собственным миром сознании? Нет, все осталось бы так, как и должно быть: существовали предатели и негодяи, имена их известны, это граф де Морсер, Негоро, Сильвер, капитан Кассий Колхаун и другие, но козни их и злые умыслы разоблачены, и всех их настигло заслуженное возмездие...

Однако помню, что я не поверил в арест Берии. Было лето, я уже уехал в деревню, и сообщила мне про арест наша соседка Паня, мать моих деревенских приятелей. Она сама якобы слышала по радио, как сказали, что Берия — «враг народа» и «шпион». «Нет! Этого не может быть!» — заявил я уверенно. Хотя — что мне было до Берии, что я о нем знал?.. Нет, я имею в виду не сегодняшний, а тогдашний уровень нашего знания. Ну, представлял себе, что это один из «верных соратников» Сталина, и все. Но мне в тот момент скорей всего очень не понравилось, к а к сказала об этом Паня, а сказала она с какой-то ехидной улыбкой, со злорадством — вот, мол, что творится у вас там, в Москве, поразводили шпионов! Но с чего ж тут было злорадствовать-то?.. Да и вообще я не любил нашу соседку: над своими детьми, моими товарищами, она измывалась, за малейшую провинность лупила, не давала есть... Думаю, что, если бы кто-то другой сказал мне про Берию, например, мой дед, я бы, конечно, поверил... Но что такое было мое детское «Не может быть!» в сравнении... Сколько-то лет спустя, на Колыме я услышал удивительную историю про одного геолога. Точнее, про геологов. Они жили и работали далеко от Магадана, в глухом приисковом поселочке, в стороне от трассы. И одному из них в те июльские дни 53-го года случилось быть по делам в Магадане. Там он и узнал про арест. Добрался на попутках до своего поселка, ввалился среди ночи в дом, где жил вместе с товарищами, и прямо с порога закричал, что Берия — агент иностранной разведки. А товарищи в ответ дружно кинулись его бить. Хорошо, он догадался захватить газету. (Называлась, кстати, газета по тем временам замечательно: «Колымская правда»...) Ему удалось вырваться, достать из мешка и сунуть им эту газету. И тогда товарищи стали умолять его п р о с т и т ь их... Я долго думал — что ж это такое? И не нашел никакого другого объяснения, кроме самого простого — кроме страха. Коллективного страха. Хотя им-то чего было бояться, не они же крикнули, что Берия — враг? Но это был страх уже иррациональный, страх, сделавшийся природой человека. Им нужно было тут же отделиться, как-то обособиться от возможного «провокатора» и «клеветника», да поубедительнее, и инстинктивно они нашли способ. А когда прочли газету, испугались еще больше: заступались за врага народа... Эти люди не сидели, они были «вольные», но все равно они были — д у х о в н ы е зеки. А мы до сих пор мучаемся вопросом: как «народ допус-

тил»? Вот так и допустил. И не только допустил, но и «помог»... В этом, конечно, не весь ответ, но и в этом ответ тоже...

Сталину удалось загипнотизировать целое поколение — наших отцов. Но думаю, что мое поколение вырастало уже свободным от этого безумного апофеоза любви, преданности, обожания, страха и ужаса. Нас спасало, во-первых, беспечное неведение детства, а во-вторых, нас такими, как ни парадоксально это звучит, тоже «вырастил Сталин». Ведь это благодаря ему нам с младенчества втолковывали, что у нас «самое счастливое детство», что живем мы в «самой свободной, самой справедливой, самой прекрасной стране», что идем «от победы к победе», и мы так уверились в этом, так положились на него, «думающего за нас за всех», что совершенно не вникали в жизнь реальную (да и по возрасту было рано), но сосредоточились, повторяю, на жизни внутренней, и от первоначального запойного детского чтения перешли бы потом — и перешли — к книгам серьезным, настоящим, и из них узнали о п о д л и н н о й справедливости, свободе, человечности и добре. Наконец, мы перечитали бы заново, внимательным взглядом те прекрасные вещи, вкус к которым, казалось бы, напрочь, навсегда должна была отбить у нас школа — например, «Капитанскую дочку», и теперь мы бы не пропустили слова, обращенные и к нам тоже, более всего, наверное, к нам: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений...» Да, а когда со временем неизбежно оглянулись бы на действительность, то, конечно, сразу распознали бы несообразность и подделку. И если бы Сталин к тому времени еще оставался жить, загипнотизировать и это, вошедшее в разум поколение ему было бы уже не под силу... Мы вовсе не потому сделались непохожими на «отцов», что умер Сталин, но мне кажется, Сталин умер потому, что народилось и н о е поколение. И когда мы узнали — да и теперь все продолжаем узнавать — о другой его смерти, не той, с всеобщим плачем и стенанием, но о другой, с торжеством, ликованием, облегчением, чувством свободы, радостным смехом, тогда же узнали мы, что было у нас, оказывается, еще и другое детство, в котором пришлось разбираться заново. Хотя бы потому, что бывший в прежнем детстве детский вопрос: «А как бы ты повел себя, если бы случайно оказался в плену, на допросе у немцев?» — в другом детстве превратился во взрослый вопрос: «А как бы ты повел себя в 37-м году? В 49-м году?..» И я теперь думаю: может быть, мой отец оттого и жалел меня, плачущего о Сталине, что знал о моем другом, пока неведомом мне детстве, которое мне еще предстоит постигать?..

...Вдруг я вспомнил, что посреди нашего двора стоял его бюст. Огромный, серый, аляповатый, как все гипсовые бюсты, и на таком же сером, оштукатуренном постаменте. Потом он исчез. Потом на этот же постамент водрузили вазу, тоже гипсовую, широкую, плоскую, рифленую, похожую на половинку зефира. Кажется, в нее насыпали землю и летом сажали цветы. А вскоре я узнал, куда делся бюст. Как-то я зашел к тетке, к маминой сестре, она тоже жила на Пресне, в трех трамвайных остановках от нас. Сейчас этого старого дома нет, на этом месте те самые «сливочные кубы», о которых я говорил. Исчез наверняка и тот небольшой пустырь внизу, прямо под окном тети Шуриной комнатушки. А тогда я неожиданно увидел его, подойдя в рассеянности к окну. Весь он был огорожен высоким грубым дощатым забором, в углу прилепился какой-то сарай. И вся эта унылая территория была забита, заставлена, завалена бюстами Сталина. Вернее, тем, что оставалось от них. Отдельно валялись сталинские головы, сами по себе существовали крутые парадные торсы, иные бюсты вообще обратились в груду серых черепков. Среди этих изуродованных Сталиных, мне показалось, узнал я и нашего: он стоял, прислоненный к забору, теперь без постамента, прямо на земле, относительно целый — только череп был проломлен... А ведь всего каких-то три года прошло — после «невосполнимой утраты»... И хотя не ново это в истории, но почему никогда не перестанут быть для нас загадкой вот такие мгновенные переходы — от небывалого величия к столь же небывалому падению? В особенности если совершаются они на наших глазах?.. Да, потом начинают разбираться: по-своему историки, по-своему философы, и теперь к ним добавились еще экономисты и всякий пишущий люд... — но все равно под ви-

димым нагромождением разумных, беспристрастных или проклинающих слов не сыщешь в итоге ничего, кроме непреходящего изумления и так и не разрешенного вопроса. И что тут можно вообще решить и высказать нового?

И вы, цари, вот так падете,
Как с древа поздний лист падет,
И вы когда-нибудь умрете,
Как ваш последний раб умрет.

Все, что можно сказать, уже было сказано...

Не занимаемся ли мы сейчас тем, что продолжаем до сих пор крушить гипсовые бюсты? А сам Сталин ускользнул. При великом множестве черт он — без черт. Он и сам теперь — словно бюст, только неподдающийся, бронзовый... Да, и я какое-то время думал, что загадка не в нем лично, просто на нем, как на конкретном историческом примере, сошлись, обозначились многие глобальные вековечные проблемы: народ и власть, личность и общество, герой и толпа, маленький человек и царь, природа тирании, гуманизм и бесчеловечность, необходимость и случайность, добро и зло... — вся запутанная диалектика тут. Оттого и разбираемся, и бьемся. Ответов же на эти стародавние вопросы по-прежнему пока не предвидится, для нас всякий раз может быть только новый ответ, то есть всего лишь новое отношение к вопросу... Но при всей очевидности и доказанности злодеяний Сталина, при теперешней категорической его оценке нас тем не менее разжигает: а что же он все-таки себе думал? что чувствовал? Ведь он как-никак был человек? А вот на это-то нет и, наверное, не будет никогда ответа. Разве что изобретут когда-нибудь машину, которая сумеет восстановить, уловить в минувшем времени и пространстве канувшие туда мысли и чувства... Недавно я сказал одному своему товарищу: «Вот если б я мог хотя бы поглядеть на него, даже не поговорить, а хотя бы несколько дней просто посидеть незримо где-нибудь в уголке его кабинета, послушать, подсмотреть его наедине с собой...» Товарищ мой гораздо старше меня, прошел войну, побывал на весьма важных постах и слетел с них, пишет философские труды. Он посмотрел на меня как-то очень серьезно и воскликнул: «Ты бы сошел с ума от ужаса!..» Тоже не знаю...

А что до нашего теперешнего — нет, не вечного вопроса о деспоте, но сиюминутного, насущного вопроса о Сталине... Понятно, нам хочется поскорей его разрешить, мы призываем дойти в этом «до конца», «не бояться всей правды» и видим в решении залог нашего «дальнейшего движения» и гарантию, что прошлое «не повторится». Но мне кажется, что и сегодняшний наш вопрос о Сталине не должен быть решен, что лучше остаться ему нерешенным. Ибо решим, выведем формулу Сталина — и успокоимся: вот ответ, вот залог и гарантия. Теперь, мол, знаем, теперь-то все пойдет по-другому. А он возьмет и вернется каким-нибудь совсем иным способом! Бывает ведь даже у самой простенькой арифметической задачки несколько вариантов решения... Нет, только нерешенный, но постоянно решаемый вопрос будет висеть, и напоминать о себе, и заставлять людей бодрствовать и думать...

Когда принимался я за свою повесть, очень почему-то захотелось мне посмотреть газету, вышедшую в день моего рождения. Нет, не для того, чтоб «ощутить дыхание времени» и «оживить приметы тех лет». Не знаю, почему. Всего один номер. В библиотеке мне выдали полную подшивку «Правды» за 39-й год. И пока я пролистывал ее, добираясь до своего дня, «дыхание» тем не менее чувствовалось и «приметы» мелькали. «Польша довела до сведения Германии, что она не может пойти на какую-либо территориальную уступку или территориальный обмен...» «Германия готовится захватить Клайпеду...» В. Катаев обвинил В. Луговского в «идеологическом вредительстве»... Мастер мехцеха Кудрявцев выступил против «уравниловки» в зарплате... Прокурор СССР Вышинский приказал всем прокурорам привлекать к уголовной ответственности руководителей, оставляющих безнаказанными нарушителей трудовой дисциплины... Афганский король Захир-шах в речи на сессии Народного совета сказал, что отношения Афганистана со своими соседями «продолжают оставаться сердечными...» На траурном заседании, посвященном 15-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина, А. С. Щербаков в своем докладе сказал: «Предстоят бои с капиталистическим окружением и в первую очередь с фашистским агрессором, готовящим нападение на Советский Союз...» Весть о созыве XVIII съезда ВКП(б)... Тезисы доклада Молотова о третьем пятилетнем плане: «На основе победоносного выполнения второго пятилетнего плана и достигнутых успехов социализма СССР вступил в третьей пятилетке в новую полосу развития, в полосу завершения построения бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму...» «Польша и Германия обязуются улаживать возникающие между ними разногласия полюбовно...»

Что меня удивило: фотографий Сталина, славословий ему — в «Правде» не было. Мелькнул разок в президиуме на траурном заседании и то где-то сбоку, рядом с Бадаевым. Поэтому внутренне я как-то даже вздрогнул от неожиданности, открыв «свой» номер. На первой его странице помещалось большое фото: улыбающийся Иосиф Виссарионович в светлом френче, с приветственно поднятой рукой. Вернее, не приветственно, а напутственно, ибо подпись гласила: «Тов. Сталин прощается с делегацией железнодорожников, приветствовавших XVIII-й съезд ВКП(б)». Рядом крупно: «Вчера XVIII-й съезд ВКП(б) закончил свою работу. Выборы Центрального Комитета на съезде партии превратились в колоссальной силы демонстрацию единства, монолитности партии Ленина — Сталина. Весь зал, стоя, приветствовал тов. Сталина, Сталинский Центральный Комитет ВКП(б), несмолкаемые крики «Ура», возгласы на многих языках «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому Сталину — «ура!» — мощными раскатами гремят в зале. Охваченные единым порывом, делегаты съезда поют «Интернационал»... Еще пониже из заметки со съезда: «...Да здравствует товарищ Сталин, «ура», — воскликнул тов. Андреев. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию небывалой силы и мощи. Весь зал, стоя, приветствует товарища Сталина, Сталинский Центральный Комитет ВКП(б)». ...Заглянул я и в следующий номер. Праздник «демонстрации единства» докипал, раздавались награды. Фото: «М. И. Калинин вручает орден Трудового Красного Знамени Н. С. Хрущеву». Хрущев молодой, на голове еще какое-то подобие прически... Еще фото: Сталин и Хрущев рядом, по бокам Калинин и Молотов... Я смотрел на эти тексты, на эти фотографии с тем же примерно чувством, что и тридцать с лишним лет назад — на обезглавленные бюсты... И пусть за эти десятилетия все мы страшно поумнели, повзрослели социально и многое объяснили себе. А посмотришь вот на такую газету — и опять ничего не понятно!.. Ну, разве мелькнет: если историческими процессами, в самом деле, движет какая-то энергия и окончательная цель ее — разумное устроение судьбы человечества, то для чего на своем пути эта энергия так разбрасывается, так зря и бездарно расходует себя? И в таком случае — разумна ли она?.. Но и это не мысль, а так — что-то вроде тупого недоумения...

15

Теперь, посреди хлынувшей литературы о тех временах... Теперь, когда свидетельства очевидцев и жертв постепенно уже сменяются воспоминаниями людей, знакомых с теми очевидцами и слышавших от жертв... Когда уже «дети» принялись писать о пострадавших «отцах»... Я вдруг подумал — если б и я собрался написать что-то в этом же роде, мне теперь пришлось бы сразу сказать, что моему лирическому герою не повезло: его отец не был безвинно арестован, не сгинул где-то в лагере, не был затем реабилитирован и т. д. Наконец, он не погиб и не был даже на фронте, если не считать тех дней, когда фронт сам подходил к Москве... У отца была служба, которая не то что «освобождала», но с которой не отпускали на фронт и не эвакуировали в тыл: телефонная связь в городе. Писал ли он заявления об отправке на передовую? С его совестливостью и честностью — я уверен, что, конечно, писал. Но я ни разу не спросил его об этом... Одно время мне очень хотелось, чтобы он воевал. Нет, не в детстве, когда бездумно хвалятся «отцом-военным», а позже. Мне это вдруг, в какой-то момент стало нужно...

Это было время, которое наш великий писатель точно определил как «пустыню отрочества», которую в воспоминании «невольно хочется поско-

рее пробежать». Я бы добавил, что это возраст, который особенно не хотелось бы пережить заново. В самом деле, ибо все в том времени как-то пусто, бесплодно и тяжко. Прежде, в детстве, ты существовал, появляясь лишь на мгновения и тут же вновь исчезая, снова надолго забывая о себе, но постепенно эти мгновения — ощущения себя в отдельности от всего — возникают все чаще, и вдруг наступает момент, когда они, как дождевые капли на оконном стекле, соединяются в непрерывность, в поток, в постоянное сознание, что «я — есть», а вслед за этим сознанием... нет, пожалуй, не вслед, а тут же, в тот же миг, с осознанием «я — есть» встает вопрос «кто я?..» И думаю даже, что не одновременно, что вопрос «кто, какой я?» несколько опережает, что он-то и есть первый толчок к размышлению о себе — к тому неустанному, бесконечному всматриванию в себя, какое возможно только в отрочестве, — а следовательно, и условие постоянного ощущения себя... И вот начинаешь разбираться с собой... Впрочем, написано об этом необозримо много, не помню только, обращал ли кто внимание на то, что такой разбор — вовсе не самоутверждение, что занятие это заведомо, всегда обречено на самоотрицание, на «обличение себя». Берешь ведь совершенно абстрактные определения: «умный», «глубокий», «решительный», «волевой», «добрый», «отзывчивый» и проч. — и столь же абстрактно примеряешь их к себе. И даже если и есть у тебя какие-то задатки ума, и в чем-то можешь проявить настойчивость, и можешь заставить себя работать, и в чем-то ты, безусловно, добр и отзывчив — все равно при «беспристрастном», при «беспощадном» самоанализе все это както забывается, не принимается в расчет, и выходит у тебя категорично, что ты неумен, ленив, нерешителен, неспособен к глубокому, серьезному чувству, «самовлюбленный эгоист»...

Ты уже по одному тому «самовлюбленный эгоист», что так много размышляешь о себе. Ведь совсем недавно ты был «со всеми» и «как все» — во дворе, в классе, — а теперь вдруг и, главное, неожиданно для себя обособился, сам того не желая, отъединился, и ощущение это новое, пока непривычное, тягостное, будто тебя, как когда-то, мальчиком, выгнали из класса, только уже не до конца урока, а навсегда. Значит, ты — «хуже всех»! Хуже кого конкретно и в чем? Но вот именно, что этот вопрос даже не приходит тебе в голову, а довольно одного ощущения — что «хуже всех»... И совершенно далек ты также от мысли, что кто-то из твоих сверстников, из твоих же товарищей, что наконец все они порознь могут испытывать то же, что и ты. Напротив, они-то все, видишь ты, остались такими же, прежними — так же беззаветно гоняют в футбол, или сговариваются вечером на каток, или на очередную серию «Тарзана» — и ты с ними, конечно, и так возникает у тебя вдобавок двойная жизнь. Честная, сказал бы я, и непонятная тебе самому, угнетающая тебя двойная жизнь. Потому что в одной жизни ты по-прежнему стараешься честно быть «со всеми», там ты вроде бы неплохой товарищ, активист, редактор стенгазеты, весь в гуще общественных поручений и дел, но стоит выйти из школы, расстаться на углу с приятелем, повернуть к своему дому, как снова обращаешься к себе, а в себе снова — честное ощущение, что ты «хуже всех». И что ты — один... (Проще всего было бы, разумеется, опять же предположить, что и с твоего приятеля, с которым только что простился, слетела его обычная веселость и беззаботность, что и в нем теперь такие же растерянность, неведение себя и одиночество, но... это, казалось бы, естественное предположение — не для подростка, оно для иного, более позднего возраста, для более искушенного ума...) И, может быть, к тому же не наступала еще какая-то неосознанная потребность одиночества? Может быть, не таким уж вовсе бесплодным, но для чего-то в будущем необходимым был тот первоначальный труд и опыт самообличения?.. В общем, этот короткий, года в два-три, период отрочества я считаю самым тяжелым, самым напряженным и самым поистине трагическим из всех периодов человеческой жизни. В дальнейшем-то хоть и наваливается там «сама жизнь» и бывает, может быть, и потяжелее, и побезысходнее, но мы и сами уже посильнее, поопытнее, ум наш изощрен, натура гибче, и научаемся уже лукавить сами с собой, играть, видеть вокруг таких же, как мы, ссылаться на обстоятельства, прощать себе, жалеть себя, идти на компромиссы, соглашаться на явную видимость и замену счастья, мы ведаем об «отдушинах», мы знаем, как уклониться от борьбы без особого ущерба для своих правильных убеждений, мы в конце концов умеем потерпеть поражение и не ощутить себя побежденными... А в те четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет — вся борьба внутри, там столкновение не с жизнью, но с собой, причем с собой, о котором еще ничего не знаешь, суждения там прямолинейные, выводы беспощадные, отчаяние одинокое, все там впервые, все очень серьезно, там мысль о собственной никчемности равнозначна гибели, там... — ну, словом, понятно. И я сейчас даже не об отрочестве, не об этих терзаниях отрочества, которые действительно не хочется вспоминать, — я об отце.

...Потому что именно в это время начались сложности в отношении к отцу. Столь же напряженно, как к себя, я стал всматриваться и в отца, пытаясь понять, какой он. Все говорили, что я — его «копия»: лицо, сложение, походка, жесты... Не помню, рассказывали нам в школе или нет — допустим, на уроках ботаники или зоологии — про генетику, объясняли, нет ли, что это «буржуазная лженаука», но если и объясняли, все это прошло мимо моих ушей, ибо «реакционную» суть ее я сам тогда открыл для себя и поверил в нее непреложно. Я ничего не слыхивал о «наследственном веществе», о «генетическом коде», но выводил буквально: «Если я внешне копия отца, то и по характеру, по внутреннему складу должен быть копией?» Через отца я надеялся постичь себя. («...и никто не знает Сына, кроме Отца...» — как прочел я позже.) Но что я мог тогда в нем разглядеть? И тем более — понять?.. С детства изо дня в день я привык видеть, как он уходит на работу, еще раньше, чем я в школу. Было время, когда возвращался он регулярно далеко за полночь — причина этого повального ночного бдения в кабинетах теперь известна: по ночам не спал вождь. Мне тогда это даже нравилось: вот какая у папы важная работа!.. Дома по вечерам, по воскресеньям он не мог сидеть без дела, постоянно что-то мастерил, совершенствовал в нашей комнате да и в квартире по просьбе соседей тоже. Он все умел: паять, сверлить, выпиливать, прибивать, клеить, красить. У него, единственного из мужчин нашей квартиры, были инструменты. И все выходило у него так ловко, красиво! Учителя уже привыкли, что нехитрые поделки, заданные нам на дом, — палочки для счета, «касса» для азбуки, какой-нибудь картонный кубик, шкатулка — у меня всегда лучшие в классе. А вершиной — для меня, тогда — были, конечно, «пробки»: никто ведь, кроме отца, не умел починить их. Помню — гаснул свет в квартире, и Илья Самойлович, или Павел Семенович, или оба по очереди взбирались со свечой в руке на подставленный в углу коридора стул и, постояв там со значительным видом, но ни к чему не прикасаясь, спускались обратно. И все мы сидели в темноте, пока не приходил отец... Он всегда чем-то увлекался: комнатными цветами, фотографированием, вышиванием. Как все мы веселились однажды, когда, вышивая гладью, он пришил к пальцу носовой платок! На большом пальце у него от разнообразной работы образовался постоянный толстый нарост кожи, и отец не почувствовал, что игла прошла сквозь кожу... Вдруг он решил попробовать сшить рубашку. И сшил, себе и мне. Илья Самойлович, и без того замученный, что тетя Соня то и дело ставит моего отца ему в пример, как-то зашел к нам, увидел его за швейной машинкой и очень серьезно сказал: «Ну, уж вот это ты брось!..» Я до сих пор помню те наши с отцом одинаковые рубашки, из толстой мягкой теплой материи — из фланели или из байки, я их не различаю...

Теперь-то я могу понять: это в нем жила память об истинной работе. Его отец, мой дед, был крестьянин. Он умер рано, я его никогда не видел и ничего о нем не знал. Но зато я хорошо знал другого моего деда, по материнской линии, видел его хозяйство, видел, что это за труд — на земле, и понимаю, что из моего отца вышел бы замечательный крестьянин. Он был прирожденный вечный труженик, прирожденный добрый семьянин, с прекрасным практическим умом, и если говорить о наилучшем, об идеальном воплощении его сути в этой жизни, то никем, кроме крестьянина, я его не представляю. Уверен: когда бы не все эти беспрестанные тогдашние подвижки в нашем обществе, начавшие перемешивать все и всех, так бы и вышло. Или — подзадержись эти подвижки, эти катаклизмы хотя бы на какое-то время, чтобы он успел зацепиться за хозяйство, за землю... Но в молодости отца занесло в город, а что мог дать ему город? Для его души, для рук? Служба в связи, которой он отдал всю

жизнь, комната в коммуналке, потом квартира, которую он тоже кинулся обустраивать с присущим ему самозабвением. Всяческие полки, стеллажи, шкафчики, циклевка пола, кафель в ванной, другую раковину на кухню, другие смесители, выключатели... Любимым его магазином стал «Тысяча мелочей» на Ленинском проспекте, тогда как раз только что открывшийся. Отец захаживал в него, возвращаясь с работы, благо по дороге, а то бывало и так: приходил домой, ужинал, глядел недолго в телевизор и говорил: «Схожу-ка я в «Тысячу мелочей»... Но все это была — подмена... Незадолго до выхода на пенсию ему выделили участочек в садоводческом товариществе, мы выкорчевали там пни, отец завез строительный материал для домика, но—больше ничего не успел... И вот я, не столь давно сам распознавший вкус и азарт ко всякой подобной работе...—и во мне, хотя никогда специально не обучался, открылись вдруг умение и страсть пилить, копать землю, сажать деревья, выращивать овощи, цветы и доходить своим умом еще до множества незнакомых мне прежде дел...—вот я теперь и думаю об отце: «Эх, как славно мы бы с ним вдвоем работали!» Однажды мне и сон такой приснился: что-то мы с ним ладим на кухне, в той квартире, на Ленинском проспекте, но только у отца, на удивление, ничего, ничего не получается, все выходит не так, и он такой грустный. И мне до невозможности жалко его, и во сне же я понимаю: это у него оттого не получается, что он—умер...

Да, но все это после, спустя годы, теперь. А тогда, в отрочестве, я начал смотреть на отца отстраненным, изучающим взглядом, и его увлечения казались мне мелкой, «недостойной» суетой. А его доброта, его мягкость в обращении с людьми в моих глазах оборачивались, разумеется, слабостью. Из беспорядочного чтения, из множества прочитанных книг у меня уже выводился свой идеал человека, смутный еще, правда, но в любом случае иной, безусловно, высокий. Была в этом идеале дикая смесь, оставались в нем еще доблестные рыцари, благородные разбойники, гордые одинокие изгнанники, но появлялись уже Печорин, Болконский... Так что какие уж там цветочки на подоконнике, какие носовые платки?.. И насчет отстраненного взгляда на отца не совсем точно: был он отстраненный, но был и пристрастный. Сейчас я вижу, что в моем первоначальном отроческом постижении себя образовывался какой-то очень сложный ход: я не просто через отца пытался узнать о себе, но свои предполагаемые и не нравящиеся мне черты старался отыскать в нем, а отыскав, вновь переносил на себя, как уже «подтвержденные и неизбежные»... Я помню отчаяние, которое охватывало меня при мысли, что я стану похож, уже похож на отца. И, конечно, я пробовал разрушить, преодолеть эту похожесть. То и дело подвергал я себя различным проверкам: все заставлял себя что-то совершать, чего-то, наоборот, не совершать. Это без особого труда удавалось мне, но не приносило удовлетворения—ведь я все время как бы глядел на себя со стороны, я видел намеренность, несерьезность, искусственность таких испытаний. Мне бы хотелось какого-то настоящего, окончательного испытания, которое выпало бы мне помимо моей воли, извне, и не оставило бы места сомнениям на свой счет. В детстве я как-то не очень увлекался игрой в войну, теперь я огорчался, что не успел повоевать. Не потому, что вдруг преисполнился, «вскипел ненавистью к врагам»,—я был полон вражды к себе. Это была бы война против меня, для меня. Со смертью бы, думал я, или с победой, но со мной все стало бы ясно... Вот тогда...—да, и если в детстве меня почему-то не очень занимало, воевал отец, не воевал и почему не воевал,—но вот тогда-то я и начал жалеть, что он не был на фронте. (Понимаю теперь, что отца с его полной невоинственностью, но с исключительной добросовестностью наверняка почти сразу бы убили...) А в то время мне понадобился, мне очень помог бы его ореол воина, героя—мне было бы на что опереться. Еще понимаю, что бессознательно я, видимо, хотел облегчить себе свое самопознание...

Но мог ли я тогда предполагать, как со временем все перевернется, мог ли я думать, что наступит момент, когда не себя через отца, но с тою же страстью примусь я через себя постигать отца?.. Я повзрослею, сам стану отцом, а отец умрет, не в кого будет вглядываться с новым пониманием, останется только прошлое с его невыговоренностью, останется надежда на наше сходство, на то, что я — сын. «...и Отца не знает никто, кроме Сына...»—сказано было дальше, и я бы добавил для себя: никто не знает отца, кроме отца. Потому что уже с радостью я начал узнавать его в себе—когда, устав от погони за всевозможными «смыслами», я сам почувствовал прелесть семьи, прелесть сосредоточения на доме, на детях и на всей той «суете», которую раньше столь презирал... То есть я вернулся к тому, чем отец жил изначально. И я осознал наконец, как мне повезло, что с детства на меня не давил заведомый ореол его «геройства» или его «безвинного мученичества», что мне пришлось разбираться с ним в чистоте, в обыкновенности находить человека. Теперь, в воспоминании, особенное значение заново обрели мелочи, и теперь любой мелочи бывало мне достаточно, потому что я уже ощущал отца изнутри. Я уходил на работу, жена с маленькой дочерью смотрели в окно мне вслед, я оборачивался, махал им, а они мне, и вдруг я вспоминал, что точно так же мы с мамой смотрели вслед отцу, и он точно так же обязательно останавливался, и мы махали друг другу, и, если раньше, я уже говорил, одно предчувствие такого буквального повтора привело бы меня в отчаяние, то теперь, наоборот,—сообщались какое-то спокойствие, надежность... Я еще раз вчитывался в его письма к маме—нигде о себе, о том, что он чувствует, думает, переживает. Только однажды мелькнуло коротко и тем более пронзило своей сдержанностью: «Так пусто, и в лесу и в сердце...» Это—из Белоруссии, с родины, куда он наконец спустя лет тридцать поехал. И мне пришлось восстанавливать и понимать: мало ведь веселья от встречи с местами детства через столько времени. Родители давно умерли, оставшиеся старшие брат и сестра и прочая многочисленная родня помнят и любят, выросли племянники и племянницы, у них уже свои дети, и все они тоже рады тебе, но от этого безыскусного родственного привета еще грустнее, еще более напоминает он об ушедшем, о жизни вдалеке друг от друга. А товарищей-сверстников вовсе разнесло в разные края, и кто-то погиб, друг, с которым в юности вместе ухаживали за одной девушкой, застрелился... Еще отец надеялся побродить по знакомым лесам—к тому же грибник он был страстный,—я потом тоже побывал в тех лесах и знаю: мокрые низины со сплошным сумрачным ельником сменяются там отрадными сухими песчаными буграми, с редкими соснами, с полянами вереска, с островками мягкого зеленого и серого ломкого мха, и вот такие бугры бывают усеяны боровиками—не двигаясь с места, а только поворачиваясь во все стороны, можно насчитать с добрую сотню! И все они такие маленькие, литые, светлые, будто выгоревшие на солнце, и такие у них плотно подвернутые шляпки, что вычистить из-под них захваченный ими песок невозможно, песчинки обязательно остаются и похрустывают потом на зубах... Но та осень, когда был там отец, оказалась на редкость не грибной, и даже за этим занятием не довелось отвлечься, вот и бродил он в одиночестве, с пустой корзиной и с грустными мыслями, вот и посетовал тихонько жене в нескольких всего словах, удивительно соединив «лес» и «сердце»...

При всей его обостренной чувствительности и уязвимости отец вообще не склонен был жаловаться. Чувствительность его была высшей, запрятанной внутрь. Да и в других не любил он ничего чрезмерного, наружного, показного, не переносил никаких «бурных страстей». Хорошо помню, как всякий раз он досадливо крякал, махал рукой и выключал радио, когда шла там какая-нибудь пьеса, когда герои ее уж слишком начинали вопить—все равно, от горя или от радости... В последние свои несколько месяцев отец был очень расстроен. Много лет он проработал заместителем начальника управления всей телефонной связи города, и вот начальник сменился. Новый, молодой руководитель стал набирать, как принято сейчас выражаться, «свою команду». Отцу под предлогом, что у него нет инженерного образования, предложили пойти на районный узел, то есть вернуться туда, где он начинал. Всего за год до пенсии!.. Представляю, как все это было для отца горько, тяжело. Это ведь мы после, неоднократно удостоверившись в циническом бездушии «системы», соответственно, чтобы вот так же не обмануться, настраивали себя в лучшем случае на равнодушие к ней, служили ей «постольку-поскольку», а то и вовсе старались не служить. А поколение, к которому принадлежал отец, привыкло в большинстве загонять себя в работу—до предела... Но он опять не жаловался, не негодовал, наружно оставался спокоен, лишь обро-

нил как-то: «Видимо, мне скоро придется перейти на другую работу...» В тот июньский выходной отец, как и во всякий год в начале лета, уехал на очередное открытие пионерского лагеря. Лагерь этот я тоже помню, вернее, самое начало его: просторное зеленое поле где-то под Звенигородом. Меня, еще маленького, отец взял в тот весенний день с собой — он и его сослуживцы копали тогда ямы, ставили столбы, огораживали отведенную под лагерь территорию... Вот и сейчас он поехал, не чувствуя, не зная еще, что перетираются в нем какие-то последние волокна. Мне не известны подробности, да и не было их, особенных подробностей. Наверняка не обошлось без «торжественной части», наверняка речь держал новый начальник. Думаю, что он сказал какие-то добрые слова про отца, «который вложил столько сил...» — у нас ведь любят, наплевав на человека, отделавшись от него, как от ненужной более вещи, сказать в его адрес добрые, теплые, благодарственные слова. И это скорей всего довершило. Потому что одна подробность, очень существенная для меня, все-таки была, дошла потом в пересказе бухгалтерши из управления. Рассказала она, что сидела как раз рядом с отцом и он вдруг, посреди речи, как-то резко поднялся, сказал: «Ну, все!» — и стал у х о д и т ь. Бухгалтерша еще удивилась про себя: «Как все? Еще концерт...» — и тут отец упал... Нет, вовсе не хочу обвинить я того начальника. Потому что сам-то я... Помню, в раннем детстве что-то у меня болело — то ли зуб резался, то ли в ухе стреляло, — я страдал, родители, глядя на меня, страдали тоже. Отец взял меня на руки, носил по комнате и приговаривал: «Плюнь-ка ты, сынку, на это дело с четвертого этажа!» Усердно я плевал, и вроде бы делалось легче... Вот и мне бы в те дни как-то поддержать его, сказать бы ему: «Плюнь ты, отец, на все это с четвертого этажа!..» Мне ведь было уже под тридцать, и считал я, что понимаю уже кое-что в этом мире, в его ценностях, «истинных и мнимых». Но во всю жизнь, исключая, может быть, то раннее детство, в нашем общении друг с другом была какая-то обоюдная скованность, зажатость... К тому же я так был тогда занят собой, своими делами. После долгого отсутствия я вернулся в Москву и полон был честолюбивых замыслов, полон был стремления завоевывать, наверстывать, немедленно заявлять о себе...

Когда умирает очень близкий, очень родной человек, мы почему-то избегаем сразу осмысливать это, а начинаем спасительным образом отвлекаться на всякие мелочи, на вздор, поражаемся внезапно каким-то внешним совпадениям и в них пытаемся отыскать намеки, знаки и тот смысл, которого не можем увидеть непосредственно в самой смерти. Я, например, в те первые дни сопоставил: отец почти всю свою жизнь в Москве прожил на Звенигородской улице, а умер в З в е н и г о р о д е — и это совпадение показалось мне вдруг ужасно значительным, загадочным, но и сообщающим смерти отца некую определенность, очерчивающим в его судьбе некий круг... И его фотография, которую я люблю, сделана там же, в Звенигороде: отец стоит возле толстой старой липы, над его головой табличка, прикрепленная прямо к стволу. На табличке, я знаю, написано: «Под этой липой любил отдыхать...», но фотография обрезана так, что осталось только: «...он Павлович Чехов, проживавший в Звенигороде в 1884 году». Проживая в Звенигороде, Чехов основал там больницу, из морга этой старой чеховской больницы я и забирал отца... (Интересно — до сих пор, вспоминая ту больницу, я, вроде бы современный человек, ловлю себя на каком-то бессознательном раздражении против врача-писателя, на каком-то досадном чувстве, выводя прямо по-первобытному, обратным движением мысли: не будь в Звенигороде той больницы, того морга, отец бы — н е у м е р...) А на фотографии — лето, отец без пиджака, в одной сорочке с галстуком, на его лице тень от листвы и солнечные блики, он улыбается, скрестил руки на груди. Ему лет сорок, до смерти далеко, но уже по этому снимку видно, что он может умереть от инфаркта. Хотя на сердце, как и вообще на здоровье, он никогда не жаловался и даже в последний год, если в подъезде бывал занят лифт, не ждал его и бежал в свою квартиру — на седьмой этаж через две ступеньки. Но после его смерти я некоторое время усиленно интересовался всякой литературой про «ишемию», «сердечную недостаточность» и т. д. и в какой-то книге вычитал, что человека, расположенного к сердечным заболеваниям, можно распознать по тому, как он складывает на груди руки. Правая рука при этом всегда инстинктивно идет внутрь, под левую, к сердцу. Вот и у отца на той фотографии руки сложены именно так... (Узнав про «руки», я, конечно, попытался определить, как сам делаю это, и не сумел: и так, и так они вроде бы складывались естественно. А как у меня получалось раньше, непреднамеренно, я не помнил. Одно время, после той книжки, я нарочно следил, чтобы они складывались наоборот, чтоб правая рука оставалась сверху, но потом — и тоже нарочно — стал складывать, как отец...)

Он не вел никаких сугубо личных записей, после его смерти я нашел только несколько общих тетрадей с повседневными планами: что сделать по дому, по ремонту, что купить, кому позвонить и проч. Одна такая тетрадь оставалась еще чистой, я безотчетно взял ее себе. А еще через какое-то время понял, для чего понадобилась мне эта отцовская тетрадь: я стал писать в нее все то, что думал о нем, вспоминал. Записывал и сны, когда я видел его. Удивительные иногда случались сны! Чувствовалось в них такое явное, физически и духовно осязаемое присутствие отца, что поутру, с пробуждением, долго сохранялось ощущение, что он где-то здесь, рядом, и нужно только какое-то незначительное завершающее усилие, чтобы понять, как вызволить его, сделать так, чтобы снова он был... Порой будто что-то толкало — я доставал тетрадь, проставлял число и видел: скоро или сегодня очередная годовщина его смерти. Или день рождения. Я записывал, что случилось за минувшее время, что я сделал, что собираюсь делать. Получалось что-то вроде отдельного дневника для отца, отчета ему, сообщения с ним. Ибо, как было уже возвещено и как выписал я в эту же тетрадь: «...и никтоже знаетъ Сына, токмо Отецъ; ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ...»

16

Отрочество, как и детство, как и другие отрезки человеческой жизни — как и юность, и зрелость, и старость, — это не столько возраст, это состояние. Когда-то я написал повесть о детстве в деревне и написал там, что параллельно ему было детство в городе. Именно параллельно, потому что они существовали, не пересекаясь, не проникая друг в друга. И вот эту, вторую повесть я так и собирался назвать: «Детство в городе». Но теперь я вижу, что в городе было отрочество. И они, детство в деревне и отрочество в городе, также сосуществовали одновременно и независимо. Я уезжал в деревню — вновь наступало детство. Возвращался в город — опять возобновлялось отрочество. В городе я всегда становился как бы с т а р ш е. В деревне я бывал беспечен, доверчив, открыт, чувствовал свое родство со всем, что окружало меня, спокойно принимал мир как он есть. В городе я начинал ощущать одиночество, тревогу, напряжение, недовольство собой, всевозможные запреты и страхи, окружающее не удовлетворяло меня, я обращался внутрь себя, делался мечтателен, замкнут в своих мечтаниях... Думаю, однако, что источники, причины этих различных чувствований не именно в «деревне» и не именно в «городе». Для меня мои детство и отрочество обозначались так. А для кого-нибудь они, возможно, противополагались как-то по-иному. Допустим, «дом — школа». Но об одновременности собственного детства и отрочества может, вероятно, свидетельствовать каждый... И думаю еще, что эти две параллели, как и положено им, со временем все-таки соединяются — в зрелости, и наша взрослая жизнь во многом зависит от того, какая из линий в ней возобладает. Прекрасно, хотя и сложно — забрать с собой побольше из детства, а еще труднее — суметь вовремя и навсегда расстаться с отрочеством. В большинстве мы этого не умеем и вот как раз из отрочества забираем, и тащим за собой всю жизнь, и не можем никак повзрослеть. Черта эта — не только нынешняя, еще, кажется, философ Н. Федоров писал о «ребячестве», о «вечном несовершеннолетии» современного ему общества...

Преследует меня иногда один и тот же сон: я снова учусь в школе, в десятом классе, надвигаются выпускные экзамены. Но и я и мои товарищи — во сне я их не различаю в отдельности, ощущаю как «всех»... — все мы уже взрослые, теперешние, вот в чем дело! И тем не менее почему-то н а д о опять учиться и опять сдавать за десятый класс. И все так серьезно к этому относятся, так стараются, добросовестно зубрят. А я прогуливаю, все запустил, все забыл, а экзамены все ближе, и я с тоской

понимаю, что мне уже не наверстать... Сон этот никак не завершается, но прокручивается за ночь по нескольку раз, и время от времени меня вдруг озаряет: «А зачем?!. Ведь у меня уже есть аттестат, есть даже университетский диплом — зачем снова сдавать экзамены?!.» Но эта простая мысль успокаивает лишь ненадолго, я опять вижу, как «все» деловиты, озабочены, усиленно занимаются, и опять чувствую мучение и тоску... Еще примечательно, что во сне же я вспоминаю, что прежде мне уже снились подобные сны, но говорю себе: да, то действительно были сны, а вот теперь не сон, теперь-то — настоящая явь... Сон этот мне странен — ведь ученьем, насколько могу припомнить, я никогда не тяготился, так называемые «знания» давались мне легко. А в десятом классе вообще стало повеселее: близился конец ученью, учителя, даже самые строгие, сделались както добрее, снисходительнее к нам, и сами мы — посвободнее в обращении с ними, научились вдруг не только «отвечать урок», но и высказывать какие-то свои соображения, почувствовали прелесть отвлеченной мысли и спора. Кроме того, вот уже второй год мы учились вместе с девочками, начались влюбленности, мы постигли страдание и безотчетную грусть, ощутили дух соперничества, вооружились иронией, принялись сочинять стихи, на уроках пересылали друг другу загадочные записочки, с подписями и без... Вдобавок год на дворе был — 56-й, сам, казалось, воздух напитывался какой-то вольностью, непривычной раскрепощенностью — даже мы, заточенные в школьных стенах, в заботах выпускного класса, не могли этого не замечать... Помню, Елизавета Андреевна, любимая учительница литературы, попросила меня сделать доклад — на примере какого-нибудь исторического романа — о роли народа и личности в истории. Я остановился все на том же, читанном когда-то и перечитанном «Петре Первом». Перед тем как приняться мне за работу, мы с Елизаветой Андреевной поговорили и дружно сошлись, что основная движущая сила в истории — разумеется, народ. О, я и сам уже размышлял над этим, более того — народ выходил у меня не только основной, но и единственной силой. А личность, считал я, — это так, это что-то вроде бирки, вроде этикетки, навешиваемой на эпоху, для удобства и краткости ее обозначения... Правда, когда я заново просмотрел роман, то несколько смутился — все в нем упиралось в Петра. Но добросовестно отыскал я на его страницах какого-то беглого, закованного в цепи мужика Федьку, по прозвищу Умойся Грязью, который дубовой кувалдой заколачивал сваи под будущий Питербурх, — Федька и вышел у меня «движущей силой»... Но как бы жил этот народ, не будь Петра, полез бы этот Федька добровольно бить сваи в неведомых ему болотах, существовало ли вообще в те времена и, в частности, для Петра само понятие «народ», или же были только «людишки и воры», с которыми он, как всякий самодержец с идеей, делал что хотел, — такими вопросами я тогда, конечно, еще не задавался...

...Да, в школе я по-прежнему оставался деятелен, оживлен, но хорошо также помню, что раздвоенность моя не исчезла — напротив, она, кажется, еще усугубилась. Наедине с собой я сосредоточивался — до угрюмости. Я вдруг ощутил ужасную ответственность за себя, за свою начинающуюся *личность*, за того, кто из меня, в терминологии наших учителей, «может получиться». Близился выход в жизнь, о котором нас столько предупреждали, к которому так готовили. И если раньше просто было неопределенное недовольство собой, то теперь я хорошо знал, что мне не нравилось в себе. Мне, например, очень не нравились мое везение, успех, легкость, с которой давалась мне учеба. Говорю об этом серьезно... И все предвещало, что так будет и впредь. Но под этим успехом я не чувствовал прочности, надежности, *истинности*. «Как можно пользоваться своим везением, — рассуждал я, — ведь все стоящее, подлинное достигается только упорным трудом, победа одерживается после длительных неудач, счастье добывается ценой страданий... Нет, они, разумеется, придут, и победа, и счастье, но пусть они будут заработаны честно, только тогда я и смогу со спокойной совестью принять их...» (Думаю, что шло все это, конечно, от тогдашнего нашего воспитания, от школы, от «литературы»...) Справедливости ради должен сказать, что мысли мои не остались абстракцией: я почти перестал заниматься, не готовился к контрольным, к экзаменам. И это было последовательно, никак не противоречило идее «упорного труда» — ведь для того, чтобы заново добиваться всего упорным трудом, надо было сначала потерять, отказаться от того, чего уже достиг без труда?.. А кончилось тем, что я даже ушел с экзамена по литературе. Первым вопросом были у меня «признаки соцреализма», и я четко перечислил их, все пять или сколько там, уж не помню, признаков. Вторым — образ Пьера. Или, кажется, так: нравственные искания Пьера... Лучше бы, конечно, достался мне образ князя Андрея, в школе он мне больше нравился как тип, нравился склад его ума, его внутренняя четкость, сдержанность и в то же время нервность, его мечта о славе... — это впоследствии пришел я к Пьеру, но и тогда рассказать о нем мог. «С Пьером Безуховым, одним из главных героев бессмертного романа Толстого «Война и мир», мы встречаемся впервые в блистательном, великосветском салоне мадам Шерер, — начал я. — С едкой иронией, с убийственным сарказмом изображает гениальный писатель весь этот бездушный, пустой «свет», все эти «приличьем стянутые маски». Но тем большую симпатию вызывает у нас молодой внешне неуклюжий человек...» Я глянул на учителей, привычно, как взглядывает ученик, проверяя действие своего ответа, — учителя смотрели по-доброму, кивали, поощрительно улыбались мне: я «шел на медаль», и они не сомневались в моем успехе. И вот тут я вдруг замолк, постоял так немного, махнул рукой и пошел — из класса, из школы, потом по улице, просто так, куда глаза глядят. Без мыслей в тот момент, без переживаний, что медали теперь уж наверняка мне не видать, но с каким-то, напротив, спокойствием, с удовлетворением от своего поступка, хотя и за секунду до него не подозревал, что поступлю так... Однако мою пятерку мне все равно поставили. После, на выпускном вечере, Елизавета Андреевна спросила, добродушно и проницательно улыбаясь: «Признайся, не знал ведь вопроса?» Ну, как я мог ей объяснить? Елизавету Андреевну мы все, особенно наша, сплотившаяся вокруг нее компания, любили и любили собираться по вечерам у нее дома, где она была для нас не учителем, а старшим, умным товарищем, мы доверялись ей, разговаривали обо всем откровенно... Но что я мог тут сказать? Что вдруг, в какой-то момент, все во мне воспротивилось — собственной, что ли, определенности, *заданности*, воспротивилось той уверенности во мне, с какой глядели на меня экзаменаторы?.. Пробормотав что-то невнятное в ответ — даже не на вопрос, скорее на шутку Елизаветы Андреевны, я, наверное, впервые почувствовал тогда, что мои идеи — непременных несчастий, неудач, долгого честного труда и т. д. — не *выговариваются вслух*, что самое для тебя важное невозможно, оказывается, высказать даже близкому человеку, потому что, едва начнешь выговаривать это вслух, так и сам увидишь, какое это еще детство... (Но только лет двадцать спустя один мой герой, умудренный жизнью настолько, что все эти понятия: «успех», «неудача», «победа», «поражение», «счастье», «несчастье» и т. д. — утеряли для него всякое содержание и смысл, воспринимались в лучшем случае с иронией, подведет вот такой итог: «Отказавшись для себя от дающегося тебе в руки легкого успеха, отказавшись от своего счастливого характера — ты *оскорбил* судьбу! Потому что истинным через упорный, кропотливый труд оказывается в конце концов лишь он сам — упорный, кропотливый труд, истинным с помощью страдания остается одно страдание, и после длительных неудач не приходит желанный «успех», а верна тебе пребывает все та же неудача... Истинный же успех сопутствует только успеху, крылатое вдохновение не терпит кропотливого труда, и настоящее, не вымученное счастье увенчивает в итоге только того, кто и всю жизнь умел быть счастлив...») Да, видимо, это было уже не детство...

Историк В. Ключевский где-то заметил: «Кто, напрягая нравственные силы в толпе, добром поминает свою школу, тот, значит, считает эту школу не безучастной в пробуждении этих сил, признает ее своей доброй пособницей в житейской борьбе». Думаю, однако, что это — в прекрасном идеале. А в действительности — кто же это и когда, «напрягая нравственные силы в толпе», поминал свою школу «добром»?.. Напротив, очень многие, столкнувшись после школы в упор с «самой жизнью», испытав первые разочарования, начинают ее попрекать, обвинять. Во все времена и примерно в одних и тех же грехах, в одних и тех же словах. Уверен, что, порывшись и в античных авторах, нашел бы подходящую цитату. Но беру из того, что поближе и под рукой. Вот, например, и В. Розанов ото-

звался некогда: «До тех пор, пока вы не подчинитесь школе и покорно дадите ей переделать себя в негодного никуда человека, до тех пор вас никуда не пустят, никуда не примут, не дадут никакого места, не допустят ни до какой работы». А мы будто только что и заново догадались, что школа «нивелирует личность», и полагаем, что это только наша, сегодняшняя школа... Не знаю. Что до меня, то я свою — эту, казалось бы, вовсе уж зажатую, забитую, жестко регламентированную, казенную школу 40—50-х годов — не виню. (Как, впрочем, не приходит также в голову винить детство, отрочество, обстоятельства, среду, «эпоху»...) Конечно, выйдя из школы, пускаешься почти сразу разбираться с нею, опровергать, отрицать — в первое время по мелочам — и делаешь это даже с удовольствием, потому что для тебя это знак, что сам ты становишься умнее, взрослее. Потом, действительно повзрослев, начинаешь трезво всматриваться в нее, размышлять... Однажды, не столь давно, когда в обществе нашем вспыхнуло очередное желание заняться школой... — желание такое вспыхивает всегда внезапно, порывами, ведь общество наше (близкое сравнение) совсем как тот папаша, чрезвычайно перегруженный ответственной работой, так что недосуг уделить внимание своему чаду-школе, но вот когда чадо его окончательно погрязнет в двойках, тут папаша спохватывается, и к учительнице идет, посоветоваться, и за задачки сам садится, напрягается вспомнить, как их решать, а то и за ремень берется, но все опять ненадолго, до следующего такого короткого налета на школу...— да, так вот, в один из таких взрывов всеобщего радения о нашем просвещении я тоже задумался о школе, и о своей, конечно, школе. Я даже что-то вроде простенькой таблички составил, обозначив в одной графе «минусы», в другой — «плюсы». В «минусы» записал я все те дружные нападки: забивает голову черт-те чем, «нивелирует» опять же личность, растит инфантильными, не приготовляет к практической жизни и т. д. Но вот что забавно: когда я стал искать, что записать в графу напротив, то все «минусы» обратились у меня в «плюсы». Школа оторвана от жизни? И хорошо: не выпускает трезвых прагматиков, «специалистов», готовых послушно влезть в первый подставленный хомут и тянуть в нем без оглядки до самой смерти... Растит инфантильными? Тоже не очень страшно: никто, кроме человека, еще не созревшего, не вглядывается с такой страстью в окружающую его жизнь, не осмысливает ее с таким напряжением, не воспринимает так горячо ее недостатки, не чувствует так красоту. Люди же взрослые, как мы знаем, склонны успокаиваться... «Нивелирует» личность? Ну, это как сказать — все ведь мы воспитаны так, что препятствия и всякое давление извне лишь укрепляют личность, лишь подвигают ее на преодоление этих препятствий... А если серьезно, то додумались мы ведь в конце концов до той простой мысли, что каково общество, такова и школа, а разве наше общество само не инфантильно, не «нивелировано», не оторвано от практической жизни? С него, значит, и надобно начинать. Опять же Василий Осипович Ключевский сказал: «Вообще люди много думали о том, как приспособить школу к жизни, и очень мало задумывались над тем, как бы жизнь свою устроить так, чтобы к ней могла приспособиться школа...» О своей же школе могу заключить, что она была хороша уже тем, что задала многие вопросы. И понималось, что разрешить их, оставаясь в кругу привычной жизни, оставаясь в Москве, невозможно. Надо было выбиваться из тех клеточек, в которые приучили вписываться на уроках чистописания, надо было не «узнавать жизнь», а узнавать совсем иную жизнь. Родись я в начале прошлого века, я отправился бы на Кавказ. А в мое время иной жизнью мерещилась Сибирь. В Сибирь я и уехал...

17

«28 февраля 1983 г.

...Может, ты уже знаешь? 11 февраля мы взяли маму из больницы, а вчера, 27-го, она умерла. Всю ночь она мучилась. Раньше я всегда жалел, что ты умер так мгновенно и не в окружении родных, ничего нам не сказав, не приуготовившись к смерти, но теперь, когда я видел, как умирала мама... Ей было не до нашего окружения... Приехала «Скорая». Написали: «Смерть до приезда «03». Сестра просила их о морге. «Я одна, мужа нет, ребенок маленький, я не знаю, что мне делать!» Я знал, что мама не хотела в морг, но здесь был дом сестры, и ребенок, правда, был маленький, нервный — я не имел права возражать. Ей выписали наряд на перевозку, сказали — звонить после девяти вечера... Объясни ты мне, отчего со смертью, таким великим и важным для человека событием, всегда связаны еще какие-то нелепые, унизительные для умершего и его близких процедуры? И сразу начинает происходить что-то дикое и безобразное? Я пошел за справкой о смерти в районную поликлинику. Врача не было, справку не дали. «03» по нашему звонку сказала, что наряда за таким номером у них нет, перевозить они не будут. Жена моя ругалась с ними и опять пошла в поликлинику. В мамин паспорт, который жена положила в сумку, случайно завалилась десятка, врач увидела, сказала: «Это не надо, это не положено», — но десятка исчезла, как сгинула. Жена еще подумала, не обронила ли. Зато врач стала звонить по разным телефонам и сказала, что «это сейчас очень сложно — устроить в морг». Наконец она дозвонилась и дала направление. Потом приехали двое — одинаково невзрачные, в одинаковых кроличьих шапках и черных шинелях — как у проводников вагонов. Один стал читать бумажку и сказал, что на ней нет печати. Сестра дала ему пятерку. Тогда он сказал, что завтра надо будет приехать в морг и договориться о заморозке. «Потому что, пока вы не приедете, с ней заниматься не станут. Будет валяться, и все», — доходчиво объяснил он. В это время другой что-то писал на бумажке, спросив перед этим: «Колец, драгоценностей, золотых зубов нет? Претензий нет?» — и возле слова «Родственник» я расписался.

Потом они сходили за носилками. Я думал, что это будут обычные носилки, с ручками, но ты знаешь, это оказалось что-то вроде лодки! Красная пластмассовая лодка с прорезями в бортах. Они поставили ее рядом с диваном, на котором лежала мама. Лицо ее уже начало определяться в новом, смертном своем состоянии. И тут я почувствовал, что мамина душа возмутилась. Сестра не могла смотреть, ушла. А я стоял и видел, как они, соединив над мамой края простыни, на которой она лежала, перенесли ее на дно лодки. Мама слишком маленькой казалась посреди этой красной ладьи. Ты глядел со стены. Эти двое (запах одеколона, запах морга исходил от них) затянули прорези шнуром, подняли легко и понесли. Один вошел в лифт, другой вдвинул туда нижний конец лодки, поднял стоймя, вошел сам, и они провалились с мамой. В этот момент сверху стали спускаться люди. «А почему мы спускаемся пешком?» — спросила женщина. «Да тут какие-то туристы заняли лифт», — ответил ее спутник. Сестра открыла форточку и стала прибирать...

9 марта.

Вчера весь день что-то меня безотчетно томило, вечером я вышел на улицу, побрел по улице с тем же неопределенным чувством, потом сел в автобус — и оказался у нас на Пресне. Ходил по нашим бывшим Звенигородским, вокруг Новых домов и возле нашего дома тоже. Поднялся по лестнице на четвертый этаж, постоял у нашей двери. Нет, в квартиру заходить я не хотел. Но, уходя, я остановился на другой стороне улицы, там, где останавливался ты, когда махал нам с мамой. Окна нашей комнаты светились. «Боже мой, — думал я, — как же им там живется, среди наших мыслей и чувств, среди наших теней и шепота? Да ведь и я сам так живу, чувствуя только свое «сегодня», в своей старой, тоже населенной многими тенями квартире... Вот в деревнях — на месте чьей-то былой усадьбы никто не селился, каждый избирал себе новое место, а селились уж тогда, когда позарастало пепелище и сама память исчезала, что здесь жили когда-то. А мы вселяемся на чужие места мгновенно, без смущения, и туда, где еще стоит кровать с умирающей старухой, громоздим шкаф, в угол, где играют дети, — телевизор, там, где только что расчистили местечко, чтобы потанцевать, ставим стол, в укромный уголок возле двери, где обнимаются и целуются, втискиваем вешалку и закидываем шубами. Мы глухи, слепы и ведем себя так, будто вокруг нас никого нет...»

Еще я думал, что прошлое нельзя покидать просто так, как безвозвратно ушедшее. Нет, ты же понимаешь, что я не простую память о прошлом имею в виду. Ибо прошлое продолжает существовать так же, как, я в это верю, продолжаете существовать ты и мама...

Так встретились вы или должно пройти еще какое-то время, чтобы ее допустили к тебе?..»

Леонид ФИЛАТОВ

Шесть стихотворений

Кюхельбекер

Ему какой уж месяц нет письма,
А он меж тем не ленится и пишет.
Что ж сообщить? Здоровьем он не пышет,
И это огорчительно весьма.

Он занемог и кашлял целый год, —
Хвала его тобольской дульсинее, —
Он мог бы захворать еще сильнее,
Когда б не своевременный уход.

Но что ж он о себе да о себе, —
Унылый пимен собственных болезней!
Куда важнее знать — да и полезней! —
Что слышно у собратьев по судьбе.

Как друг наш N?.. Прощен ли за стихи?..
Он числился у нас в дантонах с детства!..
(N поступил на службу в министерство,
Публично осудив свои грехи.)

Как буйный R?.. Все так же рвется в бой?..
О, этого не сломит наказанье!
(R служит губернатором в Казани,
Вполне довольный жизнью и собой.)

А как там К?.. Все ходит под мечом?..
Мне помнится, он был на поселенье...
(К. взят на службу в Третье отделенье
Простым филёром. То бишь стукачом.)

Как вам не позавидовать, друзья,
Вы пестуете новую идею.
Тиран приговорен. Ужо злодею!
Зачеркнуто. Про то писать нельзя.

Однако же ему не по себе,
В нем тоже, братцы, кровь, а не водица,
Он тоже мог бы чем-то пригодиться,
Коль скоро речь заходит о борьбе!

Таких, как он, в России не мильен,
И что же в том, что он немного болен?..
В капризах тела, верно, он не волен,
Но дух его по-прежнему силен!..

...Он пишет им, не чуя между тем,
Что век устал болтать на эту тему.
Нет добровольцев бить башкой о стену,
Чтоб лишний раз проверить крепость стен.

Все счастливы, что кончилась гроза...
А он, забытый всеми, ждет ответа,
Тараща в ночь отвыкшие от света
Безумные навыкате глаза...

* * *

В урочный час, назначенный для бденья,
В заветный час, секретный от семьи,
Слетаются ко мне, как привиденья,
Умершие товарищи мои...

И в продолженье всей бессонной ночи,
Покамест время их не истекло,
Бездомные их души что есть мочи
Стучат в мое оконное стекло.

Тот просит в институт устроить дочку,
Тот просит оплатить его долги,
А третий — наконец поставить точку
Той сплетне, что посеяли враги...

Товарищи дают мне полномочья
Отстаивать посмертную их честь,
Но чем могу товарищам помочь я,
Когда своих забот не перечесть?..

В своей судьбе так муторно и сиро,
Что о других и думать не моги:
Мне своего бы выпестовать сына
И мне свои бы выплатить долги...

Гляжу на них, домашне вяловатый,
Расслабленный котлетой и вином, —
Уже и тем пред ними виноватый,
Что нахожусь сейчас не за окном,

И тупо размышляю, гладя кошку:
Вот завтра грянусь оземь, не дыша, —
К чьему тогда надежному окошку
Захочет прилететь моя душа?..

Михайловское

Поэты браконьерствуют в Михайловском,
Капканы расставляют и силки,
Чтоб изловить нехитрой той механикой
Витающие в воздухе стихи.

Идет очередная оккупация,
Сопротивляться — боже сохрани!
Природа онемела, как купальщица,
Застигнутая ржаньем солдатни.

Но где ж они, бациллы вдохновения,
Неужто не осталось ничего?
Пошарьте-ка в чернильнице у гения
Да загляните в шлепанцы его!..

Ищите же, спешите же, усердствуйте,
Дышите глубже, жители столиц,
Затем, чтоб каплю пушкинской эссенции
В своих разбойных легких растворить!

А впрочем, разглядим их в новом качестве,
Оставив обличительный трезвон:
Ей-богу, в их как будто бы чудачестве
Есть свой — весьма трагический — резон!

Всю жизнь они потели от усердия,
Хватая друг у друга черпаки,
А вот теперь им хочется бессмертия,
Щепотку ирреальной чепухи!..

Назначенные временно великими,
Они в душе измученной таят
Тоску по сверхтаинственной религии,
Религии по имени т а л а н т.

И хоть они публично почитаемы
За их, как говорится, трудодни, —
Они никем на свете не читаемы
За исключеньем собственной родни.

И хоть у них, певцов родной истории,
Сияет финский кафель в нужниках, —
Им сроду не собрать аудитории
В родном дворе, не то что в Лужниках.

И хоть начальство выдало по смете им
От общих благ изрядную щепоть, —
Им вскоре стало ясно, что бессмертием
Заведует не Суслов, а Господь!..

Кто в этом виноват — судьба ли грешница,
Начальство ли, обычный ли нефарт,
Но им теперь во сне такое грезится —
В былое время хлопнул бы инфаркт! —

Что все они в джинсовом ходят рубище
И каждый весел, тощ и бородат,
Что их стихи, отважные до грубости,
Печатает один лишь самиздат.

Что нет у них призов и благодарностей,
Тем более чинов и орденов,
И что они — не мафия бездарностей,
А каждый — одарен и одинок!

Поэты браконьерствуют в Михайловском,
И да простит лесничий им грехи!..
А в небесах неслышно усмехаются
Летучие и быстрые стихи!..

Они свистят над сонными опушками,
Далекие от суетной муры,
Когда-то окольцованные Пушкиным,
Не пойманные нами с той поры!..

Баллада о труде, или Памяти графомана

Скончался скромный человек
Без имени и отчества,
Клиент прилежнейший аптек
И рыцарь стихотворчества.

Он от своих булыжных строк
Желал добиться легкости.
Была бы смерть задаче впрок —
И он бы тут же лег костьми.

Хоть для камней имел Сизиф
Здоровье не железное,
Он все ж мечтал сложить из них
Большое и полезное.

Он шел на бой, он шел на риск,
Он — с животом надорванным —
Не предъявлял начальству иск,
Что не отмечен орденом.

Он свято веровал в добро
И вряд ли бредил славою,
Когда пудовое перо
Водил рукою слабою.

Он все редакции в Москве
Стихами отоваривал,
Он приносил стихи в мешке
И с грохотом вываливал.

Валялись рифмы по столам,
С добавкою гарнирною —
С гранитной пылью пополам
И с крошкою гранитною.

В тот день, когда его мослы
Отправили на кладбище,
Все редколлегии Москвы
Ходили, лбы разгладивши.

Но труд — хоть был он и не впрок! —
Видать, нуждался в отзвуке, —
И пять его легчайших строк
Витать остались в воздухе...

Поэт был нищ и безымян
И жил, как пес на паперти,
Но пять пылинок, пять семян
Оставил в нашей памяти.

Пусть вентилятор месит пыль,
Пусть трет ее о лопасти —
Была мечта, а стала быль:
Поэт добился легкости!

Истерты в прах сто тысяч тонн
Отменного булыжника,
Но век услышал слабый стон
Бесславного подвижника.

Почил великий аноним,
Трудившийся до одури...
...Снимите шляпы перед ним,
Талантливые лодыри!..

Анонимщикам

Пошла охота, знать, и на меня —
Все чаще анонимки получаю...
Я всем вам, братцы, оптом отвечаю,
Хотя и знаю ваши имена.

Какой опоены вы беленой,
Какой нуждой иль страстью вы гонимы, —
Пыхтящие в засаде анонимы,
Стократно рассекреченные мной?..

С какой «великой целью» вы в ладу,
Когда часами спорите в запале,
Попали вы в меня иль не попали
И если «да» — когда ж я упаду?..

Но если я, допустим, упаду
И расколюсь на ржавые запчасти,
То чье я обеспечу этим счастье
И чью я унесу с собой беду?..

Вот снова пуля срезала листву
И пискнула над ухом, точно зуммер.
А я живу. Хвораю, но не умер.
Чуть реже улыбаюсь, но живу.

Не то чтоб вы вложили мало сил,
Не то чтоб в ваших пулях мало яда,—
Нет, в этом смысле все идет, как надо,
Но есть помеха — мать, жена и сын.

Разбуженные вашею пальбой,
Они стоят бессонно за плечами —
Три ангела, три страха, три печали,
Готовые прикрыть меня собой.

Я по врагам из пушек не луплю,
Не проявляюсь даже в укоризне,
Поскольку берегу остаток жизни
Для тех, кого жалею и люблю.

И ненависти к вам я не таю,
Хоть вы о ней изрядно порадели,
Вы — не злодеи. Вы — жрецы идеи,
Нисколько не похожей на мою.

А кто из нас был кролик, кто — питон,
Кто жил попыткой пользы, кто — тщетою,—
Все выяснится там, за той чертою,
Где все мы, братцы, встретимся потом...

Из Аттилы Йожефа

Когда душа
Во мраке мечется, шурша,
Как обезумевшая крыса,—

Ищи в тот миг
Любви спасительный тайник,
Где от себя возможно скрыться.

В огне любви
Сгорят злосчастия твои,
Все, что свербило и болело,

Но в том огне
С проклятой болью наравне,
Имей в виду, сгорит и тело.

И если ты
Платить не хочешь горькой мзды
И от любви бежишь в испуге —

Тогда живи,
Как жалкий зверь, что акт любви
Легко справляет без подруги.

Пусть ты сожжен,
И все ж — хоть мать пытай
ножом! —
Покой души в любви и вере.

Но та, к кому
Я шел сквозь холод, грязь и тьму,
Передо мной закрыла двери.

И боль во мне
Звенит цикадой в тишине,
И я глушу ее подушкой,—

Так сирота —
С гримасой плача возле рта —
Бренчит дурацкой погремушкой.

О, есть ли путь,
Чтоб можно было как-нибудь
Избавить душу от смятенья?..

Я без стыда
Казнил бы тех, чья красота
Для окружающих смертельна!..

Мне ль, дикарю,
Носить пристойности кору,
Что именуется культурой?..

Я не хочу
Задаром жечь любви свечу
Перед божественною дурой!..

Дитя и мать
Вдвоем обязаны орать —
Всегда двоим при родах больно!

Во тьме дворов,
Рожая нищих и воров,
Вы, женщины, орите: больно!

В чаду пивных,
Стирая кровь с ножей хмельных,
Вы, мужики, орите: больно!

И вы, самцы,
Уныло тиская соски
Постылых баб,— орите: больно!

И вы, скопцы,
Под утро вешаясь с тоски
На галстуках,— орите: больно!

Ты, майский жук,
Что прянул точно под каблук,
Всем малым тельцем хрустни:
больно!

Ты, добрый пес,
Что угодил под паровоз,
Кровавой пастью взвизгни: больно!

Ты, племя рыб,
С крючком в губе ори навзрыд,
Во все немое горло: больно!

Моя же боль
Сильней означенной любой,
Ее одной на всех довольно.

И тот из вас,
Кто ощутит ее хоть раз,
Узнает, что такое «больно»!

Пусть адский хор,
Растущий, как лавина с гор,
Ворвется грозно и разбойно

К ней в дом — и там,
Бродя за нею по пятам,
Орет ей в уши: очень больно!

И пусть она,
Разбита и оглушена,
Поймет среди орущей бойни,

Что не любви
Пришел просить я, весь в крови,
А лишь спасения от боли...

●

Марк ПОПОВСКИЙ

Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга

Если даже отбросить в сторону личные пристрастия, то и тогда остаются у меня особые причины посвящать многие страницы биографии Войно-Ясенецкого людям исторически «незнатиым». Так ли хорошо нам известно, кто в действительности является лицом историческим, а кто таковым не является? Разве не исчезали на наших глазах в провале насильственного забвения десятки и сотни тысяч чтимых недавно писателей, ученых, политических деятелей? Неожиданно потеряв свою историческую ценность, вчерашние кумиры пропадали со страниц учебников и энциклопедий. Родилось несколько поколений, не знавших писателя Замятина, поэтессы Цветаевой, академина Николая Вавилова, философов Вл. Соловьева, Н. Бердяева. И одновременно ради постоянно меняющихся государственных надобностей кто-то извлекал из тьмы кромешной то шахтерского поэта Ивана Махиню с его виршами, то милого мальчика Павлика Морозова, то профессора О. Лепешинскую, гарантирующую вечную юность тому, кто пользуется ее содовыми ваннами.

Трудное это дело — определять историческую ценность личности. То и дело видим мы, как совсем зряшный вроде бы в одну эпоху человек начинает вдруг сиять ослепительным светом в другую. И не только сам сияет, но и других современников высвечивает. Воеводу енисейского Афанасия Пашкова разве что очень уж ученые историки в пыли архивной приметили бы. Да и то вряд ли. А прославил воеводу его современник протопоп Аввакум, ничтожнейший из подчиненных Пашкова, тот Аввакум, которого воеводе и пинать-то в конце концов надоело. Ныне неразлучны они в нашей памяти — мучитель и жертва, жестокий сибирский воевода, мастер кнута, и Аввакум — блестящий писатель, мыслитель, а главное — человек, в самых страшных страданиях не утерявший людского образа. Не растащить их и ныне вовек. Так же и профессора Войно-Ясенецкого, епископа Луку, не разлучить в исторической судьбе с красным партизаном, героем гражданской войны, председателем Туруханского краевого совета Филиппом Яковлевичем Бабкиным.

Впервые услышал я о Бабкине от девяностолетнего Арсения Кузьмича Константинова (см. стр. 84). Агент Всероссийской экспортной организации Сибпушнина, Константинов несколько лет состоял в постоянных деловых отношениях с красноярскими, енисейскими и туруханскими властями. Бабкин был тогда абсолютным хозяином Туруханского края. «Я затруднялся бы назвать его симпатичным или способным,— признается Константинов.— Мне он показался даже менее развитым, чем многие рыбаки и охотники, которых я встречал на Енисее. Почему-то особую антипатию испытывал Бабкин к «чистой публике», к «интеллигентам».

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 2 с г.

Особое чувство Филиппа Яковлевича к интеллигенции несколько проясняет история его жизни. В описываемое время ему еще не исполнилось и 27 лет. Родился он в деревне Маклаково, неподалеку от Енисейска. Сначала работал в хозяйстве отца, потом стал подручным слесаря в пароходных мастерских. Дошел до помощника машиниста на одном из енисейских судов. Возможно, добрался бы и до должности машиниста, но началась гражданская война, и учиться стало незачем. Начиная с 1918 года и до конца своей жизни в 1938-м Филипп Яковлевич только командовал. В качестве командира партизанского отряда он без разбора расстреливал енисейскую «чистую публику», которую независимо от пола, возраста и общественного положения определял одним словом — «контра». Потом белые разбили его отряд и заодно сожгли дом его родителей в Маклакове. После этого Филипп Яковлевич начал еще более яростно жечь дома чужие и пускать в расход сомнительных и подозрительных. В 1919 году красные отряды окончательно заняли Енисейск, и едва достигший двадцатилетнего возраста помощник машиниста Бабкин стал первым председателем городского исполкома. В 1923-м его послали на повышение — возглавлять громаду Туруханского края.

На групповом снимке тех лет (бывшие партизаны в своем кругу) Бабкин в белой вышитой на сибирский манер косоворотке, высоких щегольских сапогах заметно выделяется среди друзей. У него твердый подбородок, жесткий рот, глубоко посаженные фанатичные глаза природного вождя. Дальнейший жизненный путь его повторяет биографии большинства героев гражданской войны: из своего захолустья Бабкин вызван был в начале 30-х годов в Москву на высокий пост в Главсевморпуть, а в 1938 году расстрелян как враг народа. В 1924 году Бабкин плюнул бы в глаза всякому, кто предсказал бы ему такую кончину. Он и его люди взяли власть, и отныне навеки ничто не могло помешать им творить свою волю. Там, в Москве, тоже были свои. А свои — это Филипп Яковлевич знал хорошо — никогда своему ничего плохого не сделают. Что же касается царских «спецов», то их следовало держать в твердых руках, использовать и по возможности перевоспитывать. На этот счет были указания сверху. Поэтому, когда в Туруханск привезли Войно-Ясенецкого, председатель вызвал его к себе и без лишних церемоний заявил: «Вы, профессор, бросьте эту священную дурь и занимайтесь медициной, а мы будем хлопотать о вас, чтобы вы досрочно закончили свою ссылку и поехали куда пожелаете». Хороший был разговор, вполне дружелюбный. Для епископа даже слишком дружелюбный. Но Войно-Ясенецкий почему-то обиделся.

«О Председателе Туруханского Краевого Совета меня предупреждали, что он большой враг и ненавистник религии»,— пишет Лука. Это неверно. Хотя сам Бабкин считал себя свободным от всякой веры, ссылал священников, разрушал церкви, но этот атеист был по-своему очень религиозен: свято верил, например, газетам, приезжавшим из центра пропагандистам, любым официальным сведениям, идущим из Москвы и Красноярска. За «единый аз» своей веры он готов был пойти на любые муки, ввергнуть мир в любые страдания. Газеты писали в то время, что все священники — враги советской власти, что во время гражданской войны они хранили в церквах оружие и стреляли с колоколен по красным войскам. Сам Филипп Яковлевич ничего такого за священниками не замечал, но раз в газете написано...

А еще истово верил Бабкин в **схему**. Потому что **схема** давала ему ответ на все, решительно на все вопросы жизни. Следуя схеме, едва окончивший четырехклассное сельское училище красный партизан с полным правом мог чувствовать себя умнее и образованнее любого академика-профессора. Правда, и со схемой получались иногда неожиданные камуфлеты. Считалось по схеме, например, что если закрыть монастырь, запретить церковные праздники и развесить в клубе соответствующие плакаты, то массы тотчас поймут поповский обман и потеряют всякий интерес к церкви, к религии. Бабкин закрыл, запретил, развесил. Но почему-то мужики продолжали ходить в храм, крестить детей, отпевали покойников, напивались в церковные праздники. Антирелигиозные лекции, наоборот, посещали мужики туго, неохотно. Схема ошиблась? Нет, для Бабкина такой вывод был невозможен. Виноватыми могут быть только люди, отдельные личности, враги или темная масса, еще не осознавшая всего величия схемы. Кто же в данном

случае мешает победе атеизма, торжеству научного мировоззрения? В маленьком городке все на виду. С тех пор как приехал епископ Лука, церковная жизнь в Туруханске явно оживилась. Итак, все ясно: в лице ссыльного епископа появился откровенный враг. Схема вещает: мракобесы активизировались, надо принимать решительные меры. Какие именно меры — Бабкину подсказывать не нужно. Про меры он все знал.

«По требованию этого председателя,— пишет в «Мемуарах» Лука,— меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить на покрытых ковром санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказать людям в благословении и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление. Этого он, конечно, сделать не мог. О поездках в церковь я тоже предлагал ему запретить крестьянам подавать мне сани, устланные ковром. Этого он тоже не сделал. Однако недолго терпел он мою твердость и бесстрашие...

Здание ГПУ стояло очень близко к больнице. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям Исполкома я должен немедленно уехать дальше от Туруханска и на сборы мне дается полчаса времени. Я спокойно спросил, куда же именно меня высылают, и получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».

То, что затеяли хозяева Туруханска, иначе как преднамеренным убийством не назовешь. В разгар зимы, которая в 1924—1925 годах выдалась особенно жестокой, отправить на открытых санях за полторы тысячи верст человека, не имеющего теплой одежды, значило обречь его на неизбежную гибель. Коренной енисеец, Бабкин все это, конечно, хорошо понимал. Епископу Луке предстояло сгинуть среди ледяной енисейской пустыни так же, как до него и после него сгинули там тысячи раздетых и разутых русских людей, чья вина в том только и состояла, что они не сумели предугадать всех крутых поворотов российской истории. Но Войно-Ясенецкий не погиб. Спасение свое объяснял он позже обстоятельствами мистическими. В пути по замерзшему Енисею в сильные морозы, писал он, «я почти реально ощущал, что со мной — Сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Известны, однако, и вполне естественные силы, которые в трудный час пришли на помощь профессору-епископу. Едва Бабкин и его присные произнесли свой приговор, как вокруг обреченного образовался сонм доброжелателей, о существовании которых власти не могли даже догадаться. Первым и наиболее верным другом Луки оказался милиционер, которому было поручено сопровождать ссыльного. В то время как Лука укладывал в дорогу свой немудреный скарб, этот страж успел незаметно шепнуть ему на ухо: «Пожалуйста, профессор, собирайтесь как можно скорее, нам нужно только выехать отсюда и доехать до ближайшей деревни, а дальше поедем спокойно». Первая деревня (станок) в пятнадцати верстах от Туруханска называлась Селиваниха. Там во время отдыха и смены лошадей Луку догнал еще один доброжелатель. Еврей из Белоруссии эсер Розенфельд был принципиальным атеистом и материалистом. На этой почве у него с епископом не раз происходили горячие схватки. Но, как только Розенфельд узнал о ссылке Войно-Ясенецкого, он принялся обходить дома своих столь же неверующих товарищей и собрал в конце концов целую охапку теплых вещей и даже малую толику денег. Чуть не загнав крестьянскую лошадь, он привез в Селиваниху совершенно необходимые в дороге оленьи чулки-бакари, унты из собачьих шкур, енотовую шубу, меховое пальто. Судя по «Мемуарам», Лука нисколько не удивился заботе товарища по ссылке. Несмотря на разногласия, дружеские отношения с эсерами сложились у него уже давно. Коренной туруханец М. Н. Черненко также подтверждает: политические с большим почтением относились к Луке, помогали ему кто чем мог.

Помнит Черненко и первую ночевку епископа в Селиванихе, в доме его отца. Епископ держался с хозяевами доброжелательно, спокойно, как будто не ехал он в страшную далекую ссылку, а просто зашел к добрым знакомым на чашку чая. Милиционер же, наоборот, выглядел очень озабоченным. Он был давний знакомый родителей Черненко и откровенно признался им, что везти Луку ему не по душе. Выпивая и закусывая за столом, милиционер воздержался от лишней рюмки. Сказал: «Во хмелю я груб, а епископу-профессору грубить не хочется». Надо полагать, что на одетого в мундир вчерашнего крестьянина личность ученого епископа произвела действительно глубокое впечатление. Эти чувства подкреплялись в каждом новом станке. В Курейке произошел эпизод, который побудил наконец милиционера открыться своему узнику. Лука так пишет об этом случае: «Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до северного полярного круга, за которым стояла деревушка, названия которой я не помню. В ней жил в ссылке И. В. Сталин. Когда мы вошли в избу, хозяин протянул мне руку. Я спросил: «Разве ты не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?» Это, как позже оказалось, произвело большое впечатление на милиционера. Он говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отреч Монастырь».

Чем дальше на север, тем тяжелее становилась дорога. Один из станков сгорел, путники не могли остановиться в нем на ночь. Кое-как достали оленей, ослабевших от бескормицы, на них долго добирались до следующего станка. В тот день при жестоком морозе проехали не меньше 70 верст. Даже в своей меховой одежде Лука закоченел так, что его пришлось на руках нести в избу. Туруханские власти не определили точного места, где следовало поселить изгнанного из «столицы» епископа. Принять окончательное решение было поручено милиционеру. Они проехали уже более четырехсот километров на север. До берега океана оставалось столько же. Но вот в енисейском станке Плахино, четвертом по счету за Игаркой, немного не доезжая до Дудинки, сопровождающий внес багаж Луки в засыпанную снегом избу и объявил, что отныне место жительства ему определено здесь. Страницы «Мемуаров» дают выразительную, почти живописную картину приезда Войно-Ясенецкого в Плахино и быта «на краю света»:

«Это был совсем небольшой станок, состоящий из трех изб и, как мне показалось, еще двух больших груд навоза и соломы. Но и это были жилища двух небольших семей. Мы вошли в главную избу, и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахина. Все низко поклонились мне, и председатель станка сказал мне: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться: мы для вас все устроим». Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: «Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставить вам полсажени дров в месяц. Эта женщина будет для вас готовить, а эта — стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться». Мой конвоир — комсомолец — очень внимательно наблюдал за сценой моего знакомства с жителями станка. Он должен был сейчас же ехать ночевать в торговую факторию, стоящую за несколько километров от Плахина. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его...

Я остался один в совсем новом помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо двойных рам снаружи были приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала большая куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой.

Вблизи нар стояла железная печурка, которую я на ночь наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре. В первый же день я принялся заклеивать щели в окнах клейстером и толстой оберточной бумагой для покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щели в углу избы. Весь день и ночь я топил железную печурку. Когда

я сидел тепло одетый за столиком, то выше пояса было тепло, а ниже его — холодно... Иногда по ночам меня будил точно сильный удар грома. Но это был не гром, трескался лед поперек всего широкого Енисея...

Однажды мне пришлось испытать крайне жестокий мороз, когда несколько дней подряд беспрерывно дул северный ветер, называемый жителями «сивер». Это тихий, но не перестающий ни днем, ни ночью леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь стоят, повернувшись задом к северу. На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул «сивер», поплавки непрестанно стучали, напоминая мне музыку Грига «Пляска мертвецов».

Всякого другого такая тоскливая, однообразная, в чем-то даже страшная жизнь заживо погребенного повергла бы в уныние. Но епископ Лука даже в этих критических обстоятельствах находил повод для интересных наблюдений, для юмора. Он с улыбкой пишет о птице, похожей на комок розового пуха, которую ему удалось увидеть вблизи жилья, о том, как баба, которая обещала стряпать для него, подралась со своим любовником и отказалась готовить пищу. Впервые в жизни профессор-епископ принялся варить себе обед сам. «Не помню уж, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель,— пишет он.— Я сварил клюкву и стал приливать в нее жидкий крахмал. Сколько я ни лил его, мне все казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твердую массу».

С той же светлой иронией, которая чаще всего обращена к самому себе, рассказывает Лука, как исполнял он в ссылке обязанности священника и проповедника. «У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я продолжал крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая, с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше, и скоро прекратились мои чтения и проповеди». Еще более затруднительным оказалось в 250 километрах за Полярным кругом крестить младенца. Но высокое представление о своем епископском достоинстве и тут вывело ссыльного иерея из критической ситуации. Вот бесхитростное описание этих необычных крестин: «У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинял молитвы, а из полотенец сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а во время совершения таинства мне мешал теленок, вертевшийся около купели. Св. Миро у меня, конечно, тоже не было. Но я вспомнил, что я преемник Апостолов, заменил миропомазание возложением рук на крещаемых с призыванием Св. Духа, как это делали Апостолы в свое время».

Читаешь эти до наивности искренние строки и с изумлением думаешь: неужели это написано в нашем тщеславном, самолюбивом двадцатом веке? Не строки ли это из «Жития протопопа Аввакума»? Близость «Мемуаров» Луки Войно-Ясенецкого к православному памятнику русской духовной культуры семнадцатого века тем удивительнее, что епископ нового времени, строгий традиционалист в делах веры, ни за что не взял бы за образец литературный стиль еретика-раскольника. Сходство двух «Житий» обязано совсем иному: поразительной близости характеров обоих авторов. И Аввакум, и Лука полны добра и любви к «малым сим», оба охотно иронизируют сами над собой, только себя укоряя в несовершенстве и недостатке веры. Оба не боятся уронить себя в глазах читателя. Для них нет грубых, неэстетических или стыдных тем, ибо, о чем ни писали эти мученики, за ними стоит подлинная житейская правда, боль страдающего, несправедливо попранного человека. Не смех, но сострадание вызывает рассказ Аввакума о волоке, где на скользкой ледяной дороге валятся друг на друга ослабевшие мужики и бабы. Или описание земляной ямы, в которой узники сидят, окруженные собственными испражнениями. То же чувство овладевает, мне кажется, читателем, когда в «Мемуарах» епископа Луки он найдет следующие строки: «Мне, конечно, всегда приходилось и днем и ночью выходить из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но, когда дул «сивер», положение становилось отчаянным».

У Аввакума и Луки нахожу я еще одну сближающую черту. В душах обоих удивительным образом уживались гордость и смирение. Голод, пытки, требования Патриарха Никона и всего Собора — ничто не могло сломить огнепального протопопа. Он и самого царя готов был обвинить в ереси. Но тот же Аввакум, как с ребенком, возился с буйным психическим больным, безропотно терпел любые личные обиды и страдания. Таков и Лука.

Сочетание гордости и смирения Бердяев считал естественным признаком противоречивости человеческой натуры. И только. Философ охотно признается: такое противоречие не чуждо ему самому. «Я бунтарь и человек смиренный»,— пишет он. Мне, однако, видится тут нечто иное. Епископ Лука не согласен отказаться от саней, крытых ковром, вовсе не потому, что с ковром ему ездить теплее и мягче. Ковер — символ епископских прав, прав, врученных ему свыше. И он не останавливается ни перед чем, желая отстоять это высшее право. Не может он отказаться и благословлять верующих, ибо это опять-таки не его личное дело, а нечто высшее и неподвластное ни районным, ни областным, ни общегосударственным властям. Когда же обиду наносят лично ему, когда пьяные красноармейцы в Ташкентском госпитале избивают профессора Войно-Ясенецкого, когда бедствует он на Ангаре, замерзает среди льдов на Енисее,— тут для него виновных нет. Он смирен, как и подобает истинному христианину. В этом нет противоречия, просто в душе епископа-профессора присутствуют как бы две шкалы ценностей: одна — высшая, духовная, и вторая — физическая, обыденная, бытовая. Все, что связано с исполнением воли Божества, свято, за это, если понадобится, согласен он положить и самую жизнь. Страдания же и обиды, переносимые во второй, бытовой, ипостаси,— ничто. Терпеть их следует со смирением.

В Плахине, по словам Луки, прожил он более двух месяцев, и за все это время там не появился ни один приезжий. Это не совсем верно. Место для ссылки было избрано действительно пустынное, и тем не менее за Полярным кругом произошла немаловажная встреча. В августе 1970 года мне была предоставлена возможность выступить по красноярскому телевидению. Я рассказал телезрителям, кто такой был Войно-Ясенецкий, показал его портрет 20-х годов и попросил знавших его поделиться своими воспоминаниями. Почти тотчас после того, как погас экран, на студии раздались звонки. Людей, желающих поговорить о епископе Луке, оказалось довольно много. Но особенно интересной была встреча с Арсением Кузьмичом Константиновым. Несмотря на почтенный возраст, Константинов оказался рослым, по-стариковски красивым человеком. Коренной енисеец, он семьдесят лет проработал почтовым и торговым чиновником, пользовался абсолютным доверием сначала купцов, потом советских закупочных организаций. Его посылали с товарами в самые глухие углы большой Сибири, откуда он вывозил на миллионы рублей пушнины. В свой 91 год Арсений Кузьмич все еще сохранил великолепную память, отлично помнил многие эпизоды и разговоры полувековой давности. В 1924—1925 годах он был уполномоченным Московской сырьевой конторы по заготовке пушнины. Ему приходилось бывать в Туруханске, но с Войно-Ясенецким в городе он не познакомился. Встреча их произошла лишь в феврале 1925 года в Плахине. Случилось это так.

Триста оленей везли в тундру большой груз: провизию, ружья, охотничьи боеприпасы, а главное... кирпичи. На одной из факторий решено было построить хлебопекарню. Эвенки любили хлеб, охотно выменивали на него шкурки белок, песцов и соболей, но сами хлеб печь не умели. Зимой 1925 года в тундру отправили караван-оргиш с мукой и кирпичами. Предстояло обучить инородцев хлебопечению. В обмен на свою науку организаторы каравана надеялись вывезти из тундры побольше идущих на экспорт мехов. Главный торговый агент Константинов получил приказ встретить идущий из Красноярска караван в Дудинке, но из-за пурги он опоздал на эту встречу и олени пошли дальше. Пред-

стояло нагонять их на собаках. Взрослого проводника в Дудинке Арсений Кузьмич не нашел (на этот случай у него не оказалось с собой бутылки спирта). Стать проводником согласился лишь тринадцатилетний мальчик эвенк. Перед отъездом, объясняя сыну дорогу, отец долго чертил что-то на снегу. Суть объяснения, как позднее узнал Константинов, сводилась к тому, что зимой снежные заструги (наносы) ориентированы всегда с севера на юг. Для понимающего человека тундра превращается как бы в гигантский компас. Чтобы разыскать ушедший вперед караван, ехать следовало под определенным углом к заструГам. Но разберется ли мальчик во всей этой снежной «географии»? Выбора у Константинова не было, хочешь не хочешь, ехать надо. Юный проводник, однако, не подвел. Для начала Арсению Кузьмичу пришлось испытать бешеную гонку под зимними звездами. Потом ночевку под нартой, лежа прямо на снегу. Никакой спальный мешок не мог спасти от пронзительного холода полярной ночи. Снова часами мчались собаки по совершенно плоской белой равнине. Пошли вторые сутки пути, когда маленький проводник остановил наконец собачий поезд, соскочил с санок и начал водить по сугробам двенадцатиаршинным шестом-хореем. Это означало, что где-то рядом он надеется обнаружить караван. Вскоре хорей уперся в небольшой бугорок. То была труба занесенной снегом избушки — под сугробом обогревались караванщики. Олени тоже лежали неподалеку в снегу.

Я не мог отказать себе в удовольствии пересказать этот не имеющий прямого отношения к нашему повествованию эпизод. Встреча Константинова с караваном произошла уже после того, как Арсений Кузьмич побывал в Плахине. Заехать к Луке попросил его начальник туруханской почтовой конторы. Минувшей осенью хирург оперировал при завороте кишок и спас его ребенка. Теперь, нарушая строгий запрет Филиппа Бабкина, благодарный отец передал с оказией Войно-Ясенецкому прибывшую корреспонденцию. В Плахино Константинов приехал под вечер. Переступил засыпанный снегом порог и увидел закопченную, давно не метенную избу с небеленой печью. Тут же лежали охапки нарубленных дров. Убожество и нищета жилища проглядывали во всем. На некрашеном столе стояла эмалированная кружка с водой и лежал кусок черного хлеба. Никакой другой пищи не было видно. Лука молился. Знаком руки он попросил гостя обождать. Минут через десять, совершив перед большой старинной иконой последний поклон, обернулся к гостю и пробасил: «А теперь будем знакомиться».

Первое, о чем захотел узнать ссыльный,— что нового в мире, что сообщают газеты. С жадностью, не перебивая, выслушал и отечественные и международные новости. Потом заговорил о личном: уже очень давно ему не удается подать о себе весть родным, живущим в Симферополе [19]. Близкие, очевидно, беспокоятся о нем. Нельзя ли известить их телеграммой?

Почтовые отделения Дальнего Севера частных телеграмм в те годы не принимали. Но, зная, как ценят Войно в Туруханске, Константинов выразил надежду, что для знаменитого хирурга будет сделано исключение и телеграмму все-таки передадут. Заговорили о плахинском житье-бытье, о питании, о топке. Встреча произошла вскоре после того, как местные женщины отказались стряпать и стирать для ссыльного. Да и что было стряпать? На вопросы гостя Войно-Ясенецкий только разводил руками — обстановка в избе говорила сама за себя. Константинов тут же вырвал из блокнота листок и написал записки на две ближайшие фактории, чтобы впредь профессору продавали за наличный расчет крупчатку, сахар, сушки, сливочное масло, манную крупу. В крае, где большую часть продуктов питания доставляют за тысячи километров, это было целое богатство. Но оказалось, что и выкупить свои деликатесы Владыке было не на что: у него не было денег. Константинов предложил ему сто рублей взаймы. «Я с удовольствием взял бы,— смутился Лука,— но не знаю, смогу ли когда-нибудь вернуть ваши деньги». «Если не вернете, не беда»,— ответил Арсений Кузьмич и начал собираться в дорогу. Ему предстояла та самая скачка на собаках вдогонку за караваном, о которой говорилось выше. Прежде чем двинуться в глубь тундры, он успел, однако, выполнить свои обещания, данные

Луке. Заехал на фактории и предупредил приказчиков об оставленных в Плахине записках, а в Дудинке дал телеграмму родным Войно.

Потом были у торгового агента другие дела, другие приключения, до Плахина удалось ему добраться снова только полторы недели спустя. Но Луки к этому времени там уже не оказалось: ссыльного увезли в Туруханск. Константинов ночевал в пустой, холодной избе, где перед тем два с лишним месяца провел его недавний собеседник. Лежа на нарах под оленьим одеялом, вспомнил Арсений Кузьмич между прочим, что Лука говорил ему о возможном возвращении в Туруханск. Об этом хлопотал известный сибирский хирург профессор В. М. Мыш. Тогда же епископ добавил: «Господь Бог дал мне знать: через месяц я буду в Туруханске». Очевидно, на лице Константинова отразилось недоумение, потому что Лука, осуждающе покачав головой, заметил: «Вижу, вижу, вы неверующий. Вам мои слова кажутся невероятными. Но будет именно так».

Почти полвека спустя, пересказывая мне этот эпизод, Арсений Кузьмич пояснил: «Лука угадал — я был и остаюсь неверующим. Но, хоть я и не признаю церковной обрядности, я верю: если человек совести не потерял — Бог у него в душе есть. Другого смысла в религии я для себя не нахожу».

Почему начальник туруханского ГПУ среди зимы отправил сани за ненавистным епископом, неясно. По версии самого Войно-Ясенецкого, за него вступился народ. «Оказалось,— пишет он в «Мемуарах»,— что в Туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной помощи, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали за мной гонца...» [20].

Так было или иначе, но в Туруханск Войно-Ясенецкий вернулся победителем. Вероятно, кто-то за него все-таки похлопотал. Автор «Мемуаров» пишет об этом, не скрывая торжества по поводу своей маленькой победы. «Первым, кто меня встретил в Туруханске с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино... Я опять начал работать в больнице. Уполномоченный ГПУ, выславший меня... однажды по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время разговора с ним отворилась дверь и в комнату вошла целая вереница эвенков (тунгусов) со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не заметил этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром».

Глава четвертая

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ТРИДЦАТОМ (1926—1931)

«...Бог искушал Авраама и сказал ему... возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Морна и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам... встав, прошел на место, о котором сказал Бог».

Бытие. Глава 22

Верховенский: «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно».

Ставрогин: «Право на бесчестье — да это к нам все прибегут, ни одного там не останется».

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «Бесы»

Они встретились случайно: ранним утром в конце августа сошлись на базарчике в горной деревушке Бурч-Мулла. Оба искали бричку до Ташкента. Никто на базаре не обращал внимания на пожилого православного священника

в очках. Среди рыночной суеты и гомона старик пытался сыскать возницу. И тщетно.

Михаил Софиев сразу узнал своего бывшего учителя. Шесть лет назад, в 1923-м, когда Софиев был еще студентом-медиком, профессор Войно-Ясенецкий так же, как и сейчас, с нагрудным крестом, в рясе, читал им курс оперативной хирургии. Потом профессор исчез, говорили, что сослан в Сибирь. И вдруг — вот он: в одной руке посох, в другой — «докторский» саквояж. Ряса белая, льняная, видно, не раз уже стиранная. Башмаки тоже старенькие, стоптанные. Профессор поседел, но, как и прежде, держится прямо, с достоинством.

Молодой врач принял на себя заботы о транспорте, и четверть часа спустя профессор и бывший студент уже катили по пыльной дороге между виноградниками и хлопковыми полями в сторону туркестанской столицы.

Дальняя дорога располагает к беседе. Бурч-Мулла — в девяноста верстах от Ташкента — пользовалась в те времена славой сердечного курорта. Войно приезжал сюда лечить нажитые в ссылке отеки на ногах, много ходил по горным тропам. Софиева же забросила в предгорья отнюдь не забота о здоровье, а научный поиск: он приезжал вылавливать клещей, переносчиков инфекций. Разговор получился славный. Войно-Ясенецкого живо интересовали новости медицинской науки и в том числе успехи микробиологии и паразитологии, которой занимался Софиев. Расспрашивал он и о положении дел на медицинском факультете университета. В САГУ вложено было когда-то немало сил его. Услыхав про университет, обернулся к седокам возница. У этого русского крестьянина-переселенца оказались свои довольно сложные отношения с Ташкентским университетом. Полгода назад мужика раскулачили: отняли скот, землю, инвентарь. Разорили вконец. Но самый тяжелый удар нанес ему сын. Парень учился на врача в этом самом университете. Хорошо учился. А как разорили отца, то ему и сказали: хочешь быть доктором — отрекайся от батьки-кулака. Не отречешься — выгоним. Что делать — отрекся малец. Написал в газете: нет у меня с этого дня ни отца, ни матери, не признаю их за родных. Войно слушал рассказ хмуро, не перебивая. Потом спросил:

— Вы ему помогаете?

— А как же не помогать! — развел руками мужик. — Своя кровь... Через чужих людей, конечно, приходится. Посылаем сколько можем...

Почти сорок лет спустя, передавая мне тот давний диалог, профессор Михаил Сионович Софиев вспомнил, что, услыхав слова возницы, Войно-Ясенецкий вдруг зябко повел плечами («будто среди жаркого летнего дня почуял дыхание сибирской ледяной пурги»). Сказал тихо, с болью:

— Сколько лжи и неправды они создают.

Остаток пути профессор ехал молча. Случайный дорожный разговор пробудил, очевидно, какие-то нелегкие раздумья.

Какие именно, Софиев не знал. Они с Войно никогда больше не встречались.

Грустные переживания, которые охватили в тот августовский день епископа Луку, стали мне понятными лишь позднее, когда я познакомился с тремя его сыновьями и дочерью. По мнению близких, профессор-епископ, которого по возвращении из ссылки в 1926 году лишили и церковной, и университетской кафедр, не слишком сильно переживал свои «должностные» потери. Он занимался частной врачебной практикой, продолжал работать над монографией, служил в храме как рядовой священник и вовсе не страдал от скромности своего общественного положения. Он устранился от всякой политической деятельности, и основной для него проблемой в эти годы стала проблема взаимоотношений с детьми.

Тотчас после первого ареста Луки всех четырех, оставленных на попечение Софьи Сергеевны Велицкой, выгнали из квартиры. Кое-как рассовав книги и вещи по знакомым, они поселились в крохотной комнатушке, куда вход вел через окно. Каморка была так мала, что разместиться в ней было бы невозможно, если бы Велицкая не построила двухэтажные нары. Валентин и Алексей спали под потолком, а Лена и Михаил — внизу. После смерти матери у всех детей Войно-Ясенецкого была положительная реакция на туберкулез. Они нуждались

в свежем воздухе, усиленном питании. Но откуда было взять это самое питание? Благодаря заступничеству доктора Слонима Велицкую с работы не выгнали. Она кормила детей и себя на сестринское жалованье — два червонца в месяц. Жили, конечно, впроголодь, не помогали ни ночные дежурства, ни различные приработки, на которые соглашалась трудолюбивая Софья Сергеевна. Ее любимцами были младшие — Валя и Лена. Но и этих приходилось на целые дни оставлять одних. Вернувшись с работы, названая мать часто находила своих детей исцарапанными, грязными, в разорванной одежде. Начинались чистка, штопка, мытье до глубокой ночи.

Из всех детей не любил Велицкую только Михаил, старший. После ареста отца он бросил школу, бродяжил по городу, хулиганил. Юношу устроили в ремесленное училище, но скоро его и оттуда исключили как сына «попа». Михаил еще больше озлобился. С Алексеем повторилось то же самое: его как сына классового врага исключили из десятого класса. Осенью 1928 года власти смилостивились и направили школьника в другое учебное заведение с многообещающим названием «Школа имени Песталоцци». Директор школы, мрачно глядя в сопроводительные документы, проворчал: «Ты сын попа. Я тебя возьму, раз прислали, но, если мне пришлют сына рабочего, я тебя выгоню». По счастью, сына рабочего, претендовавшего на то же место, не оказалось. И Алексей среднюю школу окончил.

Дети епископа Луки полной мерой заплатили за «поповство» отца. Клеймо политической неблагонадежности преследовало их почти два десятка лет кряду. Они оставались неприкасаемыми не только в школе и в институте, но и позднее, на военной и гражданской службе, при получении паспорта, каждый раз прописывались на новое место жительства. Девятнадцатилетнего Алексея, который проходил военные сборы неподалеку от Ташкента, вызвал к себе политрук:

— Как попал к нам? Нам поповских детей не надо. А сам верующий?

Алексей ответил, что в церковь не ходит, но издевательские карнавалы во время Пасхи и Рождества его возмущают. Молодого солдата оставили на этот раз в покое. Тем не менее, не ожидая для себя ничего хорошего в Ташкенте, Алексей покинул родной город. Он переехал в Ленинград, но преследования продолжались и там. В 1935 году на очередных военных сборах, когда часть готовилась к выезду в военные лагеря, Алексея Войно-Ясенецкого вызвали прямо из строя, оставили в городе и затем несколько раз допрашивали в органах НКВД.

Особенно тягостная юность выпала на долю Михаила. После возвращения из ссылки старшего Войно-Ясенецкого младшего приняли на медицинский факультет университета. Учился Михаил хорошо. Заинтересовался медициной, перестал хулиганить. Однако каждая новая кампания «за классовую чистоту высшей школы» заканчивалась для него исключением. Ему так и не дали бы получить высшее образование, если бы не заступничество профессора Слонима. Друг семьи Войно-Ясенецких использовал свое влияние на властей и несколько раз водворял юношу обратно в университет. После очередного исключения от Михаила потребовали, чтобы он отрекся от отца-епископа публично. Повторилась ситуация, о которой рассказывал своим седокам раскулаченный крестьянин из Бурч-Муллы. По воспоминаниям старых ташкентцев, Михаил от отца отрекся, но продолжал обедать дома. Его выследили институтские «активисты». Состоялось новое разбирательство и новое исключение...

Епископ Лука мучительно переживал издевательства, которым подвергали его семью. Но узел его отношений с детьми был значительно сложнее, чем могло показаться со стороны. И не только внешние силы были тому виной. Однажды в 1928 году отцу попали в руки записи, которые вел младший сын. Валентину едва исполнилось пятнадцать лет. Был он болезнен, худ, бледен и, может быть, из-за этого вызывал у отца особенно нежные чувства. Но Войно не умел открывать себя близким. Его сосредоточенность окружающие рассматривали как признак характера мрачного и холодного. В записках, непредназначенных для чужих глаз, Валентин жаловался на то, что отец к нему равнодушен, невнимателен, что он, Вален-

тин, лишен элементарного родительского воспитания. Лука прочитал эти полные укоризны строки и позвал сына в кабинет. Разговор был тяжел для обоих. В нем незримо присутствовала покойница Анна Васильевна. «Если бы мама была жива...» Мальчику казалось, что «холодность» отца возникла лишь после смерти матери. Лука серьезно и терпеливо разъяснял сыну-подростку свои жизненные принципы. «Ты упрекаешь меня, но я считаю, что главное воспитание — это пример. Я воспитывал вас, моих детей, примером своей жизни. Или этого недостаточно?»

Владыка был искренен. Он подавал (и не только своим детям) пример, достойный всяческого подражания. А когда не мог быть рядом с семьей, писал детям письма. Всю страсть отцовского чувства, весь талант пастыря вкладывал он в эти письма-проповеди, которые должны были, по его мнению, донести до детей накопленный им жизненный опыт.

«Все в том, чтобы жизнь имела высший смысл добра,— писал он из Енисейска семнадцатилетиему Михаилу.— И с этой точки зрения деятельность врача представляется одной из самых высоких. Но дело в том, что это верно лишь тогда, когда очень глубоки и тверды основы высшей нравственности, на которых строится деятельность врача. Надо, чтобы он всецело был проникнут стремлением служить людям, любить людей. Если бы у тебя я видел такую глубину стремления к добру, к любви, к Богу, то был бы очень счастлив... Но при столь ясно сквозящем в твоих письмах легкомыслии не могу посоветовать тебе тяжелого пути врача. Будет лучше, если ты последуешь своему влечению к техническим наукам, потому что высшие нравственные цели жизни можно осуществлять во всякой профессии, всяком общественном положении».

В письме, посланном из деревни Хая, те же мотивы:

«Неспокоен я за тебя. В таком возрасте, когда тебе всего больше необходимо мое постоянное воспитательное влияние, а ты давно оторван от меня и почти предоставлен самому себе. Никогда еще развращающее влияние среды не было так страшно, как теперь, никогда еще слабые юные души не подвергались таким соблазнам. А я, к сожалению, должен тебе сказать, что из всех моих детей тебя считаю наименее любящим добро, наиболее способным поддаться развращающим соблазнам. Не знаю, может быть, то, что пережил и переживаю я, произвело на тебя глубокое впечатление и внушило благоговение к правде. Дай Бог, чтоб это было так. Но в одном из писем бабушки я прочел очень мучительные для меня слова: «Впрочем, Миша малочувствителен». Это ведь так мне известно, так меня мучило всегда. Понимаешь ли ты ужас этой короткой фразы? Ведь это значит, что неправда не пронзает твоего сердца, что не холодеет оно, когда слышишь нравственно страшное, не загорается оно святым негодованием против зла, не пламенеет восторгом, когда слышишь о прекрасном, добром, возвышенном. Не весь ли ты по-прежнему поглощен эгоизмом? Много тщеславия в твоих письмах, а тщеславие так родственно эгоизму. Нет в тебе глубокой серьезности, которая неизбежно родится в человеке не эгоистичном, не собой занятом, а глубоко чувствующем чужие страдания, тяжесть и беспросветный ужас человеческой жизни».

Отец не ошибся в душевном состоянии сына. Ущемленный своей социальной второсортностью, юноша жаждал взять реванш любыми средствами. Он играет в любительских спектаклях, покинув ремесленное училище, поступает в редакцию газеты, надеется там стяжать лавры художника. В его жизни рано появляются женщины. Отца отделяют от «свихнувшегося» сына несколько тысяч километров, но он не теряет надежды спасти молодого человека. Лука свято верит в силу личного примера и исцеляющую мощь правдивого с л о в а. Очередное письмо из ссылки напоминает Михаилу о важности человеческого достоинства и самоуважения, о гнусности пьянства и разврата. Отец требует, чтобы сын ежедневно читал строго указанные ему главы Евангелия и дважды до возвращения Луки из Сибири, успел прочитать Новый Завет.

«Хотя и лишил Господь Бог моего непосредственного руководства, но знай, что ты уже очень много получил от меня. Дети воспитываются примером родителей, а лучшего примера, чем тот, который ты видел во мне, ты не мог увидеть. Ни на минуту не забывай, что ты сын епископа, святителя-исповедника Христова, и знай, что это налагает на тебя страшную ответственость перед Богом».

Боюсь, что вполне современный советский юноша, свободный от веры и идеалов своего отца, Михаил Войно-Ясенецкий с иронией воспринимал обращенные к нему страшные заклятья. А равно и просьбу прислать в Енисейск бутылку красного виноградного вина для литургии. В свои семнадцать Михаил знал и более рациональный способ применения вина...

Увы, пастырь чужих душ, проповедник и моралист, епископ Лука плохо понимал мощь тех новых социальных сил, которые принялись формировать души его собственных детей. Улица, школа, кипучая жизнь 20-х годов рисовали Михаилу, Алексею, Валентину и Елене значительно более привлекательные примеры для подражания, нежели те, о которых писал отец. В кино показывали знаменитых актеров, отечественных и заграничных. По экрану скакали ковбои, разряжая свои многозарядные смит-вессоны направо и налево. Многосерийный фильм «Месс-Менд» с главным героем, бесстрашным американским рабочим Джимом Долларом, потрясал сердца мешаниной из мелодрамы, детектива и лозунгов о пролетарской солидарности в мировом масштабе. В книгах тоже преобладали герои, вооруженные пистолетами и холодным оружием: участники недавно закончившейся гражданской войны.

В юношеских мечтах тех лет попросту не оставалось места для гонимых и преследуемых. Жертвенность, мужество восходящих на костер во имя Бога, защита нравственных принципов — это казалось архаичным, глупым и просто смешным. К тому же молодым Войно-Ясенецким надоело оставаться изгоями. Ведь кругом бурлила такая в е с е л а я жизнь! Хотелось быть, как все, как вот эти звонкоголосые пионеры, комсомольцы с горластыми горнами и бойкими барабанами. Мир епископа Луки огораживал все строгостью, ограничениями, запретами; зато прекрасный р е а л ь н ы й мир манил беспредельной абсолютной свободой.

И все-таки он любил своих детей, очень любил. Он любил их, несмотря на то, что дочь «выскочила» замуж чуть ли не в шестнадцать лет за пьяницу и картежника, средний сын имел обыкновение месяцами и годами не отвечать на письма, а старший женился, даже не известив об этом старика отца. Он любил их, хотя никто из четверых так и не разделил его страстной веры в Христа. Лука возвращался к этой мучительной теме много раз, но все разговоры его с детьми кончались впустую. И все же он оставался отцом, отцом в большом и в малом. Зная, что Валентин инфицирован, Лука многие годы выписывал журнал «Вопросы туберкулеза», следил за состоянием этого раздела на тот случай, если сыну станет хуже. Всю жизнь, пока они не стали на собственные ноги, отец посылал детям деньги, одежду, продукты — даже из ссылок, когда удавалось что-то заработать. Позднее от отдал им свою Сталинскую премию.

В свой черед профессор Войно-Ясенецкий привез младшего сына в Одессу и попросил академика В. П. Филатова взять молодого медика в учение. «Я беру вас, исходя из того, что яблоко от яблони недалеко катится»,— сказал знаменитый окулист Валентину Войно-Ясенецкому. И второму сыну, Алексею, стать ученым, учеником академика Л. А. Орбели также помог авторитет отца. О глубокой привязанности к своим детям, о горячем интересе его к их успехам, здоровью, к их личной жизни свидетельствует каждое из трехсот писем епископа к детям, которые мне удалось прочитать. Заботой, беспокойством, любовью дышит каждая строка этих посланий.

Да, он любил своих детей. И тем не менее в Ташкенте, а потом в Переславле-Залесском я несколько раз сталкивался с людьми, которые и слышать не хотели о семейных привязанностях профессора Войно-Ясенецкого. Любил? А почему же не расстригся в таком случае? Почему не снял рясу и крест? Ведь видел же, что именно из-за этой рясы голодают его дети, страдает ни в чем не повинная Софья Сергеевна Велицкая. Из-за его епископства мальчики не имели нормального детства, а потом годами терпели унижения в институтах, на работе. Так говорили некоторые врачи и профессора, бывшие коллеги Войно-Ясенецкого. Люди, не так чтобы очень уж преуспевшие, они прожили «правильную» жизнь советских служащих и на закате ее оставались в счастливом убеждении, что всякая иная жизнь ненормальна, неестественна и даже безнравственна. За их воздыханиями легко угадывалась система взглядов типа: «Плетью обуха не перешибешь», «Не

так живи, как хочется» и даже «Поклонишься — не переломишься». По такой шкале ценностей профессор Войно-Ясенецкий представляется всего лишь холодным эгоистом и упрямцем, который, потакая своему неуживчивому, надменному характеру, играл судьбой малолетних детей. Расстаться с поповством мешала ему только склонность к самолюбованию.

Для крестьянки Елизаветы Никаноровны Кокиной душевные извивы рефлектирующей интеллигенции — материя малознакомая. Однако и она готова возразить своему бывшему барину. Услыхав, как сложилась судьба детей Валентина Феликсовича после его пострижения в монахи, бывшая горничная Войно-Ясенецких разразилась следующей филиппикой:

— Значит, он только о себе думал? В рай хотел, а дети — как знаешь... Мать бы этого никогда не позволила. Если бы он один был, тогда другое дело: молись, иди в монахи. А так, как же он бросил маленьких? Что ж это он так?..

Далее последовал рассказ, призванный, так сказать, иллюстрировать тезис о том, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Муж покойной сестры Елизаветы Никаноровны, мужик из соседней деревни, остался вдовым при пятерых детях. Старшей дочери было тринадцать, младшему — полтора годика. Легко ли мужику с такой обузой? Но он другой жены не взял, так и ходил вдовый, пока не выдал замуж старшую дочь. «Вот...» — тяжело вздохнув, сказала Елизавета Никаноровна. И в заключительном этом вот звучал бескомпромиссный осуждающий вердикт легкомысленному барину, доктору Войно-Ясенецкому.

Я далек от того, чтобы оспаривать здравый смысл, к которому в нашем случае с равным энтузиазмом взывает и ташкентская профессура, и неграмотная крестьянка из лесного поселка Щелканка. Здравый смысл всегда был и, очевидно, навсегда останется главной шкалой ценностей для человека из толпы. Этот критерий нельзя назвать ложным или недостойным, ибо в обыденной жизни все мы измеряем, взвешиваем поступки своих ближних и своими мерками все того же здравого смысла. За единицу измерения при этом принимается количество пользы, которую приносит каждый поступок. Большая польза всегда лучше пользы маленькой. Но и маленькая хороша, когда нет никакой другой. В том, что профессор Войно-Ясенецкий надел рясу и крест в пору, когда за рясу и крест сажали в тюрьму, здравый смысл современников не усматривает решительно никакой пользы. Наоборот даже, ясно был виден вред этого поступка как для самого профессора, так и для его семьи. То обстоятельство, что сам профессор не хотел или не мог видеть этого, показывало, что здравым смыслом он не обладает, что в этической системе имеется какой-то порок. Таков голос массы, большинства.

Попробуем, однако, взглянуть на те же факты с другой стороны. Стоит ли измерять высоту Эвереста в микронах? Есть ли нужда в том, чтобы земной шар взвешивался на тончайших миллиграммовых весах? Очевидно, что крупные предметы требуют для своего измерения иных масштабов, иных мерок. А крупная личность? Идея, которая руководила поступками Луки в двадцатые годы, четко определила систему его отношений с обществом. Он согласен был существовать в этом обществе только при одном условии: если ему сохранят право на веру. Мир без веры, без строгого нравственного порядка был для него попросту невозможен. Лука не раз демонстрировал властям свою готовность, если надо, умереть за веру. В Туркестане я слышал от нескольких стариков рассказ о том, как в 1926 году, когда чекисты пришли в дом к Войно, он упал на колени перед иконами и коротко, но истово помолился, а затем, встав с колен, совершенно спокойно сказал: «Я готов. Можете взять мою жизнь». Чекисты пришли в этот раз не убивать епископа, а, наоборот, освободить его от ссылки (освобождение пришло на восемь месяцев позже приговоренного срока). Но всем своим поведением ссыльный показал: смерть за веру ему не страшна. Не согласился епископ Лука расстаться с крестом и тогда, когда партиец Бабкин в лютую стужу без теплой одежды отправил его на верную гибель за Полярный круг.

Итак, соблазнить Войно, оторвать его от исполнения того высокого долга, которому он себя посвятил, не могли ни те, кто манил его возможностью вернуться к любимой хирургии, ни те, кто сулил спокойную жизнь в кругу семьи. Не пугала его и откровенная угроза расправы. Стоит ли после этого удивляться, что твердости его не лишила и трагическая судьба горячо любимых детей? Он так и сказал младшему, о котором как о больном скорбел особенно сильно: «Служитель Бога не может ни перед чем остановиться в своей высокой службе, даже перед тем, чтобы оставить своих детей». Ни народная мудрость Елизаветы Никаноровны, ни аргументы интеллектуалов не кажутся мне более убедительными, нежели позиция человека, столь ясно осознавшего свой особый путь в этом мире.

...Я думаю, что Владыке Луке не раз приходил на память тот эпизод из Ветхого Завета, когда Авраам восходит на гору Мориа, чтобы там предать всесожжению нежно любимого первенца своего Исаака. Эпически скупые строки библейского текста ничего не говорят нам о переживаниях несчастного отца. Можно только догадываться о том, что происходит в душе старика, которому лишь на склоне лет посчастливилось дождаться единственного сына, продолжателя рода. И вот сейчас он должен собственными руками убить отрока, единственную опору и надежду свою. «Бог искушал Авраама...» — читаем в древнем тексте. И через несколько строк сухо, как о чем-то само собой разумеющемся, Библия сообщает: «Авраам... пошел на место, о котором сказал Бог». Не мог не пойти.

Ташкент эпохи нэпа остался в памяти современников как город-рай. Особенно восхищал он приезжих из России. Вдова профессора-юриста Н. П. Фиолетова Надежда Юрьевна так описывает столицу Туркестана, куда они с мужем приехали в середине 20-х годов: «Богатые рынки, на каждом углу торговцы, продававшие с шумом и ажиотажем какую-то мелочишку, лоточники, торговавшие виноградом, «сладким, как мед», кислым молоком в ведрах и горячими лепешками-чуреками; национальная одежда, мусульманские праздники, проходившие под оглушительный грохот барабанов, визг флейт, дудение каких-то длинных труб,— все колоритно, ярко, живо. Небо сапфирно-голубое, жгучее солнце, журчание арыков, огромные карагачи, отбрасывающие тень на всю улицу, красивые дома светло-шоколадного цвета с верандами и садами — все это создавало впечатление какого-то нескончаемого праздника... В центре города были открыты небольшие ресторанчики, где можно было за недорогую плату вкусно пообедать, и притом на открытом воздухе, в тени деревьев».

Но город, торгующий, праздничный и прекрасный, имел и другие ипостаси: «В университете группа профессоров вела глубокое изучение Евангелия,— пишет Фиолетова.— Раз в неделю кто-нибудь из них выступал в кругу коллег со словом на евангельскую тему. В эту группу, кроме профессоров, входила и молодежь». Изучение Евангелия на факультете общественных наук проходило, конечно, тайно. Да и профессура, бежавшая в 1924—1925 годах из Москвы и Ленинграда в более мягкий политический климат Ташкента, где университет еще не потерял права избирать преподавателей, понимала, что доживает тут последние годы. С 1927 года на университет начался нажим, который закончился чисткой и закрытием факультетов общественных наук и востоковедения. Но, пока железная метла ГПУ окончательно не смела всех этих беглецов в тюрьмы и сибирские лагеря, интеллигенты пытались жить так, как им подсказывали их вкусы и совесть. Молодой, красивый, деятельный архимандрит Вениамин Троицкий, живший в вольной ссылке, основал небольшую общину в маленьком домике на Никольском шоссе. «В общине по воскресеньям и праздничным дням совершались богослужения. По праздникам сюда стекалось много народа послушать пение и молитвы». В городе, пишет Фиолетова, было много людей, которые искренне болели о делах веры, церкви. Среди таких называет она А. М. Муромцеву. «В этот дом,— добавляет Фиолетова,— хаживал и правящий Ташкентский епископ Лука. Его колоритную фигуру с посохом в правой руке и молитвенником, который он держал перед собой в левой, можно было нередко встретить, когда он утром отправлялся из своей квартиры на Учительской в Сергиевский собор» [21].

После ссылки Войно-Ясенецкий стал частным лицом, как говорилось, лишенным епископской и университетской кафедр. Но науку или церковь не оставил. Как и прежде, Лука несколько часов ежедневно посвящал работе над рукописью «Гнойная хирургия», по воскресеньям и праздничным дням служил в церкви, а остальное время принимал больных. В немецких хирургических журналах (в те годы это еще допускалось) появилось несколько его специальных статей, кото-

рые подписывал он Bischop Lucas — Епископ Лука[22]. Однако исцеление страждущих для него было главным.

Поселился он, как правильно указывает Н. Ю. Фиолетова, на Учительской, неподалеку от Сергиевской церкви. Снял небольшой домик в две комнаты с прихожей. До 1929 года вместе с ним жил Алексей. Младшие дети оставались с Велицкой. На Алексее лежала обязанность вести запись больных и следить за очередью. Раз в месяц в назначенный день юноша поднимался в пять утра. Его будил гул голосов под окнами. Там с ночи собиралась большая толпа. Открыв двери, он выходил к людям: начиналась запись на прием. Через полтора-два часа месячный список — более 400 больных — был готов. Принимал Войно-Ясенецкий 15—20 человек в день, держал больных в кабинете подолгу. Заранее было объявлено, что прием бесплатный. О воздаянии за врачебный труд Лука не хотел и слышать. Но больные хитрили: Алексей находил трехрублевки и пятерки то засунутыми под чернильный прибор, то оставленными в прихожей. Те, кто предпочитал делать подношения натурой, заходили на кухню и оставляли свои корзинки стряпухе. Об этих «заглазных» операциях профессор, равнодушный к бытовой стороне жизни, конечно, ничего не знал. Зато Софья Сергеевна получила возможность лучше кормить младших, да и старшим детям, за три года отцовской ссылки изрядно наголодавшимся, кое-что от этих даяний перепадало.

Поток больных, желающих лечиться у Войно-Ясенецкого, с годами не только не оскудел, но все возрастал, а порой буквально захлестывал подступы к его квартире. Когда Алексей из Ташкента уехал, помогать на приемах стала Шура Кожушко. Эту девушку, скорее даже девочку, и ее младшего брата Лука заметил сидящими на ступеньках городской больницы. Чуткий к чужим бедам, он тотчас заподозрил неладное и подошел к детям. Выяснилась довольно банальная история: отец умер, а единственный в городе близкий человек — мать — в больнице и, очевидно, надолго. Лука повел детей к себе в дом, нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела мать.

Шура, которой было тогда 15—16 лет, привязалась к своему благодетелю. На приемах она быстро освоила основы медицины и через год, не поступая ни в какое учебное заведение, стала хорошей медицинской сестрой. Через Шуру попала в поле зрения Луки и другая сиротка — Рая Пуртова. Девочка приехала в Ташкент сразу после средней школы в надежде продолжить учение. На беду, заболела она воспалением легких, лежала одна в чужом доме, лечить и ухаживать за ней было некому. Нашла ее Шура, которую Лука постоянно посылал по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Рая была истощена. В доантибиотическую эпоху у нее было вполне достаточно шансов погибнуть от пневмонии. Но по протекции Войно-Ясенецкого в одном религиозном доме девочке стали давать усиленное питание. Молодой организм одолел болезнь, Рая окрепла, встала на ноги. Несколько раз заходила она к врачу-спасителю как пациентка, а потом подружилась с Шурой Кожушко и стала в доме своим человеком. К медицине она неприохотилась, но с удовольствием исполняла поручения Войно по розыску таких же, как она сама, длительно болеющих бедняков. Тех, кого они с Шурой разыскивали, Лука навещал потом сам, помогал деньгами. Дом на Учительской улице надолго стал для Раи самым дорогим для нее местом. Наиболее светлые воспоминания сохранились о тех часах, когда, управившись с делами, они собирались втроем в заставленном книжными полками кабинете Луки. Горела лампада. Лука сидел в кресле, они — на скамеечках возле него. Медленно, неторопливо текла беседа. О чем? Обо всем: о разных жизненных случаях, о прочитанных книгах. Много говорили о героях Достоевского: он был любимым Раиным автором. Разбирали, помнится, причину, по которой Раскольников так мучительно переживает свое преступление. Остались в памяти заключительные слова, которые произнес тогда профессор: «Главное в жизни — всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое». Таких вечеров было много.

— Не уговаривал ли вас Владыка молиться, чаще бывать в церкви, соблюдать посты, обряды? — спросил я сорок пять лет спустя Раису Петровну (Пуртову) Острецову.

— Нет, он вообще не касался веры, церкви, обрядов. Но любой разговор как-то сам собой поворачивался так, что мы стали понимать ценность человека, важность нравственной жизни.

Мне захотелось представить себе его в эти часы отдыха. Каким он был? Этаким величественным Богом-Отцом, на досуге вещающим двум девочкам-провинциалкам вечные истины? Или старым, одиноким человеком, который рад, что есть хотя бы кто-нибудь, кто согласен его слушать и слышать?

Воспоминания Раисы Петровны разрушили оба созданных мною образа. Во-первых, профессор вовсе не был старым. Летом 1928-го ему едва исполнился пятьдесят один год. Величественным, вещающим она его видела во время проповеди, но не дома, а в Сергиевской церкви. Кстати, те публичные проповеди произвели на нее значительно меньшее впечатление, чем беседы по вечерам при свете лампады. Дома он был доступным, сердечным и бесконечно добрым человеком. «Почему ты ко мне ходишь? — спросил он однажды Раю.— Очевидно, ты приходишь ко мне за лаской? В твоей жизни было, наверное, мало ласки...» В тот вечер Лука расспрашивал ее о покойных родителях, о детстве. А потом долго рассказывал им с Шурой историю мужественного и благородного человека по имени Овод. «Роман этот мы тогда еще не читали,— вспоминает Раиса Петровна,— но профессор пересказал его так проникновенно, с такой экспрессией, что, когда мы вышли с Шурой на улицу в теплую темную ташкентскую ночь, у нас будто крылья выросли. Скажи мне он тогда: «Иди на казнь» — я пошла бы не задумываясь».

Войно жил довольно замкнуто: врачебный кабинет и церковь — вот два места, где его чаще всего можно было видеть. Но странное дело — отлученный от какой бы то ни было общественной деятельности, ни на что не претендующий, не слишком разговорчивый, Лука продолжал притягивать к себе окружающих. Из церкви после литургии его провожала обычно большая толпа. Люди шли молча, не досаждая Владыке просьбами и пустой болтовней. Просто шли рядом или чуть-чуть позади, чтобы видеть и слышать дорогого человека. Особенно обильно людские симпатии изливались на Владыку в день его именин 31 октября. В храме шло в этот день большое богослужение. Толпы верующих не вмещались под сводами Сергиевской церкви, заполняли церковный двор и даже часть Пушкинской улицы. От дома епископа в сторону храма два квартала оказывались усыпанными поздними цветами. А во дворе дома, где жили Войно-Ясенецкие, от крыльца до ворот выстраивалась великолепная аллейка — белые хризантемы в горшках.

Было, впрочем, еще одно место в городе, где Луку ждали, где его мнением интересовались. Я говорю о заседаниях хирургического общества. Там между 1926-м и 1930 годами он несколько раз принимал участие в прениях по докладам, а однажды даже продемонстрировал коллегам операцию непосредственного переливания крови от донора к реципиенту из сосуда в сосуд. Переливание входило тогда в моду. В Москве энтузиаст метода врач и философ А. А. Богданов основал первый в стране Институт переливания крови. У переливания имелись свои поборники и противники. Богданов был из самых рьяных поборников. Он предложил широкий замен крови как терапевтический и даже профилактический прием. Сам одиннадцать раз ложился на эту операцию и погиб на двенадцатом переливании в 1928 году. По поводу этого метода много спорили. Войно-Ясенецкий заявил себя умеренным сторонником переливаний. Вводить больному чужую кровь, по его мнению, следовало лишь в том случае, когда врач видит для этого четкие хирургические показания. Но в Ташкенте, как и в Москве, находились нетерпеливые.

Самым нетерпеливым был университетский физиолог Иван Петрович Михайловский. Как не имеющий врачебного диплома Михайловский больных не лечил, но прославился публичными опытами, на которых оживлял собак, а один раз даже обезьяну. Выпустить у собаки кровь, довести ее таким образом до состояния клинической смерти, а затем вернуть изъятую кровь в сосуды и тем возвратить к жизни — теперь таким опытом уже не удивишь даже школьника. Но в середине 20-х годов многим казалось, что вместе с этой операцией медицина обретет какие-то небывалые, почти мистические возможности.

По словам журналиста тех лет, «Михайловский пошел дальше, чем кто-либо другой, дерзавший до сих пор вмешиваться в механизм кровообращения». Он на-

деется достичь «обновления, оздоровления... крови». То, что нам известно, ни к какому «обновлению» привести не могло. Профессор Михайловский выпускал у животного кровь, отделял форменные элементы (клетки) и вводил их обратно, но уже не в собственной плазме животного, а в соленой водичке (раствор Рингер — Локка). Это называлось у него «промыванием» крови. Не слишком мудреные и не Бог весть какие в научном отношении плодотворные эксперименты эти Михайловский сопровождал широковещательным комментарием. С помощью промывания он обещал в дальнейшем в недалеком будущем излечивать хронический алкоголизм, хронический морфинизм, заражение крови, воспаление мозга и многие другие болезни. Обещания провинциального физиолога охотно подхватывали газеты, журналы, лекторы. Посулы такого рода находились в полном соответствии с официальной точкой зрения на благодетельное всесилие науки вообще, а советской науки в особенности. Гипноз науки, научных знаний, которому, по расчетам идеологов тех лет, надлежало полностью вытеснить из человеческой души веру, религию, действительно захватывал некоторые круги интеллигенции.

Типична заметка, появившаяся в «Правде Востока» 5 апреля 1928 года. Хотя речь в ней шла лишь о публичной лекции патолога В. В. Васильевского и физиолога И. П. Михайловского, редакция озаглавила ее весьма высокопарно: «Жизнь и смерть». В приподнятых тонах публику извещали, что 7 апреля в Ташкентском доме Красной Армии ученые ответят желающим. «Где лежат границы жизни и смерти? В чем сущность жизненных проявлений и где начало умирания? Возможно ли временное умирание и новое оживление? Где центры, заведующие жизнью животных и человека? Возможна ли жизнь без мозга, сердца, легких, крови?» На большую часть этих вопросов наука не может ответить и сегодня, почти полвека спустя, но в 20-х годах научный энтузиазм, питавшийся энтузиазмом политическим, не останавливался ни перед чем.

...Город всегда многослоен. Важно при этом не число слоев, а их взаимные отношения. Ташкент празднично грохочущих барабанов и завывающих труб мирно соседствовал с Ташкентом молящихся и врачующих. Два слоя эти не смешивались, но не мешали друг другу, скорее даже помогали. Узбеки 20-х годов лечились в основном у своих табибов — знахарей. Однако к профессору-епископу они почему-то прониклись особым доверием. Может быть, близость к церкви сделала его в глазах местного населения чем-то подобным мулле или чудотворцу в восточном стиле. Так или иначе больные узбеки валом валили на Учительскую. Там Шура Кожушко, говорившая по-узбекски так же свободно, как по-русски, служила им старательным и бесплатным переводчиком. Узбекские симпатии к Луке доходили порой до курьезов. Ташкентец, перенесший небольшую хирургическую операцию, которую ему проделал Войно-Ясенецкий, привел своего родственника. Тот лежал в терапевтическом отделении городской больницы и, по мнению своих близких, не получал достаточной помощи. «Разве они в больнице лечат? — обратился узбек к хирургу.— Разрежь живот и посмотри, что у него там...»

Но был еще Ташкент, тот, что чувствовал себя самым главным, самым сильным. Город партийных чиновников тоже стремился войти в контакт с другими слоями, но лишь для того, чтобы подмять и обезличить все остальные формы жизни. Третий Ташкент не желал, чтобы люди свободно торговали, уплачивали за товар приемлемую для обеих сторон цену; он не хотел также, чтобы врачи лечили больных частным образом, сапожники приватно шили обувь, а архитекторы создавали личные, по своему вкусу проекты построек. Но более всего городу чиновников была ненавистна мысль о людях, которые молятся не их Богу, о тех, кто самовольно собирается в храмы и вместо издевательской «Библии для верующих и неверующих» читает просто Библию. И торгующие и верующие казались опасными новой власти тем, что сохраняли какие-то остатки свободы. Одни — материальной, другие — духовной. Десять лет спустя после революции партийно-административный Ташкент все еще боролся со всяким, кто пытался сохранить личную независимость. В газетном просторечии это называлось борьбой с классовым врагом.

Город-борец находился в постоянном трудовом напряжении. Он выселял одних, «вычищал» из партии, с работы, из квартиры других, расстреливал третьих. Он выпускал газеты, переполненные сообщениями о вредителях, которые взрывают паровые котлы, о кулаках, которые травят скот и не хотят сдавать хлопок. Потом, когда «вредители» были расстреляны, а у «кулаков» удалось отнять и хлеб, и хлопок, и скот, началась другая, столь же нелегкая страда: город партийных чиновников принялся разрабатывать инструкции об отпуске трудящимся хлеба по карточкам, а ситца по заборным книжкам.

Да уж, третий Ташкент трудился не покладая рук! «Ташкент был в то время городом ссыльных,— вспоминает Надежда Юрьевна Фиолетова.— Тюрьмы всегда были полны людей, отправляемых в еще более отдаленные края, вроде, например, Душанбе, бывшего в то время большим таджикским кишлаком в предгорьях Памира. В самом Ташкенте было много отбывших трехлетний срок ссылки после выхода из концлагерей, главным образом из Соловков,— все люди, осужденные по 58-й статье Уголовного кодекса как политически неблагонадежные. Среди них больше всего было духовенства, монахов, монахинь, активных мирян, сектантов всякого рода и просто богоискателей...» Обращать административный восторг против людей веры и церкви — любимое занятие властей. Да и трудно было удержаться! «Церковник» 20-х годов — человек без всяких гражданских прав. Его можно просто арестовать, выслать, убить. За него никто не вступится, никто не спросит. Когда в тюрьмах и лагерях шла речь о «попах», считали не на штуки, а сотнями, тысячами голов. И не в Ташкенте определялась эта политика массового изничтожения клириков. Но, кроме высших, так сказать, государственных целей, в каждом городе существовали по этой части также и «местные интересы». В одном населенном пункте храм приглянулся как идеальное хранилище картофеля, в другом — руководители местного драмтеатра пожаловались: в костюмерной не хватает ряс и клобуков для представления антирелигиозных пьес. Так что причин для ареста, высылки причта, закрытия церквей и монастырей всегда было больше чем достаточно.

В Ташкенте 1929 года «личный интерес» городских властей состоял, в частности, в том, чтобы любым образом избавиться от Войно-Ясенецкого. В нем все вызывало раздражение и ненависть хозяев города. Разжалованный Владыка, лишенный студенческой аудитории профессор, ученый, чьи научные книги в стране не печатались, а проповеди замалчивались, тем не менее оставался Владыкой множества человеческих душ. Его чтили, к нему обращались не только за благословением, но и за разрешением семейных и бытовых конфликтов. Маленький домик на Учительской превратился в своеобразное государство в государстве. Этого нельзя было терпеть.

Уже в начале 1929 года власти принялись искать повод, чтобы выслать Луку. То обстоятельство, что он не нарушал государственных законов и местных постановлений, не имело никакого значения. ГПУ нуждалось не в реальных нарушениях, а в «счастливом случае», который позволил бы не только арестовать слишком влиятельного епископа, но и извлечь из ареста некую политическую выгоду, устроить из ареста «попа» очередной антирелигиозный спектакль. Подобрать под Войно-Ясенецкого ключи удалось в начале 1930 года. «Счастливым случаем» оказалась внезапная смерть профессора-физиолога Ивана Петровича Михайловского.

Я снова возвращаюсь мыслями к той легкой одноконной повозке, что в последних числах августа 1929 года не спеша продвигалась себе с двумя путниками в сторону Ташкента. Трудно представить себе, чтобы за время долгого пути пассажиры не перебросились хотя бы несколькими фразами о событии, которое недавно потрясло горожан. 7 августа, примерно за две недели до того, как Войно-Ясенецкий и доктор Софиев пустились в дорогу, в газете «Звезда Востока» появилось краткое объявление: «Правление САГУ и деканат медицинского факультета с печалью сообщают о неожиданной смерти профессора медфака по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского». Никаких подробностей о причине смерти газета не сообщала. Недостаток информации был, однако, немедленно восполнен обилием слухов. Вспомнили, что пожилой профессор недавно бросил жену с двумя детьми и женился на молоденькой студентке-медичке. Из этого делали вывод, что новый брак не принес ученому счастья и с горя он покончил с собой. Другие настаивали на том, что произошло убийство,— старика доконала молодая жена.

Эта версия показалась наиболее убедительной, так как очень скоро милиция арестовала 23-летнюю студентку Екатерину Гайдебурову-Михайловскую.

В связи с трагической кончиной горожане начали припоминать, что покойный профессор давно уже вел себя как-то странно. Необычен был его внешний вид: потрепанный серый френч и видавшие виды «цивильные» брюки дополняла форменная казачья фуражка без кокарды. В одном ухе болталась золотая серьга. В университете его знали как человека угрюмого, неразговорчивого, скупого. Замечали за ним и иные чудачества: вдруг среди лекции сорвется и побежит домой, а на другой день объясняет — пришла в голову гениальная мысль. Да и на лекциях по своему предмету, случалось, говаривал он вещи, мягко выражаясь, странные. Так, однажды совершенно серьезно «объяснил» студентам: «Лейкоциты для того прозрачны, чтобы их не увидели микробы». Но главное «чудачество» Михайловского носило характер совсем не веселый, а скорее даже зловещий. В 1924 году у профессора умер сын, мальчик лет тринадцати. Вместо того чтобы похоронить ребенка, отец мумифицировал тело, завернул в бердану — тростниковую циновку и поместил у себя на кафедре в шкафу. Окружающим заявил, что вернет сына к жизни. Как он, биолог, собирался оживить труп, пропитанный формалином, Бог весть. Однако на все мольбы своей первой жены, просившей похоронить сына, профессор отвечал отказом. Сам же покупал мертвому Игорю одежду, обувь, даже сласти. Конфеты и печенье, предназначенные покойнику, он забрасывал на крышу соседнего дома, и двое других детей Михайловского ползали по чердакам и крышам в поисках этих подарков. Недоумение вызвал у горожан и второй брак профессора. В свои пятьдесят два профессор выглядел очень старым человеком. Желто-серое лицо, лысина, стариковская походка позволяли дать ему на вид никак не меньше шестидесяти пяти. В жены он взял девушку двадцати трех лет. «Молодые» обвенчались в церкви, что, по понятиям тех лет, для служащего человека было делом тоже недопустимым. Полгода спустя во время «чистки» за такое венчание педагогов запросто выбрасывали из школ и институтов: «Верующим нельзя доверять воспитание молодежи». Венчание произошло в июне 1929 года. Тогда же Михайловские поселились в недостроенном доме профессора на Второй Кладбищенской улице.

Сорок лет спустя, приехав в Ташкент, я попросил несколько видных врачей и ученых старшего поколения охарактеризовать покойного физиолога. Хирурги С. А. Масумов и А. Н. Беньяминович, гинеколог А. А. Шорохова, микробиолог М. З. Лейтман, не сговариваясь, высказались в том смысле, что Иван Петрович Михайловский, конечно же, был психически нездоров. Люди посмеивались, пошучивали за его спиной, но отправить больного в психиатрическую больницу было просто некому. Разойдясь с первой женой, профессор несколько лет жил одиноко, замкнуто. Влиял на окружающих, очевидно, и гипноз довольно распространенного в мещанской среде представления о том, что профессора, они все такие — с вывихом... Что же касается опытов Михайловского, то для своего времени они представляли, конечно, некоторый интерес, хотя и не были оригинальны. И за рубежом, и у нас в Советском Союзе (Глозман, Чечулин) такие эксперименты проводили многократно. Примерно такой же вывод сделали, вероятно, и случайные дорожные спутники — профессор Войно-Ясенецкий и доктор Софиев.

С Михайловским Лука знаком не был (они лишь виделись раза два при случайных обстоятельствах). Зато ему пришлось беседовать с обеими женами профессора. Обе оказались в том людском потоке, который тянулся к отставленному епископу за советом и помощью. Для бесед с просителями у Луки был выделен специальный час после врачебного приема. Однажды, это произошло, очевидно, в начале весны 1929 года, в назначенный час на Учительскую улицу пришла худая, бедно одетая женщина лет за сорок. Низко поклонившись епископу, она сложила руки, прося благословения. Лука благословил. Глазом опытного, много пожившего человека он сразу заметил опухшие в суставах, «застиранные» пальцы профессиональной прачки. Такие люди ему были особенно милы. Еще больше сочувствия к труженице испытал он, когда та рассказала о событиях своей жизни. Алевтина Ивановна Михайловская стала поденщицей и прачкой пять лет назад, после того, как муж оставил ее с двумя детьми без всяких средств к существованию. В Ташкент они приехали с Украины в голодном 1920 году. Семья тогда была дружной, муж любил детей, заботливо относился к жене. Благополучие дома рухнуло после того, как в 1924 году умер от скарлатины их сын Игорь. Смерть эта вызвала у Михайловского взрыв безумия. Он кричал, чтобы жена зарубила его или дала яду: жить без сына ему невозможно. Человек с детских лет религиозный, он вдруг накинулся с топором на домашний киот. «Бог, лишающий отца горячо любимого сына,— не Бог, а гнусное чудовище»,— орал он, сокрушая иконы. Постепенно буйство прошло, но началось тихое помешательство. Иван Петрович отказался хоронить сына. Сказал, что воскресит Игоря, и занялся опытами с переливанием крови. В характере его произошел резкий перелом. Был он всегда человеком спокойным и добрым, а тут вдруг стал груб, даже жесток. Случалось, бил жену и детей. Жить с ним стало невыносимо. Семья распалась. «Он помешался,— повторяла Алевтина Ивановна.— Брак с молодой девушкой — продолжение безумия, начавшегося пять лет назад». Нет, она не просила вернуть мужа в дом. Пусть живет, как хочет. Но пусть похоронит, наконец, ребенка. Нестерпимо слышать, что крысы грызут тело Игоря, а студенты тайком ходят на кафедру, чтобы там потешаться зрелищем «мальчика, приготовленного для воскрешения».

Не знаю, чем, какими словами утешил Лука свою собеседницу. Известно лишь, что с Михайловским он беседовать не стал. Проблема теодицеи[23], на которой свихнулся провинциальный естествоиспытатель, крушила мозг и покрепче. Владыке оставалось лишь молиться за оставленную мужем жену и брошенных детей.

Этим, однако, история не кончилась. В июне к Луке пожаловала вторая жена Михайловского, или, как она себя отрекомендовала, невеста профессора. В одном из позднейших фельетонов, посвященных гибели Ивана Петровича, жена его, Екатерина Сергеевна, изображена как «молодая, статная студентка-медичка со злым огоньком в красивых глазах». Достоверность фельетонных портретов сомнительна, но современники свидетельствуют, что Гайдебурова-Михайловская была действительно хороша собой. Верующая дочь верующих родителей, она пришла, по ее словам, поделиться возникшими у нее сомнениями. Михайловский сделал ей предложение. Брак, конечно, неравный. Что думает об этом Владыка? Правильно ли она сделала, приняв предложение? Второй вопрос носил уже совсем исповедальный характер. Оказывается, Екатерина Сергеевна не только приняла предложение, но и официально стала уже женой Михайловского. Их брак зарегистрирован в ЗАГСе еще 13 февраля. Но, по словам «невесты», отношения с мужем остаются «чистыми», они живут на разных квартирах. Свою близость отложили они до того времени, когда будут обвенчаны по церковному обычаю. На этом настаивает Иван Петрович. Молодая женщина против венчания не возражает. Но вот вопрос: подобает ли вступающему в брак вторично снова идти под венец?

Неужели ничто не насторожило Луку в этом признании? Воздержание супругов по религиозным мотивам? И это в 1929-то году, когда вступить в брак и расторгнуть его было так же просто, как войти в спальную комнату и выйти из нее? Ох, крутит девка, скрывает что-то. Не с чистым сердцем пришла к Владыке. Но Лука не считает себя вправе лезть в интимные подробности отношений мужа и жены. Его точка зрения состоит в том, что каждому вступающему в брак христианину следует пройти через таинство венчания. Что же до супружества Ивана Петровича и Екатерины Сергеевны, то на этот счет у него тоже вполне определенные взгляды: «Факт женитьбы пожилого Михайловского на молодой Гайдебуровой не обещал ничего хорошего». Эти слова, зафиксированные в официальном документе, Войно-Ясенецкий произнес не в июне, а почти полгода спустя, в октябре. Но, зная характер и принципы нашего героя, можно не сомневаться: нечто подобное сказал он и пришедшей к нему за советом «невесте».

...У всякого нормального человека история семьи Михайловских должна, очевидно, вызвать чувство брезгливости. Но целитель по самой своей натуре, епископ Лука воспринимал духовную грязь, моральный гной окружающего мира так же, как в своем врачебном кабинете рассматривал гной и грязь физически. Они не вызывали у него отвращения, не коробили его, но побуждали к действию, заставляли

искать лекарства и врачебные приемы, чтобы оздоровить, спасти еще сохранившуюся ткань. Этот сверхчеловеческий объективизм, перед которым мы почтительно склоняем сегодня головы, в конкретной обстановке 20-х годов был, однако, роковым. Профессор Войно-Ясенецкий, сам того не зная, все глубже и глубже втягивался в «дело Михайловского». Он сам шел навстречу ловцам человеческих душ, которые только и ждали, как бы опутать его, осудить, лишить свободы и доброго имени.

Михайловские повенчались в конце июня, а днем 5 августа народный следователь Кузмич подал рапорт дежурному по городу Ташкенту, извещая о самоубийстве на Второй Кладбищенской улице в доме № 45. В рапорте значилось, что самоубийца Михайловский Иван Петрович застрелился из револьвера смит-вессон № 211906. В седьмом часу утра он был найден лежащим в своем доме на залитой кровью постели. Револьвер, из которого сделан выстрел, милиционер Ионин обнаружил рядом.

Днем, пятого, Войно-Ясенецкий, как обычно, принимал больных у себя в кабинете. Часов в одиннадцать вошла Шура Кожушко и вполголоса, как была приучена, сообщила, что какая-то дама просит принять ее по срочному делу без очереди. Нет, не больная, но плачет и, видно, очень нервная. Екатерина Сергеевна не вошла, а буквально вбежала в кабинет и с порога повалилась на колени. Все, кто помнит Гайдебурову, говорят о странности ее одежды. Ходила она в длинных, давно вышедших из моды платьях с большими бархатными бантами, воздвигнутыми на том месте, где со времен первой мировой войны никто уже бантов не пришивал. На этот раз явилась она в тяжелом траурном платье и шляпе с вуалью. В этом старомодном обрамлении ее жалкое, испуганное и зареванное лицо казалось еще более жалким и зареванным. Путаясь в длинном шлейфе, она в слезах принялась рассказывать о самоубийстве мужа. Потом перескочила на похороны: стала умолять похоронить Ивана Петровича по-церковному. Самоубийцу священники отпевать не станут, но если бы Владыка попросил, ему бы не отказали... Вызвать у Войно-Ясенецкого сочувствие в делах житейских, семейных было нетрудно. Это знал весь город. Знала и Екатерина Сергеевна. Знала и давила на все педали. Вспомнила вдруг, что когда однажды Иван Петрович болел, то приказал, чтобы в случае смерти отпевал его непременно владыка Лука.

Странный это был визит, подозрительный. Сомнительно выглядело распоряжение «молодожена» Михайловского о своих будущих похоронах, и это траурное платье, в которое вдова успела облечься, несмотря на ранний час, августовскую жару и неутешное горе. Театром попахивало от вуали, от черных перчаток.

Даже с чисто формальной стороны переговоры с Гайдебуровой о похоронах ее мужа — абсурд. Просительница попала совсем не по адресу. Разрешение на похороны имел право выдать только митрополит Арсений Стадницкий, возглавляющий Ташкентскую церковную кафедру. У Луки же никаких административных прав в церкви нет, ему никто не подчинялся. Однако он видит напуганную, растерянную и, очевидно, не слишком умную женщину и пишет ей записку к митрополиту Арсению.

В деле Михайловского митрополит учуял запах чего-то опасного. Но и Луке отказать ему не хотелось. Знал он об огромном авторитете Войно у горожан. Подумал и отослал ответную записочку, в которой и согласия на похороны не дал, и вместе с тем тонко намекнул Луке, как лучше всего сделать, чтобы Михайловского все-таки похоронили. «По прежним законам требовалось врачебное удостоверение, удостоверяющее психическую ненормальность застрелившегося, в каковом случае возможно церковное погребение»,— написал он и добавил, что епископу Луке участвовать в похоронах не рекомендует.

Устами многоопытного церковного политика жизнь еще раз подсказала епископу Луке наиболее рациональное решение проблемы. Сам правящий митрополит противился церковным похоронам самоубийцы. О чем было еще говорить? Но, прочитав записку вслух, Владыка увидел, что Екатерина Сергеевна сначала сникла, а потом взгляд ее загорелся надеждой. «Если бы профессор пожелал подтвердить психическую ненормальность...» И он подтвердил. Вырвал из блокнота узкий листок с именной печатью — «Доктор медицины Ясенецкий-Войно В. Ф.» (на таких листках писал он свои рецепты) и круглым разборчивым почерком набросал следующие три строки:

«Удостоверяю, что лично мне известный профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, от которой страдал он более двух лет.

Д-р мед. Епископ Лука. 5.VIII.1929»

Это была неправда. Точнее полуправда. Лично Михайловского Лука не знал. О безумии узнал из разговоров с первой женой физиолога и из рассказов случайных очевидцев. Но не в безумии покойного была для него суть вопроса, а в том глубоком человеческом сочувствии, которое испытал он к сидящей перед его столом измученной женщине. В старинном евангельском споре о Субботе и Человеке Лука безоговорочно стал на сторону Человека. Записку свою он в тот же день сам отнес и лично вручил настоятелю кладбищенской церкви о. Венедикту Багрянскому.

Михайловского отпели шестого, а седьмого августа следователь Кочетков распорядился, чтобы Гайдебурову Е. С. взяли под стражу как подозреваемую в убийстве мужа Михайловского И. П. Узкий листок из рецептурного блокнота, который решил судьбу злосчастных похорон, а впоследствии и самого Луки, нашел я на странице 146. «Следств. дела». Записка числилась основным документом, разоблачающим преступные намерения Войно-Ясенецкого. Именно на этот текст опиралось следствие, на нем зиждился окончательный приговор.

Утром седьмого августа следователь 2-го участка Ташокруга Кочетков допросил двух дорожных рабочих. Пятого рано утром, когда они шли на работу по Кладбищенской улице, какая-то женщина, высунувшись в пролом забора, попросила их зайти в дом. Они вошли и увидели убитого старика в луже крови. Вызвали милицию. На вопрос следователя, была ли женщина достаточно взволнована, растрепана ли была ее одежда, рабочие ответили, что для такого случая женщина показалась им довольно спокойной, одежда ее была в порядке. Показания двух прохожих представились следователю настолько многозначительными, что он немедленно арестовал Гайдебурову и прочно укрепился в убеждении, что именно она убила Михайловского. Не странно ли? Нет, закономерно. Как и любой следователь советской эпохи, Кочетков предпочитал иметь дело с убийством, а не самоубийством. Такое предпочтение коренилось в основах отечественной идеологии. Убийство — преступление, совершенное отдельным нетипичным представителем нашего общества. Это — родимое пятно капитализма, пережиток минувших, уже изжитых у нас отношений. Наказывая убийцу, мы наказываем случайно вторгшийся к нам элемент чужого нам быта. Самоубийца — совсем иное дело. Как и христианскую церковь, советскую власть в самоубийстве возмущает прежде всего самоуправство. Произвольный, независимый от власти акт свидетельствует о том, что в стране существует какая-то неуправляемая жизнь, бытие неконтролируемых индивидов. Это недопустимо. Государство рабочих и крестьян не желало уступать гражданину ни одной из своих прерогатив, и прежде всего права казнить по собственному выбору. К тому же тот, кто покушается на свою жизнь, «портит статистику», разрушает миф о стопроцентном единодушии счастливого социалистического общества. «Самоубийца приравнивается к дезертиру,— пишет Надежда Мандельштам.— Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли...»

И не хотели. Следователь Кочетков желал спокойно есть свой хлеб, карая чуждых строю врагов и убийц, а не занимаясь сомнительными изысками по поводу причин самоубийства советского профессора. Одним словом, ему позарез была необходима Гайдебурова как убийца своего мужа. А уж почему она его убила — следствие разберется. Приняв такое вполне политически грамотное решение, Кочетков арестовал Екатерину Сергеевну. Следующие полгода он добросовестно искал решение задачи, конечный ответ которой казался ему совершенно ясным. В том, что партийный подход не привел в конце концов ни к обнажению истины, ни к справедливости, следователь не виноват. Он действовал старательно и был верен партийным и юридическим канонам своего времени.

Излагать содержание всех четырехсот страниц Дела № 4691 бессмысленно. И не только потому, что большая часть документов не имеет отношения к Луке, но еще и по причине вопиющего антиэстетизма самого «Дела». Листая протоколы допросов, то и дело ловишь себя на мысли, что в течение полугода следователь, потакая своим же не слишком разборчивым вкусам, очевидно, просто смаковал грязные подробности семейной жизни Михайловского и Гайдебуровой. На его допросах все крутится вокруг постели. Подруги Екатерины Сергеевны, соседи и родственницы с жаром обсуждают половые возможности покойного Ивана Петровича, толкуют, почему Катя убегала от него ночевать домой к матери и отчиму. В середине следствия обнаружилось, что Гайдебурова беременна. Тогда все усилия экспертизы и свидетелей устремились на то, чтобы выяснить, с какого же числа началась половая жизнь Михайловских. Когда удалось доказать, что беременность началась не только до венчания, но и до регистрации брака в ЗАГСе, всеобщий ажиотаж достиг высшей точки. Екатерина Сергеевна на допросах путала числа и месяцы, давала показания и тут же отказывалась от них, она рыдала, просила отпустить ее, но при всем том твердила, что в смерти мужа не виновна.

Дело пухло, количество бумаг росло, а истина, которая казалась сначала такой явной, никак не желала выходить наружу. Следователь заметался. Он привлек к ответу мать и отчима Екатерины Сергеевны. Они оказались «из бывших», это его устраивало. Грязи в протоколах стало еще больше, но дело с места не сдвинулось. Муж и жена Гайдебуровы ненавидели друг друга. Мать в корыстных целях пыталась вытолкнуть дочь за «солидного жениха», а потом скандалила с профессором из-за каких-то тазов и простыней. В том хлебове, которое варил следователь, ложь, корысть, фантастическая мещанская пошлость кипели и били ключом, но убийством дело и не пахло. Представшие перед следственным столом мелкие людишки хотели сладко есть, пить, спать, им желательно было также чем-то и кем-то казаться. Но убивать? Зачем же им убивать Михайловского? Зять профессор — это так приятно щекотало тщеславие. Да и жалованье профессорское на улице не валяется.

Еще один нервический рывок в сторону — следователь берется за допрос «попов»: митрополита Арсения, епископа Луки, священника Венедикта Багрянского. Вот кого бы хорошо засудить! Открылась история с церковными похоронами Михайловского. В руки следователя попадает записка Луки. Кочетков воспрял духом: вот оно, начинается... Но на допросе 17 октября 1929 года Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877 года рождения, из дворян Могилевской губернии, доктор медицины, епископ, вдов, образование высшее, беспартийный, увы, не показал ничего такого, за что его можно было бы впихнуть в камеру вслед за Гайдебуровой.

— На каком основании вы дали разрешение на погребение самоубийцы Михайловского? — спросил следователь.

— Разрешения я не давал,— ответил Войно,— священники его похоронили сами, на свой риск. По просьбе жены Михайловского я дал записку священникам, где удостоверил, что Михайловский был психически болен...

— Считаете ли вы возможным отпевание по религиозным обрядам самоубийц?

— Я считаю устаревшими некоторые из церковных канонов, в частности, в отношении запрещения церковью погребать самоубийц...

— Как можно расценивать вашу записку, как написанную врачом или духовным лицом?..

— Записка моя может рассматриваться только как написанная врачом, ибо, не имея административных церковных прав, я в этой части не мог бы пользоваться авторитетом и мои распоряжения не выполнялись бы, с ними могли бы не считаться.

— Видите ли вы какое-нибудь противоречие между научными трудами Михайловского и христианской религией?

— Противоречия между этими понятиями я не вижу, ибо считаю, что глубоко научные материалистические труды не противоречат его религиозности и не идут вразрез с церковью.

Следователь задал для самоуспокоения еще несколько вопросов. Спросил, между прочим, зачем летом текущего года Луке понадобилось ехать в Бурч-Муллу, в то время как было известно, что в этом районе оперируют басмаческие шайки. Но скоро стало ясно: от «попов» проку не будет. Конечно, можно усомниться, насколько законно, что хирург ставит психиатрические диагнозы. Но даже если диагноз фиктивен, какое все это имеет отношение к вопросу о том, кто убил Михайловского? Одним словом, после шести месяцев работы Кочетков решил, что интуиция в следственном деле главное, а интуиция подсказывала ему одно: убила Екатерина Гайдебурова, больше некому. Версия о безумии, о самоубийстве Михайловского его по-прежнему не устраивала как политически не выдержанная.

Двадцатого января 1930 года на свет, наконец, родилось обвинительное заключение, из которого явствовало, что Михайловская (Гайдебурова) убила мужа по причине тяжести его характера, а также из-за нел адов его с горячо любимой матерью, которую муж отказывался лечить. Разойтись с Иваном Петровичем Екатерина Сергеевна не решалась из-за религиозных («консервативных», как писал Кочетков) соображений.

Ни один свободно действующий независимый суд в Европе не принял бы к разбирательству столь убого обоснованное заключение. Но «азиатское» по сути своей отечественное судопроизводство и тогда и потом удовлетворялось документами куда менее убедительными. Кочетков, который вел следствие «по интуиции» (хотя и не знал скорее всего смысла этого слова), был еще не худшим образцом юриста нового времени. Потомок тех, кто в 1918—1920 годах судил, опираясь лишь на два класса приходского училища и классовое пролетарское правосознание, он и его товарищи доживали в судебных учреждениях последние дни. Шел 1930 год, год темпов, коллективизации, индустриализации, год, когда часто замелькали в газетах портреты мужчины в кителе с черными, как смоль, усами. Начиналась новая эра, и вместе с ней на судебно-следственные небеса восходили звезды куда более страшные, чем Кочетков.

Прежде чем навсегда расстаться с этим старательным и ограниченным служакой, мне придется забежать вперед и рассказать о письме, которое получил он примерно года через полтора после того, как подвел итоги по «делу» Михайловского. Писала его бывшая подследственная Екатерина Гайдебурова, получившая срок и сосланная на Урал созидать индустриальную базу социализма. То ли надеялась она улучшить свое положение, то ли хотела добиться пересмотра дела, но в письме своем выболтала она все тайны, которые так стоически скрывала на следствии. Те нечистоплотные отношения в семьях Михайловских и Гайдебуровых, которые заметил даже Кочетков, оказались лишь слабой тенью подлинной царившей там клоаки. Нет, Екатерина Сергеевна не убивала мужа. Он застрелился сам в ее присутствии после очередного супружеского скандала. Совсем иная причина заставила ее петлять на допросах, лгать, отказываться от своих показаний. Екатерина Сергеевна боялась, что ее уличат в другом преступлении. Начиная с 1927 года она жила со своим отчимом Гайдебуровым. Он приходил к ней ночью, покинув супружеское ложе в соседней комнате. Сначала отчим принуждал ее к сожительству, но потом она уже не противилась, хотя и замирала от страха, боясь, что мамочка узнает правду. Страх стал главным чувством ее жизни. Страх и стыд. Она любила мать и мучилась от двойственного положения дочери и соперницы. Мать ни о чем не догадывалась. В начале февраля 1929 года Катя почувствовала себя беременной. Попыталась «устроить» аборт — не получилось. Оставалось одно: срочно выйти замуж. Неожиданно для всех она дала согласие на брак с этим желтым и лысым Михайловским, который давно домогался ее руки. После регистрации в ЗАГСе и свадебного пира возник первый конфликт: молодая не желала ехать в дом мужа. И не только потому, что не любила старика, но и из-за тяжело протекающей беременности — ее непрерывно мутило. Екатерина потребовала венчания и заявила, что невенчанная в дом Михайловского не войдет. Она лгала, лгала — дома, в институте, ма-

тери, мужу, подругам. Она убегала к маме, но та гнала ее назад: «Ты жена, хозяйка, заводи свое гнездо». А когда удавалось заночевать в своей девичьей комнате, туда являлся среди ночи отчим. Муж в общем-то был человеком неплохим. Но он чувствовал, что между ними лежит какая-то ложь. Он действительно был физически не совсем здоров, а от постоянных ее тайн, экивоков, скандалов окончательно помешался. Много раз грозился покончить жизнь самоубийством. И после одной особенно тягостной для обоих ночи исполнил свою угрозу. В том письме, накорябанном на скверной бумаге не слишком грамотной рукой, бывшая студентка несколько строк посвящала епископу Луке. Владыка ни в чем не виноват. Он один отнесся к ней по-человечески, хотя она (грех, грех!) и его обманывала, когда приходила толковать о церковном венчании...

У нас нет причин не доверять признанию Екатерины Сергеевны. Своим рассказом она вовсе не обеляет себя и близких. Наоборот, Гайдебуровы после ее письма предстают перед нами в еще более отвратительном свете. Но как бы то ни было уголовного преступления они не совершали. Следствие ошиблось, но юристы не пожелали признать ошибку. Письмо из Сибири подшили к другим документам, и кровоточащая исповедь изуродованной человеческой души на сорок лет оказалась среди груды фальшивок и бумажного хлама. Никто не ответил Гайдебуровой. Никто не заинтересовался ее постыдной правдой. Следствие по «делу Михайловского» продолжалось, но весной 1930-го оно покатилось по иной колее, все более и более удаляясь от истины, от справедливости, от всего человеческого.

За пять с лишним десятилетий, в течение которых в России существует нынешний режим, у кормила власти перебывало немало лиц. Косоворотки первых вождей сменились полувоенными кителями второго поколения. На смену им пришли вполне европейские костюмы с белыми сорочками и галстуками сдержанных тонов. В тех же примерно пределах менялись и формы власти. Она бывала более или менее терпимой, более или менее жесткой, но в общем решительно не изменялась в своем абсолютном пренебрежении к праву и законности. Создавались и утверждались кодексы: уголовный, процессуальный, гражданский; сменялись конституции; «нормы социалистической законности» сперва нарушались, а потом, наоборот, восстанавливались и укреплялись; был основан даже Институт права Академии наук СССР. Но право на открытый, независимый суд граждане страны так и не получили. Впрочем, не получили они также никаких иных гарантий правовых, охраняющих права личности.

Я не правовед и не знаю, где законодательство лучше: в Советском Союзе или, скажем, в республике Гаити. Думаю, что с законами у нас не все в порядке. А о том, что сталинская конституция самая демократическая в мире, мы слышим с того самого памятного 1936 года ежедневно и еженощно. Тем не менее премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, посетив СССР, заметил, что он и двух дней не смог бы прожить в стране, где п р а в я т н е з а к о н ы, а л ю д и. Правление людей, облеченных неограниченной властью и не ограниченных какой бы то ни было ответственностью, сводится в конечном счете к произволу. Тому, кто держит в руках все вожжи хозяйственной, политической и общественной жизни, кто единовластно командует всем: от полиции до прессы, от адвокатуры до армии цензоров, судей, перлюстраторов и специалистов по подслушиванию телефонных разговоров,— тому ничего не стоит парализовать действие любых, самых замечательных законов. Засекреченные, нигде не опубликованные распоряжения, рекомендации суду по прямому проводу из разных учреждений, очень маленькие, совсем крошечные судебные залы — такова лишь малая часть средств, с помощью которых превратить закон в пустую бумажку ничего не стоит.

Среди мер, призванных корректировать исполнение закона и судопроизводства, не последнее место занимает и пресса. Хлесткий фельетончик о любом взятом под стражу гражданине недвусмысленно объясняет судье, как именно ему вести себя в судебном заседании, давать ли подсудимому по «высшей норме» или ограничиться «средней». И если бедолага Кочетков полагался в своей профессии в основном на интуицию, то его более наблюдательные коллеги уже в 20-е

годы усвоили, что матерью интуиции является информация. Предварительная газетная информация и з д о с т о в е р н о г о и с т о ч н и к а сопровождает нашу юстицию от младых ее ногтей и не покидает своими заботами доныне.

...Через две недели после смерти профессора Михайловского фельетонист партийного официоза «Узбекистанская правда» Эль Регистан (Уреклян) подал судебным органам первый «добрый совет». Хотя следствие только начиналось, в газете была начертана полная и окончательная схема событий, якобы разыгравшихся в доме № 45 по Второй Кладбищенской. Фельетонисту все было ясно: Иван Петрович Михайловский своими недавними опытами, а особенно переливанием крови обескровленной обезьяне, «потряс незыблемые основы старухи-медицины (так! — М. П.), бросил вызов смерти, ежедневно уносящей тысячи человеческих жизней, гибнущих от целой кучи заболеваний, связанных с тем или иным поражением крови». Эти «поражения крови» просвещенный фельетонист тут же перечислил: сифилис, тифы всех видов, скарлатина, заражение крови, малокровие. Оказывается, «удивительный опыт ташкентского профессора произвел сенсацию в научных кругах Европы и Америки».

Что же произошло 5 августа? По мнению Эль Регистана, ни о каком самоубийстве не может быть и речи. Профессора убили. Сделала это скорее всего его жена, та самая Екатерина Сергеевна, молодая статная студентка-медичка со злыми огоньками в красивых глазах... из числа тех, про которых говорят «огонь-баба». Причина убийства фельетонисту тоже ясна. Екатерина Сергеевна — верующая. «Профессор Михайловский ярый атеист, ненавидящий религию, ученый, написавший труд о переливании крови, труд, который стоит только перелистать, чтобы убедиться, что это издевательство над Богом». Сам Эль Регистан труд Михайловского явно не читал. О сути опытов в фельетоне ничего не сказано. Да опыты журналисту и неинтересны. Ему важнее показать, что ученый — жертва конфликта «науки и религии». «Блестящий труд ученого, рукопись его замечательного открытия о переливании крови девизом своим имеет надпись, собственноручно сделанную профессором на правом углу листа: «Я не вижу оснований для пессимистических взглядов, согласно которым превращение мертвого вещества в живое никогда не удастся». Разве не видно, что писал ярый атеист?!

Всего четыре с половиной строки, а сколько наворочено! Все религии мира от века твердят, что животное и человек были вначале созданы из «мертвого» вещества, из земли и глины. А из чего живому и произойти, как не из неживого? О каких «пессимистических взглядах» толкует профессор? А главное, при чем тут переливание крови? Но, огорошив читателя «материализмом» Михайловского, Эль Регистан спешит дальше, к финишу. Ему надо доказать, что «Екатерина Сергеевна, советская студентка-медичка, как известно многим, целующая руку попам из Сергиевской церкви (рикошетом в епископа Луку!), убила мужа из религиозного фанатизма. Двигали ею и другие не менее гнусные цели. Странную поспешность проявила любящая и заботливая супруга, молниеносно перетащив после выстрела ценнейшую рукопись профессора (рукопись, за которую заграничные научные круги предлагали профессору огромную сумму денег) к себе домой, к мамаше Анне Максимиллиановне». (Вот она откуда пошла гулять по свету, легенда об англичанах, которые хотели то ли выпытать, то ли выкрасть великое открытие!) Про «громадную сумму денег» фельетонист просто выдумал — в следственном деле об этом нет ни слова. Выдумал он и «сенсацию», которая якобы охватила научные круги Европы и Америки. О переливании «промытой крови» обезьяне Яшке научные круги могли узнать только читая иллюстрированный еженедельник «Семь дней» (нечто вроде «Недели»), который издавался в Ташкенте как приложение к газете «Правда Востока». Только там и была осенью 1928 года помещена популярная статейка, довольно безграмотно излагающая суть опытов. В специальных журналах научных статей о работах Михайловского не было опубликовано.

Фельетон «Выстрел в мазанке» — родия и предтеча сотен подобных сочинений. Основная тенденция подобной литературы в том, что ее никто не может опровергнуть. Публикует ли Ардаматский откровенно антисемитский фельетон «Пиня из Жмеринки», сочиняет ли Чечеткина опус под названием «Почта Лидии

Тимашук» или пьяный Шолохов публично несет свой злостный антиинтеллигентский вздор — ответить пасквилянтам и злопыхателям невозможно. Отравленное оружие бьет насмерть. А те, кому ведать надлежит, знают, что независимо от жанра, сочинения такого рода призваны не только убивать, но и сигнализировать. Эль Регистан своим фельетоном выстроил для судебно-следственных органов Ташкента четкую линию будущего поведения. Выполняя заказ начальства, фельетонист указал: «Ищите здесь, и вы найдете то, чего от вас ожидают».

Службист Кочетков бросился по указанному следу. Он вызвал помощника Михайловского, 26-летнего парня Павла Чепова. Перед следователем предстал рослый парень с туповатой физиономией, изъясняющийся в основном лозунгами. Должность Чепова более чем скромная: помощник прозектора. Это, по существу, рабочий на кафедре. Его дело — принести, унести, накормить животных, поймать собаку для острого опыта, а после эксперимента похоронить ее останки. Но у этого деревенского парня, пристроившегося «при науке», были и свои «козыри». Помощник прозектора с 1921 года состоял в рядах ВКП(б). И это, естественно, наполняло его чувством своей высокой общественной ценности. О Михайловском Чепов сказал: «Он любил эксперимент, и никакие неудачи не могли остановить в нем решимости довести идею о прижизненном промывании организма до победного конца». Самоубийство профессора отрицал полностью. Какое там самоубийство, если Михайловский ждал из-за границы ультрацентрифугу, за которую заплачено две тысячи рублей валютой! О себе сказал с достоинством: «С первого же прихода на работу он (Михайловский) предложил мне ведение научно-исследовательской работы. Я от последней не отказался, но работать так и не пришлось в силу моей перегруженности по партработе».

Показания Чепова — самые короткие из всех показаний, имеющихся в деле № 4691. Малограмотный бахвал не вызвал у следователя интереса, а между тем в ташкентских партийных кругах помощника прозектора приметили и выделили. 25 августа в «Узбекистанской правде» появилась статейка с интригующим названием: «Что осталось после профессора Михайловского». Скрывающийся под псевдонимом Дим. Эз. газетчик снова повторил версию о широчайших горизонтах, которые сулит «открытие» покойного профессора. «О крупных суммах», которые кто-то предлагал за научную работу ему. Но наиболее интересно то, что сказано о Чепове. После того как помощник прозектора дал свои показания, прошло несколько суток. Но за это время в судьбе его произошла разительная метаморфоза: подзаголовок статьи Дим. Эз. гласит: «П р е п а р а т о р Чепов будет продолжать работу по промыванию крови». Препаратор, а не какой-то там пом. прозектора! А в конце статьи мы уже находим строки о Чепове-исследователе: «Михайловский погиб. Злая рука прекратила жизнь ценнейшего человека, в течение всей жизни боровшегося со смертью. Погиб Михайловский, но остался его ученик. Ближайший друг и ученик Михайловского препаратор Чепов доведет до конца дело своего учителя».

Эх, не разобрался следователь Кочетков в служебной сигнализации! Не понял, куда дует ветер. Его бы этот Чепов — из крестьян, член ВКП(б) с 1921 года — одним махом из трясины вытащил бы. Он бы любые свидетельские показания подписал. А теперь уже поздно. Погорел Кочетков, совсем погорел. И от службы его отстранили, и по партийной линии неприятности...

После 20 января до середины апреля в деле № 4691 — провал. Из следственной камеры бумаги вышли, а в суд не попали. Листаю рассыпающиеся страницы старого, давно списанного «Дела». Лист 200-й. Ого! Выстрел на Второй Кладбищенской услышали даже в Москве. 16 февраля следственные органы Ташкента получили телеграмму: «Срочно вышлите обвинительное заключение делу Михайловской, обвиняемой убийстве мужа профессора Михайловского». И подпись: член ЦКК ВКП(б) Сольц.

Телеграмму эту, надо полагать, зачитывали в Ташкенте, стоя во фрунт. Еще бы — сам Сольц! Аарон Александрович Сольц в те времена был фигурой известной: профессиональный революционер, в партии с 1898-го. При царе не раз сидел в тюрьмах, побывал на каторге. После 1917 года — член редколлегии «Правды». Член президиума Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б), член

Верховного суда. Строг до жестокости. Из основополагателей...[24] Зачем понадобилось ему творчество провинциального следователя? Ах, вот оно что... Следующий документ уже не оставляет никаких сомнений — «делом» наверху заинтересовались всерьез.

«Уполномоченный Следственного отдела Полномочного Представительства ОГПУ по Средней Азии Плешанов, рассмотрев поступившее следственное дело... по обвинению гр-ки Михайловской Екатерины Сергеевны в убийстве своего мужа профессора Михайловского, принимая во внимание, что хотя следствием дело Прокуратурой окончено по криминальным уголовным деяниям Михайловской, но в силу отсутствия освещения по делу ряда политических моментов необходимо по такому произвести доследование согласно предложения Следственного отдела ОГПУ».

Если чиновно-полицейский воляпюк товарища Плешанова перевести на общепринятый русский язык, то станет ясно: отныне ГПУ принимается искать в убийстве Михайловского п о л и т и ч е с к и е мотивы. Таков приказ партийных верхов. Не зря, значит, каркала «Узбекистанская правда»...

День рождения нового тома следствия — 21 апреля. 6 мая Плешанов отдает очередное распоряжение: «По делу обвиняемой Михайловской Е. С. произвести дополнительное расследование в части установления касательства к этому делу Войно-Ясенецкого (епископа Луки), бывшего судебно-медицинского врача (так.— М. П.) Елкина В. С. и матери обвиняемой Гайдебуровой А. М., для чего предварительно произвести у указанных лиц... обыски и независимо от таковых подвергнуть их аресту». В тот же день, 6 мая, сотруднику ГПУ Казинцеву был выдан ордер 334 «на производство обыска и арест гражданина Войно-Ясенецкого». Начался новый акт мистерии о злодейски умерщвленном профессоре и его коварных убийцах.

Тому, кто взял бы на себя труд перечитать советские газеты между январем и апрелем 1930 года, новый оборот «Дела Михайловского» вовсе не показался бы столь неожиданным. Вот лишь несколько заголовков, выхваченных из «Правды Востока» тех месяцев. В четверг 9 января газета публикует корреспонденцию «Поповский обман. Что показало вскрытие мощей Митрофана Воронежского». На следующий день помещена заметка «Церковь и клуб» — крестьяне Мирзачульского района просят разрешить им использовать церковное здание «для культурных целей». 14 января — корреспонденция с общего собрания рабочих и служащих Ташкентской ГЭС. Трудящиеся заявили: «Мы выступаем против дурмана религии» и потребовали закрыть две церкви, чтобы использовать их в качестве общежития нового хлопкового ВТУЗа. В тот же день газета печатает письмо из Чимкента. Священник Виктор Замятин, «осознав весь вред, приносимый религией, и особенно в момент больших трудностей при переходном периоде», сообщил о снятии с себя сана. «Больше классовой непримиримости»,— взывает корреспондент, сообщивший 15 января об антирелигиозном диспуте в Ташкенте.

Силу девятибалльного шторма набрала антирелигиозная истерия в начале февраля, когда папа римский Пий XI осудил аресты епископов, священников и верующих мирян в СССР. Текст папского заявления в газетах не появился, но писали о нем, как чуть ли не о военном ультиматуме со стороны Ватикана. В ответ 9 февраля наши газеты, как по команде, опубликовали сообщение о томских попах, которые хранили в Соборе знамя «Союза русского народа», а дома у себя скрывали храмовые ценности, портреты Николая II, Колчака и, конечно же, оружие. Демонстрация трудящихся потребовала закрыть Собор и усилить борьбу с религией. Безвестные демонстранты, жаждущие новых арестов, мелькали потом по газетным страницам весь год. Значительно более важным событием было публичное выступление заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия, появившееся 18 февраля 1930 года опять-таки во всех газетах страны. «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. Исповедание любой веры в СССР вполне свободно и никакими государственными организациями не преследуется... Действительно, некоторые церкви закрываются, но производится это не по инициативе власти, а по желанию населения, а в иных слу-

чаях даже по постановлению самих верующих. Сведения, помещенные в заграничной прессе, относительно жестокостей, якобы чинимых агентами сов. власти по отношению к отдельным священнослужителям, ни в какой мере не отвечают действительности. Все это сплошной вымысел и клевета, не достойная серьезных людей».

Всего лишь месяц прошел с тех пор, как 3 января газета «Правда» опубликовала указ, по которому сотни тысяч семей «лишенцев», в основном лиц, принадлежащих к духовному сословию, были вышвырнуты из своих квартир на улицы. Этого рода граждане отныне потеряли право жить в государственных зданиях, а также в домах, принадлежащих ведомствам, кооперативам и местным советам. В том же году была сделана небезуспешная попытка удушить членов церковного причта голодом: «лишенцам» не полагалось продуктовых карточек, а кооперация потребовала, чтобы эта категория потребителей, если она желает получать продукты, вносла предварительно крупные денежные взносы. Священникам и их семьям отказали не только в хлебе и крове, но даже и в медицинской помощи. Их выселяли из городов. В том же самом январе 1930 года главный антирелигиозный деятель страны Ярославский признал, что половина церквей в СССР уже закрыта. Когда же крестьяне обратились с просьбой разрешить им сохранить церкви, Ярославский ответил: «Мы организуем колхозы. Это значит, что с церковью должно быть покончено». Аресты членов причта не прекращаются ни на один день. А митрополит Сергий, сам не так давно вышедший из тюрьмы, дает интервью иностранным и советским журналистам, в которых утверждает, что Русская Православная Церковь функционирует безо всякого притеснения! Священникам же он приказывает, чтобы они возглашали специальную молитву во здравие правительства. Бесчестие власти порождало бесчестие церкви.

После заявления Сергия заголовки газет ощерились уже не шуточными клыками. «Крестовый поход против СССР», «Мобилизация святых»,— вопиет «Правда Востока» 23 февраля. «Поповские выступления встретили отпор со стороны пролетариата» (21 марта). «Руки прочь от СССР», «Союзу креста и пулемета противопоставим союз серпа и молота!» (25 марта). И снова «Колокола на индустрию» — религиозные общины Ташкента решили передать в фонд индустриализации страны колокола ташкентских церквей. Профессор А. Бродский в номере от 31 марта публикует статью «Наука и религия». Стиль профессорского сочинения находится в полном соответствии с общим стилем эпохи: «Лицемерие, обман, человеконенавистничество, ставка на несознательность, бешеная ненависть к науке и культуре,— вот изнанка лозунгов крестового похода». 4 апреля газетная шапка «Кампания церковников провалилась». Конец антирелигиозной истерии? Ну, этого допустить нельзя. Две недели спустя следователь ОГПУ Плешанов отдает распоряжение превратить «дело Михайловского» в политическое и антицерковное.

Как отнесся Лука к новой волне репрессий, обрушившихся на церковный причт и верующих? Не испугали ли его массовые аресты, конформизм митрополита Сергия, всеобщий разгул низменных страстей? В моем распоряжении лишь один документ, но документ, не оставляющий никаких сомнений в позиции Войно-Ясенецкого.

В его «Мемуарах» читаем:

«Незадолго до моего возвращения из первой ссылки в Ташкенте был разрушен Кафедральный собор. Мне пришлось служить в церкви преподобного Сергия Радонежского. Весной 1930 года стало известно, что и эта церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение — отслужить в этот день последнюю литургию и после нее, когда должны были явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить грудой крупнейшие иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин и сгореть на костре.

Я не мог стерпеть разрушения храма. Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимым. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Божиих — врагов религии и остановит разрушения храмов, колоссальной дьявольской волной разлившиеся по всему лицу земли русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткое время. А меня в тот же день арестовали, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме».

Когда же Лука был арестован? Он пишет: «23 апреля 1930 года я был последний раз на литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в тот же день вечером буду арестован. Так и случилось». Счет дням Владыка в своих «Мемуарах» вел по старому стилю. По новому стилю за ним пришли 6 мая.

В первых после ареста собственноручных показаниях о злосчастном «убийстве» и «похоронной записке» Войно-Ясенецкий искренне описал все, что знал. Ему нечего было скрывать.

«После смерти профессора Михайловского я имел разговор — с профессионалами САГУ Захарченко и Шляхтиным о психическом состоянии Михайловского, причем оба они вполне разделили мое мнение о психической ненормальности покойного. Свое заключение о ненормальности вывел я из тех фактов, которые мне сообщены были первой его женой... Врачебную записку священнику, которая послужила бы ему оправданием перед архиереем, я дал потому, что сам отказал в просьбе Михайловской об отпевании ее мужа, но не хотел окончательно огорчить ее, не оказав содействия к тому, чтобы отпевал священник. Признаю, что в этой записке было неуместное слово «лично», но записке я придавал очень мало значения, как имеющий лишь ничтожное внутрицерковное значение. Однако фальши в ней никакой не признаю...»

Я думаю, что, заполняя бланки показаний, Лука уже понимал, что «дело Михайловского» в его аресте — только декорация, надуманный властями повод, за которым скрывается приказ убрать из города еще одного деятельного, несломленного христианина. Из камеры он послал следователю записку отнюдь недвусмысленного содержания: «Прошу Вас принять к сведению, что я совершенно не верю в серьезность моего обвинения по делу Михайловского. Причиной моего ареста, конечно, послужил мой ответ п-ру Г. (Гольдовскому.— М. П.) при его последнем визите ко мне...» На эту, как и на другие, записки ответа не последовало. В течение всего мая следователь ГПУ одного за другим вызывал в свой кабинет крупнейших медиков города. Он надеялся получить «научно обоснованные» показания о конфликте Войно-Ясенецкого с «материалистом» Михайловским. Но картина получалась совсем иная. Ученые упорно говорили о психической несостоятельности Михайловского. Невропатолог М. А. Захарченко по аналогии вспомнил случай с безумным профессором-материалистом из Юрьевского университета; терапевт М. И. Слоним охарактеризовал покойного как человека со странностями; старший ассистент клиники госпитальной терапии И. А. Кассирский тоже считал Михайловского «человеком странным в своих действиях и поступках». Все они, а особенно патологоанатом профессор М. А. Марковин, были убеждены в том, что Иван Петрович застрелился, находясь в невменяемом состоянии. О Луке все допрошенные дали отзывы, наоборот, очень уважительные, даже почтительные. Конфликт? Не было никакого конфликта и быть не могло. «Установить связь между убийством Михайловского и епископом Лукой не могу, так как Лука соединил в себе религиозность и уважение к науке»,— показал Иосиф Абрамович Кассирский, будущий действительный член Академии медицинских наук СССР. Он вспомнил немаловажную для следствия деталь. «У меня была записка (я получил ее сам), где Лука (Войно-Ясенецкий), направлял в клинику интересную больную и желая, чтобы больная принесла учебную и научную пользу (при вскрытии — она была безнадежна), сделал приписку на немецком языке (дабы скрыть это от больной): «Представляет интерес для науки». Считаю,— добавил Кассирский,— что научные достижения должны были радовать Ясенецкого, так как он всегда, когда работал на медфаке, принимал активное участие в научном обществе».

Обвинение разваливается, факты не лезут в прокрустово ложе заранее состряпанной следственной схемы. Но Плешанов знает, где найти нужные ему показания. Помощник прозектора Павел Чепов давно ждет своего часа. Хотя, простите, Павел Михайлович уже не пом. прозектора и даже не препаратор, как «по ошибке» назвал его десять месяцев назад газетный репортер. В мае 1930 года протокол показаний подписал уже и. д. ассистента кафедры физиологии медицинского факультета Среднеазиатского Государственного университета. То, что в статье Дим. Эз. выглядело как случайная неточность, теперь закреплено в соответствующей графе штатного расписания. Слово овеществилось, отчеканилось в более высокой зарплате, материализовалось в резко возросшем должностном авторитете. Исполняющий должность ассистента может и без профессора обойтись и кафедру вести. Как же Павлу Михайловичу не служить своим благодетелям? Он и служит не слишком грамотно, но с энтузиазмом излагая ту версию событий, которую от него ждут. Вот они, его показания, с сохранением стиля и пунктуации:

«Опыты профессора И. П. Михайловского резко бьют по религиозным устоям, жена профессора религиозная, выданная заведомо ложная справка о «душевном расстройстве» профессора Михайловского профессором-медиком Ясенецким (Лукой) может быть истолкована во 1-х с целью скрытия уголовного преступления, убийства Михайловского, выставив на первый план самоубийство на основе душевного расстройства, имевшегося уже в течение 2-х лет,— убийство с целью устранения Михайловского, исходя из охраны религиозных устоев. Второй, менее важный, но дополняющий первое — показать, что Михайловский был религиозен и не стоял на пути религии, не был ей помехой и что как самоубийцу на почве «душевного расстройства» его можно хоронить по церковному обряду».

...Пренебрежение к фактам, равнодушие к реальным обстоятельствам и вообще ко всякой подлинности — вот главная черта плешановского следствия. Реальный мир следователя не интересует. Живые люди тоже. Он играет какую-то свою, ему одному ведомую игру, белыми невидящими глазами скользя по всему, что не приносит сиюминутного выигрыша. Эти белые незрячие бельма пялятся на вас с каждой страницы дела 4691. Пять университетских профессоров говорят «да», вчерашний пом. прозектора твердо твердит «нет», и словам ученых не придается никакого значения. Профессора Слоним и Рагоза подают следователю официально заверенную справку о том, что В. Ф. Войно-Ясенецкий страдает склерозом аорты, кардиосклерозом и значительным расширением сердца. Пользующиеся авторитетом первых терапевтов Ташкента врачи пишут, что «Войно-Ясенецкий по роду своего заболевания нуждается в строгом покое и длительном систематическом лечении». О том же пишет Плешанову доктор медицины В. А. Соколов, лечивший Войно от декомпенсации сердца. Никакого внимания. Дочь подследственного Елена Валентиновна просит разрешения повидать отца, чтобы передать ему необходимые сердечные лекарства. Резолюция: «Оставить без последствий». Епископ Лука просит следователя разрешить ему получать научные книги. Пометка на заявлении: «Отказать». В переполненной камере, где нечем дышать, Войно после допроса теряет сознание. Тюремная администрация делает вид, что ничего не произошло. «Отказать, запретить, игнорировать...» Мертвые глаза чиновника не приспособлены для того, чтобы видеть живое, различать человеческое.

Через несколько дней после обморока Луку поднимают с нар и ведут в кабинет Плешанова. Ему читают вновь составленное обвинительное заключение (постановление). «Город Ташкент, 1930 год, июля 6 дня...» Опять те же длиннющие чиновно-полицейские периоды, на языке, на котором в России говорят только в следственных камерах. Наконец, суть: «...и принимая во внимание, что Войно-Ясенецкий... изобличается в том, что 5 августа 1929 года, т. е. в день смерти Михайловского, желая скрыть следы преступления фактического убийцы Михайловского — его жены Екатерины, выдал заведомо ложную справку о душевно-ненормальном состоянии здоровья убитого, с целью притупить внимание судебно-медицинской экспертизы, 2) что соответственно устанавливается свидетельскими

показаниями самого обвиняемого и документами, имевшимися в деле, 3) что преступные деяния эти предусмотрены ст.ст. 10—14—186 пункт 1 ст. Ук УзССР

ПОСТАНОВИЛ

гр. Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича привлечь в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в укрывательстве убийцы, предусмотренном ст.ст. 10—14—186 п. 1 Ук УзССР.

Уполномоченный ПЛЕШАНОВ
Согласен Нач. СО БУТЕНКО
Утверждаю СОУ КАРУЦКИЙ».

Владыка Лука стоя слушает весь этот безграмотный вздор. С него градом льет пот, от слабости дрожат руки, подгибаются колени, но он находит в себе достаточно сил, чтобы, обмакнув в чернила перо, своим ясным круглым почерком написать под печатным текстом: «Обвинение мне предъявлено 13 июня 1930 года. Виновным себя не признаю». Через несколько часов он уже в тюремной больнице. Сердце сдало окончательно.

Прошел год. Профессор Войно-Ясенецкий провел его в тюремных камерах, лишенный книг, передач с воли, свидания с близкими. Следствие закончено, но в недрах ОГПУ что-то еще согласовывают, выясняют, утрясают. Знойное ташкентское лето сменилось промозглой зимой. В душных камерах стало сыро и холодно. Лука болел. Его несколько раз отвозили в больницу. Потом опять на допросы, наконец перевели из внутренней тюрьмы ОГПУ в тюрьму общую. Только 15 мая 1931 года последовал... нет, не суд, конечно,— судить епископа по закону никто не собирается. 15 мая последовал протокол Особого совещания коллегии ОГПУ. Три никому не известных человека заочно, руководствуясь секретным распоряжением и тайными указаниями, постановили:

«Михайловскую Екатерину Сергеевну лишить права проживания в 12 пунктах, согласно второго списка приказа № 19/10 от 11 января 1930 года, поселить ее в Читинском или Омском районе с прикреплением к определенному местожительству сроком на три года, считая с момента вынесения настоящего постановления.

Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича выслать через ПП ОГПУ в Северный край сроком на три года, считая с 6 мая 1930 года».

Круглая гербовая печать Объединенного Государственного Политического Управления при Совете Народных Комиссаров СССР и неразборчивая подпись секретаря скрепили этот окончательный документ.

...В Ташкенте мне удалось разыскать двух старых людей, бывших врачей городской тюрьмы. Я долго упрашивал их рассказать мне о днях, которые герой мой провел в тюремных камерах. Они помнили Владыку, но разговаривать с автором «Биографии» не пожелали: страх потерять высокую пенсию сотрудника НКВД — МВД сковал им уста. Бог с ними, пусть эти представители «самой гуманной профессии» сохраняют свои пенсии и свою нечистую совесть. Значительно больше о Владыке Луке расскажут нам его сохранившиеся в «деле» письма. Адресованы они Плешанову и плешановскому начальству и посвящены дальнейшей судьбе заключенного. В том, что его ждет ссылка, Лука не сомневался. Но куда?

«При решении моей участи, может быть, Вы найдете возможным принять во внимание следующее мое пожелание,— пишет он следователю.— Уже за несколько месяцев до ареста во мне созрело намерение добровольно уехать из Ташкента куда-либо в деревенскую глушь. Помимо предвидения ссылки я руководствовался при этом своим давнишним (еще в бытность земским врачом) стремлением работать в такой глуши, где нет врачей и моя помощь особенно нужна. Может быть, и теперь Вы найдете возможность отправить меня в одну из таких глухих местностей Средней Азии, куда опытные врачи не идут. Помимо хирургии я могу заниматься глазными болезнями и достиг большого искусства в глазных операциях. Поэтому наиболее полезной мне представлялась бы работа разъездным окулистом в Киргизской степи...»

Старый русский интеллигент Войно-Ясенецкий смотрит на свое будущее прежде всего с точки зрения той пользы, которую сможет принести народу. Он хочет, чтобы использовали его наиболее рационально. А представитель народа

следователь Плещанов отвечает интеллигенту Войно-Ясенецкому Постановлением, в котором обвиняет профессора в укрывательстве убийцы. Но интеллигент не унимается. Лежа в больнице с тяжелой декомпенсацией и отеками, Лука месяц спустя сочиняет еще одно заявление. Это не жалоба на беззаконие следствия и не спор с абсурдным обвинением, а опять-таки беспокойство о пользе дела.

«Из первой ссылки, в которую я отправился здоровым человеком, я вернулся чуть живым инвалидом. Предстоящая мне вторая ссылка при очень плохом состоянии моего сердца равносильна для меня смертному приговору. Поэтому обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой о замене мне ссылки в Сибирь высылкой за границу. По своему характеру я совершенно чужд политической активности и хотел бы только на склоне дней своих лечить больных. Чтобы Вы этому поверили, я прошу отправить меня в Китайский Туркестан, откуда я ни в коем случае не смогу никуда уехать, т. к. ни переход через Гималайские горы в Индию, ни шестимесячный путь в Китай через пустыню Гоби совершенно невозможны при моем больном сердце. Конечно, если бы Вы имели доверие к моему честному слову архиерея и профессора, я просил бы лучше разрешения уехать в Персию, где я мог бы широко работать по хирургии. Я готов дать какие угодно ручательства моей полной политической лояльности и думаю, что в обмен на меня Вы могли бы получить осужденных в Персии советских граждан.

Прошу Вас не отказать в ответе на это мое ходатайство.

Епископ Лука ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ.
16 июля. Тюремная больница».

Интеллигент снова ищет разумных, полезных, здравых решений. Он разговаривает с представителем власти серьезно и искренно, полный веры в то, что его адресат знает, где находится пустыня Гоби, и заинтересован в обмене советских шпионов на православных епископов. Но проходит неделя — ответа нет, и Лука опять берется за перо. Теперь у него новая идея, но, как и прежде, он обращается к здравому смыслу своих гонителей, к их патриотическим чувствам:

«Недавно я подал Вам заявление о высылке меня за границу. Я сделал это не потому, что мне хочется уехать за границу, а потому, что услышал от уполномоченного ОГПУ Плешанова о предстоящей ссылке в Сибирь и потерял надежду продолжать научную работу в СССР. Перспектива жить на старости лет в чужой стране и учиться чужим языкам, конечно, для меня в достаточной мере печальна. У меня остается надежда, что Вы представите мне возможность продолжить мое 27-летнее служение родному народу в родной стране. С самого начала моей земской работы я поставил себе задачей разработку вопросов гнойной хирургии, так как видел, что это самая важная для крестьян, рабочих и солдат часть хирургии и в то же время наименее разрабатываемая научно и крайне плохо и недостаточно преподаваемая в университетах. Результатом моих более чем 20-летних работ в этом направлении явилась книга (около 450 стр.) «Очерки гнойной хирургии», о которой ГОС (Государственный ученый совет.— М. П.) и профессор Оппель дали блестящие отзывы... Книга моя принята к изданию Госмедиздатом и должна выйти через несколько месяцев. Моей давней мечтой было создание специальной клиники гнойной хирургии, в которой я мог бы продолжать научное изучение ее и преподавать эту важную дисциплину с подобающей полнотой. Такой специальной клиники нет еще нигде за границей, и хотелось бы, чтобы она возникла в СССР. Я уверен, что много важных работ вышло бы из такой клиники, если бы она была предоставлена в мое распоряжение...

Таковы мои подлинные намерения и желания. Если Вы не найдете возможность их удовлетворить, то мне не остается ничего другого, как повторить свое ходатайство о высылке в Персию, где я занялся бы не белоэмигрантской деятельностью, а научно-практической работой в области гнойной хирургии, так как это мое призвание.

На диспуте при защите моей диссертации один из рецензентов, проф. А. В. Мартынов, сказал, что работа моя производит впечатление пения птицы, которая не может не петь... Не белоэмигрантские песни, а хирургия — та песня, которую я не могу не петь. Предоставьте же мне петь ее в родной стране, а если нет, то хотя бы на чужбине».

Теперь мы знаем: ответом на это письмо Войно-Ясенецкого был приговор о ссылке его на три года в Северный край. Представители рабочих и крестьян остались верны себе. Гнойная хирургия, как, впрочем, и вся остальная медицина и все другие науки, вместе взятые, в тот момент их не интересовали. На повестке дня стояла классовая борьба, которая, как известно, обостряется с каждым новым шагом к вершинам социализма и коммунизма.

Что сказать о письмах-исповедях Луки? Их искренность вне сомнения. И та польза, о которой радеет Войно, польза реальная. Можно укорить автора в житейской неискушенности, даже в наивности. Но ведь это то самое легковерие, которое даже строгий Карл Маркс признавал пороком наиболее простительным. И тем не менее люди, которым эти письма предназначались, не вняли им. Не чудо ли — полный разрыв коммуникаций между людьми, говорящими на одном языке, родившимися в одной стране, может быть, даже ровесниками? Где и когда зародилось взаимное непонимание, так безнадежно разделившее русских людей? Едва ли, сидя в камере, переполненной такими же, как он, «преступниками», епископ Лука вспомнил ту временную точку, от которой пошла великая российская глухота. А она была многим памятна, эта точка отсчета. В том самом 1903 году, когда студенты Киевского университета Святого Владимира избрали третьекурсника Войно-Ясенецкого своим старостой и в накаленной атмосфере национальной политической ненависти Валентин произнес свою первую, обращенную к товарищам проповедь человека, другой, значительно более опытный оратор тоже произнес речь, в которой косинулся проблемы нравственности. То был Георгий Валентинович Плеханов, и выступал он в Лондоне на втором съезде РСДРП. Один из признанных вождей русской социал-демократии произнес тогда следующее:

«Каждый данный демократический принцип должен рассматриваться не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, что Salus populi supremalax. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или иного демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения узаконенного мною основного принципа демократии. И политически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказывались бы против всеобщего избирательного права... На эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламента. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент... то нам следовало бы сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

То, что для «теоретика» Плеханова было общефилософским положением, для «практика» Плешанова звучало как руководство к действию. Следователь мог не знать содержания речи, произнесенной двадцать семь лет назад, но, как любой член ВКП(б), он гордился разгоном Учредительного собрания в 1918 году и, весьма возможно, в 20-х ставил к стенке эсеров и меньшевиков — всенародно избранных делегатов Первого и Второго съездов Советов. Политика, которая исходила из того, что хорошо лишь то, что выгодно «нашим», легла в основу всей внутренней и внешней политики молодого государства. Она развратила одних, выбросила из общественной жизни других. Трещина, возникшая в недрах русского общества в 1903-м, обратилась с годами в бездонное ущелье. Расселась, раскололась народная нравственность, оставив на одном берегу следователя Плешанова, а на другом — его антипода епископа Луку. Где уж тут докричаться...

Надежда Мандельштам, вдова погубленного поэта, чья жизнь — непрерывное, длившееся годами страдание, пишет:

«Я не сторонница мести... и все же я думаю, что стране не мешало бы

«знать своих героев», чтобы в будущем стало труднее их вербовать. Не ссылать, не убивать их нужно, а ткнуть в них пальцем и назвать по имени. Но убийцы и предатели находятся под верховной защитой, потому что они «ошибались» вместе со своим начальством. Постепенно они сойдут в могилы, а новые поколения выдвинут новые кадры убийц и предателей, потому что ни убийство, ни предательство не осуждены, а тайное остается лишь чуть прикрытым и спрятанным».

Где вы теперь, Плешанов, Бутенко, Каруцкий — вершители ташкентской провокации, одной из сотен провокаций тех лет? Скорее всего вас расстреляли еще в 1937-м или каком-нибудь ином году ваши же приятели по службе. А может быть, вы доживаете еще где-то, обеспеченные хорошей пенсией, квартирой в ведомственном доме и полной неприкосновенностью. И думать, наверное, забыли о лихих делах прошлого? Да и зачем о них думать, о «тех» делах? Они либо сданы в макулатуру, либо сложены в надежно охраняемых подвалах. Свидетелей живых, по всем расчетам, тоже не должно быть: аресты 30-х, аресты 40-х, война, 30 лет после войны. Все давно списано... Не так ли? Впрочем, что с них спросишь, с этих маленьких наемников? Как и те тюремные врачи, о которых шла речь выше, они напоминают едва различимых под лупой животных, которые обитают в гниющей воде. «Вчера» для них не существует. Было бы только теплое и сытное «сегодня».

В эпоху наемников профессия ландскнехта перестает быть зазорной. Ее не гнушается никто. Надежда Мандельштам пишет: «...Я постепенно дошла до мысли, что лучше, чтобы грузовик переехал меня, нежели чтобы я, сидя за рулем, давила людей». Но она и ее муж оставались в начале 30-х годов в ничтожном меньшинстве. У большинства грузовик, предназначенный для того, чтобы калечить людей, вызывал чувство обожания. Власти охотно брали на содержание всякого, кому хотелось «покрутить баранку». Те, кто попроще, шли в стражники и стукачи, но места в «грузовиках» хватало и для философов, и для писателей, и для ученых.

— Прочитайте роман Борисоглебского «Грань»,— посоветовала мне при первой нашей встрече в Ташкенте (1967) дочь епископа Луки Елена Валентиновна Жукова-Войно.— Эта книга о деле Михайловского, о моем отце. Правды там не ищите, но, может быть, что-то вас заинтересует...

Вернувшись в Москву, я заглянул в старое издание Литературной энциклопедии. «Борисоглебский Михаил Васильевич,— значилось там,— 1896 года рождения (следовательно, роман «Грань» начал он писать, когда ему не было еще и 34-х.— **М. П.**), рабочий, беллетрист, принадлежит к неоклассикам». Что такое неоклассики, я не знаю и по сей день, но затребованную из библиотеки книгу, судя по свежести переплета, за 40 лет никто, кроме меня, в руки не брал. Книжица эта меня действительно заинтересовала. Прежде всего темпами, в которых она была выпущена. Судите сами: автор романа начал ее никак не раньше весны 1930 года и не только успел его в том же году закончить, но еще и издать. Не иначе бабушка ему ворожила. Что это за «бабушка», стало мне ясно после первых же страниц. Борисоглебский читал оба обвинительных заключения — и то, что подготовил следователь Кочетков, и то, что сфабриковал Плешанов. Видел он и протоколы допросов. Конструируя образы, ориентировался он в основном на оценки и выводы ГПУ. И сейчас в деле 4691 можно видеть отчеркнутые синим карандашом места, относящиеся к самым острым сюжетным поворотам будущего романа.

Кому же так спешно понадобилось сочинение Борисоглебского? Вспомним телеграмму Аарона Сольца; не его ли «социальный заказ» выполнял писатель-неоклассик? Хозяевам страны, стоявшим на пороге массовых чисток, нужна была оправдательная литература. Не слишком привлекательным историческим фактам надлежало дать приличное объяснение, выгодное освещение. Со временем многочисленные лебедевы-кумачи и оресты мальцевы научились на лету ловить подобные желания властей и без подсказки творили государственную легенду, но в 1930 году Сольцу и ОГПУ пришлось действовать кустарно, с некоторым даже, хотя и не слишком большим для себя, риском.

Назвать роман Борисоглебского художественным произведением значило бы впасть в сильное преувеличение. Но, очевидно, ни автор, ни его заказчики за изяществом стиля не гнались. Главный смысл для них таился в той материи, которую позднее стали именовать и д е й н о с т ь ю. Что до содержания, то оно укладывается в следующую схему.

В город Н. приезжает из Москвы новый архиерей, архимандрит о. Сергий. Он послан из столицы заменить старого, дряхлого епископа, ибо в городе назревают серьезные события. Профессор Степан Кузьмич Орлов готовится оживить своего сына, утонувшего четыре дня назад. О. Сергий и остальные церковники убеждены, что если опыт удастся, то наука нанесет им сокрушительный удар. Надо спасать церковь, не допустить поругания христианства. Приезжий архимандрит непривлекателен настолько, что противен не только положительным героям, но даже священникам. Ходит он в гражданском костюме, бороду бреет, черные курчавые волосы, смуглое лицо с карими навыкате глазами, острый нос и губастый темно-малиновый рот делают его похожим то ли на цыгана, то ли на еврея-выкреста. Разговаривает губастый архимандрит на суконном языке канцелярий, то и дело перескакивая на стиль детективных кинобоевиков. Вот, например, что он говорит своему единомышленнику священнику о. Петру: «Мы должны своевременно озаботиться выработкой методов, которыми нам еще возможно бороться за свое влияние... Мы должны по-прежнему действовать тихой сапой... Мы должны усыпить подозрительность врага. Должны еще более, чем до сих пор, делать вид, что приемлем новую власть и подыскивать ей оправдания из учения святых отцов (так! — **М. П.**). Слава богу, у нас есть мыслители, которые при умелом использовании могут пригодиться для этой цели».

Архимандрит Сергий, в образе которого перед читателями предстает профессор-епископ Войно-Ясенецкий, отправляется в дом Орловых. Выясняется, что они со Степаном Орловым из одной деревни. Больше того, много лет назад дед Сергия, священник Златогоров, приютил сироту Степу Орлова. Теперь, спекулируя на детских воспоминаниях, архимандрит пытается отговорить профессора от проведения опасного для церкви эксперимента. Но — тщетно. Тогда архимандрит начинает «обрабатывать» жену ученого, Екатерину Ивановну (злобная и мстительная особа эта должна, по замыслу, играть роль Екатерины Гайдебуровой). Орлова не только верующая, но и происходит из богатой помещичьей семьи, поэтому она легко поддается на провокацию. Между супругами возникает отчуждение, которое хитрый архимандрит использует для своих подлых целей.

Между тем эксперимент, которого так боятся церковники, приближается. Орлов уже оживил переливанием крови обезьянку Яшку (идет изложение статьи из журнала «Семь дней»). Волны мировой славы бьются о порог маленького домика в городе Н., где живет скромный, тихий, добрый профессор Орлов. Черные тучи нависли над православной церковью: вот-вот профессор оживит труп сына, и тогда — конец: верующие сразу отвернутся от храмов. В этом месте Борисоглебский переходит на откровенный детектив:

«О. Сергий бывал у Орловых довольно часто... Встречаясь с профессором, он любознательно интересовался его работами и никогда уже не заводил речь о безумии и греховности его научных затей. Ловко скрывая свои планы и намерения, он расположил Орлова к откровенности и выпытал у него все, что было нужно. О. Сергий знал, что самое главное — усыпить бдительность врага». В один прекрасный день, выпытав все, что было нужно, архимандрит выкрадывает из профессорского стола тетрадку с ярлыками: «Процесс оживления нервной системы». После этого он толкает Екатерину Ивановну на убийство мужа. «Последний опыт его (Орлова) не должен совершиться,— заявляет архимандрит-подстрекатель.— И дело это в наших руках. Вы должны сделать так, чтобы этот опыт стал невозможен... То, что вы сделаете, не должно смущать вашу совесть. Напротив того, гордыня, ослепившая вашего мужа и заставляющая его забывать о страданиях, в которые будет ввергнут народ, лишенный веры, будет сломлен... Подумайте о том, что я вам говорю, и совершите подвиг, к которому вас призывает священный долг перед церковью». Произнеся эту речь, подстрекатель убегает из дома с тетрадями ученого.

Последние страницы романа являют нам полное торжество справедливости. Угрозыск арестовывает священников, которые, как выясняется, были к тому же еще и спекулянтами, казнокрадами, взяткодателями. Хватают и Сергня. Фанатичная Екатерина Ивановна, которой муж заявил о предстоящем разводе, выстрелом из «смит-вессона» в левый висок убивает мужа. Книгу завершает «вырезка из газеты», которая почти дословно, но еще более скверным языком пересказывает фельетон Дим. Эз. в «Узбекистанской правде». У Борисоглебского статья «от нашего спец. корреспондента» именуется очень помпезно: «На пороге бессмертия». «Датирована» она так же, как и фельетон, 25 августа 1929 года. «Классовый враг не дремлет и выбитый из одних позиций спешит занять другие,— пишет мифический корреспондент.— Тот факт, что рукопись труда профессора была отобрана при аресте у гражданина Златогорова (о. Сергня), главы местной епархии, в тот момент, когда он при выходе из квартиры профессора направлялся на вокзал, наводит на очень и очень серьезные размышлении. Мы не решаемся высказать определенных подозрений, но никак не можем согласиться с упорным заявлением вдовы профессора на предварительных допросах, будто муж ее, убедившись в крушении своей надежды воскресить умершего сына, раскаялся в своей «сатанинской гордыне»... Соображения, что револьвер, прекративший ценную жизнь профессора, был направлен не его собственной рукой, а тою или теми, что уже заняты другими преступлениями, напрашивается само собой».

Михаил Борисоглебский не только не скрывает деталей дела Михайловского, но нарочно выпячивает их. Его цель — создать легендарный вариант всем хорошо известной истории для того, чтобы миф затемнил, исказил обстоятельства реального дела. Книгу, правда, никто из писателей не заметил: критики обошли ее полным молчанием. Но эффекта, которого добивались покровители неоклассика, удалось достичь — «Грань» породила г о с у д а р с т в е н н ы й м и ф о церковниках — врагах и гонителях науки, миф тем более ценный, что он опирался как бы на реальную основу.

Я попытался дознаться: кто же он — блестящий исполнитель этого заказа? В официальных источниках сведении о нем обрываются в 1932 году. А потом? Куда девался этот лихой мифотворец? Я поехал в Ленинград и обратился к трем старым уважаемым литераторам. Борисоглебский? Михаил? При упоминании этого имени всех троих явственно передернуло. Никто не хотел даже говорить о нем. Лишь с трудом удалось вернуть моим собеседникам душевное равновесие, и тогда я услышал следующее: «Как же! Помню! Как не помнить,— проворчал первый.— Очень, очень дурная репутация была у этого господина...» Второй оказался более словоохотливым. «В 1927 году,— вспомнил он,— мой учитель Евгений Замятин приглашал меня идти работать в руководство группы попутчиков. Я спросил его: «Зачем мне это?» Он ответил: «Томашевского и Тихонова заменяют Борисоглебским. Надо ему кого-то противопоставить. Он же бандит». Я тогда в правление все-таки не пошел. Почему? Да потому что знал, что Борисоглебский этот был... ну, вы сами понимаете кем... Но в Союз писателей его в 1932 году все же не взяли. Писал очень плохо. Роман его «Топь» иначе как «пот» никто не называл тогда. Вообще он с т а р а л с и до того рьяно, что даже тогдашним руководителям Союза писателей не нравился. Абсолютно несимпатичная личность...»

И еще один разговор.

«Помню! Он был просто «дятел». Мне Миша Козаков сразу сказал, чтобы я с ним был поосторожнее. Куда делся? Откуда взялся, туда и делся. Он имел самое непосредственное отношение ко в с е м э т и м д е л а м...»

Читатель, очевидно, уже уяснил себе, что слово «дятел» в данном контексте к орнитологии отношения не имеет. А «все эти дела», которыми в свободное от литературной работы время занимался М. В. Борисоглебский, представляли собой не что иное, как политические доносы на коллег по перу. Таким образом, побочная и основная деятельность автора романа «Грань» как бы дополняли одна другую. В профессионализме ему отказать было никак нельзя. Все правиль-

но, все нормально. И только одно вызывает неподдельное недоумение: как это получилось, что т а к о г о писателя не приняли в ССП? [25].

Было бы несправедливо, однако, считать Михаила Борисоглебского единственным творцом государственной легенды о «деле Михайловского». Приложили руку к мифотворчеству мастера и более крупного масштаба. 31 января 1934 года «Вечерняя Москва» поместила статью, которая начиналась так: «Несколько лет назад в Ташкентском суде слушалось громкое дело об убийстве профессора Михайловского. Крупный советский ученый, прославленный своими работами по оживлению мертвых органов (так! — М. П.), он пал жертвой дикого религиозного фанатизма. Особый интерес это дело приобрело в связи с участием в нем жены профессора и ближайших его соратников — группы реакционных профессоров, которые не могли простить Михайловскому материалистических научных взглядов.

Этот забытый сейчас процесс послужил поводом для пьесы К. А. Тренева «Опыт». Сама жизнь наша, наша современность с ее диалектическими противоречиями подсказала замечательную тему и подлинно драматический сюжет, увлекающий богатством содержания, остротой положений. Само собой разумеется, что в пьесе нет протокольного воспроизведения подлинных событий. Отказавшись от заманчивой возможности инсценировать судебный процесс, ее автор попытался создать свое т в о р ч е с к о е оригинальное произведение большой мысли и широких социально-художественных обобщений. Попытка эта в общем удалась ему...»

Откуда все это? Суд в Ташкенте, громкое дело группы реакционных профессоров? Ведь никакого суда над Войно-Ясенецким и Михайловской-Гайдебуровой не было. Судьбу своих жертв ОГПУ, как мы знаем, определило в секретном порядке. Да, суда не было, но была легенда о суде, о фанатиках-церковниках, убивших ученого-материалиста. Кем-то явно распространяемая, она поползла по стране уже с осени 1929 года. Как будто невзначай то в одной, то в другой провинциальной газете появились заметки, где в туманных, но угрожающих тонах повествовалось о совершившемся «злодеянии», о предстоящем процессе. Заметки начали появляться еще до окончания следствия, но у обывателя они создали явное впечатление, что «враги науки» уже разоблачены, судимы и, как в те годы любили писать, «понесли заслуженную кару».

Одна из таких заметок появилась в крымских газетах. Она попала на глаза жившему в Алуште писателю С. Н. Сергееву-Ценскому и воспламенила его. Романист решил испытать себя на этот раз в драматургии, тем более что заметка давала прекрасный, как ему казалось, материал для драматического сюжета. Не откладывая задуманного, Сергей Николаевич 8 ноября сел за письменный стол, и уже 20 ноября пьеса в пяти действиях была готова. Назвал ее Сергеев-Ценский «Ребенок и обезьяна». Заголовок явно отразил суть происходящего. Умерший три года назад ребенок был сыном великого ученого, открывшего метод оживления трупов. А обезьяна предназначалась для последнего решающего опыта, после которого старухе смерти уже ничего не оставалось делать на нашей счастливой планете. Этому великолепному эксперименту мешают верующие и попы. Воскрешение не удается. Черные силы религиозного мракобесия торжествуют победу.

Пьеса написана за две недели, но новоиспеченный драматург не чувствует удовлетворения. Он и сам видит — Лопе де Вега из него не получился. В длинной и сырой мелодраме концы никак не сходятся с концами. Но, с другой стороны, Сергею Николаевичу, человеку деловому, не хочется допускать, чтобы труд двух недель оставался неоплаченным. На следующий день после того, как был дописан последний акт, он открыткой приглашает к себе в гости соседа, дорогого Константина Андреевича Тренева: «Буду рад Вас видеть 24-го».

Мы не знаем, как автор «Любови Яровой» отнесся к произведению Сергеева-Ценского. Очевидно, все-таки благосклонно, ибо согласился пьесу «дотягивать» и даже повез ее в Москву и Ленинград показывать в театрах. Острым нюхом драматург учуял, насколько сочинение это политически «своевременно». В обстановке охватившего страну антирелигиозного разгула такие пьески брались нарасхват. Это подтвердили Треневу и в театрах: сначала в Большом в Ленинграде, потом в театре Завадского. Полгода спустя соавторы заключили официальный договор, где детально оговорили, как именно поделят они доходы от

пьесы «Мальчик и обезьяна». Второй пункт договора гласил: «Все причитающиеся за постановку пьесы на Московских, Ленинградских и прочих советских (а также заграничных, если это осуществится) сценах гонорары мы делим пополам». Предполагалось также делить гонорары за издание пьесы. Тренев при этом брал на себя все переговоры с театрами, фамилия Сергеева-Ценского заменялась псевдонимом. Договор подписан в Симферополе 4 мая 1930 года. Два дня спустя, 6 мая, в Ташкенте по приказу ОГПУ был арестован и направлен в городскую тюрьму профессор Войно-Ясенецкий.

Итак, по иронии судьбы ташкентская трагедия и крымский фарс разворачивались одновременно. В то время как в Ташкенте допрашивали, запугивали, выколачивали фальшивые показания и составляли подложное «дело», на другом конце страны созидался миф, призванный оправдать действия тайной канцелярии. Следователь Плешанов и писатель Тренев не знали друг друга, не догадывались друг о друге, но, связанные общностью хозяев, служили одной и той же государственной цели. Константин Андреевич и по характеру казался ближе к Плешанову. В делах своих шел он напрямик, не слишком задумываясь над тем, что о нем станут думать и говорить. Устранив имя Сергеева-Ценского с будущей афиши, он и пьесу назвал по-своему — «Опыт». А 21 декабря 1932 года заставил своего соавтора подписать новый договор, по которому ему, Треневу, полагалось уже семьдесят пять процентов гонорара, а Сергееву-Ценскому только двадцать пять. Пьеса опубликована в журнале «Новый мир», аванс за нее получен в Ленинграде, а потом в Москве в театре Завадского, но Треневу и этого мало. Он ищет возможности полностью оттеснить Сергеева-Ценского от гонорара.

Идут месяцы. Владыка Лука мерзнет и задыхается в своей до отказа переполненной камере, лежит после сердечного приступа в тюремной больнице, умоляет своих гонителей не лишать его возможности заниматься наукой, а Тренев и Сергеев-Ценский спорят и спорят о том, кому и сколько денег за будущую пьесу причитается. Арестантский поезд везет Луку в Архангельскую область, для него начинают тянуться годы ссылки, а в Москве и в Алуште все более разгораются страсти. Соавторы делят добычу.

В очередном письме к дорогому Сергею Николаевичу Тренев горько сетует на тяжелое материальное положение, в которое он попал из-за того, что связался с пьесой Ценского. «Эта пьеса, над которой я мучительно и неотступно работаю вот уже два года, отняла моей жизни гораздо больше. Оттого ли, что тема не органически выросла, а дана со стороны, или в самой теме не все мне сродни, но я, конечно, не только не согласился бы на эту каторгу, но не мог ее представить себе». Этот трагический монолог нужен драматургу для того, чтобы обосновать последний абзац письма: «Я предлагаю Вам, Сергей Николаевич, в порядке наших до того теплых дружеских отношений изменить наше соглашение. По искреннему убеждению, не только моему, но выстрадавшей со мной моей семьи десять процентов вместо двадцати пяти процентов было бы вполне справедливым и ни для кого не обидным компенсированием».

Даже привыкший к проделкам Константина Андреевича Ценский на этот раз замирает на несколько месяцев от возмущения. Ответа из Крыма нет. Это нервирует Тренева. В театре Завадского вот-вот должна состояться премьера «Опыта», предстоит генеральный раздел гонораров. Тренев пишет в Алушту снова, снова требует себе девяносто процентов. Сергеев-Ценский взбешен. Он отвечает, что от «законных» двадцати пяти процентов отказываться «не намерен». Он грозит коллеге судом, да не просто народным, а *показательным*, с оглаской и скандалом. Тренев парирует в том же духе: «Вы сытый, пресытый человек, счастливчик, удачливый стяжатель, вырезываете куски жирного мяса из моего тела».

Архивы не сохранили конца этой исторической переписки. Мы так, очевидно, никогда и не узнаем, согласился ли Ценский на десять процентов гонорара или все-таки вырвал у Тренева «законные» двадцать пять. Зато сценическая история детища двух классиков освещена достаточно ярко. Кроме статьи Гринвальда в «Вечерней Москве», отклики на спектакль в театре Завадского поместили «Советское искусство», «Литературная газета», «Известия» и даже «Правда». Завадский готовил «Опыт» как подарок к шестнадцатой годовщине Октября. Но с подарком получилась заминка. В сентябре 1933 г. профессор-физиолог Ю. А. Преображенский опубликовал в «Советском искусстве» свои «возражения биолога». О провокации в Ташкенте, о деле епископа Луки Преображенский, вероятно, ничего не знал, но как специалист он увидел, что «основная линия пьесы неверна, ошибочна, ненаучна». Московский физиолог развенчал самую суть великого открытия, на котором Тренев построил пьесу. Если же не было открытия (а мы знаем, что никакого открытия Михайловский не совершил), то сомнительной становится и вся версия убийства ученого церковниками, убийства с антинаучной целью. «К. Тренев,— писал Преображенский,— извратил историю науки об оживлении и воскрешении, историю экспериментальных исследований в этой области...» О герое пьесы Соболеве (прообразе Михайловского) Преображенский писал: «Соболев дискредитирует советскую науку, такой приговор вынесет всякий биолог, врач, ученый советской страны».

Но то, что представлялось ясным каждому врачу и просто порядочному человеку, никак не устраивало подателей социальных заказов. Им во что бы то ни стало нужен был миф о злых церковниках, терзающих научную жертву. «Правда» резко одернула критикана-биолога, а вместе с ним и всех тех, кто когда-либо в будущем попытается усомниться в художественных и идеологических достоинствах пьесы «Опыт». Центральный орган печати все поставил на свои места: «В центре пьесы профессор Соболев. Его смелый научный эксперимент, задачей которого является борьба со смертью, встречает яростные нападки... Поддержку своим научным экспериментам профессор встречает лишь в лагере передовых советских людей... Он приближается к революционному лагерю, окружает себя передовой научной молодежью в лице своих аспирантов-комсомольцев. Сюжетная канва пьесы дает возможность поставить ряд проблем о взаимоотношениях науки и религии...»

Проблемы поставлены, пресса вслед за «Правдой» аплодировала, а спектакль уже через полгода пришлось снять: он скучен, невыносимо скучен, уныл и убог. На него просто никто не ходит. Пытался гальванизировать «Опыт» в 1934 году архангельский театр, но и там его ждал провал. Не спасли ни конъюнктурная тема, ни правильно поставленные проблемы о взаимоотношениях науки и религии, ни оптимистическое звучание. О звучании драматург и режиссер пеклись особенно горячо: несмотря на то, что эксперимент не удался, мальчик, сын профессора, погибает, никакого пессимизма в «Опыте» нет и в помине. Наоборот! Главный герой переполнен энтузиазмом. «Слезы оставим матери,— восклицает он, стоя возле трупа собственного ребенка.— У нас же торжество победы! Впереди такая радостная работа!»

В том самом 1930 году, когда Константин Андреевич Тренев и Сергей Николаевич Сергеев-Ценский в обстановке сердечного согласия заключили свой первый многообещающий договор, за ту же тему взялся Борис Лавренев. Есть основания подозревать, что тему, как и Борисоглебский, получил он в самых высоких инстанциях. Из всех заказных сочинений о «деле Михайловского» сочинение Лавренева наиболее профессионально грамотное и самое отталкивающее.

Автор чувствует театр, понимает толк в острой реплике, в драматической коллизии. У Лавренева есть драматургический темперамент, которого полностью лишен Тренев. Но неправда обстоятельств, плакатная фальшь ситуации так разительны, что читать пьесу без отвращения невозможно. Состав действующих лиц у Лавренева тот же, что и в «Грани», и в «Опыте». Великий ученый-физиолог Котельников, его верующая жена, их умирающий сын. Профессор читает студентам специальный курс так, будто весь свой век служил в агитпропе. «Мы подходим к моменту, когда наука, разорвав путы идеализма и религиозных цепей, станет обезоруживать смерть в тех случаях, перед которыми медицина до сих пор бессильно опускала руки. Мы сделаем тайну смерти простым лабораторным опытом, доступным каждому студенту. И немудрено, что наша наука, наука боевого материализма, вызывает дикую ненависть в черных армиях религии из среды научной реакции... ибо она уничтожает религию... она вырывает у них почву...»

Антигерой, он же архимандрит Палладий, разговаривает от первого до по-

следнего действия только на церковнославянском: «Промысел Божий неисповедим. Единожды занесен меч во вразумление, второй раз не остановлен будет». И далее в том же роде. Архимандрит Палладий, читаем в ремарке: «Высок, худ. Оливковое лицо иезуита-фанатика окаймлено узкой бородкой с проседью. Шелковая ряса шелестит сухо, зло, как змеиная чешуя». Можно не сомневаться в том, что этот змеиный оливковый субъект ненавидит науку и совершит немало гадостей, пока не закончится наконец четвертое действие этой бесконечно длинной драмы. В драме, кстати сказать, кроме вышеназванных, еще более тридцати действующих лиц. И кого только тут нет! Врачи, богомольные старухи, рабочие с соседнего завода, студенты, профсоюзный деятель (отрицательный), даже брат жены профессора, бывший белый офицер Гоша, как и полагается, подонок, пьяница, трус. И, конечно, пересыпает речь французскими выражениями. Действуя по наущению Палладия, Гоша тычет в подходящий момент ножницами в грудь профессору. Темная верующая уборщица в клинике, опять же по указке религиозного фанатика, норовит разбить табуретом термостат, где ученые варят «эликсир жизни» — восстановленную кровь. Но все кончается хорошо, так что по лучшим образцам драматургии тридцатых годов «прозревший» доктор Курков имеет случай воскликнуть: «Какая огромная радость! Как хорошо дышать! Ведь, подумать, что сделано!» Впрочем, что именно сделано учеными, мы из пьесы Лавренева не узнаем точно так же, как не узнали из пьесы Тренева.

Пафос пьесы, впрочем, совсем не в разоблачении церковников и остатков эксплуататорских классов. С оливковым Палладием и белым Гошей все ясно с самого начала. Но там, где Борисоглебский и Тренев остановились, Лавренев начинает главную атаку. Его пьеса зовет вместе с церковниками раздавить врага менее явного, но потенциально более опасного — интеллигенцию, тех, кто сохранил собственное мнение, независимую научную и общественную позицию. Антиинтеллигентство — один из важных лозунгов 30-х годов. Подхватив этот лозунг, Лавренев воссоздал отталкивающую физиономию профессора-виталиста с нерусской фамилией Бокман и верующего студента. Первый — подхалим, лжесвидетель и просто старье, второй, по оценке одного из положительных героев: «Слюнявенький, сутулый, близорукий интеллигент». Ату их! Любимая героиня автора, тридцатитрехлетняя красотка врач-партиец Евгения Григорьевна Молчанова, готова без лишних разговоров хватать за горло «чужих». «Никогда не жалейте врага, пока он не уничтожен»,— говорит она о семидесятилетнем профессоре Бокмане. Такая волчья позиция шокирует даже «социально близкого» ей профессора Котельникова. «Но разве Бокман враг? — возражает он.— Бессильный старик. У вас не женское сердце, Евгения Григорьевна». В ответ красивая Евгения Григорьевна выбалтывает основное свое кредо и, как можно догадаться, кредо автора: «В боях за право на жизнь я научилась жалеть и щадить только свой класс. Борьба не позволяет мне жалеть врагов. Мы уничтожаем их для будущего наших детей».

Разбирательство институтского конфликта ведут рабочие с соседнего завода. В споре материалиста Котельникова и виталиста Бокмана они сразу понимают, кто прав, а кто не прав. Которые материалисты, их сразу видно: из рабочих, члены партии и собой красивые, молодые. Они и в науке собаку съели: «Сегодня мы можем восстановить кровь, завтра мы восстановим нервные клеточки и создадим нового человека по образу и подобию нашему, а не Божьему»,— гремит с трибуны амазонка с партбилетом Евгения Григорьевна Молчанова.

По разумению Лавренева, «медицина — одно из главных орудий против религии. Медицина — кинжал в религию...» Но как совместить это с прототипом Палладия, реально существующим епископом Лукой Войно-Ясенецким? Ведь он не только человек церкви, но врач; и не только врач, а ученый-медик, профессор. Сложновато получается. Но Лавренева сложности не пугают. Легким движением скальпеля, то бишь пера, драматург рассекает слишком сложный для понимания прототип надвое и получает то, что ему нужно: двух непримиримых врагов — у ч е н о г о Котельникова и религиозного ф а н а т и к а Палладия. Правда? Но высшая правда для соцреалиста — не правда факта, а та, которая

нам н у ж н а на данном этапе нашего движения к вершинам. Не об этом ли говорил на Втором съезде РСДРП тов. Плеханов?

Читая пьесу «Мы будем жить!», которую время превратило в самопародию, я вспомнил свой давний и единственный разговор с Лукой. Закончив долгий рассказ о нелегкой своей жизни, слепой собеседник мой замолчал, а потом спросил, что я намерен писать. Я ответил[26]. И тогда просто и твердо, как о чем-то давно продуманном, он сказал:

— Если станете описывать мою жизнь, не пробуйте разделять хирурга и епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется ложным.

Читал ли Лука роман Борисоглебского, пьесы Тренева и Лавренева? Вряд ли. Он не любил пустого времяпрепровождения. И тем не менее точно уловил главную проблему, которая всегда возникала и еще будет возникать перед его биографами. Сложнее всего совместить официальную версию с реальностью. Жизнь всегда сложнее и богаче легенды. Даже государственной.

Том второй

Глава пятая

ИСПОВЕДУЮ ХИРУРГИЮ
(1933 — 1937)

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?».

Из Послания апостола Иакова (Гл. 2, 14)

«Бросалась в глаза его глубочайшая эрудиция и блестящая техника оперативная. На вскрытиях в больнице присутствовало всегда много врачей и Валентин Феликсович пользовался каждым случаем, чтобы научить хирургов тем или иным тонкостям оперативной хирургии, хирургической диагностики. В обращении он был прост, но держался с величайшим достоинством человека и мастера хирургии... О нем говорили, что он УЧЕНЫЙ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ».

Профессор Г. Н. Терехов, анатом. Письмо из Ташкента, 7.3.1968 г.

Вторую свою ссылку Лука считал легкой. А как же иначе? В постановлении ГПУ сказано было: Северный край. А он, Северный край, ой, как велик! Могли бы сослать в Ухту, отправить в Инту, загнать в Воркуту. В народных легендах местом второй ссылки Войно-Ясенецкого называют чаще всего Соловки. Тоже местечко памятное! В 20-х — 30-х годах на Соловецких островах в Белом море сложили головы многие епископы, священники и просто верующие миряне и среди тысяч безвестных знаменитый математик, архитектор и философ-богослов о. Павел Флоренский. Епископу Луке действительно повезло. Его оставили в Архангельске, даже позволили заниматься медициной: профессор получил разрешение принимать больных в амбулатории. Голодно? Так после коллективизации по всей России голодно. Холодно? На то и Северный край. В теплые края в тридцатых уже не ссылали.

Квартиру добрые люди нашли ему в доме пожилой женщины Веры Михайловны Вальневой. Это был один из тех ветхих деревянных домишек с громоздкой русской печью и тесовыми в щелях перегородками, в каких обитало большинство архангельских жителей. Комната-келья с одним крошечным оконцем Луке понравилась. Стол, стул, железная кровать, в углу — икона. Чего еще

желать? В холодных сенях — рукомойник. Там же кадка с колодезной водой. Уборная — во дворе. Уж не взыщите...

Впрочем, дома бывал он редко. Полдня профессор проводил в амбулатории на приеме, потом шел в ближнюю больницу. Оперировать ссыльному запрещалось, но больничные хирурги тайком пользовались его консультациями, а если поблизости не было начальства, то разрешали даже ассистировать. В келью свою Лука добирался только вечером. Засветив десятилинейную керосиновую лампешку, принимался за чтение присланных дочерью медицинских журналов и книг. Делал выписки из историй болезни, не оставляя мысль издать когда-то главную свою книгу, «Очерки гнойной хирургии». Перед сном, отложив дела медицинские, погружался в Библию. День начинался утренней молитвой, завершался вечерней. Ходил бы в воскресенье в церковь, да некуда: все церкви в Архангельске закрыты. Жизнь текла монотонно, скудно, но не впустую. Владыка наполнял ее трудом и мыслью, верой и стремлением по мере сил помогать каждому больному. О пище, об одежде не задумывался: что есть, то и есть.

И все же скудость, великая скудость эпохи первых пятилеток напоминала о себе ежечасно. Амбулатория, маленькая, донельзя тесная, полутемная, встречала по утрам кислым запахом овчинных тулупов, немытых тел, пропитанных гноем повязок. В коридоре всегда теснилась очередь. У окошечка регистратора то и дело вспыхивала перебранка. Резко, раздраженно кричали женщины, плакали дети. Печи дымили, но тепла давали мало. Больные в кабинете врача нехотя стаскивали с себя верхнюю одежду: «Не застудиться бы, доктор...» Не хватало ваты, бинтов, антисептиков, даже бумаги. Рецепты писали на клочках, а историю болезни — на газете, фиолетовыми чернилами поперек печатного текста. Зато больных всегда было много: к хирургу записывалось по сорок человек и более.

Войно по обыкновению занимался с каждым больным подолгу, всерьез. Но амбулаторный прием не давал удовлетворения. В поликлинику приходят, как правило, легкие больные с однообразным диагнозом. Как пианист, лишенный рояля, ссыльный не знал, что делать со своими чуткими, жаждущими дела пальцами. Руки тосковали по труду, а труд свой Войно-Ясенецкий представлял всегда как расшифровку тех запутанных ребусов, которые природа задает врачу у постели больного. Именно эта совместная работа головы и рук составляла для него высшую радость. И радости этой его насильно лишили.

Неожиданный поворот событий позволил хирургу заняться наукой, не испрашивая на то специального разрешения чекистов. На прием в поликлинику пришла пожилая женщина с большим зреющим фурункулом на плече. Случай самый банальный. Тут и врач не нужен: нарыв вот-вот готов вскрыться сам. Но Войно заинтересовала странная черная мазь, покрывающая воспаленный участок. «Что это у вас?» — спросил он женщину. «Мазь от Веры Михайловны». «От какой Веры Михайловны?» «Да от Вальневой, от хозяйки, у которой вы квартируете. Я вас у нее видела». Оказывается, женщина лечилась у Вальневой, а к профессору зашла для того, чтобы узнать, так ли ее лечит знахарка.

Войно прожил у Веры Михайловны уже почти полгода, но хозяйку свою почти не видел. Пустых речей он не любил, она тоже не докучала ему лишними разговорами. Тихонько, поскрипывая половицами, похаживала за перегородкой. Иногда к ней приходил кто-то, тогда за тесовыми переборками слышался шепот. Зачем приходили, о чем шептались гости Вальневой, Луку не интересовало. Едва ли, погруженный в собственные мысли, он даже задумывался хоть раз над тем, как живет, на какие средства существует его хозяйка. И вдруг открылось — квартиру сдает ему знахарка! Профессор был раздосадован. Ко всему, что имеет отношение к лечению больных, относился он всегда очень серьезно, если не сказать сурово. Легкомыслия, непрофессиональности не прощал даже коллегам-врачам, а тут — знахарка, шарлатанство какое-то...

Первое побуждение — съехать с квартиры. Вот так сразу — рассчитаться и перетащить куда-нибудь подальше свое немудреное имущество. Но потом верх взяло любопытство, а вернее, то исконное стремление добраться до сути, которое отличает всякого подлинного искателя. Вечером постоялец напрямик спросил

хозяйку, лечит ли она гнойных больных. Вальнева не запиралась: да, лечит, чирья открывает мазью, куда входят черная земля, сметана, мед, кое-какие травы. Сколько кладет чего? По болезни. Составы разные. В секрете их не держит. Лечит давно, с 1908 года. Плохого люди от нее не видели. Профессор может сам посмотреть и опросить больных.

Твердого и прямого нрава оказалась эта неразговорчивая поморка, воспринявшая искусство целить гнойные раны от бабки, а может быть, и прабабки-рыбачки. То, что знахарка не таилась, не лгала и даже соглашалась показать больных, Войно понравилось. В характере ее хирург почувствовал для себя что-то родственное. И все-таки знахарка...

Однажды после работы он, хмурясь, переступил порог хозяйской половины дома. Присел на лавку. Вера Михайловна, как всегда, молча готовила свою мазь. На сосновом некрашеном столе горкой лежала черная огородная земля. Женщина пересеивала ее, перебрасывая решето в ладонях так же, как деревенские бабы просеивают муку для пирогов. Потом ссыпала землю в чугунок и, ловко орудуя ухватом, подала чугунок в жерло только что протопленной русской печи. Все движения Вальневой, все ее повадки выдавали человека деревенского. Она и была, очевидно, вдовой сгинувшего в море рыбака или огородника из окрестных мужиков. И вместе с тем эта неграмотная архангельская обывательница, слыхом не слыхавшая об асептике и антисептике, каким-то тайным, глубинным разумом дошла до необходимости стерилизовать составные части своей мази, постигла науку, по поводу которой великие умы биологической и медицинской науки спорили еще в 70-х годах девятнадцатого столетия. А может быть, кто знает, предки Веры Михайловны додумались стерилизовать входящую в мазь почву раньше Пастера и Листера? Во всяком случае, продержав казанок с землей в горячей печи с полчаса, Вера Михайловна выставила его затем во двор, под окно, будто и впрямь знала, что почвенные микроорганизмы не смогут развиваться при тридцатиградусных архангельских морозах.

Войно-Ясенецкий ни во что не вмешивался, он только наблюдал. Ему не впервой встречать деревенских баб-знахарок. Есть всегда что-то инстинктивное в их приемах, в отборе лекарств, в методах лечения. Инстинктивность эта не может не раздражать ученого и вместе с тем интригует его. Говорят, знахари жулики. Бог с ними, с жуликами. Но ведь есть среди народных лекарей и самородки, те, что ощупью доходят до больших открытий, до которых наука добирается через эксперимент и систему логических размышлений. Впрочем, что же гадать? Больные сами покажут, где правда, где ложь.

Первая больная, которую показала ему Вера Михайловна, пришла с обширной флегмоной голени. Стаскивая валенок, женщина стонала от боли. Хирург ощупал воспаленный участок и сразу обнаружил флюктуацию — движение жидкости в глубине ткани. Гной заполнил уже изрядное пространство. Такую больную следовало бы немедленно оперировать. Широко вскрыть гнойный очаг, промыть рану дезинфицирующим раствором, плотно забинтовать. Сколько раз Войно делал такие операции? Пятьсот? Тысячу? Он и сейчас, не размышляя долго, положил бы больную на операционный стол. Но где же она, эта операционная? Оставалось одно: смотреть, как Вера Михайловна своими маленькими ловкими ручками смешивает стерильную землю со свежей сметаной, добавляет мед, посыпает всю эту болтушку какими-то травками. Перевязав пациентку, Вальнева оставляет ее на полчаса посидеть, не надевая валенок. Через полчаса — первое чудо: нога не болит. Женщина без труда надевает валенок и уходит, почти не хромая. Повязка Вальневой снимает боль там, где ее не могли бы снять никакие ухищрения терапевта.

Через несколько дней — новое чудо: больная чувствует себя значительно лучше. Воспаление ослабело, болей почти нет, флюктуации в глубине ткани нет: гной исчез. Еще две-три перевязки — и пациентка здорова. Без операции!

Катаплазмы — зовет Вера Михайловна свои мази. Откуда взялось это странное слово, она не знает, не знает и механизма действия катаплазмы на

гнойники. Ничего не знает, а может, очень много. Неделя за неделей проходят перед Войно ее больные. Удивление хирурга растет, но растет и число вопросов, на которые Вальнева не способна ответить. Катаплазмы, несомненно, действенны. Но как они «работают»? Почему гнойники рассасываются под повязкой в одних случаях и, наоборот, быстро вскрываются в других? Ну хорошо, мед — это еще можно понять. В мировой литературе есть сведения о том, что инфицированные раны хорошо заживают под повязкой, содержащей мед и рыбий жир. Травы? Рябина и чернобыльник давно известны как растения, богатые эфирными маслами. О благотворном воздействии эфирных масел на инфицированные раны тоже можно прочитать. У русских и иностранных авторов. Но земля... Как и почему лечит земля?

Войно просит родных прислать ему специальные книги. Большинство авторов видит в почве только среду, содержащую опасных для человека возбудителей столбняка и сибирской язвы. Сама по себе земля по отношению к живому организму представляется исследователям нейтральной. И вдруг хирург обнаружил важное сообщение: в почве есть вещества, действующие аналогично половым гормонам. Вещества эти, если ввести их в рацион молодых животных, резко повышают их рост. «Гормоны почвы» поразительно стойки. Они остаются неизменными при температуре сто двадцать градусов, после того как большинство бактерий погибает. Уж не они ли, эти гормоны земли, помогают организму больного справиться с нагноением?

Теперь уже хирург не задерживается допоздна в поликлинике и больнице. Самое интересное ждет его дома. К Вальневой приходят больные с самыми различными страданиями. И она лечит, успешно лечит так называемые торпидные язвы, фурункулы, карбункулы, быстро справляется с ожогами, исцеляет воспаление надкостницы, исцеляет всевозможные абсцессы. Никакого обмана, никакой психотерапии. Профессор осматривает больных, когда они приходят впервые, и внимательнейшим образом следит за развитием болезни. Тут уж его не проведешь, гнойная хирургия — его епархия. Но однажды после приема в поликлинике профессор не вернулся домой. Он предпринял нечто такое, что никак не вязалось с его принципами. Отправился в Большой Дом, в дом, который занимали властители Северного края. Его цель — доказать властителям, что катаплазмы надо серьезно и немедленно изучать, изучать в медицинском учреждении под наблюдением врача. Иными словами, Веру Михайловну Вальневу надо пригласить в поликлинику, лучше всего в ту, где работает сам Войно-Ясенецкий.

Не способный ничего добиться для себя лично, Владыка Лука проявил на этот раз поразительную решимость. Он получил аудиенцию у одного из тех ныне прочно забытых вождей, который в начале тридцатых годов был на берегах Белого, Баренцева и Карского морей безраздельным хозяином всего сущего. То ли товарищ Прядченко находился в тот день в добром расположении духа, то ли на него произвела впечатление величественная фигура просителя, но он милостиво выслушал ссыльного хирурга. И хотя мы не знаем о содержании той беседы, но без большой натяжки можем представить, что Войно говорил в кабинете Председателя Северного крайисполкома то же самое, что повторял уже не раз всем представителям Советской власти, с которыми приходилось ему толковать о своей профессии. Гнойные заболевания — один из самых важных отделов хирургии именно для рабочих, крестьян и красноармейцев. И в первом социалистическом государстве следует придавать этой области медицины первостепенное значение. Нужны специальные научно-исследовательские институты, специальные гнойные клиники, надо учить врачей приемам гнойной хирургии и искать повсюду новые антисептические средства.

Создавать в Архангельске институт гнойных болезней у товарища Прядченко охоты не было, но работать Вальневой в поликлинике он милостиво разрешил. Войно вернулся домой окрыленный. Он нисколько не удивился своей победе, не ощутил, насколько она уникальна и хрупка. Наоборот, с удовлетворением отметил для себя, что советские руководители становятся разумней. Достаточно укрепившие свою власть режимы всегда объявляют себя покровителями

наук и искусства. Очевидно, на пятнадцатом году существования и Советская власть ощутила наконец свою прочность. Ну и слава Богу.

Два дня спустя Вера Михайловна появилась в поликлинике, набросила на узенькие плечи медицинский халат и, ничуть не смущаясь в новой обстановке, принялась готовить свои катаплазмы. Войно отбирал для нее наиболее трудных, запущенных больных, следил за действием повязок, фиксировал удачи и неудачи нового метода. Он давно не был так увлечен работой. Девять лет прошло с тех пор, как первый арест оторвал его от серьезных хирургических проблем. И вот теперь удалось наконец снова вернуться к настоящему делу. Конечно, профессор предпочел бы оперативную хирургию, но и лечение катаплазмами, эта своеобразная гнойная терапия, стоило того, чтобы им заниматься.

Мы легко поймем возбужденное состояние Войно-Ясенецкого, который наблюдает первых успешно излеченных катаплазмами гнойных больных, если вспомним, что описываемые события относятся к эпохе, когда в распоряжении врача не было не только антибиотиков, но и сульфамидных препаратов, медики ничего не слыхали ни о стрептоциде, ни о сульфидине. Идеи Пауля Эрлиха о «большой стерилизации» (sterilisans magna), идея, которая казалась такой привлекательной в начале 20-х годов, к началу 30-х годов совсем захирела. Найти препараты, способные очистить ткани от микробов и в то же время не вредящие самому организму, оказалось делом безнадежным. Те антисептические вещества, которыми владела медицина, на каждом шагу показывали свою постыдную слабость. Гнойные процессы бесчинствовали и в терапевтическом, и в заразном, и в хирургическом отделениях больницы. Врач на каждом шагу капитулировал перед гноем. Об этом трагическом периоде хирург Сергей Сергеевич Юдин писал впоследствии:

«После 1925 года медики непрерывно искали универсальный тканевый асептик. И долгое время — безрезультатно. Перепробовали множество прославленных растворов. Препараты ртути и других тяжелых металлов сменялись то дериватами хинина, то хлорированными растворами, то всевозможными анилиновыми красками, то снова препаратами серебра (колларгол). Надолго водворился прославленный риванол. Затем снова хлорацид, хлорамин. Пробовали рентген-лучи, лучи ультрафиолетовые и инфракрасные. И все больше укреплялась мысль, что внутритканевая стерилизация принципиально невозможна».

Надо ли удивляться, если в обстановке, столь бедной надеждами, хирург Войно-Ясенецкий с энтузиазмом занялся повязками Вальневой. Ведь катаплазмы, как показывал опыт, не только задерживали развитие бактерий в ране, но еще и помогали заживлению. Несомненная действенность катаплазмов даже настроила хирурга на прожектерский лад. Снова, как и в камере ташкентской тюрьмы, этот неисправимый оптимист начинает сочинять проект крупного научно-исследовательского института, специализирующегося на исследованиях по гнойной хирургии и терапии. А вот почему бы Наркомздраву СССР действительно не создать такой институт? Времена, очевидно, изменились к лучшему. Нарком Владимирский не откажется теперь открыть институт пиологии, а заодно и пригласить такого опытного специалиста, как профессор Войно-Ясенецкий, заведовать на первых порах хотя бы лабораторией катаплазмов. Тем более что срок ссылки ученого подходит к концу, вожделенная свобода близка.

Войно охвачен энтузиазмом. Он пишет письмо наркому, рисует великолепные перспективы будущего института, предлагает примерный план предстоящих исследований. Второе письмо он адресует профессору Левиту. Владимир Семенович Левит, товарищ Войно по земским больницам, теперь возглавляет Биомедгиз. В его издательстве уже почти десять лет лежит рукопись «Очерков гнойной хирургии». На «Очерки» получены самые лучшие отзывы специалистов. Два раза делалась попытка издать книгу, но всякий раз арест автора обрывал хлопоты издателей. Теперь, по мнению Войно-Ясенецкого, ничто не может помешать выходу в свет главного труда его жизни. Шестого мая 1933 года кончается срок ссылки. Самое позднее десятого мая он будет в Москве. Лучше пустить книгу в производство заранее, она поможет будущим сотрудникам института пиологии предварительно освоиться со сложной проблематикой гнойных заболеваний.

...Все время, пока я описывал жизнь Владыки Луки, я не переставал удивляться способности моего героя верить в неизбежное торжество справедливости. Он не просто верил, что «все образуется», но верил с каким-то даже упоением, закрывая глаза на все прошлые свои разочарования, обиды и неудачи. Политическая наивность и безграничное доверие к людям породили в его сознании некий неисправимый порок, избавить от которого не могли никакие ушибы судьбы. Общественная жизнь в ее жестких, бесчеловечных формах как-то ускользала от него. Он начинал замечать ее гримасы только тогда, когда они непосредственно касались его науки или его веры. Эта странная аберрация, очевидно, в чем-то была и благодетельна: в океане беззакония и безгарантийного существования Войно не страдал так, как должен был бы страдать на его месте всякий другой, «нормально» мыслящий ученый-интеллигент. Может быть, то был камуфляж, хитрая уловка человека, избегающего столкновения с реальной жизнью? Навряд ли. Все, кого я расспрашивал об этой особенности характера Войно, подтверждали: общественных механизмов Лука действительно не видел, а вовсе не делал вид, что не замечает их. Никакой симуляции, самый настоящий порок. Врожденный или благоприобретенный — Бог весть, но при всем том вполне натуральный...

Нарком Владимирский не ответил на письмо ссыльного профессора. Ничего странного — на письма рядовых, а тем более репрессированных граждан отечественные чиновники в ранге министра и выше не отвечают в нашей стране уже более полувека. Профессор Левит архангельскому изгнаннику ответил, но разъяснил, что, хотя «Очерки гнойной хирургии» современному врачу очень нужны, печатать их до возвращения автора из ссылки никак нельзя. Так что подождем...

До Москвы Войно не добрался ни в мае, ни даже в сентябре. Как и во время прошлой ссылки, его безо всякого объяснения продержали в Архангельске лишние пять месяцев. Выехать в Москву удалось лишь глубокой осенью. Но еще раньше ему пришлось испытать удар, которого он менее всего ожидал: товарищ Прядченко запретил работу с катаплазмами.

Сначала ничего вроде бы не предвещало беды. Наоборот даже: все хотели лечиться новыми средствами. Народу в тесном амбулаторном коридорчике становилось день ото дня все больше. Легко предположить, что пациентов привлек сенсационный дуэт научного профессорского авторитета и народного творчества. Но для сенсации были и другие причины: повязки Вальневой спасли несколько человек от неизбежной, казалось бы, ампутации. Об этом широко заговорили в городе. Неудивительно, что в амбулаторию народ повалил валом. Человек инстинктивно боится скальпеля, разреза, всего того, что может принести страдание, боль. Хирург, который лечит мазями, во сто крат предпочтительнее, чем хирург с ножом. Но как раз широкая огласка и погубила все дело.

В обществе, где законы не исполняются, а чиновник всемогущ, сдвинуть с мертвой точки любое, даже самое ценное и нужное в общественном смысле начинание можно только одним способом: обратившись к высшим инстанциям. Чаще всего инстанции делают при этом вид, что вашей жалобы никогда в природе не существовало, либо «отфутболивают» заявление тому самому чиновнику, на которого вы жалуетесь. Но очень редко по причинам необъяснимым и таинственным сверху на гражданина ниспадает благодать. Его вопрос в одночасье решается самым благоприятным образом. Так было и с Войно-Ясенецким. В таких случаях не следует радоваться раньше срока. Бюрократический ларчик имеет еще один секретный механизм. Чиновник так называемого «среднего звена», которого вы так удачно обошли, ни за что не простит вам вашего успеха. «Среднее звено» считает всякое нарушение субординации опаснейшим прецедентом. Субординация — основа бюрократического мира. Что же будет, если каждый станет писать прямо в высшие инстанции, минуя низшие? Не-е-ет, этого допускать нельзя... Вчерашний счастливчик, добывший благоприятное решение по своему делу «наверху», должен твердо знать, что рано или поздно «среднее звено» с ним за это рассчитается. Знай свое место!

Своего места в архангельской субординации ссыльный профессор не знал. Но зато главный врач поликлиники, райздрав, горздрав и еще с полдюжины городских и краевых чиновников прекрасно знали, кто такой он и кто такие они. Не положено ссыльному Войно-Ясенецкому ходить к самому товарищу Прядченко. К самому — вот что их больше всего уязвило. Ведь САМ многих из них даже в лицо не знает, а если и вызывает в свой кабинет, то лишь для того, чтобы гаркнуть, выругать, застращать. А тут какой-то ссыльный...

В соответствии с традициями 30-х годов «дело о катаплазмах» сразу приобрело политический характер. «Ему, ссыльному попу, разрешили работать по специальности, его, ссыльного попа, приняли в наш советский коллектив, ему оказали доверие, а он в медицинское учреждение притащил безграмотную знахарку. И неудивительно: церковь всегда была и остается врагом науки, поборником мракобесия...» Очень все получалось складно, совпадало со схемой, с линией. Профессор Войно-Ясенецкий предложил коллегам прочитать лекцию о тех наблюдениях, которые удалось ему сделать над действием катаплазм,— его не пожелали слушать: «Сейчас надо говорить о потере бдительности в наших рядах, а не о каких-то там знахарских зельях». Даже товарищ Прядченко, который позволил изучать катаплазмы в поликлинике, получив «сигнал» о потере бдительности и о «вылазке классового врага», шарахнулся от своей тени. «Вылазка классового врага» не шутка. Товарищ Прядченко лучше, чем кто-либо другой в Северном крае, знал, насколько рискованно попадать человеку под это самое страшное заклинание эпохи. Сдрейфил Прядченко. «Шут с ними, с этими лекарствами. Своя рубашка ближе к телу...» И запретил.

Возвращение на свободу не развязало ни одного узла, завязанного ссылкой. Скорее, наоборот, возникли проблемы, о которых в Архангельске даже не думалось. В Москву Войно попал в последних числах ноября 1933 года. Четверть века спустя он так описал свой приезд:

«В Москве первым делом я явился в канцелярию Местоблюстителя Митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех непослушания Христову велению «Паси овцы Моя» страшным ответом «нет...»

От Митрополита, возглавлявшего после смерти Патриарха Тихона Русскую Православную Церковь, Лука отправился в Министерство здравоохранения хлопотать об Институте гнойной хирургии. Нарком не принял его, но заместитель наркома, по словам Войно-Ясенецкого, отнесся к его планам «сочувственно». Обещал даже поговорить с Федоровым, директором Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), которого вскоре ожидали в Москве. «Я очень обрадовался этому,—вспоминает Лука,—но... Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом. Мне некуда было деваться...»

Но почему, собственно, некуда? Ведь канцелярия Местоблюстителя Сергия предлагала епископу Луке на выбор несколько архиерейских кафедр. А кафедра — это и стол, и дом, и дело, ради которого десять лет назад Владыка сам счел возможным покинуть хирургию. Неужели две ссылки так изменили его? А может быть, просто испугался человек? Узнал, почем фунт лиха, каковы они, тюремные харчи, и решил — с меня хватит. Так поступали многие. Поступали, но на Войно-Ясенецкого это не похоже. И прошлое, и недалекое будущее епископа Луки, которое я знаю наперед, являют характер гордый, унижению страхом не подверженный. Тут другое. Деваться Луке осенью 1933-го некуда совсем не потому, что испугал его крест церковной службы и почти неизбежный вслед за принятием кафедры арест. И не потому даже, что Ташкентский архиерей Арсений недвусмысленно объяснял Луке, что двум епископам в одной епархии, как равно и двум медведям в одной берлоге, пребывать неподручно.

Напрасно беспокоился Арсений Ташкентский. Совсем иное томило Войно-Ясенецкого холодной слякотной осенью в промозглой Москве. Наукой хотелось заниматься Луке, о хирургии он мечтал. Натосковался он по настоящему делу. Зная подлинные свои возможности, захотел вновь испытать себя в серьезных операциях. Да и возраст подошел солидный — пятьдесят шесть, надо торопиться,

творческий век клонится к закату. А мыслей интересных еще много, и силы не растрачены. Сейчас самая пора: весь богатый опыт — людям, врачам. Чтобы идеи и методы гнойной хирургии окрепли, вошли в сознание тысяч медиков, нужны ему если не институт, то хотя бы кафедра, лаборатория. Нужно публиковать статьи, выпускать атласы и монографии, выступать с докладами на Хирургическом обществе. Ох, как хочется всего этого: торжественного, строгого рукодействия в операционной, тишины анатомического театра, блестящих глаз в аудитории. Как пробудившийся в чреве матери плод, проснулась в душе Войно и принялась настойчиво толкаться мысль о том, что без науки нет ему жизни, что он ученый и надо отстаивать свою науку и себя в науке.

В старости, описывая это острое, внезапно проснувшееся чувство, он жестоко корил себя. В «Мемуарах» почти каждая вторая фраза о московских треволнениях начинается словами «покаяния»: «Оставленный Богом и лишенный разума, я...», «На радость дьяволу и на погибель себе я...» А между тем даже самый строгий судья не обнаружил бы греха в той страсти к творчеству, которая охватила ученого-христианина после стольких лет прозябания в провинции. Всякий другой на месте Войно-Ясенецкого причину крушения своих надежд увидел бы в злоупотреблениях власти. И далее, в соответствии с личным характером, либо излился во внутреннем бунте и негодовании, либо попытался обойти, обмануть чиновников. Для Войно невозможны оба пути. Обманывать он не умеет, а предъявлять претензии к чиновнику, к власти считает бессмысленным. Ход мировых событий определяет в конечном счете высшая воля. Противиться ей невозможно. Таковы основы веры.

Но, кроме веры, есть еще наш характер. Решительный, даже подчас слишком прямолинейный по натуре хирург заметался в том замкнутом пространстве, которое сам для себя выстроил. Отказ в министерстве, невозможность ехать в Ташкент, неутолимая тяга к хирургии, осложнившиеся отношения с канцелярией Местоблюстителя — все это смешалось для него в хаотическое нагромождение бед, нагромождение, с которым, казалось, невозможно было справиться. Свобода, дарованная без права пользоваться ею по своему вкусу и желанию, обернулась постылой, бессмысленной. Лука впал в душевную прострацию, поступки его на какое-то время стали хаотичными и противоречивыми.

«...На обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне ехать в Крым. Без всякой разумной цели я последовал его совету и поехал в Феодосию... Питался в грязной харчевне, ночевал в Доме крестьянина и, наконец, принял новое бестолковое решение — вернуться в Архангельск. Там месяца два снова принимал больных в амбулатории».

Весной 1934 года, «немного опомнившись», Лука все-таки поехал в Ташкент: хотелось повидать детей, Елену и Валентина. Но долго оставаться в городе, мешая митрополиту Арсению, совесть ему не позволила. Да и хирургическую работу местные чиновники ему не давали. Оставалось одно: уехать в провинцию, забыть мечты о науке и тянуть лямку в какой-нибудь больничке на два десятка коек. Войно выбрал Андижан. Туда его брали хирургом-консультантом в городскую больницу, не имеющую гнойного отделения. И то слава Богу.

В Андижане, маленьком узбекском городке в двух-трех сотнях километров от Ташкента, Войно получил наконец долгожданную возможность оперировать. Больничная операционная, правда, невелика и не слишком комфортабельна, но после архангельской амбулатории она должна была казаться хирургу вполне пристойной. Тем более что андижанские медики приняли профессора почтительно. Его просили читать курс хирургии для специалистов и в том числе сделать несколько докладов о хирургическом лечении злокачественных опухолей. В конце концов и в провинции делаются научные работы, создаются научные школы. Ведь защитил же когда-то сам Войно докторскую диссертацию, заведуя переславльской больничкой на тридцать пять коек.

В Андижане работается хорошо, быт устроен, но покоя в душе по-прежнему нет. Жизнь отравлена мыслью о совершенном грехе. Отклонив архиерейское служение, он, несомненно, прогневил Бога. Каждую свою неудачу в операционной или в палате хирург рассматривает как посланное свыше наказание.

И уж совсем явственным выражением божественного негодования чудится ему трагическая болезнь, лихорадка папатачи, которая поразила его в Андижане месяца через два после приезда. Болезнь осложнилась отслойкой сетчатой оболочки, возникла реальная угроза потерять левый глаз. Пришлось оставить гостеприимный Андижан и искать помощи в Москве. Столичные врачи незадолго перед тем освоили операцию швейцарского окулиста Гаэмма, с помощью которой удавалось закреплять сетчатку на месте и тем спасать больным зрение. Профессор-окулист Одинцов оперировал Войно дважды. Первая операция не удалась. В «Мемуарах» Лука так описал свое душевное состояние в эти дни: «Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать об этом наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет. Мне приснилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви, неподалеку от алтаря, у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, а на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы. Я читаю им лекцию по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся...

Непостижимо для меня, что и этот страшный сон не образумил меня».

Пока Войно лежал после второй операции с завязанными глазами, произошло еще несколько событий, которые он также отнес к разряду предупреждений свыше. В Москву из Ленинграда выехал старший сын Владыки Михаил Валентинович. Добраться до столицы ему, однако, не удалось: поезд потерпел крушение. Михаил Войно получил несколько ран, в том числе и тяжелейший перелом ноги. Его доставили в одну из больниц Ленинграда. А вслед за тем из Москвы в Ленинград примчался Лука. Он покинул глазное отделение раньше срока, надеясь помочь сыну. Михаилу он не помог, а себе повредил: недолеченный глаз погиб окончательно.

Беды, обрушившиеся на его семью (в те же дни попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым нервным срывом второй сын, Алексей), епископ Лука иначе как н а к а з а н и е м не называет. Слову этому придает он откровенно мистический характер. Он молится, кается, страдает, но... с хирургией не расстается. Тяжба с самим собой, неприметная для окружающих, но изнурительная для него самого, тянется почти три года. Она продолжается и после того, как профессор получил небольшое хирургическое отделение в ташкентской больнице «скорой помощи». В чем суть внутреннего ратоборства? Спор в душе ученого шел отнюдь не между верой и научным мировоззрением. Вера была крепка, и научный поиск никак не покушался на ее основы. Луку волновало другое: допустима ли для епископа работа в операционной, работа с трупами? Будет ли Бог достаточно снисходителен к тому, кто во имя любой другой идеи откажется от пастырского обета?

Может быть, никогда бы и не узнали мы о давнем душевном разладе, если бы уже окончательно ослепший и больной, преосвященный Лука не продиктовал своему секретарю в 1958 году следующие строки:

«Более двух лет я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные открытия. Собранные... наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для моей книги «Очерки гнойной хирургии». В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что мои «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды».

Тяжелые переживания 1934 года несколько рассеялись к осени, когда вышли из печати «Очерки гнойной хирургии». То была лишь малая часть того, что Войно написал по этому поводу, но и в таком, урезанном, виде он ждал свою книгу более десяти лет. Ждал с нетерпением. В этот скромный томик была вложена почти вся его жизнь. И, действительно, если мы перелистаем монографию, то по датам приведенных в ней историй болезни обнаружим: автор писал ее с того самого времени, как стал врачом. Истории болезни позволяют не только проникнуть в судьбы пациентов, но и проследить за беспокойной скитальческой жизнью самого медика. Вот «старик огромного роста и богатырского сложения вошел, пошатываясь, в амбулаторию Ардатовской земской больницы». На страницы монографии этот старик с карбункулом нижней губы явился из далекого 1907 года. Вестником того времени, когда Войно работал в Романовской больнице, явился молодой крестьянин Григорий И. с фурункулом на щеке. Одиннадцатимесячную крестьянскую дочь Валентину Д. Войно оперировал в Переславле в 1916-м. А «Илья Ж., ученик, 16 лет, был ранен на улице Ташкента 28 октября 1917 года разорвавшейся над ним шрапнелью» — это уже память о жертвах революции. Так и умер шестнадцатилетний Илья от гнойного процесса в мозгу. Хирург ничего для него сделать не смог. А Валентине Д. удалось помочь и Григорию И., и старику богатырю тоже. Почти тринадцатилетний опыт представил доктор медицины Войно-Ясенецкий на суд своих товарищей в надежде, что труд его поможет им разобраться в сложнейших проблемах гнойной хирургии, области, которую сам он постигал тяжелым трудом, постигал самоучкой.

Это первое издание «Очерков» имело для него еще и сугубо личный смысл. После десяти лет изгнания и непризнания он вновь заявил о себе как крупный оригинальный ученый, как первооткрыватель в малоисследованной области хирургии. Теперь-то уж никто не сможет отказать ему в праве занять достойное положение, никто не закроет перед ним двери операционной и студенческих аудиторий. Так ему казалось.

Сорок лет спустя я опросил нескольких опытных хирургов, что они думают об «Очерках гнойной хирургии». Люди младшего возраста читали более поздние издания, старики помнили еще первую серенькую книжку, появившуюся в 1934 году, но и те, и другие вспоминали монографию как одно из самых блестящих произведений хирургической мысли. Ее ставили в ряд со всемирно известными монографиями французского хирурга Г. Мондора и блестящими по стилю книгами нашего соотечественника Сергея Юдина. «По своему значению книга Войно-Ясенецкого остается непревзойденной и поныне»,— написал заслуженный врач СССР Борис Львович Осповат, проработавший в хирургическом отделении Боткинской больницы пятьдесят лет. «Пожалуй, нет другой такой книги, которая была бы написана с таким литературным мастерством, с таким знанием хирургического дела, с такой любовью к страдающему человеку». Таково мнение об «Очерках» хирурга В. А. Полякова из Центрального института травматологии и ортопедии.

Профессор-хирург А. В. Барский из Куйбышевского мединститута дополняет: «Вероятно, еще не одно поколение хирургов, читая эту книгу, будет учиться наблюдательности, клиническому мышлению, умению научно осмыслить и обобщить свои наблюдения».

Интересно, что к хвалебному хору присоединился совершенно незнакомый с медициной пожилой инженер из Саратова. Случайно во время командировки гостиничный номер свел его с врачом, у которого оказался с собой том «Очерков гнойной хирургии». Прочитав первую строчку, инженер увлекся книгой и читал ее всю ночь, пока не завершил последнюю страницу. «Конечно, я понял далеко не все,— признался он мне,— но осталось чувство, что я не столько читал учебник, сколько беседовал с добрым и мудрым доктором, которому я не задумываясь доверил бы свою жизнь».

В то, что сочинению Войно-Ясенецкого предстоит большая и славная жизнь, верил и его редактор профессор В. С. Левит. В кратком предисловии он писал: «Я не сомневаюсь в том, что настоящей книге, оригинальной по замыслу и исполнению, будет оказан теплый прием не только со стороны молодых начинающих хирургов, но и более опытных, которые найдут для себя много ценного и интересного».

Но... «нет пророка в своем отечестве». Ни надежды профессора Левита, ни ожидания Войно Ясенецкого не сбылись: современники монографию «не заметили». В журнале «Хирургия», правда, промелькнула доброжелательная заметка проф. Салищева. Но — и только. Монографию не обсудили ни члены ученого совета Ташкентского медицинского института, ни Ташкентское хирургическое общество. Узбекский официоз «Правда Востока», восторженно встречавший каждое самое скромное достижение местных ученых, по три-четыре раза в году публиковавший статьи любимца властей профессора М. И. Слонима, даже малой заметкой не известил читателей о появлении монографии Войно-Ясенецкого. Заговор молчания носил явно политический характер.

Неприятие современниками талантливых и даже самых великих книг в истории науки не редкость. В свой черед были отвергнуты труд Николая Коперника о строении Солнечной системы, трактат Вильяма Гарвея о кровообращении, сочинения основоположника анатомии Андрея Визалия. Претерпели поношение и классическая монография Чарлза Дарвина о происхождении видов, и рукопись Николая Лобачевского о неэвклидовой геометрии. Порой споры ученых затемнялись вмешательством церкви, но чаще речь шла просто о завистниках и посредственностях, не желающих или не способных постичь то, что открылось умам выдающимся. С книгой Войно случилось иное. Те, кому ведать надлежит, сразу поняли ее громадное значение и именно поэтому предприняли все, чтобы монография осталась незамеченной. Для этого даже окрика сверху не понадобилось: советские люди начала 30-х уже хорошо разумели, что делать можно и чего не следует. О книге недавнего ссыльного епископа Луки писать не полагалось. «Очерки» повторили судьбу своего автора: о книге, как и о нем самом, боялись не только писать, но даже упоминать в разговоре. Не научное, а политическое табу сковало уста ученых современников.

Та внутренняя деформация, которой подверглась интеллигенция России за первые семнадцать лет новой власти, выразилась не только во всеобщем послушании и страхе. В среде «белых воротничков» возник слой людей, которые уже не за страх, а за совесть начали проводить в жизнь систему послушания. Несколько лет назад мой друг и герой моих книг, талантливый ленинградский профессор-фармаколог Николай Васильевич Лазарев (1895—1974) сказал мне: «Я рад, что ухожу сегодня с научной арены. В науке, заполненной чиновниками, работать стало невозможно». Процесс, который в конце 60-х годов вытеснил профессора Лазарева из его лаборатории, начался почти сразу после революции. В 30-х чиновник от науки уже чувствовал себя заметной фигурой, в 40-х стал фигурой главной, в 60-х — решающей.

Именно от них, от этих быстро плодящихся псевдопрофессоров и квазидоцентов, зависела судьба Войно-Ясенецкого в Ташкенте. Механика их возвеличивания довольно однообразна. Предвидя для себя известные выгоды, инженер Н. или врач М. вступал в партию. Ему предлагалось оказать властям несколько услуг, и, если выяснялось, что неофит не брезглив, перед ним открывалась гарантированная служебная и научная карьера. Такие люди постепенно занимали все посты в руководстве институтами, кафедрами, лабораториями, клиниками. По какой-то странной корреляции политическая всеядность редко сопутствует творческой одаренности. Новая власть «исправила» этот недостаток природы. Недостаток исследовательских работ чиновник начал восполнять должностным положением, а служебный апломб возместил ему научную беспомощность.

Одним из тех, кто наилучшим способом усвоил выгоды новой системы, был ташкентский хирург профессор Иван Иванович Орлов. Малоинтеллектуальная физиономия его сохранена для потомства в книге «Двадцать лет Ташкентского медицинского института им. В. М. Молотова», Ташкент, 1939 год. Портрет профессора Орлова стоит в этом сочинении четвертым после Ленина, Сталина и Молотова. Еще бы! Ведь Иван Иванович занимал пост наркома здравоохранения Туркреспублики еще в 1918 году. О хирургическом мастерстве Орлова, кото-

рый и в 1934 году продолжал занимать ключевые должности в медицине Узбекистана, рассказала мне врач Мария Борисовна Левитанус. В начале 30-х годов она вместе с Войно работала в хирургическом отделении больницы «скорой помощи».

«Валентин Феликсович нетерпимо относился к каждому случаю медицинского невежества,— вспоминает доктор Левитанус.— Особенно волновался он, когда к нам в больницу приходили люди с запущенными флегмонами кистей рук. У В. Ф. это вызывало даже озлобление какое-то. «Как же человек работать будет? Ему же, рабочему, рука нужна! Какое невежество допустить больного до такого состояния!» Такие больные нередко поступали из клиники профессора Орлова. В. Ф. негодовал: «Зачем он столько времени держал больного, если не может справиться, не способен оперировать?» Всегда спокойный и сдержанный В. Ф. в подобных случаях мог выйти из себя, и тогда мы слышали от него: «Ох, уж этот Ванька Орлов!»

«Ванька Орлов» и подобные ему определяли в ту пору, чему быть и чему не бывать в научно-медицинском мире Узбекистана. Определяли, естественно, исходя из общественных интересов, но не забывая и личных. По психологическому складу чиновник всегда готов подозревать одаренного человека в склонности к конкуренции. Войно был одарен и вдобавок знаменит. Орлов это знал. Знал и огорчался. В таких случаях первая и наиболее естественная реакция — задушить конкурента, так сказать, превентивно, загодя. Орлов сделал все что мог. Вернувшемуся из ссылки «попу» запретили работать в Ташкенте, потом удалось замолчать выход в свет его книги. Но то были меры пассивные. Для чиновника же намного предпочтительнее борьба, в которой он, чиновник, может пустить в ход свои административные связи: оглоушить, к примеру, конкурента статьей в газете. Статейки тех лет били наповал. «Правда Востока» буквально пестрела заголовками такого, например, зубодробительного стиля: «Кулацкие саботажники на хлопкозаводе» (4 февраля 1935 г.), «Троцкист Рафиков и его пособники» (21 февраля), «Преступники разваливают мясокомбинат» (10 июля). А 15 июля 1935 года жители республики, взяв в руки газетный номер, могли прочитать заметки: «Разоблаченный басмач», «Негодяй с высшим образованием», корреспонденцию с невразумительным, но достаточно угрожающим названием: «Сломить саботаж тракторной культивации» и, наконец, статью, публикуемую с продолжением: «Оппортунистические группировки в партии и борьба с ними». На этом фоне статья «Медицина на грани знахарства» никого особенно не удивила. В полном соответствии с нравами эпохи шесть членов президиума Хирургического общества во главе с профессором И. И. Орловым писали, что на грани знахарства находится профессор Войно-Ясенецкий.

Появлению статьи предшествовали следующие обстоятельства.

В конце 1934 года, получив гонорар за свою книгу, Войно вызвал из Архангельска Вальневу. Он сам оплатил ее проезд и пребывание в Ташкенте ради того лишь, чтобы продолжить исследование катаплазмов. Серьезный во всем, он и в этом был абсолютно серьезен. Лекарство северных рыбаков и огородников должно быть передано медицине научной. Как всегда, когда дело шло о медицине, об интересах больного, Войно проявил поразительную энергию: выступил перед ученым советом наркомздрава республики и так увлек членов совета рассказом о действии катаплазмов, что Вальневой разрешили работать под его руководством в больнице «скорой помощи». Ученый совет даже проголосовал за выделение на опыты специальной суммы.

«И вот пришла к нам в больницу эта Вера Михайловна,— вспоминает доктор М. Б. Левитанус.— Маленькая, невзрачная, лет примерно шестидесяти, очень молчаливая, не имеющая никакого понятия об асептике и антисептике. Надели на нее халат и привели в перевязочную. Появление этой старушки очень нас (молодых врачей.— М. П.) возмущало и нервировало, но большое уважение к Валентину Феликсовичу сдерживало, и мы терпеливо с ней мирились».

Вскоре, однако, антипатия и недоверие врачей к Вальневой сменились живым интересом. Доктор Левитанус рассказывает:

«Мы проводили такие эксперименты: поступает, предположим, больной с ожогом обеих конечностей. Одну руку мы лечим катаплазмами, а другую обычными своими мазевыми повязками. Поразительно, что повязки с катаплазмами сразу снимают боль. Эту руку больной совершенно не чувствует. Повязка Вальневой прекрасно всасывает отделяемое раны, в то время как повязка обычная присыхает, там кровь и гной. Перевязка этой второй руки доставляет больному страдания. Грануляция после катаплазмов пышная, прекрасная, а на другой руке она легко повреждается и кровоточит. В конце концов, видя такие результаты лечения, мы примирились с Верой Михайловной, терпели ее, глубоко уважая Валентина Феликсовича».

Та почтительность, с которой в тридцатые годы молодые врачи советской формации относились к профессору-епископу, не имела никакого отношения к его церковному прошлому. Совсем наоборот. Подлинное дитя своего времени, яростная комсомолка-общественница («...В 1922 году в городе Джамбуле я первая из девочек-школьниц вступила в комсомол...»), позднее орденоносец, член партии с 1938 года, Мария Борисовна Левитанус любила Войно, не имея ни малейшего понятия о подлинном внутреннем мире учителя. Как и другие молодые врачи отделения, она была даже уверена, что Войно «не принадлежит к числу глубоко верующих. Врач-материалист, как он может верить?! Нам всем казалось, что его привлекает красота церковных обрядов, блестящее облачение...»

Врач Левитанус донесла свои юношеско-инфантильные, весьма сомнительные общественно-политические представления до наших дней. И эта духовная законсервированность делает ее рассказы особенно для нас интересными и достойными доверия. Пожилая, прекрасно сохранившаяся дама с властными интонациями в голосе в точности повторила в 1972 году все то, что она думала о своем учителе четыре десятка лет назад.

Что же пленяло ее и других врачей больницы «скорой помощи» в их заведующем? Прежде всего его великолепные операции, его талант диагноста, готовность в любой час суток прийти на помощь больному. Богатый опыт профессора молодежь принимала не враз и не на веру. Младшие тут же, в отделении, в процессе работы могли проверить каждое слово, каждый прием учителя. Так на собственном опыте убедились они в несомненной пользе катаплазмов. Когда мыслящий научными категориями человек видит какое-то явление и опыт подтверждает ему, что явление это реально существует, он принимает его, не справляясь об источнике. Нельзя отталкивать любой, действительно помогающий лечебный препарат или метод только потому, что он вышел не из недр академического института. Рядовые врачи из больницы «скорой помощи» дошли до этой истины сравнительно легко и простили Вальневой незнакомство с институтским курсом фармакологии. Но то, что естественно для практического медика, который видит воочию, что больному помогает, а что вредит, то недоступно чиновнику, глядящему не на раны, а в инструкцию. Через несколько месяцев после приезда Вальневой в Ташкент опыты с катаплазмами были в больнице запрещены. Войно, однако, свои эксперименты не прекратил. Он только перенес их из больницы в другое место, может быть, в квартиру, где жила Вальнева, а возможно, в какую-нибудь приютившую его маленькую амбулаторию. Впоследствии он писал, что после запрета «получил возможность продолжать наблюдения над катаплазмами и вел их шесть месяцев в самой убогой обстановке». Но и это его не остановило. Накопив 230 наблюдений на больных, он выступил снова, теперь уже в Хирургическом обществе, и рассказал о чрезвычайно ценных полученных им результатах.

Ташкентские медики вспоминают заседание, на котором выступил профессор Войно-Ясенецкий, как событие необычайное. В Большом зале медицинского института собрались едва ли не все медики города. Желающих выступить оказалось так много, что часть прений пришлось перенести на следующий день. Могло показаться, что решается вопрос о лечебном препарате, но бурное поведение зала, горячность ораторов и нервозность председательствующего профессора Орлова свидетельствовали: обсуждались не только катаплазмы. В зале мединститута столкнулись две точки зрения, две непримиримые позиции в науке. Имеет

ли право ученый свободно выбирать тему исследования? Вправе ли он заниматься любыми опытами, которые, по его мнению, принесут пользу больному? Эти тезисы оспаривали те, кто науку, как и любую другую творческую деятельность, хотел бы взять под жесткий контроль администрации, те, кто хотел бы в личных видах запрещать все, что им не угодно.

Едва ли профессор Войно-Ясенецкий, чей доклад разжег все эти страсти, сознавал, какие подлинные, до поры до времени тщательно скрываемые противоречия всплыли вдруг в этом зале. Он говорил лишь о том, что настоящий врач никогда не должен отвергать знаний, которые накопил народ, что априорное пренебрежение к любому чужому опыту унижает ученого. Он призывал к независимому мышлению, самостоятельному поиску научной правды. Но странное дело: банальные истины его юности в 1935 году звучали почти бунтарским призывом. О них спорили, их возносили и поносили. И независимо от того, понимал или не понимал Войно суть возникшего вокруг него столкновения, именно он, с непреклонным его правдолюбием и стремлением к свободному поиску, стал в эти дни знаменем лучшей части ташкентской врачебной интеллигенции. За катаплазмы выступало во много раз больше медиков, чем против. Да и аргументы у тех, кто требовал, чтобы Войно-Ясенецкий продолжал свои опыты, оказались более убедительными. В прениях сторонники административного зажима и запретов оказались разбитыми наголову. Но в том-то и сила всякой администрации, что она о с т а е т с я после того, как собрание, метавшее громы протеста и стрелы сарказма, разбредается по домам. Оставшись после заседания Хирургического общества в кругу «своих», Орлов деловито разработал план изничтожения противника. Статья «Медицина на грани знахарства» стала его местью за солидные научные аргументы сторонников Войно, за унижение, которому подверглись чиновники от науки во время свободной дискуссии. Как писать т а к и е статьи, профессор Орлов знал хорошо. На пороге 1937 года стиль клеветнического политического доноса был разработан до тонкостей. В начале такого документа полагается произвести всплеск демагогии:

«В противоположность буржуазным странам, в СССР ценные новые предложения неизменно встречают поддержку партии и правительства. Для осуществления их, в частности в области медицины, создаются специальные институты» и т. д.

Затем переход на личности:

«Но при выдвижении предложений должна быть проявлена научная добросовестность и честность, которым, к сожалению, не всегда следуют. Примером может служить процесс доктора Кудрявцева в Москве и выявление целого ряда «целителей», действующих нередко в целях, не имеющих никакого отношения к науке».

Теперь, когда вы бросили на своего противника тень, связали его имя с осужденным жуликом и различными проходимцами, дайте ему еще раз поддых и беритесь за его сторонников:

«Все взятое из недр народной мудрости должно быть преломлено в свете наших современных знаний, проверенных в эксперименте, клинически изучено, а затем уже пущено в практику. При несоблюдении этих условий предложения, сделанные даже большим хирургом, ничем не отличаются от простого знахарства (так его!). И это наложило свой отпечаток на характер самой работы, ее освещение и на характер некоторых выступлений врачей, пытавшихся создать вместо научного обсуждения атмосферу демагогии и митингования».

Ну вот, не слишком складно, но зато дано всем сестрам по серьгам. Чтобы не разводили атмосферу демагогии и митингования в казенном доме.

В заключительных строках своей статьи-доноса Орлов еще раз (чтобы не забывалось!) назвал катаплазмы «опасным знахарским средством», а в тексте как бы между прочим добавил, что Войно-Ясенецкий: а) рекламист; б) не умеет лечить гнойные заболевания хирургически, а потому и занялся катаплазмами; в) составных частей мази Вальневой тоже не знает; г) бездумно рискует жизнью доверившихся ему больных. И все это напечатали. Правда, «в порядке обсуждения».

Но какое уж там обсуждение! По логике эпохи статья Орлова должна была наповал сразить Войно-Ясенецкого. По газетным обвинениям куда более скромных людей отдавали под суд, отправляли в лагеря. Но на сей раз верный механизм почему-то не сработал. Войно-Ясенецкого не посадили ни в апреле, ни в мае. Возможно, ташкентское начальство решило приберечь хирурга на случай личной нужды: мало ли что, а вдруг напорешься на ржавый гвоздь. Не к коновалу же Орлову идти лечиться...

А в июне произошел случай, который в глазах среднеазиатского начальства вознес профессора в полном смысле слова до небес. И враз померкла орловская кляуза. Началось с того, что в Институт неотложной помощи, где работал Войно, прибыла правительственная телеграмма из Таджикистана. Хирурга приглашали вылететь в таджикскую столицу Сталинабад (Душанбе) для срочной консультации. Такие же телеграммы поступили в совнарком и наркомздрав Узбекистана. Дело по тем временам случилось действительно не шуточное. На Памире во время альпинистского похода заболел видный партиец, бывший личный секретарь Ленина, управляющий делами Совнаркома Н. Горбунов[27]. Врачи диагностировали аппендицит. Местный хирург иссек аппендикс, но занес в операционную рану чрезвычайно опасную анаэробную (развивающуюся без кислорода) инфекцию. У больного сделалась так называемая «бронзовая рожа» — гангрена клетчатки, окружающей кишечник. Будь Горбунов рядовым гражданином, он, несомненно, умер бы в сталинабадской больнице, где никто из врачей не мог распознать суть его заболевания. Но по своему чину высокопоставленный альпинист имел право на самую квалифицированную помощь, какая только существовала в стране. Вдобавок о его здоровье запросил из Москвы сам Молотов. Республиканское начальство пришло в смятение. И тут кто-то вспомнил про ташкентского хирурга-епископа. В другое время, прежде чем обратиться к столь одиозной личности, власти серьезно подумали бы. Но теперь думать было некогда. Умри Горбунов в Таджикистане, многие из них потеряли бы партбилеты, службу, а, кто знает, может быть, и голову. Выбора не было. В Ташкент посыпались истерические телеграммы...

До этого случая Войно никогда по воздуху не летал. Однако, услышав о тяжелом больном (социальное положение пациента его никогда не интересовало), он без лишних разговоров сел в кабину санитарного самолета и, прихватив на случай качки эмалированную мисочку, пустился в путь. От Ташкента до Сталинабада по тем временам лету было часа три. Прямо с аэродрома совнаркомовская машина доставила хирурга в больницу. Жизнь Горбунова висела на волоске. Сталинабадские врачи, те вообще считали его обреченным. И были близки к истине: жить их пациенту оставалось несколько часов, если бы не Войно. Распознав болезнь, он потребовал доставить противогангренозную сыворотку, а сам приступил к операции. Хирург предпринял то единственное вмешательство, которое способно было остановить трагический ход событий: рассек больного почти пополам, от пупка до позвоночника, широко раскрыв операционную рану, впустил воздух в брюшную полость. Инфекционный процесс разом захлебнулся: возбудитель гангрены не переносит кислорода. Подоспевшая вовремя сыворотка добила инфекцию. Больного удалось спасти. У таджикских вождей отлегло от сердца. В Москву полетели победные реляции.

Операция в Сталинабаде в одночасье изменила общественный статус Войно. Увидав, как великолепно хирург справился с, казалось, безнадежной болезнью, местные чиновники решили оставить Войно в Таджикистане. Была дана команда — переманить ташкентского профессора. В Сталинабаде хирург жил у своего старшего сына, Михаила. Михаил определился как специалист-патологоанатом и вместе с женой Машей остался работать в Таджикистане. Молодые Войно-Ясенецкие ждали ребенка. Первый внук Луки родился 31 июля, а примерно за неделю до того, вечером, когда семья сидела за чаем, в квартире появились двое, таджик и русский — члены местного правительства. Завязалась беседа, о которой Мария Кузьминична Войно-Ясенецкая рассказывает следующее.

Сначала гости толковали об удачной операции, о здоровье товарища Горбунова, о первом полете профессора по воздуху. Потом со всеми восточными

онерами один из гостей стал приглашать Войно перебраться в Сталинабад, сказал, что правительство предложит ему должность главного хирурга республики.

— Что ж, я не прочь,— ответил Лука,— город ваш мне нравится. И новый корпус больницы хорошо отстроен. И родные мои здесь. Одно плохо: церкви у вас нет. В Ташкенте есть, а у вас нет. Постройте церковь, и я охотно перееду.

Члены правительства замялись. Войно же, будто не замечая их смущения, как о чем-то самом естественном, продолжал говорить, что строить в Сталинабаде умеют, вот построили в центре города почту. Красиво, даже богато. Пусть и церковь построят. Не надо тратиться так, как на почту. Для церковного здания совсем не обязательны богатая лепка и роспись... В предложении Войно не было и намека на вызов или ультиматум. Просто для естественного каждодневного существования ему необходима была церковь. Он и сказал об этом безо всяких обиняков. Гости сникли, перевели беседу на другое и вскоре ретировались. В пору, когда по всей стране храмы взрывали или превращали в хранилища для картошки, даже разговор о постройке церкви представлялся рискованным.

На высокую должность в Сталинабаде Войно-Ясенецкий не поехал, но в Ташкенте отношение к нему явно переменилось. Профессора стали приглашать на консультации к высокопоставленным лицам, ему разрешили читать лекции на курсах повышения квалификации врачей. Ташкентское начальство даже сделало вид, что забыло о своем запрете лечить катаплазмами. Запрет не сняли, но опыты с мазями Вальневой продолжались. Чтобы детально исследовать свойства катаплазмов, Войно привлек шесть профессоров и среди них микробиолога, фармаколога и даже физиолога для опытов на животных. Результаты этой совместной работы камня на камне не оставили от обвинений Ивана Ивановича Орлова. В доантибиотическую эпоху у катаплазмов были все основания, чтобы стать благодетелями гнойных и ожоговых больных. Но для этого следовало публично опровергнуть обвинения Орлова. И вот случилось чудо: профессор Войно-Ясенецкий, официально в газете обвиненный в знахарстве и прочих малодостойных поступках, получил возможность открыто, в той же газете опровергнуть возводимые на него обвинения.

Я говорю о чуде совсем не в переносном смысле слова. У советских людей вот уже более 70 лет как отнято право отвечать в газете на нападки прессы. То, что на Западе является естественным следствием разнопартийности и беспартийности газет, у нас полностью запрещено. Случается еще, что советская газета публикует опровержения, если затронуты интересы учреждения или общественной организации. Но несправедливо обиженная или оклеветанная личность не имеет решительно никакой возможности постоять за себя в открытом споре на газетной полосе. И тем не менее однажды это случилось. Ровно через год и три месяца после появления в «Правде Востока» статьи «Медицина на грани знахарства» та же газета поместила опровержение доктора медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Примечателен самый стиль опровержения. Можно класть в заклад голову, что за десять лет до того и двадцать лет после «Правда Востока» ни разу не опубликовала на своих страницах ничего подобного. Таким стилем в советских газетах не пользовались ни в тридцатых годах, ни в сороковых, ни в пятидесятых.

«В 1790 году,— начинает Войно-Ясенецкий,— у Жюльяка в Гаскони упал метеорит. Начальство этой провинции отнеслось к явлению с достойным похвалы благоразумием: был составлен протокол, подписанный 300 очевидцами. Но когда этот документ представили в Парижскую Академию, то официально подтвержденное известие она сочла просто глупостью. Ученый Штютц сказал: «Только люди совсем невежественные в естествознании могут верить, что камни падают с небес».

С тех пор прошло много времени, советские ученые давно сняли мантии и береты, и президиум Ташкентского хирургического общества вместе с нами посмеется над научным чванством и глупостью парижских академиков. Однако

в статье «Медицина на грани знахарства» он продемонстрировал обычную для всех времен враждебность ко всякому смелому научному новшеству и очень узкое понимание научности. Бросается в глаза его предвзято недоброжелательное отношение к народной медицине, для которой всегда наготове клеймо «знахарство».

Напомнив, что его обвиняют в отсутствии научного контроля и в том, что он не опробовал действие препарата на животных прежде, чем начал лечить людей, Войно пишет:

«Допустим, что я, тридцать три года специально разрабатывавший вопросы гнойной хирургии, не умею оценивать клинического течения гнойных заболеваний и мои «впечатления» не имеют никакой научной ценности. Но по моей инициативе в научной разработке способа Вальневой должны были принять участие шесть профессоров разных специальностей... В вопросе о действии катаплазмов нельзя придавать существенного значения экспериментам на животных, ибо большинство из них маловосприимчиво к гнойной инфекции, и у кроликов, наиболее пригодных для эксперимента, после заражения стафило- и стрептококками формы и течение гнойных процессов мало похожи на то, что происходит у человека. В опытах д-ра Кац большинство кроликов погибало часто неожиданно, и из числа леченных катаплазмами и из числа контрольных.

Законны, конечно, опасения хирургов относительно применения в катаплазмах чернозема, содержащего много опасных микробов, но в этом вопросе они оказались «большими роялистами, чем сам король», ибо проф. бактериологии Штибен, изучивший возможности реализации катаплазм, определенно заявил в прениях, что надежная стерилизация земли легко выполнима, а опасность инфекции другими составными частями катаплазм при соответственных мероприятиях практически ничтожна».

В своем ответе Войно-Ясенецкий остановился не только на чисто научных аспектах нового препарата, но и на большой общественной проблеме. Местное здравоохранение Узбекистана переживало жестокий недостаток квалифицированных кадров. Даже в официальные источники проскальзывали настораживающие цифры: из четырех врачебных должностей в республике пустуют три. Вместо 1470 штатных врачей в районах Узбекистана (без городов) в 1935 году работало 380. О том, насколько безграмотны выпускники Ташкентского мединститута, вынужден сообщить даже восторженно настроенный историк тех лет. В 1931 году срок обучения в мединституте был сокращен до 4-х лет. «Это ускорение выпуска шло за счет понижения качества продукции нашего вуза»,— признается автор статьи в юбилейном сборнике. Одновременно в республике развернулась другая политическая кампания: выпускать главным образом медиков-узбеков. Юноши и девушки из кишлаков не могли, конечно, сдать экзамены в институт. Но власти вышли из положения очень просто: «Пришлось... пойти на снижение требований к поступающим студентам из коренных национальностей»,— сообщает проф. Слоним. И далее пишет, что начиная с 1931 года «было сделано немало ошибок, особенно в области упрощенчества, как в преподавании, так и в издании специальных учебников тоже упрощенческого типа». Можно представить себе, какого рода «медики» после всех этих «кампаний» начали поступать в больницы и поликлиники Узбекистана.

Бывший земский врач Войно-Ясенецкий лучше, чем кто-нибудь другой, знал, какими трагедиями для больного оборачивается лечение гнойных болезней у медиков «ускоренного выпуска». Именно их, полуграмотных кишлачных врачей, имел он в виду, исследуя действия катаплазмов при ожогах и гнойных заболеваниях. Он искал лекарство, которым с пользой для больного мог бы лечить самый серый, самый непросвещенный медик. И нашел его. «Я резко протестую против заявления президиума Хирургического общества, будто я вместо научной хирургии рекомендую кишлачным врачам научно не проверенное, опасное знахарское средство,— заявил он.— Инкриминированная мне фраза, что «кишлачные врачи никогда не будут знать гнойной хирургии», выхвачена из общей связи моей речи, сущность которой сводилась к тому, что диагностика гнойных заболе-

ваний настолько трудна, что я и сам нередко делаю ошибки, а лечение их требует солидного знания топографической анатомии, большого хирургического опыта и даже творческих способностей к созданию индивидуально различного в каждом отдельном случае, а не шаблонного плана операций. Таких требований, конечно, нельзя ставить всей массе начинающих врачей. Кроме того, по крайней мере 80% из них вообще не оперируют, так как не каждый может быть хирургом.

Неужели не заслуживает внимания очень простое, всем доступное средство, излечивающее без всякой боли и могущественно унимающее боль, свойственную всякому болезненному процессу?»

Редакция газеты сопроводила статью Войно-Ясенецкого припиской о том, что она ждет от ученого совета наркомздрава УзССР ответа по существу. Но писалось это только для проформы. Все понимали: вопрос решен окончательно. И не в пользу президиума Хирургического общества. В наркомздраве, как и в обществе, сами по себе катаплазмы мало кого интересовали. Зато в обеих инстанциях было хорошо известно: Войно лечит ташкентских и сталинабадских наркомов. Войно п о л е з е н властям. А коли так, то и дискутировать не о чем.

В декабре того же года высокие инстанции еще раз подтвердили профессору свое благоволение. Все та же «Правда Востока» известила читателей (о других ученых так никогда не писали), что «Наркомздрав Узбекистана утвердил проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого в ученой степени доктора медицинских наук без защиты диссертации. Наркомздрав принял во внимание 27-летнюю деятельность Войно-Ясенецкого и его заслуги в области гнойной хирургии. Диссертация, которую он защищал в 1916 году, до сих пор не утратила своего значения». Все это звучало очень мило. Только врачебная деятельность хирурга переваливала уже к этому времени за 33 года. Шесть лет ссылок и тюрем наркомздрав ему почему-то не засчитал.

Давно ему не было так хорошо и спокойно, как в 1936-м и 1937 годах. Кончились нелады с собой и с Богом. Всевышний благословил его исследования в хирургии и анатомии. Дети выросли, и жизнь их постепенно устраивалась. Михаил прочно обосновался в Таджикистане, ученый. Алексей тоже со студенческой скамьи начал работать в Ленинграде у физиолога Орбели. Валентин кончал медицинский в Ташкенте. Не все, правда, ладилось в семье Елены, но она умная, красивая, здоровьем не обиженная, даст Бог, и у нее все обойдется. После ссылки Войно жил сначала с дочерью и зятем, но в конце тридцать пятого купил для себя и младшего сына Валентина небольшой домик неподалеку от больницы Полторацкого. При доме в саду стоял совсем крохотный флигелек, где поселилась Софья Сергеевна Велицкая. Велицкая работала, а домашнее хозяйство вели две пожилые сестры-монашки. Лука постриг их под именами Лукия и Валентина еще в Енисейске в первую свою ссылку. С тех пор сестры везде следуют за Владыкой. Пытались даже ехать за ним в Архангельск, но туда власти их не пустили.

На работе у профессора Ясенецкого тоже все хорошо. Вместо маленького, неудобного отделения на 25 коек, которое с трудом дали ему в конце 1934 года, теперь, в 1936-м, он руководил третьим, самым большим корпусом Института неотложной помощи. В его распоряжении главная операционная, сколько угодно гнойных, обожженных, травматических больных. Штатом больничным профессор тоже доволен, хотя никто никогда не слышит от него слов одобрения. Соединяет профессора с сотрудниками прочная нить: он природный учитель, а они жадно стремятся перенять его опыт. Врачи третьего корпуса давно уразумели: защитить кандидатскую диссертацию в общем-то дело несложное, а второго такого учителя, как Войно, у них не будет. Никто тут поэтому не гонится за учеными званиями, но знаниями, которые дают операции Войно-Ясенецкого, его патологоанатомическими разборами все дорожат.

На разборы в секционной собираются все медики, со всех отделений. Прежде чем начать конференцию, профессор произносит свое излюбленное: «Мы собрались сюда не для того, чтобы кого-то ругать или кого-то судить, а для того лишь, чтобы выяснить, чего мы, врачи, в своей работе недоделали, что сделали не так, как надо. Наша цель — не повторять ошибок, допущенных нами при лечении вот этого нашего пациента». И неотвратимо, как судьба, жест скальпелем в сторону трупа. Да уж, поучиться у Войно-Ясенецкого есть чему. Доктор Левитанус вспоминает: «В начале моей работы в гнойном отделении Валентин Феликсович не слишком нам доверял, оперировал сам, а мы только помогали ему... Потом стал постепенно допускать нас к операционному столу, а сам ассистировал. Надо сказать, что лучшего ассистента, чем он, никогда я не видела. Работал он совершенно спокойно, тактично, как будто даже и не помогает, а делаешь все сама, хотя во всем чувствуется его помощь, во всем ощущается его рука... Операции у нас часто проходили под регионарной анестезией. В Ташкенте под регионарной анестезией никто оперировать не умел, а он делал это исключительно мастерски, и операции протекали блестяще».

Обучил Войно своих молодых товарищей многому. Показал, как лечить гнойники катаплазмами и как освобождать пациентов от болей, связанных с воспалением лицевого тройничного нерва. Заболевание это тяжкое, длится годами. Прервать его может только тот, кто владеет тончайшей операцией: умеет входить иглой в очень маленькое отверстие черепа, расположенное под глазом, и вводить спирт в нервный, так называемый гассеров узел. Если хирургу удается найти и алкоголизировать узел,— наступает почти немедленное выздоровление: перестает дергаться веко, возвращается к норме выражение лица, а главное, проходят мучительные, сводящие с ума боли. «Я помню, что к нам приезжали больные из Ленинграда и Москвы,— вспоминает доктор Левитанус,— от крупнейших хирургов. Видно, кроме Валентина Феликсовича, никто не решался вводить лекарство в гассеров узел».

Но в школе Войно-Ясенецкого учат не только хирургии. Невестка профессора Мария Кузьминична, зайдя однажды к свекру на работу, застала его в крайнем возбуждении. Доктор Федермессер только что сообщила профессору о смерти больного с абсцессом верхней губы. В годы, предшествующие появлению антибиотиков, такой исход при нарыве верхней губы не был редкостью. Но Войно принял известие хмуро и потребовал, чтобы сотрудница детально перечислила, что именно было сделано для погибшего пациента. Федермессер принялась перечислять врачебные назначения, но потом махнула рукой и сама себя остановила: «Да что тут говорить! Больной все равно был обречен...» Обречен?! Величественный, всегда невозмутимый профессор буквально взревел: «Вы не имели никакого права останавливать борьбу за жизнь больного! Вы даже думать о неудаче не имеете права! Только делать в с е, что нужно! Делать ВСЕ, слышите?!»

Кричать на врача — это Войно позволяет себе крайне редко. Но больной в третьем корпусе — действительно фигура центральная. Ночь ли, день ли воскресный, находится ли врач в очередном отпуске или болеет — ничто не освобождает его от обязанности явиться немедленно в отделение, если это необходимо для спасения пациента. Этот строго заведенный порядок профессор и сам выполняет без малейшего ропота. «Какой бы ни был церковный праздник,— вспоминает доктор Левитанус,— какую бы службу ни служил он в церкви, но если дежурный врач присылает шофера с запиской о том, что нужна профессорская консультация, Войно тут же поручает литургию другому священнику и незамедлительно выезжает к своим больным». Это тоже школа Войно-Ясенецкого.

Так она и течет, жизнь профессора-епископа, в своем нераздельном двуединстве. В какой-то миг, правда, равновесие между двумя «половинками» его естества, кажется, готово нарушиться: в Ташкенте проходит слух, что открывается Институт пиологии, где Войно предложат пост директора, если он окончательно порвет с церковью. Многим кажется, что епископ Лука доживает в этом мире последние дни и очень скоро на свете останется лишь профессор-хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Особенно горячо этого желают близкие хирурга, намучившиеся за годы его арестов и ссылок. Но месяцы идут за ме-

сящами, а в судьбе знаменитого медика не происходит никаких перемен. Да он, похоже, и не испытывает никаких неудобств от своего двойственного положения.

Рано утром к домику неподалеку от больницы Полторацкого подъезжает легковая машина, новой, только что появившейся в городе марки М-1. Машина везет Луку в церковь. Пока он молится, автомобиль стоит у церковной ограды, привлекая ротозеев и наполняя гордостью (или злорадством?) души прихожан. Потом машина мчит профессора в Институт неотложной помощи. Начинается день, до краев наполненный операциями, консультациями, конференциями. После работы в операционной и над трупами — чтение лекций в Институте усовершенствования врачей. В субботу, в воскресенье и по праздникам Лука снова отправляется к литургии, но уже на запряженной лошадью линейке. Машина — институтская, линейку присылают из церкви.

Он поистине двуедин. Лишь по временам верх берет одна ипостась, а затем ее сменяет другая. Самые близкие родственники имеют даже возможность наблюдать, как без всякого труда, вполне естественно совершается этот переход. Невестка Мария Кузьминична вспоминает, что в церкви свекор ходил медленно, походка его была величественна, движения благообразны. Но стоило ему переступить порог третьего корпуса, как он преображался. Исчезала плавная округлость жестов. Затянув на поясе халат, засучив рукава, он разом обретал хирургический вид. Становился почему-то худощавым, сразу начинал ходить быстро, говорить громко, в голосе возникали властные нотки. Войно громко вызывал Федермессер, требовал принести ему какие-то истории болезни, начинал кому-то за что-то выговаривать. Посторонним он не подчеркивал двойственность своего существования. В отделении разрешал называть себя по имени-отчеству, в церкви проповедовал, в больнице не говорил о делах веры. Горожане уже начали привыкать к его облику, к цивильной толстовке и кремовой коломянковой панаме «поповского», как говорит доктор Левитанус, вида. Но для постороннего глаза фигура профессора-епископа, его быт и взгляды таили много неожиданного.

Летом 1936 года из Омска в Ташкент приезжал профессор М. С. Рабинович. Зная хирургические работы Войно-Ясенецкого, врач-сибиряк пожелал познакомиться с ним лично. Треть века спустя, вспоминая о встрече в Ташкенте, проф. Рабинович обратил внимание на удивительное спокойствие, даже какую-то ублаготворенность Войно летом 1936 года. Хотя сибиряк был в то время молод, преуспевал у себя в Омске, заведовал кафедрой, но на пороге рокового 1937-го им владело душевное состояние, очень далекое от безмятежности. Кругом уже летели головы, и ни о каком спокойствии не могло быть и речи. Откуда же взялась столь благостная душевная настроенность у ташкентского коллеги?

Может быть, Войно не читал газет? Не знал о массовых арестах «врагов народа», о больших и малых процессах, которые уже начали сотрясать страну? Известно доподлинно: читал и знал. Догадывался и о том, насколько неустойчиво его собственное положение. И тем не менее...

В антирелигиозных брошюрках и докладах нередко повторяется мысль о том, что материалист в критических обстоятельствах всегда активен, он борется до конца, надеясь только на себя и на товарищей по классу. Тот же, кто вверяет свою судьбу сверхъестественным силам, обрекает себя на безволие, на пассивность. Верующий ждет милостей там, где следует выявить свою непримиримость и упорство.

Пример, подаваемый профессором Войно-Ясенецким, говорит о другом. Возможно, что в 1936—1937 годах он еще не слишком четко различал приметы новой волны террора, но в отличие от омского коллеги эти приметы не заставляют его трепетно вслушиваться и всматриваться в окрестный мрак. Он вообще не думает о своей безопасности. Это не безволие, не пассивность. Свободный от страха, ум ученого направлен в иную сторону, мысли заняты другим. Он ищет, как помочь людям. Нет, не в этой разверзающейся под ногами кровавой пучине, в которой у каждого своя судьба. А в борьбе с болезнями, там, где как хирург он действительно может бросить ближнему канат спасения.

Ученый исследует флегмоны лица. Как правило, это страдание смертельно: гной попадает в мозг — и конец. Но каким путем движется гной при глубоких

флегмонах? Как и в какой точке скальпель хирурга может остановить смертельную опасность? Мелочь? Детали медицинской технологии? Нет, вечные вопросы бытия. Они останутся жизненно важными после того, как сойдут в могилу Ягода, Ежов, Берия, и после того, как закатится звезда Сталина, и даже после того, как в Лондоне Чейн и Флори выделят первые крупицы пенициллина, а в Университете Нью-Браунсвик (США) Ваксман создаст «короля антибиотиков» — стрептомицин. Те поиски, которые захватили Войно-Ясенецкого осенью 1936-го, не потеряли своего смысла и сегодня, сорок лет спустя. И, надо думать, будут нужны людям до тех пор, пока в мире останутся флегмоны и останется хирургия.

Как всегда, он работал взахлеб. В конце декабря пишет сыну: «...Я получил здесь несколько трупов и сделанные на них исследования уже полностью разъяснили мне все важнейшее в патологии глубоких флегмон лица. Чем больше я работаю над ними, тем больше эта работа усугубляется и (ее) хочется продолжать и продолжать. То же самое будет, вероятно, и с флегмонами верхнего конца бедра и других областей, все хочется изучить как можно глубже... Однако этому стремлению к углублению конца не будет, а жизнь моя близится к концу, и можно опоздать».

Торопиться заставляет не только близкая, как ему представляется, смерть — Войно все еще только пятьдесят девять,— но и другая причина. Он хочет, чтобы его находки сейчас же, безотлагательно служили больным, помогали хирургам. Нельзя допускать, чтобы люди гибли после того, как ученый нашел путь к исцелению. «Недели две тому назад я написал в Медгиз, прося решить, писать ли (мне) отдельную книгу о флегмонах или все ее содержание внести как дополнение во второе издание «Очерков гнойной хирургии», которые очень нужны. Со всех сторон врачи просят меня о нем. Это был бы полный курс гнойной хирургии». Второго издания любимой книги Войно-Ясенецкому пришлось ждать еще целых десять лет. Полный курс гнойной хирургии, объемом в три раза превышающий первое издание, вышел только в 1946 году. Но до тех пор много воды утекло в Енисее...

Пора, наконец, подробнее рассказать о сочинении, которому профессор Войно-Ясенецкий отдал в общей сложности без малого полвека. Необходимость взяться за перо объяснял он так:

«Первое, что я болезненно почувствовал, начав работу на селе, это крайняя недостаточность полученной мною в университете подготовки по диагностике и терапии гнойных заболеваний, которые оказались, однако, самой важной, самой повседневной частью хирургии для врача, работающего среди крестьян и рабочих. Надо было собственными силами пополнять этот тяжкий пробел, и всю жизнь я усердно занимался этим делом. Книга, которую я написал, подводит итог моим многолетним наблюдениям в области гнойной хирургии, которые я собирал с особенной любовью. Я поставил себе целью прежде всего показать молодым врачам, что топографическая анатомия является важнейшей основой для диагностики гнойных заболеваний и выработки плана оперативного лечения...»

За тридцать лет, прошедших с тех пор, как киевский студент-медик покинул Университет Св. Владимира, отношение к гнойной хирургии на медицинских факультетах и в больницах страны почти не изменилось. В предисловии к первому изданию «Очерков» профессор В. С. Левит вынужден признать: «...Гнойные отделения, существующие в клиниках и больницах, являются большей частью хуже обставленными во всех отношениях, пользуются меньшим вниманием руководящих лиц и мало популярны среди врачебного и вспомогательного персонала. Большинство молодых врачей неохотно идет работать в «гнойное» отделение и по окончании положенного срока спешит вернуться в «чистое».

Отчего же? Молодым кажется, что диагносцировать и лечить гнойные заболевания пальцев и кисти, оперировать остеомиелиты, карбункулы, флегмоны, бороться против раневого сепсиса (заражения крови) — дело неинтересное и не совсем сложное. Против этой ошибки и выступил Войно-Ясенецкий. Он привел в своих «Очерках» множество примеров неудачного лечения, огромное число ис-

торий болезни, которые показали, как сложно врачу одолеть гнойную инфекцию, как много больных погибает от того только, что медики не получили в институте достаточно серьезной подготовки. Нет, утверждает он своей книгой, гнойная хирургия совсем не скучна и не проста. Это раздел науки, полный неразрешенных проблем, область, ждущая своих открывателей.

В подходе к нагноительным процессам у автора «Очерков» есть свой принцип, который он сам называет анатомо-топографическим. На сто лет раньше великий Пирогов «поженил» хирургию с анатомией. И он же первый понял, что хирургу в его практической работе важно знать не только место, где тот или иной сосуд, нерв, мышца находятся, но и как эти сосуды, нервы, мышцы расположены по отношению друг к другу и остальным органам. Диспозиция эта сложна, изменчива. При разных положениях тела, при разных физиологических и патологических состояниях органы и ткани смещаются. Пирогов указал оперирующим врачам на то, как важно для них знать эту подвижную географию живого тела — т о п о г р а ф и ч е с к у ю анатомию.

Среди прочих анатомических элементов Пирогова особенно интересовали фасции — плотные соединительно-тканные оболочки, которые футлярами одевают внутренние органы, сосуды, нервы и мышцы. Идя за великим учителем, Войно определил, что знание фасций, а точнее фасциально-клетчатых пространств, особенно важно для успеха гнойной хирургии. Основное назначение фасциальной пластины — отделять одну группу мышц от другой, что особенно важно, когда одна находится в покое, а другая сокращается. Во времена Пирогова эта функция считалась единственной, но позднее стали известны и другие назначения фасциального слоя. Чем больше давление одной группы мышц на другую, тем фасция плотней и толще. В местах малого давления она превращается в пленку, а подчас и в тонкую рыхлую ткань, именуемую клетчаточной (весь слой называется фасциально-клетчаточным). В этом слое проходят сосуды и нервы, в нем совершаются обменные процессы между кровью и тканями. Фасциально-клетчаточный слой служит таким образом не только внутренней опорой, «мягким остовом» нашего тела, но вместе с тем является и биологической средой. Для гнойной хирургии эта система имеет решающее значение: именно по фасциальным пространствам распространяется гнойно-воспалительный процесс. Хирург, знающий, где найти и как раскрыть эти пространства, может легко обнаружить доступ к очагу, требующему активного вмешательства. Врач, не знакомый с фасциально-клетчаточным слоем, обречен совершать хаотические, не оправданные анатомическими законами разрезы, которые могут принести больному только вред.

В первой трети XX века пути распространения гноя из одного фасциального пространства в другое еще не были изучены. Войно справедливо считал, что успешно лечить гнойные заболевания удастся лишь после того, как будут изучены пути движения гноя. Как и М. И. Пирогов, он сугубо хирургическую врачебную проблему решал, экспериментируя на трупах. Вводил в исследуемые участки тела желатину и прослеживал, какими путями она распространяется в окружающее пространство. В книге рядом с описаниями операций он поразительно точно и убедительно живописует результаты своих опытов. Читателю-хирургу не приходится верить автору на слово. Каждый шаг оперативного скальпеля Войно-Ясенецкий убедительно и наглядно доказывает экспериментом.

Можно сказать, что в своих «Очерках» Войно впервые за сто лет пытался пробудить у медиков интерес к некогда брошенной в хирургическую почву идее Пирогова [28]. Но в книге важна не только основная идея автора, но и формы, в которых она преподнесена. Как научный писатель Войно стремится довести свои идеи не только через разум, но и через чувства читателя.

Вот глава о флегмонах. Автору учебника ничего не мешает начать ее с пространных анатомических деталей. Читать об этих деталях довольно утомительно, но что поделаешь — учебник есть учебник. Войно, однако, уклоняется от наезженной дороги. Ему нужно иное: с первых же строк показать начинающему хирургу, насколько грозна вовремя не распознанная болезнь. Стремясь пробудить в читателе чувство ужаса и сострадания, он описывает зрелище, которому сам был свидетель в первый год врачебной службы на селе:

«Проехав 25 километров в конец своего земского участка, я вошел в избу и увидел никогда не забываемую картину: женщина лет сорока пяти, страшно измученная и точно застывшая в своем страдании, стояла лицом к стенке, сильно согнувшись и опираясь на скамью вытянутыми закоченевшими руками. Так стояла она день и ночь уже **три недели** (подчеркнуто В. Я.). Вся левая половина поясницы была сильно выпячена огромным скоплением гноя, ясно зыблющимся под кожей. Я осторожно вымыл поясницу, анестезировал кожу кокаином и быстрым взмахом ножа широко вскрыл огромную флегмону; подставленный ушат до половины наполнился жидким гноем. На другой день больную привезли в больницу, и дальнюю дорогу на простой телеге она перенесла отлично».

Теперь, когда в сознании читателя навечно запечатлелся образ мученицы крестьянки, опытный лектор переходит к сути дела: он описывает операцию, а затем пытается выяснить механизм образования забрюшинных поясничных флегмон.

«Я ввел руку в огромную гнойную полость и, тщательно обследовав ее, нашел в ней болтавшиеся остатки поясничной мышцы, несколько перемычек, глубокие бухтообразные затеки, но почки не мог найти. Все закоулки были дренированы резиновыми трубками и большими марлевыми салфетками. Быстро стала очищаться и уменьшаться гнойная полость, и уже через пять недель больная была выписана вполне выздоровевшей.

Это было очень мало похоже на то представление о «паранефрите», которое я вынес из университета. В то время все поясничные флегмоны называли паранефритами... С ними естественно связывалось у врачей и учащихся представление о том, что почка является исходным продуктом гнойного процесса... Уже первое мое знакомство с живой действительностью, только что вкратце описанное, заставило меня задуматься о «паранефрите»... Впоследствии я много раз оперировал забрюшинные флегмоны, всегда искал и исследовал почку, но в большинстве случаев убеждался, что никакого отношения к почке флегмона не имеет».

После столь выразительно нарисованной операции читатель уже не может оставаться равнодушным. Подлинные причины, вызывающие флегмоны, его живо заинтересовали. Теперь можно рассказывать и о анатомических подробностях. Под пером хирурга детали эти обрели свой глубокий смысл, они очеловечены, одухотворены. Читатель знает, ради чего и во имя чего следует постигать все эти тонкости.

Личные отношения автора со слушателем-читателем составляют еще одну особенность «Очерков» Войно-Ясенецкого. Какие бы операции хирург ни описывал, каких бы оперативных и анатомических подробностей ни касался, кроме больного, он всегда видит перед собой и своего младшего коллегу — начинающего врача. И это постоянное доверительное обращение к собеседнику наполняет книгу невыразимым обаянием. Вот, описывая правильные широкие разрезы, которые медик сделал у пациента при карбункуле нижней губы, Войно замечает, что оператор все-таки оставил без внимания одну, казалось бы, «маловажную» подробность: воспаление распространилось уже на угол рта и край верхней губы пациента. В предыдущих строках подробно объяснено, почему нарывы верхней губы, в силу особенностей ее анатомии, опаснее карбункулов губы нижней. И на этот раз гнойная инфекция, едва зайдя на краешек верхней губы, развернулась вовсю; вовлекла целые нервы, началось общее заражение крови, гнойные очаги образовались во многих внутренних органах. Больная, у которой врач поначалу просмотрел «пустяковую» деталь болезни, оказалась между жизнью и смертью. Завершая эпизод, автор не может удержаться, чтобы не воскликнуть с грустью: «Молодой хирург мало интересовался гнойной хирургией».

Другая глава. Идет разбор другого заболевания, и снова, как бы подняв голову, склоненную над пациентом, Войно произносит, обращаясь к слушателям: «Распознавание забрюшинных флегмон обычно не представляет никаких трудностей, если врач вообще не забывает об этой болезни и не имеет плачевной при-

вычки во всяком лихорадочном заболевании видеть малярию или брюшной тиф. К сожалению,— добавляет Войно-Ясенецкий,— эта привычка нередко так укореняется, что врач «видя не видит и слыша не слышит». Кажется, что речь идет только о недочетах хирургического воспитания, но вместе с тем голос ученого взывает к нравственным принципам врача.

Эпическая интонация, которая исподволь звучит на протяжении всего труда профессора-епископа, явственно прорывается там, где Войно заговаривает о хирургических ошибках.

Ошибки, особенно ошибки, допущенные им самим,— любимая его тема. Читая «Очерки», постоянно вспоминаешь слова А. И. Герцена: «Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить». Войно не просто помнит. С каким-то даже удовольствием распинает он себя за просчеты и промахи, допущенные в операционной 10—15—20 лет назад. Достается в «Очерках» и учителям, тем, что не объяснили будущему врачу, едущему в деревенскую глушь, как именно лечить главные народные болезни. Вот очерк о тактике врача, приступающего к лечению гнойного воспаления суставов. Каждая деталь изображена почти с кинематографической ясностью, приведено огромное число примеров, разъясняющих, как поступать, чтобы непременно добиться успеха в лечении. И тут же чистосердечное признание автора в том, какие грубые ошибки допускал он в те годы, когда на этих же ошибках накапливал свой врачебный опыт. «А ведь этого могло бы и не быть, если бы учителя интересовались гнойной хирургией!»

Историки медицины напишут когда-нибудь специальные исследования об «Очерках гнойной хирургии», ибо, несмотря на сугубо специальный характер темы, сочинение это относится к тем книгам эпохи, которые поразили мыслящих современников. Литературные, философские и научные достоинства «Очерков» поставили их в ряд с мировой научной классикой. А сегодня? Жива ли она через сорок лет после выхода первого издания? Не потеряла ли значения в эпоху, которую именуют подчас эрой антибиотиков?

Хирург-травматолог из Таллинна Арнольд Сеппо (род в 1917 году), известный своими новыми методами лечения гнойных заболеваний, пишет:

«На Ваш вопрос о том, что дал науке В. Ф. Войно-Ясенецкий, отвечаю с удовольствием, потому что мне приятно говорить о таком самобытном труженике, да еще и потому, что почти все современное поколение хирургов, к которому я имею честь относиться, в большей или меньшей степени являются его учениками.

Время движется быстро... Но книга В. Ф.— первое руководство по гнойной хирургии на русском языке, продолжает оставаться настольной книгой молодого хирурга, попавшего на самостоятельную работу. Она действительно пока не превзойдена. И это потому, что под весьма скромным заголовком кроется многолетний труд натуралиста и хирурга-ученого. Это и обеспечило книге бессмертие... Разработанное В. Ф. учение о перемещении гноя будет жить вечно. Мы должны это знать независимо от новых антибактериальных средств и новых возможностей лечения».

Хирург Борис Львович Осповат (род. в 1894 году), пятьдесят лет проработавший в Боткинской больнице (Москва), в следующих словах детализирует точку зрения таллинского коллеги:

«В те времена, когда вышла в свет книга В. Ф. Войно-Ясенецкого, еще не было тех средств защиты от гнойной инфекции, какие появились в дальнейшем. Но и в последующие годы, когда появились антибиотики, для врача не потеряло своей роли знание анатомических путей, по которым закономерно продвигается гнойно-воспалительный процесс... Легковерный врач считает антибиотик всесильным, ему кажется, что с появлением антибиотиков вся проблема борьбы с гнойной инфекцией полностью решена. Он недооценивает привыкание микроорганизмов к антибиотикам, недооценивает, насколько антибиотики снижают собственные защитные силы организма, он не принимает в расчет новых инфекционных агентов, которые приходят на смену угнетенному антибиотиками основному возбудителю... В результате такой врач рискует вместе с водой выплеснуть из корыта ребенка. Книге В. Ф. уготована долгая жизнь...»

...Я уже писал о том предостережении, которое получил от епископа Луки во время единственной нашей встречи. Владыка просил ни в коем случае не разделять, не расчленять на страницах задуманной мною Биографии образ ученого и иерея. Предостережение это, как я теперь понимаю, не было случайным. Но если бы я даже не знал о Луке — православном проповеднике, о Луке-епископе, то едва ли не заметил, что книга «Очерки гнойной хирургии» принадлежит перу христианского автора. Христианская, страстно гуманистическая ориентация проглядывает во всем. Она прорывается то в сердечной интонации, обращенной к читателю-врачу, то в мельком, но с любовью набросанном как бы штриховом портрете больного: деревенская старуха, ребенок, русский крестьянин, узбек. А случается, среди хирургического текста блеснет вдруг слово, как бы и впрямь произнесенное с амвона:

«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфорой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках и резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно».

Разве этот голос принадлежит только хирургу? Ученый-христианин не скрывает: и шестидесятилетняя Фекла, с трудом притащившаяся в переславльскую амбулаторию, и четырнадцатилетний мальчик Мотасов, которого с переломом бедра везут восемьсот пятьдесят километров по Енисею в туруханскую больницу, и жертва голода, поразившего Туркестан в 1918-м Ахмед И.— все они занимают его как пациенты, но вместе с тем дороги как люди. В этом легко убедится каждый, кто прочитает одно из трех изданий «Очерков гнойной хирургии».

Он неразделим, профессор-хирург Войно-Ясенецкий — епископ Лука. Монолитно един в своем главном стремлении — творить добро. Не странно ли, что именно против него коллеги выдвинули обвинение в жестокости, в бессердечном отношении к пациенту? С человеком, который сказал мне это, глядя в глаза, я встретился в Ташкенте в 1972 году. В ненастный октябрьский день я позвонил в квартиру известного в городе хирурга Льва Доминиковича Василенко. Дверь открыл сам хозяин квартиры. Люстра в передней осветила необычно крупную лысую голову. На одутловатом бледном лице еще одна примета: аккуратно подстриженная профессорская бородка, призванная, очевидно, скрыть слабо выраженный подбородок. Подозрительно мерцают по-стариковски склерозированные глаза. Я назвался. Да, ему уже передавали о предстоящем моем визите, но едва ли воспоминания его будут интересны писателю.

Не подавая руки, не предложив гостю снять мокрый плащ, Лев Доминикович проходит в кабинет. Современная малогабаритная комната с низкими потолками плохо гармонирует со старинной мебелью черного дерева. Картины в тяжелых рамах, бюро, фигурные настольные лампы, какие-то дорогие вещицы на полочках. Впрочем, у меня нет возможностей разглядывать интерьер: профессор Василенко не скрывает — ему хочется поскорее отделаться от незваного посетителя. Не садясь в кресло, решительно заложив руки за спину, он излагает свои мысли бесстрастно, как будто читает заранее подготовленную лекцию.

Писать о Войно не следует. Слава его хирургическая сильно раздута. Виною всему его поповство. Клиницист он был очень слабый, хотя оперировал неплохо. Человеком был жестоким, что недостойно врача-клинициста. Да, жестоким. В 1935—1936 годах они несколько раз встречались с Войно-Ясенецким в консилиуме, у постели больных. Хотите примеры? Извольте.

После неудачной операции в больнице ночью умер пациент Войно-Ясенецкого. Утром, узнав об этой смерти, хирург по-толстовски развел руками: «Очевидно, так было угодно Богу. Или мера грехов больного была велика, или я чем-то прогневил Всевышнего». Каково?

Или другой случай. Приехали как-то два хирурга на консилиум домой к главному бухгалтеру треста. У больного, человека пожилого, обнаружился неоперабельный рак предстательной железы. Вышли в соседнюю комнату обсудить положение. «Надо сказать больному все. У него рак, и он умрет завтра же». Это Войно. Лев Доминикович возразил, что умрет больной, очевидно, дней через семь — десять и говорить ему о неизбежной гибели ни к чему. У него остается жена с детьми, к самостоятельной жизни совершенно не приспособленная. Узнав о близкой смерти, бухгалтер будет мучиться вдвойне: и по поводу своей судьбы, и по поводу судьбы своей семьи. «Нет,— повторил Войно,— надо выложить ему все. Возможно, он захочет умереть как христианин, ему понадобится время для соборования».

Чтобы разрешить спор, Василенко пригласил жену умирающего. Жена упала перед врачами на колени: «Ради Бога, ничего ему не говорите». «Но, может быть, он пожелает оставить завещание». «Какое там завещание, квартира и мебель казенные. Мне неведомо, куда теперь пойдем. Нечего ему завещать...» «Тогда идите и врите ему сами,— обращаясь к Василенко, сказал Войно-Ясенецкий.— Я врать не стану».

Лев Доминикович, по его словам, пожелал закончить спор миром. Он даже вспомнил некогда очень известные стихи о святой лжи [29].

Но Войно заявил, что никакой святой лжи для него нет, а есть просто ложь, в которой он принимать участия не желает. Льву Доминиковичу пришлось взвалить на себя тяжкое бремя последнего разговора с умирающим.

Василенко помнит и другой случай, когда Войно вот так же проявил бессердечие и черствость уже по отношению к своему коллеге. У ташкентского хирурга Александра Марковича Геллера болела дочь, девочка лет девяти. Поздно вечером отец прибежал к Василенко и попросил срочно прийти посмотреть дочь. Одновременно с Василенко у постели ребенка оказался и Войно. У девочки ясно обозначился перитонит. «Она обречена. Такие не выживают, и оперировать не стоит,— резюмировал Войно-Ясенецкий.— Пусть отец решает — оперировать или не оперировать». Лев Доминикович возразил, что Геллер в такой ситуации уже не может решать, он сейчас не хирург, а отец. Войно пожал плечами. Тем не менее Лев Доминикович девочку все-таки оперировал. Она умерла пять дней спустя.

«Вот все, что я могу Вам сообщить». Профессор Василенко выжидающе молчит. Я дописываю в блокнот последние строки о погибшей девочке. «Нужны ли какие-нибудь комментарии?» Я благодарю. Комментарии не нужны. Вот только один вопрос... Верно ли, что профессор Войно-Ясенецкий был оппонентом по докторской диссертации Льва Доминиковича в 1937 году? Какой отзыв дал он о диссертации Василенко? Вопрос явно неприятен моему собеседнику, но выдержка его не оставляет. Да, Войно дал сначала не очень положительный отзыв, он сделал это потому, что Василенко публично выступил против катаплазмов Вальневой. Однако, получив отрицательный ответ, Лев Доминикович не смутился, пришел на квартиру Войно, выложил перед ним кучу книг и доказал свою правоту. Валентину Феликсовичу пришлось извиниться перед ним и забрать из ученого совета свой отрицательный отзыв.

Увы, на этот раз память подвела старого профессора. События тридцатипятилетней давности выглядели совсем по-другому. Профессор Войно-Ясенецкий считал диссертацию Василенко слабой и готовился выступить против ее защиты публично. В хирургических кругах об этом открыто говорили. Если бы он выступил — конец диссертации. Войно, как никто, умел доказать в дискуссии свою правоту. Но за день до того «ангел хранитель» его детей Софья Сергеевна Велицкая (она работала операционной сестрой у Василенко) умоляла Войно промолчать на ученом совете. Рассказывая мне этот эпизод, давняя ученица Валентина Феликсовича А. И. Беньяминович добавила: «Он никому никогда не уступал в таких вопросах. Но Велицкой отказать не смог. Покривил душой и промолчал. Диссертация Василенко была защищена».

Почему вспоминаю я давнюю и для всех ее участников не слишком приятную историю? Стоило ли вообще посещать провинциального Яго, который и через треть века не способен унять злобу и зависть к давно умершему «конкуренту»? Нет, я не жалею о разговоре со Львом Доминиковичем Василенко. Беседа эта помогла раскопать истоки мифа о жестокости Войно.

Представим на миг, что все сказанное профессором Василенко — правда, что так оно и было: у больничной кровати — добрый, сердечный Лев Доминикович, а по другую сторону жестокий Войно-Ясенецкий. Но жестокость ли это? Двух хирургов разъединяет не только разная степень одаренности, но и разный подход к человеческой судьбе. У того, кто считает жизнь лежащей в руке Господа, иные мерки, нежели у атеиста. Склонный к строго религиозному восприятию мира, Лука истово, изо всех сил борется со смертью, пока причина ее видится ему в пределах человеческого постижения. Но когда смерть становится неизбежной, он подходит к ней как к освобождению от земных страданий, как к облегчению. И не скрывает этого от близких умирающего.

Есть, однако, еще один свидетель обвинения, также твердящий, что знаменитый ташкентский хирург был лишен добрых чувств к своим пациентам. Профессора-антрополога Льва Васильевича Ошанина никак не заподозришь в антипатиях к Войно-Ясенецкому. Отношения двух ученых всегда были дружелюбными. Выше я уже ссылался на воспоминания Льва Васильевича, в целом объективные. И тем не менее:

«Я знавал врачей, которые были добры в обывательском смысле слова,— пишет Л. В. Ошанин,— которые любили и жалели своих больных, сочувствовали их переживаниям. Был ли Войно добр в этом смысле? Определенно можно сказать, что нет».

Ошанин приводит несколько примеров, которые, по его мнению, подтверждают жестокость «хирурга».

«У сестры моей жены был рак правой грудной железы; она оперировалась у Войно. Когда больная уже поправлялась, В. Ф. показалось, что не мешает «освежить» края раны для ускорения заживления. Когда он ушел, очень опытный фельдшер хирургического отделения П. И. Демидов сказал моей жене: «Уговорите Александру Николаевну не соглашаться на освежение раны, ведь «наш» безжалостный. Он просто возьмет ножницы и отчикает кожу ленточкой сантиметров 15—20 длины. «Наш» человека режет все равно, как киргиз барана или баба курицу, не давайтесь, рана и так заживет».

И еще:

«Я как-то позвал Войно к тяжелобольному. Позвал больше «так», для проформы, ибо больной явно агонизировал. Как сейчас, вижу монументальную, величественную фигуру Войно, его холодное, аскетическое лицо, холодные внимательные глаза, которыми он несколько минут наблюдал сцену агонии... Я навсегда запомнил его слова: «Да, все же, как правило, очень тяжело умирает человек»,— повернулся и ушел к очередным делам.

Наконец, эпизод с сыном, эпизод, который вызывает у профессора Ошанина особенно бурное негодование. «Я как-то проходил мимо хирургического корпуса,— вспоминает Лев Васильевич.— Во дворе вместе с другими мальчишками играл в ошички Миша, которому было тогда лет 10—12 (случай относится, очевидно, к 1918—1919 годам.— М. П.). Вдруг на крыльце хирургического корпуса появился Войно и позвал его: «Миша, иди сюда и проходи прямо к сестре в операционную. Она тебя приготовит. Я сейчас буду тебя оперировать, вырежу аппендикс». Я буквально остолбенел,— поясняет Ошанин.— Как сейчас? Вот так взять своего сына и бросить под нож хирурга? А подготовка и прочее? Войно сказал, что он дал Мише слабительного и его хорошо прочистило. Ждать больше нечего. Лучше оперировать сейчас, в холодном периоде. Ведь у Миши было уже два острых приступа аппендицита... Через неделю Миша выписался».

Откровенно говоря, мне чуточку даже совестно комментировать эту часть воспоминаний уважаемого профессора. Так и чувствуется, что пишет человек, далекий от клиники, воспринимающий хирургию, так сказать, в плане эмоциональном. Человек, которому неясно, что высшее добро, которое врач со скальпелем может оказать своему ближнему, состоит в том, чтобы сделать операцию вовремя и наилучшим образом. Так Войно и поступил с сыном. Можно ли при-

нимать иа веру ворчание старика фельдшера о том, что «рана и так заживет», если опытный специалист считает иеобходимым ускорить процесс регенерации? Этот фельдшерский подход привел мне на память мнение садовника Чарлза Дарвина о своем хозяине: «Хороший старый господин, но вот беда, дела себе настоящего найти не может. Ходит день-деньской по саду и разглядывает цветы. Ну разве это занятие для серьезного человека?»

А чего стоит ошанинское: «повернулся и ушел к очередным делам». Да, ушел. Но от чего ушел? От трупа. Куда ушел? В больничное отделение, в палаты, к тем, кого еще можно спасти, нужно спасти. Вот так и являются на свет мифы, порожденные в одном случае злонамеренной клеветой, в другом — наивностью. А публика подхватывает: «Профессор сказал».

Хирурга Анну Ильиничну Беньяминович в сентиментальности никак не обвинишь. В характере учителя (мастерству которого Анна Ильинична отдает должное) она охотнее указывает на недостатки, нежели на достоинства. Ей кажется что Войно и руководителем был неважным, не позаботился, чтобы сотрудники вышли в кандидаты и доктора. И о себе понимал он слишком много, любил похвалиться. Но отношение к больным было у шефа идеальным. Доктору Беньяминович было уже восемьдесят, когда я навестил ее в Ташкенте. Она была полуслепа, но голос все еще оставался звонким, моложавым. Она рассказала о тяжких временах, когда после эпидемии тифа в хирургическое отделение городской больницы то и дело доставляли больных с послетифозным осложнением — кариесом реберных хрящей. Спасти таких несчастных могла только сложная операция: надо было иссекать хрящи всех семи верхних ребер. У постели таких пациентов хирурги чувствовали себя, как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Если не оперировать, больной погибнет от кариеса. Если оперировать, то рискуешь зацепить сердечную сумку. Задев скальпелем перикард, хирург вызывает смертельный гнойный перикардит. Вот тут и решай. Были врачи, которые не хотели связываться с этой проклятой операцией. Войно от своего долга не уклонялся. Он шел на активное вмешательство и нередко терпел неудачи. Жестокое это было испытание. Входя в палату, хирург сразу замечал: женщины, которую он оперировал два дня назад, уже нет. Еще одна жертва. Не спрашивая ни о чем, ничего не обсуждая с сотрудниками, он поднимался на второй этаж и там запирался в своей комнате. Его не видели потом в отделении часами. Молился ли он или просто сидел, потрясенный гибелью больного,— сказать трудно. Но мы знали: каждая смерть, в которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания.

Акушер-гинеколог Антонина Алексеевна Шорохова, работающая в Узбекистане с дореволюционных лет, ответила на мои вопросы письменно: «Валентин Феликсович болел душой за каждую свою неудачу,— сообщила она.— Однажды, задержавшись на работе, когда все врачи уже покинули больницу, я зашла в предоперационную хирургического отделения. Внезапно из открытой двери операционной до меня донесся «загробный» голос:

— Вот хирург, который не знает смертей. А у меня сегодня второй...

Я обернулась на голос и увидела Валентина Феликсовича, который пристально и грустно глядел на меня. Поразила его угнетенная поза: он стоял, согнувшись и упираясь руками в край операционного стола. На столе лежал больной, умерший во время операции».

Не достаточно ли? Думаю, достаточно. Легенда о «жестоком» хирурге, родившаяся во врачебной среде под влиянием весьма субъективных обстоятельств, не выдержала испытания временем. Сегодня она больше говорит о мифотворцах, нежели о самом профессоре Войно-Ясенецком.

...Давно ему не было так хорошо и спокойно, как в 1936-м и 1937-м. Ставши полезным, он стал вместе с тем и ценимым. А тот, кого ценят высокопоставленные лица, живет уже по иному кодексу прав и обязанностей, нежели остальные смертные. Ему прощаются грехи, которые ни за что не простили бы рядовому гражданину, например, грех веры и посещения церковных служб. Рядового кандидата и даже доктора наук за такое — из института в три шеи: «Нельзя доверять верующим воспитание научных кадров»; администратора партийного, буде он попался на посещении церкви, враз отлучили бы от всех кормушек: «Не блуди!» А п о л е з н о м у все сходит с рук. Полезный профессор Войно-Ясенецкий может так же беспрепятственно посещать храм Божий, как это делают академики Филатов, Павлов, Вернадский, Конрад, Абрикосов и еще некоторые — по списку.

Придется объяснить, однако, что термин «полезный человек» в новое время перестал означать то, что означал он всегда, то есть «человека, приносящего пользу обществу». Конечно, можно и обществу пользу приносить, если уж очень хочется. Но как говорится в популярном анекдоте: «Мы ценим его не только за это». За что же? Физиолог Иван Петрович Павлов после того, как удалось его политически обработать, сделать законопослушным, ценился за свою международную известность. С ним все ясно. «Вот какой знаменитый ученый, а за нас». Академик патологоанатом Абрикосов надобен был в мавзолее при теле Владимира Ильича, академик-окулист Филатов консультировал пациентов в Кремлевской больнице. Специалисты могли считать Павлова, Филатова или того же Абрикосова творцами научных идей, создателями мировой культуры. Но г о с у д а р с т в е н н а я цена этих личностей определялась совсем по иному обменному курсу.

Ученики Войно-Ясенецкого Левитанус и Стекольников пишут в своих воспоминаниях: школа учителя помогла им наладить помощь во время Отечественной войны. «Особенно пригодилась его школа на фронте, где я был главным хирургом «хозяйства», куда входило от 35 до 50 хирургических госпиталей,— пишет профессор Стекольников,— мне тогда очень помогли его наставления, его книга». Но в то время, как наставления и книга знаменитого хирурга спасали жизнь бойцов Советской Армии, сам он пребывал в восточносибирской ссылке. Та, прежняя, принесенная им польза в глазах людей государственных пользой не была. Зато в 1936 году государственные люди очень высоко ценили его за то, что он хорошо зашил мочевой пузырь одному ташкентскому наркому, а в Сталинабаде избавил от мозоли второго секретаря тамошнего ЦК. Наркомов и секретарей ЦК перебывало в среднеазиатских республиках в ту пору много, ибо машина Ягоды — Ежова работала на полную мощь и сами они охотно подбрасывали друг друга под ее зубья. Но, приходя к власти, каждое новое поколение местных вождей с удовлетворением принимало к сведению, что лечить их теперь будет знаменитый профессор. Профессор им полагался так же, как квартира в Доме правительства и «кремлевский» паек. И относились они к этому профессору хоть и снисходительно, но вполне дружелюбно.

Когда человеческая личность в обществе не имеет собственной независимой цены, а стоимость ее колеблется в связи с посторонними обстоятельствами, то икс, полезный вчера, может показаться бесполезным нынче. А послезавтра того же бесполезного икса можно объявить даже вредным. Вредного же нетрудно арестовать и умертвить голодом в тюремной камере, как академика Вавилова, или расстрелять, как маршала Тухачевского, или выслать, как писателя Солженицына. Но до поры до времени полезный вне опасности. И даже вне жестоких запретов эпохи. До некоей никому заранее не ведомой поры. Любимец власти может путешествовать по земному шару, как Вавилов, устраивать у себя на квартире афинские ночи, как академик-философ Александров, и даже ходить в церковь, как профессор Войно-Ясенецкий.

В те предвоенные годы Войно, конечно, не догадывался, кому именно и за что обязан он своим покоем и благополучием. Пациенты — знатные и незнатные — были для него равны, лечил он всех, не делая никаких различий. И, думается, старик сильно удивился бы, доведись ему услыхать вдруг, от кого и от чего зависит его действительный статус. Весной 1937-го ему исполнилось шестьдесят. Левый глаз отказал окончательно, но правый действовал исправно и на операциях не подводил. Что же до взора духовного, то все лежащее за пределами судеб церкви и проблем хирургии по-прежнему оставалось для него размытым, бесцветным, вне фокуса. Долетавший до ушей политический трезвон казался однообразным, не слишком интересным шумом. Но в соблазн осуждения властей Войно никогда не впадал.

Более того, он пытался объяснить самому себе, что видимый политический хаос в самом деле имеет некое, ему не совсем понятное, но по-своему разумное объяснение. «После того, как отец вернулся из второй ссылки,— вспоминает сын Войно Алексей,— мы как-то шли с ним в баню (дело было в Ташкенте), и он по дороге развивал мысль о том, что к событиям окружающим надо подходить с исторической точки зрения, надо понять, куда идет развитие событий. Как ни страшны видимые факты жизни, возможно, что с исторической точки зрения они не так уж и абсурдны. И тогда же прозвучала фраза: «Если бы я не был епископом, то был бы коммунистом». Войно не ограничился общими суждениями. После возвращения из Архангельска он дважды публично заявил о своих пристрастиях.

Осенью 1933-го Лука попросил сына Алексея послать телеграмму в Лейпциг, где в то время судили Георгия Димитрова. «Моя архиерейская совесть протестует против вашего суда».— писал он, полностью солидаризируясь с отечественными газетами, которые усиленно анафемствовали «фашистское судилище». В 1937 году никакие судилища уже не тревожат совесть епископа Луки. В годы массовых арестов и расстрелов он только однажды поднял свой голос в печати: с удовлетворением высказался по поводу исторического перелета летчика Громова.

Поднятая в 1937 году авиационная шумиха имела тот же смысл, что и в 1918-м рев автомобильных моторов, которые запускали в гаражах во время массовых расстрелов. Перелеты и авиационные рекорды советских летчиков призваны были заглушить проникающие в мировую печать слухи о терроре. В СССР газеты целыми полосами печатали исполненные пылкого энтузиазма отклики граждан на полеты Громова, Белякова, Байдукова, на авиационные приключения Расковой и Осипенко, на воздушные рекорды Коккинаки. В иные дни, читая газеты, можно было подумать, что у гигантской страны нет иных проблем, как только освоить полюс и поднять в поднебесную высоту еще несколько центнеров металлических болванок.

Были, впрочем, и другие проблемы. Зимой 1937 года газеты целую неделю только и писали, что о пушкинском юбилее, о великом поэте, о трагической его судьбе в проклятые царские времена. А перед тем еще одна погремушка — Конституция. Ее обсуждали на собраниях, в газетах, в университетских аудиториях, на школьных уроках. Обсуждают, и гомон о свободе слова, печати, собраний глушит выстрелы в подвалах, где расстреливают очередную партию «врагов народа».

Она действует безотказно, эта система глушения. И кто знает, может быть, в какой-то степени, на какое-то время оглушила она и нашего героя. Но если даже этого с ним не произошло, то понять подлинный смысл сталинских чисток Войно не сумел ни тогда, ни потом. Тридцать лет спустя он продиктовал секретарю: «В 1937 году начался страшный для Святой Церкви период — период власти Ежова как начальника Московского ОГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех других, подозреваемых во вражде к Советской власти». Великий поход Сталина против советского народа отпечатался в сознании епископа Луки как пора гонений, главным образом против церкви. Но ведь смысла трагедии не понял в массе своей и весь народ российский.

Главное общественное событие, окрасившее декабрь 37-го — выборы. Ташкент в море огней. Плакаты, транспаранты, флаги. Кумача и электрических лампочек приказано не жалеть. Люди радостно взволнованы. Шутка ли, торжество социалистической демократии — первые выборы в Верховный Совет по новой Сталинской Конституции! Хирург Мария Борисовна Левитанус — в самом пекле событий. И через три с половиной десятилетия ей приятно вспомнить веселую предвыборную суматоху тех дней. Голос ее с магнитной пленки звучит оживленно, бодро:

«Помню, как-то возвратилась я с заседания избирательной комиссии, а мы, врачи, принимали активное участие в общественной жизни своего коллектива, меня попросили идти мыть руки, чтобы оперировать с Валентином Феликсовичем. Я, взбудораженная заседанием, начала мыть руки и, значит, смеясь, говорю: «Валентин Феликсович, завтра будем выбирать!» Это было в субботу, накануне выборов в Верховный Совет нашей республики по новой Конституции. Он на меня так грустно посмотрел и говорит: «Мария Борисовна, избирать будете вы, а я человек второго сорта, я — выбирать не буду». Я еще рассмеялась да говорю: «Что вы, Валентин Феликсович, такие вещи говорите!» А потом оказалось, что накануне вечером у него был обыск, и он уже знал о своем неизбежном аресте».

Выборы происходили 12 декабря.

Войно-Ясенецкого арестовали через сутки.

...Прослушав в Москве пленку с рассказом Марии Борисовны, я снова написал ей. Спросил, как врачи третьего корпуса относились к профессору, не вообще, а конкретно осенью—зимой 1937 года, о чем толковали между собой, узнав о его аресте. Мария Борисовна со всегдашней своей обязательностью ответила немедленно. «Все сотрудники Института неотложной помощи относились к Валентину Феликсовичу с большим уважением и глубоким доверием. Арест Валентина Феликсовича не породил никаких кривотолков. Он же был епископ!!»

Так и написала — с двумя восклицательными знаками.

(Продолжение следует).

ПРИМЕЧАНИЯ

[19] Константинов ошибается: в 1925 г. отец, мать и старший сын Войно-Ясенецкого жили не в Симферополе, а на Украине, в Черкассах.

[20] Арсений Кузьмич Константинов, который в Туруханске встречался с Войно-Ясенецким уже после возвращения из Плахина ничего о готовящемся бунте не помнит. В своем кругу туруханцы, правда, жаловались на то, что город оставлен властями без хирурга, но об открытых протестах не могло быть и речи. «Такое выступление запуганных обывателей я считаю невероятным».— пишет Константинов (Письмо из Красноярска от 25 октября 1973 г.).

[21] Автор записок допускает неточность: между 1926-м и 1930-м годами Лука Туркестанский кафедрой не управлял.

[22] Таких работ опубликовал он за границей не менее шести. В официальной библиографии Войно-Ясенецкого числится 36 опубликованных работ по хирургии, сам же он определял их число в 42. Очевидно, составители библиографии не учитывали статей, подписанных церковным именем.

[23] Теодицея — философский термин. Введен Лейбницем (1710) для выражения задачи, как примирить существование зла в мире с благостью, мудростью и всемогуществом Бога.

[24] А. А. Сольц. Арестован в 1934—1935 гг. Погиб, если верить БСЭ, в 1940 г. Где и как — неизвестно.

[25] Уже после завершения этой главы удалось дознаться у ленинградских журналистов, что Борисоглебский «исчез» не в 1932-м, а во время войны. Будучи писателем армейской газеты на Карельском перешейке, он проявил себя трусом, паникером. Был арестован и, очевидно, умер в тюрьме зимой 1941—1942 гг.

[26] Об этом подробно в главе «Пролог-Житие».

[27] Н. П. Горбунов (1892 г. р.), по образованию инженер. Член партии с 1917 г. С ноября 1917 г. — личный секретарь В. И. Ленина. С 1920-го — Управляющий делами Совнаркома. С 1935-го — академик, непременный секретарь АН СССР. Расстрелян 7 сентября 1937 г.

[28] Впоследствии проблемой этой занимались также хирурги и морфологи, как В. Н. Шевкуненко, В. И. Стручков, В. В. Кованов, А. П. Сорокин, Т. Н. Аникина, Т. Д. Никитин. В 1969-м и 1973-м годах по проблеме «мягкий остов» состоялись всесоюзные симпозиумы.

[29] Имеются в виду строки из стихотворения М. Гартмана (в переводе Михайлова) «Белое покрывало»:

Зачем же в белом мать была?
О, ложь святая! Так могла
Солгать лишь мать,
Полна боязни,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью.

Валентина СИНКЕВИЧ

Если об этом медленно вспоминать...

Шестнадцатилетним подростком меня угнали на принудительные работы в Германию из маленького украинского городка Остер на Днестре.

В конце войны я оказалась в британской зоне Германии, где приняла решение не возвращаться домой, так как боялась попасть из лагерей немецких в наши.

С 1950 года я живу в США. Первые годы жизни в новой стране были сложными: незнание языка, трудности с работой... Как ни покажется странным, но запуск первого советского спутника помог мне получить хорошую работу. Меня приняли библиографом со знанием русского языка в библиотеку Пенсильванского университета. Проработав 27 лет, ушла в отставку, посвятив свободное (впервые его было так много) время главным образом поэзии.

Стихи пишу с десятилетнего возраста. Конечно же, с перерывами: война, первые годы в Америке. А вот печататься начала поздно: в начале семидесятых годов, т. е. между второй и третьей волнами эмиграции. На мой первый сборник стихов («Огни», 1975 г.) откликнулась И. Одоевцева, написав большую рецензию в «Русской мысли», отметил «Огни» и Ю. Терепиано. В 1977 году группа поэтов-энтузиастов стала выпускать поэтический ежегодник «Перекрестки», известный ныне под названием «Встречи». Ежегодник поддерживается крупными университетскими библиотеками США. Вот уже пять лет я его главный редактор. Это единственное зарубежное поэтическое русскоязычное серийное издание, где публикуются стихи поэтов всех трех волн эмиграции. Наше издание поощряет молодых авторов и «воскрешает» несправедливо забытые имена еще недавнего прошлого; у нас издаются авторы, не только живущие в Америке, но и поэты других стран, пишущие на русском. Большим другом и постоянным сотрудником ежегодника «Встречи» был поэт Иван Елагин. Мое знакомство с Иваном Венедиктовичем состоялось на небольшом перегруженном суденышке, перевозившем так называемых «перемещенных лиц» из Европы в Америку в 1950 году. Позже мы иногда вспоминали наше многотрудное морское плавание с Иваном Елагиным и его женой Ольгой Анстей. Иван Елагин завещал мне напечатать в ежегоднике четверостишие, которое должно было появиться только после смерти поэта. В стихотворении говорится, что самая обыкновенная вещь — смерть. Лишь жизнь является чудом. Поэт скончался в феврале 1987 года в Питсбурге. Увидя за несколько недель до смерти портрет Гоголя кисти В. Шаталова, Елагин написал свое последнее стихотворение «Портрет Гоголя». Оно также было опубликовано во «Встречах». Кроме стихов, редактирования «Встреч», пишу также и литературные очерки и рецензии на книги. Часто выступаю с чтением своих стихов перед англоязычной аудиторией — стихи на английский перевожу сама.

Надеюсь, что все же больше обо мне скажет не скупой пересказ моей жизни, а мои стихи.

Валентина СИНКЕВИЧ

Возвращение

1

Нет, не колонны Эрмитажа
и даже
не галереи дивные дворцов,
а древний зов,
а кровный зов отцов
и матерей и непонятный зов земли,

в которой предков погребли,
а нынче воскресили,
как будто бы они сейчас в России,
как будто бы они поют во храме,
и с нами говорят стихами,
и крестят нас воскресшею рукой,
а над рекой
летит — свободно как! — летит
большая птица.
О нет, мне это вдалеке не снится.
Я вижу это здесь,
я слышу это здесь,
сегодня, днесь.
Как будто не было вчера,
как будто собираться не пора
и звон все длится,
во все колокола — все длится,
и над рекой — свободно как! —
летит большая птица.

Есть такая крепость у человека,
против нее бессильны оружие и рать.
Это сохранившиеся фрески Феофана Грека,
сохранившиеся, когда приказ был
всем умирать.
И неистребимые строки поэта,
пишущего за тридевять земель от меня,
пишущего пред смертью вечера или рассвета,
или когда в Новгороде колокола звонят.

Строго смотрят на нас святые,
как на неверных, на потомков Батыя,
заглянувших в храм не пустой и пустой.
Старину он вспомнил и дрогнул от страха.
Дальше — кони и сабли, петля и папаха —
все — от гонителя веры до веры святой.

2

Но нет. Я больше не могу
найти дорогу в прошлое чрез океаны.
С тех пор заморские, чужие страны
я полюбила наспех, на бегу.
Я помню только — разрешили елку,
а дальше — дальше шла война.
А дальше мать была одна,
ждала, на чудо уповая втихомолку.
Я помню — разрешили елку,
а дальше — все игрушки унесли.
Звезда под танками в пыли,
картонный зверь,
разбитый шарик с елки.
А дальше книги на столе, на полке.
А дальше... Сколько книг бывает на земле!

Не говорите: этого могло не случиться.
То было время случайностей и судьбы.
Менялись вагоны, столицы, свои и чужие лица, —
а вы говорите — если бы...
Милые люди, смеясь идущие мимо —
легкой походкой — ребенок, отец и мать, —
все было просто и непереносимо,
если об этом медленно вспоминать.

Из прапамяти

Любимая, закат горит,
и конь, взметнувши гриву, скачет,
и темная жена Лилит
в древнейших книгах ворожит. Не значит

твой город ничего. Он юн
чужою кровью — без крови пророков.
О, сколько знойных лун
ты не найдешь в его пороках,

в его камнях. Они лишь прах, —
но не библейский, — тот неотрясаем,
а просто каменный, тлетворный прах,
который с ног спокойно отрясаем,

и вдаль глядим, — она живет
не настоящим и не будущим, а прошлым,
в котором смерть. И чудо. И живот.
Любимая, еще к закату можно

припасть челом. Еще горит
словами он бессмертными пророков.
А город твой — пусть город спит
стотысячными смертными глазами окон.

Белый и черный цвет

1

Белая шерсть медвежья — снег.
На нем человек черный.
Четкий и замысловатый век,
простые и сложные формы.
«Белая стая», «Четки».
Белый и черный цвет.
«Любит — не любит» — ответ.
И каждый ответ
губит.

2

Боярыня Морозова на морозе.
Крест ее веры прост.
Сколько их на морозе
в обозе
белых и черных верст!
На снегу,
на веку — белом и черном.

3

А поэт считает черных птиц
в страховой компании считает
американский поэт считает птиц
тринадцать птиц
под черного ворона
слетаются и разлетаются
в разные стороны
как черный цвет
нет
как белые вóроны.

Тема

Владимиру Шаталову

Что тебе в городе этом —
не от севера,
не от юга?
Зимой не завоет вьюга,
виноград не созреет летом.

И вместе с тем —
сколько стен
в нем сокрыто.
От пустого корыта
до золотого дна
лишь минута одна —
одна неразменная тема:

Город и ты —
в свете твоей темноты,
на грани твоей высоты,
на грани твоей ностальгии
по небывалой России —
Город и ты.

Только дым
над кварталом —
утром немолодым,
усталым.
Только дым —
Город и ты.

Часы

Есть у меня, есть —
откуда
невесть —
строчек написанных груда:
эта дрожь, этот жар,
будто ночью пожар,
и светлый
феникс из пепла,
и снова пожар.
С детства знакомый удар
часов, отбивающих полночь,
часов, призывающих помощь,
часов, кричащих, хрипящих — нельзя!
Извилистость — нет, не стезя.
Здесь — не пир, а пирушка.
Там — не пот и не кровь, а игрушка —
ею играть нельзя.
Здесь — сердце и дверь — на засов!
С детства
знакомый удар часов.

Вячеслав КАРПОВ

Старые догмы на новый лад

О ситуации, сложившейся в конце минувшего года вокруг журнала «Октябрь», написано уже немало. И все-таки хотелось бы вернуться к ней еще раз. Вернуться для того, чтобы уяснить психологические и идейные истоки, а также возможные политические последствия деятельности борцов с русофобией. В этой статье нас будут интересовать психология и идеология современного этноцентризма, оказывающая в последние годы возрастающее воздействие на литературную, идейную, а теперь уже и на реальную политическую борьбу.

Национальные маски социального конфликта

Термин «этноцентризм» введен в научный обиход в начале века американским социологом У. Самнером (1840—1910) и обозначает склонность человека воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей своей этнической группы, выступающей в качестве эталона, оптимума. Национализм, по-видимому, можно считать одной из форм этноцентризма, когда в роли эталонной выступает национальная группа. Этноцентрическая установка личности выражается в стремлении к интеграции в своей этнической группе («мы»), противопоставленной — с той или иной степенью враждебности — другим группам («они»).

Ну а там, где люди мыслят по принципу «мы — они», делятся на враждебные группы и оценивают друг друга с групповых позиций, жди проявлений авторитаризма, нетерпимости и закрытости сознания. Поэтому неудивительна тесная взаимосвязь этноцентризма со скрытыми антидемократическими ориентациями личности, эмпирически обнаруженная еще в 40-х годах американскими исследователями во главе с Адорно[1]. Яркое проявление такой взаимосвязи — психология и идеология фашизма (которые, кстати, и послужили отправной точкой упомянутого исследования авторитарной личности).

Однако, как показала история, авторитаризм, нетерпимость и закрытость сознания могут характеризовать не только этноцентрическую, но и враждебную ей идеологическую установку. Действительно, если на одном полюсе мы находим круто замешенный на этноцентризме догматизм национал-социализма, то на другом полюсе — не менее догматичную идеологию и психологию сталинского «интернационализма». Беру это слово в кавычки, чтобы отделить гуманистический принцип преодоления национальной ограниченности от звериных принципов идеологии и политики, антинационалистической по форме и антинациональной по существу. Той идеологии и политики, которая породила чудовищную патологию национальных отношений и за которую страна, вставшая на путь реформ, расплачивается жестокими этническими конфликтами.

Называя идеологию сталинизма антинационалистической по форме, я имею в виду умелое демагогическое использование в ней интернационалистических лозунгов марксистско-ленинской доктрины. Называя ее антинациональной по существу, я говорю о целенаправленном разрушении национальных устоев, традиций, культур народов СССР. Подчеркну: не одного какого-то народа, а всех народов, населяющих возрожденную Сталиным империю. Один из моих начальников, весьма склонный к рукоприкладству, любил говорить: «Я — демократ, луплю всех одинаково». В этом смысле Сталин и его приспешники были «интернационалистами» — перед лицом их террора народы были равны. Различались в основном только формы, время нанесения и направление очередного главного удара.

Этот вот «интернационализм» национального террора в наши дни либо не осознается до конца, либо — в лучшем случае несознательно — отрицается. Ведь пока что скрытой остается точная статистика террора и репрессий (хотя труды Солженицына, Конквеста, Медведева дают основания полагать, что на каждом этапе жертвы исчислялись десятками миллионов). Еще менее известен национальный состав жертв террора. В условиях такой неопределенности, неинформированности несложно объявить тот или иной народ главной (если не единственной) жертвой бесчеловечного режима. Именно так иногда изображают ситуацию сегодняшние националисты. Однако, присматриваясь к истории сталинизма, мы видим, что уже со второй половины двадцатых годов с возрастающей частотой и силой удары наносились по всем народам, постепенно втягивавшимся в мясорубку насильственного построения «светлого будущего». Пусть оплакивающие судьбы православного духовенства и верующего люда поинтересуются судьбой мусульман Средней Азии. Пусть ужасающиеся судьбе русской интеллигенции задумаются над тем, как уже в двадцатых под личным руководством Берии уничтожался культурный слой грузинского народа. Пусть неославянофилы, называющие коллективизацию в России, на Украине и Белоруссии геноцидом (т. е. массовым уничтожением по национальному признаку), вспомнят о том, как в те же годы (1930—1931) «сажают казахов после героического подавления их конницей Буденного»[2]. Но был и геноцид подлинный — как иначе назовешь поголовную депортацию корейцев, греков, немцев Поволжья, чеченцев, балкарцев, крымских татар, турок-месхетинцев, других народов. А можно ли кампанию по борьбе с «космополитизмом» расценивать иначе, чем общегосударственный антисемитский террор? Это лишь отдельные примеры кровавых ударов, нанесенных по «телу» народов. То же самое касается и уничтожения их духа — национальной культуры. Можно ли, к примеру, культурную судьбу мусульманских народов считать более счастливой, чем судьбу народов православных? Ведь для первых была искусственно создана даже новая письменность (русский алфавит), исключающая связи с исламской культурной традицией (после чего население ГУЛАГа пополнилось так называемыми «арабистами» — теми, кто так или иначе использовал арабскую письменность или даже хранил старые тексты). А чем лучше судьба тех евреев, которых уже в «либеральные» брежневские времена преследовали в уголовном порядке за изучение иврита в самодеятельных кружках («пропаганда сионизма»)? Думаю, что даже этот беглый обзор позволяет усомниться в состоятельности деления народов на более и менее пострадавшие. Трудно не согласиться с мнением В. Костикова: «Когда начинаешь анализировать бесконечную череду злодеяний Сталина с точки зрения демографической и национальной, приходишь к мысли о том, что Сталин антисемитом был не больше, чем он был, например, антитатарином, антикалмыком, антигрузином, антиприбалтом или антиславянином... Весь советский народ независимо от национальной принадлежности и вероисповедания был для Сталина лишь оглушенной и ослепленной массой... В общем потоке крови советских людей едва ли можно (да и едва ли этично считаться трагической этой кровью) разглядеть кровавые ручьи тех или иных народов. Сталину нужно предъявлять общий счет за преступление против человечности, а не за разрозненные национальные фактуры»[3].

Однако суть «интернационалистического» догматизма, на мой взгляд, замутняется концентрацией внимания на личности Сталина. Недостаточным для понимания кажется и термин «Сталин и его окружение». Попробуем взглянуть на эту форму догматизма по аналогии с ее противоположностью — этноцентрическим догматизмом. Этноцентрист делит людей на «мы» и «они» по этническому признаку. «Интернационалист» сталинского толка также делит людей на «мы» и «они», но уже по иному признаку. В понятие «они» попадает любая этническая группа, имеющая свое лицо, свою культуру и в силу этого потенциально способная к консолидации, самоорганизации и борьбе за самостоятельность. Самобытные народы в этом смысле не более, но и не менее опасны, чем, скажем, экономически самостоятельное крестьянство. Национальная самобытность чревата плюрализмом интересов и, как следствие, возникновением новых субъектов социального действия, общественной борьбы. И — что самое главное — новых субъектов борьбы за власть. «Интернационализм» сталинского антинационального террора являлся средством упрочения системы власти, стабилизации положения властвующей группы. Именно интересы группы, находящейся у власти, и определяют лицо «интернационалистического» догматизма. Власть предержащие делят общество на «мы» (господствующая группа) и «они» (массы) и делают все возможное, чтобы предотвратить какую-либо самоорганизацию во враждебной группе (в том числе — и по этническому признаку). При этом властвующая группа — отнюдь не только Сталин и его окружение, а огромная иерархически упорядоченная масса людей, осуществляющих господство. Если одна форма догматизма связана с этноцентризмом, то другая — с иной формой группового сознания, которую можно бы назвать «потестоцентризмом» (от лат. potestas — власть). Если этноцентризм сопровождается закрытостью сознания по отношению

[1] Adorno T. a. o. «The authoritarian personality».— New York, Science Editions, 1964.

[2] А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». «Новый мир», 1989, № 8, с. 35.

[3] В. Костиков. «Концерт для глухой вдовы». «Огонек», 1989, № 7, с. 9.

к инонациональным культурным ценностям, то потестоцентризм игнорирует ценности всех национальных культур. Если этноцентрист нетерпим, враждебен к некоторым этническим группам, то потестоцентрист на дух не переносит любой этничности. Если для этноцентриста высшим авторитетом, оптимумом и эталоном является своя этническая группа, для потестоцентриста эту роль играет властвующая группа, к которой он принадлежит. «Интернационализм» безраздельной власти не менее догматичен, чем откровенный национализм и шовинизм. Практическая идеология сталинского «интернационализма» не менее авторитарна, закрыта и нетерпима, чем практическая идеология гитлеровского национал-социализма.

Став составной частью официальной идеологии, псевдоинтернационализм окончательно оформился в свод догматов, составленный из отдельных высказываний классиков и вождей партии и умело прилаженный для оправдания антинациональной политики. На протяжении десятилетий эта система догматов сдерживала развитие честного, объективного и свободного осмысления национальных проблем. Неудивительно, что со временем критика официального интернационализма — в том числе и критика, ведущаяся с позиций этноцентризма,— стала восприниматься как проявление идейной независимости, свободомыслия. Перед лицом господствующей официальной формы догматизма часть общества в значительной мере утратила иммунитет к догматизму этноцентрическому, к различным формам националистической идеологии, обладавшим к тому же привлекательностью запретного плода. Однако управляемая гласность и неуправляемые этнические конфликты последних лет представили «запретный плод» во всей красе. В дополнение к догматике сталинско-брежневского «интернационализма», теряющей популярность даже в официальных кругах, на арену идейной борьбы вышли многообразные формы этноцентристской догматики.

При всем многообразии своих форм современный этноцентризм обладает рядом инвариантных характеристик, определяющих не только его психологию, но и идеологию. Одной из таких инвариантных идеологических характеристик является попытка изобразить антинациональную политику неограниченной власти как форму господства одного народа над другим и тем самым представить социальный конфликт (власть — массы) как конфликт национальный.

Русификация и дерусификация

Такое понимание этнических проблем выступает чаще всего в двух формах. Первая — концепция русификации, согласно которой денационализация жизни многих народов явилась следствием национального, политического и культурного господства русских. У этой концепции есть серьезные гносеологические основания. В самом деле, процессы денационализации прибалтийских республик, например, помимо депортаций и репрессий в отношении коренного населения, включали также форсированный приток рабочей силы — в основном из России, Белоруссии и Украины. В республиках, искусственно превращенных в многонациональные, русский язык распространялся в качестве основного официального языка, насаждался за счет сокращения пространства применения языков коренного населения. Можно вспомнить и то, как места обитания насильственно депортированных народов Кавказа заселялись (часто также насильственно) выходцами из России. Как тут не возникнуть идее русификации!

Русификация действительно происходила. Представляется, однако, что она была не содержанием, а формой, не целью, а средством сталинско-брежневской национальной политики. Чем иначе объяснить параллельные репрессии в отношении русского народа и русской культуры? Целью была денационализация — лишение народов своей самобытности, а значит, и потенциальной возможности самоорганизации и самостоятельности. Русификация была средством и формой денационализации нерусских народов.

Параллельно с русификацией союзных республик шла дерусификация России. Естественно, что самый многочисленный народ империи требовал и самого пристального внимания сталинско-брежневских «интернационалистов». В результате Россия оказалась лишенной даже тех чахлых форм самостоятельности, которые позволялись другим республикам. Ни своей компартии, ни своего комсомола, ни своей академии наук. Насильственно обрубались традиции русской культуры, связывавшие русский народ со своим дооктябрьским прошлым. На месте великого и могучего языка насаждалась донельзя идеологизированная «новоречь» полуграмотной бюрократии. В результате, по меткому замечанию одного из героев Алешковского, чуть ли не единственной неидеологизированной, свободной сферой русского языка стала матерная брань.

Дерусификация России является гносеологической основой еще одной формы, в которой выступает идея национального господства. Она особенно распространена в русском национальном движении — от «уличных» его форм (общество «Память») до литературных (журналы «Наш современник», «Молодая гвардия»). Логика здесь примерно такова: раз русские пострадали от системы не меньше (сторонники этой идеи утверждают, что больше), чем другие, значит, они (как и другие) пали жертвой национального господства какого-то другого народа. Этим другим народом объявляются евреи. Дерусификация России с этой точки зрения является следствием «еврейского засилья» в государственной и культурной жизни. При этом ссылаются, как правило, на высокую долю евреев в составе революционного движения, партийного и государственного аппарата советской власти. На этом тезисе придется остановиться подробнее, так как именно вокруг него сегодня разгораются жаркие идейные, литературные, окололитературные и вовсе не литературные баталии в России.

«Заговор» и «засилье»

Во-первых, сторонники этой точки зрения не делают открытия. О высокой активности евреев в российском революционном движении Ленин говорил еще до Октября[4]. Во-вторых, следует видеть и причины «непропорциональной» (именно это волнует сегодня многих) представленности евреев в революционном движении и далее — в партийном и государственном аппарате в двадцатые — тридцатые годы. Начнем с революционного движения. Думаю, что даже модная ныне идеализация дооктябрьского периода истории России не позволяет усомниться в наличии в ней разнообразных форм национального неравенства и угнетения. Думаю также, что в специальном доказательстве не нуждается тезис, согласно которому (при прочих равных) группы, находящиеся под двойным — социальным и национальным — гнетом, более склонны к участию в общественной борьбе, чем те, которые национального гнета не испытывают. Поэтому, если отмечается более высокая революционная активность низших и средних слоев еврейского населения по сравнению с соответствующими слоями русского населения, этот факт можно объяснить вполне земными, эмпирически наблюдаемыми процессами. Особенно если учесть такие официальные формы гнета, как черта оседлости, и такие полуофициальные, как деятельность черносотенных союзов и еврейские погромы. Тогда не будет нужды прибегать к «сильным» гипотезам (сильные гипотезы в соответствии с логикой научного поиска отбрасываются в первую очередь) вроде «всемирного еврейского заговора» против России. «Что ж удивительного в том, что прозябавшие в нищете и бесправии за чертой оседлости, не один погром пережившие дети местечковых ремесленников с охотой и страстью кинулись в революцию, впервые за многие столетия признавшую их равными всем людям? Но считать на этом основании русскую великую революцию делом рук мирового еврейства — ...значит прежде всего унижать русский народ, полагать его слепой марионеткой, подверженной зловредной манипуляции»,— пишет А. Макаров, анализируя позицию журнала «Молодая гвардия»[5].

Отождествление революции или по крайней мере революционного насилия с еврейским («жидо-масонским», «масонско-сионистским») заговором — один из самых стойких политических мифов нашего столетия. Заметим, что он начинает особенно активно распространяться там, где складывается жесткая альтернатива: демократизация или «закручивание гаек». Россия начала века, Германия двадцатых — сороковых и... Россия восьмидесятых. И аргументация-то совпадает почти текстуально. В ход идут пофамильные списки революционеров еврейского происхождения, заводится волынка о пресловутых «Протоколах сионских мудрецов»... Кстати говоря, совпадения не совсем случайны. Немецкие национал-социалисты немало полезного почерпнули у российских антисемитов — Грингмута, Крушевана, Окрейца и Пуришкевича[6]. Так что современных российских антисемитов трудно обвинить в «подражании Западу»: своя воскрешается идея, хоть и «бывшая в употреблении». Вот на митинге общества «Память» в Румянцевском саду мы слышим: «Вся логика первых лет советской власти — это логика победителей. Победителей еврейского происхождения над аборигенами: народами, населяющими эту страну»[7]. А вот В. Хатюшин в журнале «Москва» пишет: «Троцкий... на практике мечтал легализовать масонскую идею — власть над всем миром. Главным препятствием на пути Троцкого был Сталин, который, по всей вероятности, видел и понимал авантюрность этого масонско-сионистского заговора против человечества»[8]. И тут же список пала-

---

[4] Ленин В. И. «О революции 1905 года». Полн. собр. соч., т. 30, с. 324.

[5] А. Макаров. «По поводу новых песен и старых афоризмов». «Советская культура», 1989, 12 августа. В полемике с А. Макаровым «Молодая гвардия» прибегла к довольно характерным контраргументам. Ни черта оседлости, ни погромы, утверждает доктор исторических наук С. И. Королев («МГ», 1989, № 12), к делу не относятся. Почему же? Да потому, во-первых, что черта оседлости была снята до 1917 года. Не слыхал, похоже, доктор истории о том, что основные социальные и политические силы октябрьского переворота проявились уже в ходе первой русской революции! Потому, во-вторых, что погромы провоцировались евреями. Иначе говоря, избиение евреев — дело рук самих евреев. Как тут не вспомнить гоголевскую унтер-офицерскую вдову. Было бы смешно, когда бы не было так страшно. Ведь только во время первой русской революции, по оценкам Ленина (Полн. собр соч., т. 30, с. 324), в результате еврейских погромов в 100 городах было более 4000 убитых, более 10 000 изувеченных. Наконец, третий довод: и угнетения-то не было, коль скоро в дореволюционной России было множество богатых евреев. Так ведь и среди русских попадались миллионщики — как тут было случиться революции?

[6] А. А. Галкин. «Германский фашизм». М., «Наука», 1989, с. 276.

[7] Стенограмма митинга общества «Память», август 1988. «Меркурий», 1988, № 17 (спецвыпуск), с. 15.

[8] В. Хатюшин. «Не покаяние, но искупление». «Москва», 1989, № 4, с. 170—171.

чей: Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт... А вот С. Куняев в «Нашем современнике» вновь возвращается к «Протоколам сионских мудрецов»: «Эта книга — плод тщательного анализа всей политической истории человечества... Она создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли... Порой содрогаешься от ужаса, что многое предсказанное в них уже осуществилось в истории XX века... «Протоколы» — плод работы античеловеческого ума и почти сверхъестественной, поистине сатанинской воли» [9]. Любопытно, что тот же Куняев в числе мыслителей, «с ответственностью» бравшихся за тему русско-еврейских отношений, называет русского религиозного философа Н. А. Бердяева [10]. А. Бердяев, между прочим, писал по поводу идеи «еврейского заговора» в целом и «Протоколов» в частности следующее: «Когда люди чувствуют себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями историческими, то они ищут виновника, на которого можно было бы все несчастья свалить... Человек чувствует успокоение и испытывает удовлетворение, когда виновник найден и его можно ненавидеть и ему мстить. Нет ничего легче, как убедить людей низкого уровня сознательности, что во всем виноваты евреи. Эмоциональная почва всегда готова для создания мифа о мировом еврейском заговоре, о тайных силах «жидо-масонства» и пр. Я считаю ниже своего достоинства опровергать «Протоколы сионских мудрецов». Для всякого, не потерявшего элементарного психологического чутья, ясно при чтении этого низкопробного документа, что он представляет явную фальсификацию ненавистников еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в департаменте полиции. Он предназначен для уровня чайных «Союза русского народа», этих отбросов русского народа... Есть что-то унизительное в том, что в страхе и ненависти к евреям их считают очень сильными, себя же — очень слабыми.... Русские склонны были считать себя очень слабыми и бессильными в борьбе, когда за ними стояло огромное государство с войском, жандармерией и полицией, евреев же считали очень сильными и не победимыми в борьбе, когда они лишены были элементарных человеческих прав и преследовались... Сознаюсь, что в качестве «арийца» я чувствую себя обиженным и не согласен до такой степени все предоставить евреям... Ленин не еврей, не евреи и многие другие вожди революции, не были евреями огромные рабоче-крестьянские массы, давшие победу революции. Но евреи, конечно, играли немалую роль в революции и ее подготовке. В революциях всегда будут играть большую роль... угнетенные националь-

ности и угнетенные классы... Что евреи боролись за свободу, я считаю их заслугой. Что и евреи прибегали к террору и гонениям, я считаю не специфической особенностью евреев, а специфической и отвратительной особенностью революции на известной стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой роли» [11].

Я специально привел столь обширные выдержки из статьи Бердяева (кстати сказать, высланного из России, т. е. пострадавшего от революционного насилия), чтобы продемонстрировать деградацию анализа русско-еврейских отношений в писаниях «Нашего современника» по сравнению с русской философской традицией, которой — только на словах — следуют Куняев, Кожинов и иже с ними.

Не стоит думать, будто революция разом избавила евреев, в том числе и участвующих в борьбе за новый строй, от дискриминации и гонений. Мы наслышаны о погромах, организованных белогвардейцами, анархистами, петлюровцами. Но иногда забываем, что и Красная Армия комплектовалась тем же человеческим материалом, часто отравленным социальной и национальной ненавистью. Вот дневниковая запись Ивана Бунина (он, по оценке Куняева, также относится к художникам, ответственно анализировавшим русско-еврейские отношения) от 2 мая 1919 года: «Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами... Убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли — шла настоящая охота» [13]. Как-то не вяжется это с образом еврейского главенства над покорным русским народом в годы революции и гражданской войны. И, вероятно, были серьезные основания для подписанного Лениным декрета «О борьбе с антисемитизмом» (лето 1918 г.), который, по мнению «Нашего современника», «поставил евреев в исключительное, привилегированное... защищенное государством, положение» [14].

Перейдем теперь к идее «еврейского засилья» в аппарате революционной власти. Кажется естественной ситуация, в которой группа, активно участвующая в революционном движении, занимает видное место в созданных этим движением органах новой власти. Думаю, что это главная, но не единственная причина, по которой евреи оказались непропорционально высоко представленными в партийном и государственном аппарате, включая карательные органы (излюбленная тема тех публицистов, которые

[9] Куняев С. «Палка о двух концах». «Наш современник» («НС»), 1989, № 6, с. 160—161.
[10] Там же, с. 157.

[11] Н. Бердяев. «Христианство и антисемитизм». «Огонек», 1989, № 46, с. 15—16.
[13] И. Бунин. «Окаянные дни». «Даугава», 1989, № 4, с. 90—91.
[14] С. Куняев. «Палка о двух концах». «НС», 1989, № 6, с. 163.

и ГУЛАГ объясняют «еврейскими происками»). Работа в аппарате, помимо революционного прошлого, требовала от людей если не классической образованности, то по крайней мере изрядной грамотности, умения хорошо читать, писать и считать, ориентироваться в идеологической ситуации. Между тем представители образованного слоя русского населения, по-видимому, чаще оказывались «по ту сторону» баррикад или не спешили идти на службу новой власти [15]. Образованная часть еврейства, до переворота находившаяся в положении дискриминируемой группы, возможно, была более склонной к службе в новых государственных органах. (Учтем при этом и высокую ценность образования в еврейских семьях, обусловленную потребностью получить дополнительный шанс на выживание в условиях дискриминации.)

Процент евреев в аппарате оказался в ряде случаев действительно высоким. К сожалению, полная статистика по этому вопросу не опубликована [16]. Некоторые данные содержатся в докладе ЦКК и РКИ XV съезду ВКП(б) [17]. Однако эти данные отражают национальный состав работающих членов союза совторгслужащих — служащих в организациях различных сфер управления и народного хозяйства, советских, торговых, кооперативных, финансовых, общественных и даже частных. Поэтому, мягко говоря, неточно считать эти цифры данными о составе партийного и государственного аппарата, как это делает все тот же «Наш современник» [18]. (Очень, видно, хочется найти «факты» под милую сердцу идею.) Так вот, по этим данным, максимально представлены евреи в аппарате Украины (русских — 17,2%, украинцев — 54,3%, евреев — 22,6%, прочих — 5,9%) и Белоруссии (русских — 4,9%, белорусов — 60,4%, евреев — 30,6%, прочих — 4,1%). Такой состав служащих на территориях, расположенных за чертой оседлости, неудивителен. Однако можно ли считать это свидетельством «еврейского засилья» (на чем настаивает Куняев [19])? Проведем мысленный эксперимент. Допустим, что каждая национальная группа в аппарате отстаивает не общие, а узконациональные интересы. Правила игры заданы демократическим централизмом (диктат центра, господство большинства, отсутствие у меньшинства права отстаивать свою позицию после принятия решения). Наш мысленный эксперимент покажет, что в аппарате Украины славянское большинство составит по меньшей мере 71,5%, Белоруссии — 65,3%. Еврейское (хотя и многочисленное) меньшинство вряд ли способно диктовать свою волю. Это, повторяю, если даже допустить неправдоподобную идею о том, что евреи отстаивали свои узконациональные интересы. До «еврейского засилья» что-то неблизко. Любопытно, что неославянофилам из «Нашего современника» не приходит в голову мысль взглянуть на белорусскую и украинскую ситуацию с точки зрения братских славянских народов. Ведь и на Украине, и в Белоруссии коренное население было представлено в аппарате незначительным большинством, а в столицах — меньшинством мест. Налицо тенденция не к «сионизации», а к денационализации республик при активном участии и еврейского, и русского населения (в столичном аппарате Украины русских — 33%, евреев — 30%). Причем это тенденция, впоследствии усиленная сталинским руководством: XVII съезд ВКП(б) осудил парторганизации Украины и Белоруссии за «уклон к местному национализму», ставший «государственной опасностью» [20]. (При таком составе аппарата!) Обходят русофилы из «Нашего современника» и данные о совсем не еврейском засилье в аппарате автономных и союзных республик, содержащиеся в том же докладе. Судите сами:

Татарская республика: русских — 65,8%, татар — 25,5%

Казахская: русских — 70,3%, казахов — 16,5%

Карельская: русских — 80,7%, карелов — 10,3%, финнов — 4,6%

Башкирская: русских — 65,5%, башкир — 8,5%

Бурято-монгольская: русских—73,8%, бурято-монголов — 14,1%

Узбекистан: русских — 61,9%, узбеков — 24,7%.

Впрочем, проблемами русификации «Наш современник» не занимается.

[15] К тому же значительная часть русской образованной молодежи в годы первой мировой войны несла офицерскую службу в армии, что на фоне массовых антиофицерских настроений не способствовало активному включению ее в революционный процесс.
[16] Это создает благоприятные условия для «сенсационных» публикаций. В уже упомянутом интервью «Мужество познавать правду» («Молодая гвардия», 1989, № 6, с. 191) С. И. Королев сообщает о засилье евреев в правительстве Советской России в 1920 году. Неплохо было бы дополнить эффектную картинку анализом национального состава всей пирамиды власти, а также изменений, происходивших здесь в 20-е — 30-е годы. Вместо этого историк предпочитает жонглировать еврейскими фамилиями начальников лагерей и директоров универмагов. Боюсь, что в 30-х — 50-х годах (да и позже) у нас хватило бы лагерей и универмагов и для составления «русофобских» пофамильных списков. Попутно отметим в целом весьма вольно подобранную фактологическую базу просторной беседы историка с журналистом. Чего стоит хотя бы ссылка на некие «решения эстонцев и литовцев обучать только эстонцев и литовцев... объявить свои фронты «национал-социалистическими» (читай — фашистскими! — В. К.), а русским давать только рабочие профессии. Похоже, что об этих решениях знает один С. И. Королев. Хорошо бы ему было поделиться своими знаниями хотя бы с активистами прибалтийских фронтов, которые, кажется, проявляют полную неосведомленность относительно их переименования.
[17] XV съезд ВКП(б). «Стенографический отчет». М., Госиздат, 1928, с. 399—401.
[18] С. Куняев. «Палка о двух концах», «НС», 1989, № 6, с. 163.

[19] Там же.
[20] История ВКП(б). М., Госиздат, 1938, с. 307.

Так обстояло к концу 1927 года дело с «засильем» в республиках. Ну а в центре? Посмотрим на данные ЦКК и РКИ о составе аппарата в Москве и Ленинграде (в процентах):

Москва: русские — 83,7, евреи — 11,8, прочие — 4,5.

Ленинград: русские — 82,5, евреи — 9,4, прочие — 8,1. Картина, еще меньше похожая на «еврейское засилье», чем то, что мы видели на Украине и в Белоруссии; хотя, конечно, процент евреев весьма высок, что, видимо, объясняется уже названными причинами. Но это, напомним, состав служащих всех категорий. Доля евреев в совнаркомах, исполкомах, Советах чуть ниже: в Москве — 10,3%, в Ленинграде — 8,1%. Не подтверждаются фактами и представления о преобладании евреев в карательных органах. В судебно-следственных органах Москвы евреи составляли 7,8%, Ленинграда — 8,7%; в милиции и угрозыске — 1,6% и 1,0% соответственно.

Такова ситуация к концу 1927 года (XV съезд проходил в декабре). В последующей истории страны складывалась ситуация, благоприятствующая не росту, а сокращению доли евреев в аппарате. Действительно, XV съезд был съездом политического разгрома левой оппозиции. За исключением из партии деятелей «троцкистско-зиновьевского блока» последовала чистка госаппарата. А среди сторонников Троцкого, Зиновьева, Каменева евреев было немало (так что этот акт сталинского политического террора подчас рассматривается как направленный против евреев[21]). Репрессии середины 30-х годов и в особенности 37-го года были в значительной мере направлены против аппарата, служащих партийных и государственных органов. Очень модное среди публицистов «Нашего современника» и «Молодой гвардии» злорадное противопоставление террора коллективизации и 1937 года подспудно означает: в тридцатом пострадали «наши» (крестьянство, русские), а в тридцать седьмом «ваши» (интеллигенция, евреи). Мало сомнений в том, что после радикальной смены состава партийного и госаппарата процент евреев в нем не мог остаться на прежнем высоком уровне послереволюционного периода. Это касается и «отстрела» аппарата НКВД, возглавлявшегося Ягодой, с приходом Ежова. Затем массовое истребление евреев на территории СССР в годы войны — могло ли это способствовать «засилью»? Послевоенная борьба с «космополитизмом» обернулась репрессиями, травлей и изгнанием евреев, находившихся на мало-мальски заметных постах. Еврейская эмиграция 70-х и 80-х годов явно сокращала базу «засилья» (Куняев считает, что выехал «чуть ли не каждый пятый»[22]). Одновременно в 70-е годы развернулась организованная, хотя и не рекламируемая антиконституционная политика ограничения прав евреев, в результате которой в два раза сократилось количество евреев-студентов высших учебных заведений, уменьшилась традиционно высокая доля евреев среди специалистов[23].

Но вот что интересно. Получается, что по мере сокращения доли евреев в аппарате власти положение русского народа вовсе не улучшалось. Сейчас, по мнению многих авторов, русский народ стоит на грани демографической катастрофы, вымирания. Неужели опять происки евреев в аппарате? Наш управленческий аппарат составляют, как известно, 18 миллионов человек. Если бы все евреи Советского Союза от мала до велика захотели устроить свое засилье в аппарате, они бы смогли занять всего лишь 10% мест. Далее, несмотря на перестроечные решения о привлечении беспартийных на руководящие посты, большинство таких постов в последние годы по традиции занималось членами партии. Сколько евреев в КПСС? Журнал «Известия ЦК КПСС» (судя по составу редколлегии, издание не «сионистское») отвечает: русских — 58,6%, евреев — 1,1%[24], т. е. чуть больше, чем один из ста членов КПСС, один из ста реальных претендентов на руководящие посты — еврей. Но, может быть, этот «один из ста» засел на ключевых постах, на вершине пирамиды власти?

Вплоть до самого последнего времени огромная и мало чем ограниченная власть была сосредоточена в руках ЦК КПСС. И не только номинально как политического руководства. Но и реально — в силу должностного статуса большинства членов ЦК. Посмотрим на состав ЦК, избранный на начальном этапе перестройки на XXVII съезде КПСС. Из 281 члена ЦК, биографии которых опубликованы журналом «Известия ЦК КПСС» (№ 2 за 1989 г., с. 44—114) к моменту избрания съездом (в 1986 г.), 42,1% составляли руководящие партийные работники (секретари ЦК союзных республик, обкомов, горкомов, аппарат ЦК); 22,4% — министры, заместители министров; 15,3% — крупные военные, работники правоохранительных органов, дипломаты; 7,1% — аппарат Советов и общественных организаций; еще 4,6% — руководители предприятий, учреждений науки и культуры. Таким образом, более 90% членов ЦК являются носителями реальной власти помимо политической. «Рядовые» рабочие, крестьяне, интеллигенты составили всего 8,5% (хотя они чаще всего — депутаты, члены комиссий ЦК). Каков же национальный

[21] В. Костиков. «Концерт для глухой вдовы». «Огонек», 1989, № 7, с. 9.

[22] Куняев С. «Палка о двух концах». «НС», 1989, № 6, с. 160.

[23] Там же.

[24] «Известия ЦК КПСС», 1989, № 2, с. 140.

состав этой группы, сосредоточившей огромную политическую, административную и хозяйственную власть? А вот какой: русские — 74%, украинцы — 13%, белорусы — 5%, другие национальности — 8%, то есть 92% составляют представители славянских народов. А евреи? Сколько их из тех 8%? «Известия ЦК» отвечают: в 1986 году в состав ЦК был избран только один еврей — главный редактор «Литературной газеты» Александр Борисович Чаковский.

Итак, славянские народы, и прежде всего русский,— в катастрофическом положении. Между тем в высшем органе политической власти 92% их представителей. Уж не Александр ли Борисович козни строил против всего славянского большинства, а заодно против всего русского народа? Что-то не клеится фактура под концепцию «засилья». Правда, могут найтись особенно пытливые исследовательские умы, которые пожелают знать полную родословную всех руководителей. Боюсь, однако, что если поиск «врагов нации» и в этом случае разочарует особо бдительных, на следующем этапе потребуют печально знаменитых деревянных циркулей для определения расовой принадлежности по конфигурации черепа.

Еще одна область, в которой настойчиво стремятся увидеть «засилье»,— духовная культура. Истоки духовного кризиса некоторые из публицистов связывают с непропорционально высоким представительством евреев в культурной сфере. И здесь полной статистики у нас на руках нет. Помнится, в интервью французскому телевидению (одном из первых, данных новым генсеком западной прессе). Горбачев говорил о 10—20%. Но, во-первых, хотелось бы знать: десять все-таки или двадцать? Во-вторых, что́ понимается под культурой? Как, например, активность евреев в области точных, естественных и технических наук может способствовать разрушению русской культуры? Это, по-видимому, могут утверждать либо те, кто считает современную технику и технологию выгодной евреям и невыгодной русским, либо те, кто может даже геометрию делить на «арийскую» и «неарийскую». Разговор, наверное, следует ограничить гуманитарной культурой. Логически рассуждая, версию разрушения этого слоя русской культуры можно представить в двух вариантах. Первый: русская культура, ее традиционные ценности вытесняются еврейской культурой. Но эта идея попросту смехотворна в стране, где после десятилетий небытия только в 1989-м зашла речь об открытии еврейской школы (в Риге), где борьба с космополитизмом обратила в руины еврейское искусство (взять хотя бы театры), где иудаизм подвергся не менее жестокому государственному террору, чем православие. Второй вариант: евреи проникают в институты русской культуры и исподволь разрушают ее изнутри, протаскивая чуждые ей ценности[25]. Эта версия кажется более серьезной. Однако чтобы этот вариант концепции культурного засилья стал предметом объективного научного анализа, нужно четко определить некоторые вещи. Во-первых, каковы коренные духовные ценности еврейской культуры. Во-вторых, каковы коренные духовные ценности русской культуры. В-третьих, однородны ли русская и еврейская культуры, или внутри каждой из них содержатся противоречивые элементы, ценности-антагонисты. В-четвертых, враждебны ли ценности одной культуры ценностям другой культуры. В-пятых, какие именно ценности русской культуры разрушаются. В-шестых, какую роль в их разрушении играют русские, какую — евреи, какую — социально-политические факторы, какую — внутренние закономерности развития, прогресса и деградации культурных систем, описанные, например, Шпенглером. Если эти принципиальные вопросы останутся без ответа, разговор о подрыве русской культуры останется на обывательском уровне поиска виноватых. И в этих поисках останется руководствоваться тем же чутьем, с помощью которого раньше выявляли классовых врагов.

Думаю, что систематизация духовных ценностей русской и еврейской культур и анализ их на предмет внутренней непротиворечивости и внешней совместимости — задача колоссальной трудности. Может быть, именно за трудность доказательства, а значит, и трудность опровержения идея полюбилась тем, кто склонен искать виновных в ком угодно, кроме самих себя. Кроме того, я полагаю, что в духовной культуре советского еврейства за 70 лет оказались подорванными те же ценности, что и в русской культуре (например, трудовая этика, милосердие, чувство ответственности). Полагаю также, что многие идеи и ценности, выдаваемые за чуждые, привнесенные еврейством, можно обнаружить и в русской культурной традиции, а другие порождены не национальными культурами, а общими условиями советского бытия. Например, эсхатологический характер, который в массовом сознании приобрела «масонско-сионистская» идея мировой революции (вспомним героев Платонова),— не был ли он обусловлен православной традицией ожидания конца света и утверждения Царства Божия? А ведь конец света и Царство Божие в отличие от социалистической революции не могут случиться первоначально

[25] И опять приходится вспомнить хрестоматийную публикацию в «Молодой гвардии». Здесь вандализм в отношении русской культуры «выводится» из талмудизма (1989, № 12, с. 197—198). Очень плодотворный подход! Наверняка с его помощью удалось бы раскрыть сионистскую подоплеку и китайской «культурной революции» и полпотовского ада в Камбодже. Оказывается, разрушение традиционной культуры не зловещая закономерность революционных переворотов, а все те же происки.

в одной отдельно взятой стране. Не был евреем Макар Нагульнов, не был жидомасоном и воспевший его Шолохов.

Я думаю, что рассуждения о роли еврейства в разрушении традиционной русской культуры являются мистифицированной интерпретацией одной существенной социологической закономерности культурного развития нашей страны. Речь идет о той заметной роли, которую в развитии советского общества и его культуры сыграли деклассированные, маргинальные группы. Роль маргинальных групп (групп, занимающих промежуточное положение на стыке различных социальных общностей и их культур) вообще велика в революционном процессе. С другой стороны, маргинализация народа является прямым следствием разрушения традиционного экономического в социального уклада. Вливаясь в те или иные общественные слои, маргинальные массы способствуют размыванию, а то и разрушению субкультур, традиционных для этих слоев. Так, трудармии, голод начала двадцатых, а затем и форсированная индустриализация коренным образом изменили облик малочисленного городского пролетариата, растворив его в огромной массе выходцев из деревни — еще не пролетариев, но уже и не крестьян, что отразилось на культуре, психологии и идеологии рабочего класса. Маргинализация, похоже, целенаправленно использовалась новой властью. Так, традиционная интеллигенция была частично уничтожена физически, частично растворена в маргинальной массе вчерашних рабочих и крестьян, сегодняшних работников умственного труда. А можно ли представить себе более маргинальную фигуру, чем вчерашний рабочий, красноармеец, ставший председателем колхоза (вроде шолоховского Давыдова)? Маргинальный элемент способен разрушать традиционный уклад с куда большей последовательностью, чем коренной представитель этого слоя. Это относится и к денационализации, в ходе которой активно использовались группы, маргинальные в культурном отношении. Одну из таких групп составляли революционеры и советские служащие еврейского происхождения, одинаково чуждые как традиционной еврейской, так и русской культуре. Разрушительный потенциал этой группы было очень удобно использовать в борьбе с традиционными ценностями обеих культур. Впрочем, так же, как и деструктивную мощь тех слоев русского населения, которые утратили связи с национальной культурой. Поэтому, если говорить всерьез о роли функционеров еврейского происхождения в дерусификации, ее надо рассматривать как частный случай роли маргинальных групп, активно используемых в процессе разрушения традиционной культуры. Версия русско-еврейского культурного противоборства в этом плане предстает как очередная подмена социального конфликта национальным.

Замечу также, что в области культурной обвинения против еврейства порой исключают друг друга. То намекают, что мотивы восторженного подчинения тоталитарному режиму привнесены в русскую словесность литераторами-евреями. («Бесполезная затея: вполне русские по традиции А. Толстой и Л. Леонов, Вс. Иванов и К. Федин, Н. Тихонов и Н. Асеев проделали тот же путь, что и Багрицкий, или Сельвинский, или И. Эренбург, и с тем же, в общем, результатом»,— пишет по этому поводу В. Воздвиженский[26].) То утверждают, что евреи будто бы протаскивают в общественное сознание идеи многопартийной демократии западного толка. Нелогично? Нет, известная логика здесь присутствует. Ее основной постулат: еврейская идея (будь то тоталитаризм или демократия) в корне враждебна идее русской. На этом постулате строятся разнообразные версии национального противоборства — от площадной демагогии лидеров «Памяти» до литературоведческих и социально-философских эссе в солидных журналах. За таким постулатом уже знакомая нам этноцентрическая установка: «мы», наши этнические ценности и «вы» с вашими враждебными ценностями.

Странная логика Игоря Шафаревича

До недавних пор идеология этноцентризма не находила систематического выражения в официальной русской печати, хотя и прочитывалась без труда в потоке публикаций журналов и газет, присвоивших себе право выступать от имени русского народа. Однако в середине 1989 года ситуация изменилась. То, что раньше было бессистемно рассредоточено в публицистике и литературной критике, приобрело наконец-то вид некой концепции. И случилось это благодаря публикации эссе И. Шафаревича «Русофобия» в журнале «Наш современник». Некоторые подходы автора эссе существенно проясняются и другой его работой, почти одновременно опубликованной в «Новом мире». «Русофобия» написана в начале 80-х годов. Однако, уверяет редакция «Нашего современника», «как убедится читатель, она не утратила актуальности»[27]. Чем привлекла редакцию давнишняя работа Шафаревича, становится ясно из ее содержания.

Не разделяя взглядов Шафаревича по большинству принципиальных вопросов, я считаю публикацию его эссе весьма полезным явлением. И не только из соображений углубления плюрализма. Думаю, что советскому математику удалось то, что не удавалось его единомышленникам из числа литераторов и публицистов: логично, с философскими и историческими выкладками изложить четкую этноцентристскую концепцию кризиса советского общества и путей выхода из него (кризиса). Впервые эта концепция представлена в форме, заслуживающей обсуждения и критики. Попытаемся разобраться в логике и аргументации автора.

[26] В. Воздвиженский. «Путь в казарму или еще раз о наследии», «Октябрь», 1989. № 5. с. 178.

[27] «Наш современник», 1989, № 6, с. 167.

Однако, прежде чем перейти к критическому анализу работы Шафаревича, хотелось бы перечислить те его тезисы, которые представляются правомерными. Вероятно, критика бессмысленна там, где отсутствует согласие по некоторым вопросам. Бессмысленно было бы, например, критиковать геометрию Лобачевского с эвклидовской точки зрения. Противоположность воззрений обретает какое-то конструктивное значение там, где их носители разделяют определенные постулаты. Какие же идеи Шафаревича разделяю я, принимаясь за критический разбор его работы?

Во-первых, как и Шафаревич, я считаю неправомерными рассуждения об архетипических чертах русской души, якобы обусловивших трагизм российской истории (культ власти, рабская психология, нетерпимость). Полагаю, что всякого рода прозрения в суть национальной души — благодатнейшая почва для мистификаций, субъективистских интерпретаций и стереотипов. Зыбкость таких стереотипов явственно обнаруживается, когда рядом с Бакуниным видишь Герцена, рядом с Победоносцевым — Толстого, рядом с Горьким — Короленко. Или считать одних — русскими, других — нет? Такого рода прозрения не имеют ничего общего с объективным научным подходом к проблемам исторической судьбы народа. В форме мистических откровений рассуждения о сущности национальной души не раз использовались для разжигания розни и нетерпимости между людьми (вспомним интерпретации немецкой души в профанированном ницшеанстве гитлеризма, испанской души — в идеологии франкизма и т. п.). Если же говорить всерьез об элементах рабской психологии в общественном сознании, их можно рассматривать не как порождение русской души, а как продукт исторических условий жизни народов под гнетом авторитарных и тоталитарных режимов (особенно в последние семьдесят лет). Подчеркну: народов, а не одного из них.

Во-вторых, как и Шафаревич, я считаю русофобию (понимаемую как страх и одновременно ненависть ко всему русскому) явлением патологическим, по сути не отличающимся от других форм расовой и национальной нетерпимости. При этом (вероятно, в отличие от Шафаревича) я считаю самым пагубным способом «борьбы» с русофобией попытку противопоставить ей какую-либо иную фобию. Например — юдофобию (страх и ненависть ко всему еврейскому).

В-третьих, как и Шафаревич, я не считаю слепое копирование западных вариантов развития выходом из кризисного состояния нашего общества, как не считаю и западную технократическую цивилизацию образцом и идеалом для подражания. Мне, как и Шафаревичу, хотелось бы верить в то, что Россия найдет свой специфический путь в будущее между Сциллой тоталитарной отсталости и Харибдой технократической дегуманизации. Теперь, определив точки соприкосновения, проведем и демаркационную линию. Для этого в самых общих чертах воспроизведем основные идеи рассматриваемой концепции.

Вглядываясь в «первозданный хаос» разнообразных идеологических направлений, Шафаревич обнаруживает в нем одну четкую концепцию, которую считает «выражением взглядов сложившегося, сплоченного течения»; начало ему в самиздате положено в конце 60-х годов. Это течение представлено обширной литературой, растущей от года к году. В качестве материала для анализа Шафаревич использует самиздатовские и «там»-издатовские работы ряда авторов еврейского происхождения (Померанц, Амальрик, Шрагин, Янов). В эту же команду зачислен и американский советолог Ричард Пайпс (тут же приводится альтернативная транскрипция фамилии — Пипес или Пипеш — этого выходца из Польши). Указанные авторы считают, что историю России определяют архетипические русские черты (рабская психология, преклонение перед властью, мессианизм, тоска по Хозяину), в результате чего страну терзают деспотические режимы и кровавые катаклизмы. Они считают революцию 1917 года закономерным следствием всей русской истории, а сталинизм — возрождением русских традиций сильной власти. На эту концепцию и обрушивается Шафаревич, утверждающий, что отношение русских допетровской эпохи к власти не похоже на рабскую покорность, что тоталитаризм — порождение Запада; что мессианизм не свойствен русским (дело лишь в том, что западный «революционный мессианизм» к концу века захлестнул и Россию); что социализм был полностью привнесен в Россию с Запада. Анализируя политические рецепты, предлагаемые его оппонентами, Шафаревич видит в них навязывание «неорганичных» для России западных вариантов многопартийной демократии, вне которой Амальрик, Янов и другие не видят будущего для России. В противоположность им Шафаревич полагает, что Россия может развиваться только своим собственным, органичным ей путем. Неорганичность, враждебность всему русскому, механистическое навязывание чуждых идей — в этом Шафаревич видит суть критикуемого течения. Неорганичность и враждебность национальным основам жизни народа — свойство особой группы общества, которую Шафаревич вслед за Огюстеном Кошеном называет «Малым Народом». Роль Малого Народа может выполнять рели-

гиозная (английские пуритане), социальная (французское III сословие) или национальная группа (ядро Малого Народа в современной России составляют националистически настроенные евреи). Однако всегда Малый Народ ведет борьбу за разрушение национальных и религиозных основ жизни Большого Народа (у нас — русского народа) и за право безответственно манипулировать его судьбами. Средством такой манипуляции и является русофобская пропаганда, подрывающая национальные устои жизни, дискредитирующая прошлое, настоящее и будущее России, разрушающая русское национальное самосознание. Малый Народ ведет Россию к последней катастрофе, после которой от Большого Народа (русского) ничего не останется.

Такова, повторим, в самых общих чертах концепция Шафаревича. Попробуем последовательно разобрать его аргументацию. При этом я не собираюсь выступать в роли адвоката оппонентов советского математика, оставив на его совести точность изложения и адекватность интерпретации этих малоизвестных публицистов. Меня куда более интересуют идеи самого Шафаревича.

Враждебный мир и грядущая катастрофа

Теоретические построения Шафаревича останутся не до конца понятными, если не принять во внимание общий настрой, эмоциональный фон его работы. Таким фоном является ощущение жизни во враждебном окружении, в агрессивной среде, воздействие которой ведет к катастрофе. Действительно, Шафаревич полемизирует не просто с группой авторов. Его занимает идеология «сплоченного течения», ведущего целенаправленную антинациональную пропаганду. Влияние этой идеологии огромно. «Она привлекла много авторов... ее приняли западные социологи, историки и средства массовой информации в оценке русской истории и теперешнего положения нашей страны»[28]. Правда, не уточняется, какие именно социологи, историки и средства информации разделяют указанную идеологию. Может быть, от этого и создается впечатление ее повсеместного распространения на Западе. «Приглядевшись, можно заметить, что те же взгляды широко разлиты в нашей жизни: их можно встретить в театре, кино, песнях бардов, у эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах»[29]. Антинациональная, русофобская идеология может «захватить на время сознание народа, даже будучи совершенно чуждой его духовному складу». Тогда — катастрофа. «...Исчезает интерес человека к труду и судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных вспышках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков и наркоманов, женщины перестают рожать, народ вымирает»[30].

Читаешь и ужасаешься: господи, да ведь все это (ну, может быть, за вычетом умирания) уже происходит! Пропадает интерес к труду, растет насильственная преступность, рождаемость падает. И ведь (пусть в меньших размерах) эти тенденции нарастали уже тогда, когда писалась работа. Шафаревич концентрирует наше внимание на реальных социальных болезнях, принимающих действительно угрожающий размах. Благое дело! Но как оно делается? Как объясняются болезни, ведущие к катастрофе? Тут посрамленными оказываются социологи, экономисты, политологи, психологи, пытающиеся отыскать внутренние пороки системы, выявить болезнетворные факторы. Причина не в отчуждении народа от собственности, не в тоталитарном политическом строе, не в моральном кризисе, не в социальном неравенстве... Причина — во враждебном окружении (западные социологи, историки, политики, средства массовой информации) и в деятельности сплоченного отряда внутренних врагов русского народа.

Как же все это знакомо! Сколько раз это уже было! В дооктябрьском варианте, когда народу вбивали в голову: внешний враг — германец, внутренний враг — евреи и студенты (замечательно это у Куприна описано). Послеоктябрьские варианты были поразнообразней. «Русофобия», похоже, восстанавливает классические образцы. Но не следует думать, будто Шафаревич решает какую-то сугубо локальную, внутреннюю проблему. Нет, его заботят судьбы не только русского народа, но и всего человечества. Пытаясь уяснить причины и цели русофобского течения, пишет он, «мы неизбежно сталкиваемся с одним вопросом, находящимся под абсолютным запретом во всем современном человечестве. Хотя ни в каких сводах законов такого запрета нет... каждый знает о нем, и все покорно останавливают свою мысль перед запретной чертой. Но не всегда же... ходить человечеству в таком духовном хомуте!»[31]

Итак, Шафаревич пытается не только защитить русский народ, но и освободить все человечество от «духовного хомута». Сильны же его противники, если сумели схомутать все человечество! Это ведь уже на всемирный заговор тянет. И что же это за запретный вопрос, перед которым покорно останавливают мысль все, кроме, конечно, Шафаревича? Это остается без дальнейших пояснений, но, дочитав эссе до конца, можно понять, что речь идет о столь уже знакомом нам еврейском вопросе. Впрочем, об этом позже.

Внешний мир, враждебно настроенный к русскому народу. Сплоченные могущественные внутренние враги, толкающие народ к катастрофе, симптомы которой слишком уж заметны. Тайные силы, одевшие духовный хомут на покорное человечество. Таково мироощущение, пронизывающее работу Шафаревича. На таком фоне разворачивает он свою аргументацию. Напомним, что социально-психологические исследования напрямую связывают закрытость сознания с ощущением враждебности мира, угрозы, исходящей от реальности. Когнитивная система становится в этом случае все более замкнутой, человек теряет способность отделять информацию от источника, встает под знамя некоторого позитивного авторитета, а враждебное начало связывает с авторитетом негативным... Как мы увидим ниже, логика Шафаревича не избежала подобного влияния со стороны ощущения враждебности мира.

[28] И. Шафаревич. «Русофобия». «НС», 1989, № 6, с. 167.
[29] Там же.
[30] Там же.
[31] Там же.

Идейные истоки «русофобии»

Шафаревич видит в упомянутом уже сплоченном течении и датирует концом 60-х годов. Запад принял эту идеологию в готовом виде. У нас она насаждается умелой пропагандой. Подход весьма характерный для закрытого, догматического сознания: указывать на одну и только одну причину какого-то социального явления. Между тем непредвзятое исследование, вероятно, могло бы обнаружить не одну, а комплекс причин страха и неприязни к «русскому». Ставлю это слово в кавычки, поскольку, если брать западное общественное мнение, уместнее, кажется, говорить о «советофобии». Другое дело, что советское в западном сознании и в повседневной речи часто отождествляется с русским. И Союз наш там часто называют Россией. Так же, как и мы Великобританию по традиции именуем Англией, британцев — англичанами (на что шотландцы, к примеру, обижаются).

Я думаю, что наша держава за десятилетия сталинского и брежневского правления дала западному обществу достаточно оснований для советофобии. Вспомним хотя бы сговор с гитлеровской Германией о разделе сфер влияния в Европе, 1956 год в Венгрии, 1968-й — в Чехословакии, бесславную афганскую кампанию, ставшие достоянием гласности ужасы тоталитарного террора. Что страх перед советской угрозой существовал и существует в западном общественном сознании, в доказательстве не нуждается. Что советская угроза по традиции, идущей, вероятно, со времен Российской империи, подчас именуется русской, тоже, кажется, понятно. Что эта «фобия» не является коренной чертой западного общественного мнения, видно хотя бы по энтузиазму (порой чрезмерному), с каким приветствуется политика перестройки и гласности. Что многие западные ученые пытались и пытаются найти предпосылки тоталитаризма в дооктябрьской истории России, представляется правомерным историческим подходом (ищет же Шафаревич истоки кризиса современной цивилизации в многовековой традиции западного «либерального течения прогресса»). Но если даже брать идейные источники западной советофобии, выступающей в форме русофобии, их окажется куда больше, чем считает Шафаревич. Разве мало было свидетельств иностранцев об ужасах российской деспотии? Неужели широко эрудированный Шафаревич не слышал о Сигизмунде Герберштейне, де Кюстине, Джордже Кеннане? Думаю, слышал и читал. Но не считает нужным принять во внимание. А если брать советские литературные источники, внушающие страх перед тем, что может прийти из России, можно ли сравнить влияние всему миру известного солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» с публицистикой кучки малоизвестных диссидентов и эмигрантов?

И уж просто непростительно для аналитика, пытающегося выявить генезис той или иной идеологии, ограничивать круг источников литературой двух последних десятилетий. Если бы Шафаревич всерьез искал идейные истоки, исторически сложившуюся парадигму аргументации, а не виноватых в насаждении «русофобии», то пришлось бы ему, вероятно, хорошенько разобраться в стародавних разногласиях западников и славянофилов. Русский национальный характер, история России и возможности ее развития по западному или собственному, «особливому» пути были начиная с 40-х годов прошлого века предметом непрекращающихся дискуссий между представителями этих двух (внутренне весьма неоднородных) течений. А это ведь как раз те вопросы, по которым Шафаревич ведет полемику с Амальриком, Шрагиным, Яновым и другими. Для читателя, мало-мальски знакомого с историей русской мысли, и вопросы эти, и частично аргументация той и другой стороны выглядят удручающе предсказуемыми. Но Шафаревич не хочет рассматривать свою борьбу с Малым Народом в такой исторической ретроспективе. Еще бы! Ведь тогда пришлось бы признать генетическую связь идеологов «русофобии» с *русской* культурной традицией, хотя бы и выступающей в западническом одеянии. А тогда — внешне стройная концепция рассыпается как карточный домик.

Характерен и «метод» доказательства русофобской сути критикуемого идейного течения — подбор цитат. Но тот же самый метод, примененный достаточно последовательно не только к диссидентской и эмигрантской, но и к русской классической литературе, мог бы, вероятно, привести Шафаревича к весьма парадоксальным выводам. Не оказалось бы, что и русская классика отравлена «русофобией»! Эта опасность, похоже, осознается ловцами «блох русофобии». И вот уже высказываются (в телепрограмме «До и после полуночи») сомнения относительно

авторства строк о «стране рабов, стране господ» (не мог, мол, русский поэт т а к о г о сказать!). Подчеркивается (в «Нашем современнике»), что слова о «нации рабов» сказаны не Чернышевским, а одним из его героев. Боюсь, однако, что даже такой изобретательности не хватило бы, скажем, для перетолкования пушкинского страха перед жестоким и бессмысленным русским бунтом, для «русофильского» объяснения негодования А. К. Толстого от мысли, что могло существовать общество, которое «без негодования» смотрело на Иоанна IV («Князь Серебряный»). Для такого вот тургеневского описания русской фабрики: «...Всюду поражала небрежность, грязь, копоть; ...а какой смрад, какая духота всюду!— Русская фабрика — как есть; не немецкая и не французская мануфактура» («Новь»). Можно себе представить, в сколь затруднительное положение поставил бы Шафаревича и его единомышленников Салтыков-Щедрин своей «Историей одного города». Страшно подумать, какую ярость, какие обвинения в глумлении над историей государства российского могла бы вызвать щедринская сатира у публицистов «Нашего современника», будь она обнародована в наши дни!

Ну, положим, неприязнь Тургенева к грязной русской фабрике можно списать на западническую его ориентацию (что, мол, взять с Ивана Сергеевича, который и умер-то «в эмиграции». Страшный, по понятиям современных «русофилов», грех). Щедринскую сатиру — на демократические его убеждения. Но как быть с мыслителями, которых ни в западничестве, ни в излишнем демократизме не обвинишь? Например, с В. Розановым, числившим за русской психологией отсутствие сознания своих предков и своего потомства, радикальный нигилизм? [32]

Нет смысла далее множить подборку цитат. Сам этот метод порочен. Он годится скорее для жандармских досье или верноподданнических доносов, чем для серьезного анализа. И благо, что защитники русского народа в поисках истоков русофобии не добрались пока до классиков. А то, как знать, не потребуют ли они цензурных купюр в собраниях сочинений? Важно другое: выхватывание отдельных фрагментов литературной и идейной борьбы из общего культурно-исторического контекста, похоже, является для Шафаревича весьма характерным «методологическим» приемом. Выше мы говорили, что концепция «Русофобии» рассыплется, если взглянуть на некоторые идеи этой работы в ретроспективе полемики западников и славянофилов, если вызвавшие бурю высказывания Гроссмана рассматривать в контексте традиций русской литературы. Если видеть в жестких суждениях о русской душе выражение страдания писателя, ощущающего единство своей индивидуальной судьбы с судьбой народа. Что же может помешать именно так взглянуть на рассуждения Гроссмана о рабской русской душе? Вижу один ответ на этот вопрос: национальность писателя, определяемая не по языку и культуре, а исключительно по крови. Вместе с тем «методология» Шафаревича не стоит на месте. Если в эссе начала 80-х он, не ограничиваясь подбором цитат, рассматривает и общую концепцию своих оппонентов, то в конце 80-х ему достаточно уже и одних цитат, чтобы признать русофобами и Гроссмана, и тех, кто его публикует.

Но вернемся к «Русофобии». Как видим, она раз за разом дает нам хрестоматийные образцы догматического мировосприятия. Одна из его особенностей, как показывают социально-психологические исследования, состоит в избегании, игнорировании источников информации, способной разрушить символ веры. Как мы увидим ниже, такое избегание характеризует взгляды Шафаревича и по другим вопросам.

Взгляд на русскую историю

Посмотрим, как полемизирует Шафаревич с публицистами Малого Народа по проблемам русской истории. Она, по мнению автора «Русофобии», опровергает домыслы о характерной для русских «рабской покорности» сильной власти. Свидетельство тому — Раскол, не принятый «б о л ь ш о й ч а с т ь ю (разрядка моя.— **В. К.**) нации». Тогда как в Англии «б о л ь ш и н с т в о народа» приняло религиозную реформу Генриха VIII [33]. Странное для математика обращение с понятиями, выражающими количество! В одном случае «большая часть», в другом — «большинство». Както неясно, большинство или меньшинство русского народа составила «большая часть» противников церковной реформы. Вероятно, все-таки меньшинство [34]. Но математику здесь, вероятно, удобнее не вносить полной ясности.

Затем утверждается, что формы подчинения церкви государству «точно скопированы» Петром I у Запада, что в этих формах нет ничего типичного для русских [35]. Но тогда снова закономерные вопросы: почему в самобытной и непокорной России так легко оказалось скопировать западные формы? Почему эти «западные» формы на столетия утвердились в России? Почему, наконец, не Запад (с которого скопирован госконтроль над церковью?), а Россия в XX веке преподнесла миру урок не просто «подчинения», а избиения церкви государством? Как непокорный и к тому же глубоко религиозный народ допустил физическое истребление за один год Советской власти (к 1919 году) 320 тысяч священнослужителей? [36] Напрасно мы будем искать ответы на эти вопросы у Шафаревича. Очень уж это неудобные вопросы.

Следующий пункт разногласий Шафаревича с идеологами Малого Народа — тоталитаризм. И здесь виновата не Россия, а Запад. «Вся концепция тоталитарного государства,— пишет Шафаревич,— ...была полностью разработана на Западе,— а не будь она столь глубоко разработана, она не могла бы найти и воплощения в жизни» [37]. Доказательство — тоталитарные взгляды Гоббса, Спинозы и Руссо. Правда, не очень понятно (или слишком понятно), зачем Шафаревич ставит Спинозу вместе с Гоббсом в один строй идеологов тоталитаризма. Ведь в отличие от Гоббса Спиноза указывал на необходимость свободы мысли, совести, слова, вероисповедания, неприкосновенности частной собственности, беспрепятственной коммерческой деятельности. Вновь мы сталкиваемся с характерным признаком догматического сознания, который психологи называют «дедифференциацией». Так, для «марксистского» догматика Швеция не отличается от Японии: и здесь, и там — капитализм. Американские республиканцы не отличаются от демократов: все они — наемники крупного капитала. Вот и для Шафаревича два западных идеолога сильного государства не отличаются друг от друга: оба разрабатывали тоталитаризм. Печальная для ученого особенность мышления.

Но не это главное. Главный вопрос в том, почему Запад, «детально разработавший» концепцию тоталитаризма, так и не воплотил ее в жизнь в чистом виде? (Современная политология даже фашистскую Германию считает не чисто тоталитарным, а авторитарно-тоталитарным государством.) И почему, с другой стороны, наша страна, не разработавшая такой концепции, преподнесла миру чистые формы тоталитарной власти, да еще и просуществовавшие более полувека? Что за особенность такая в русском обществе: стоит заимствовать какую-то сугубо не русскую идею, как приживается она и разрастается до немыслимых на Западе размеров и практических воплощений? Так, пытаясь защитить Россию от обвинений в исходной тоталитарности, Шафаревич вопреки своей воле рисует очень уж непривлекательный образ народа, заимствующего у Запада все самое отвратительное и на Западе применения не находящее. Да уж не русофоб ли сам Игорь Шафаревич?

По той же «логической» схеме анализирует Шафаревич и проблему социализма. «В Россию социализм был полностью привнесен с Запада... И основоположниками движения являются два эмигранта — Бакунин и Герцен, начавшие развивать социалистические идеи только после того, как эмигрировали на Запад» [38]. Попутно отметим еще одно проявление догматической дедифференциации: отождествление Бакунина и Герцена в собирательном понятии «эмигранты». Шафаревичу нет дела до различий взглядов анархиста Бакунина и демократа Герцена, утверждавшего, кстати сказать, что «человек будущего в России — мужик, точно так же, как во Франции — работник» [39]. Ведь если вникнуть в эти различия, окажется, что и среди эмигрантов попадались люди, искавшие для России особые, несхожие с европейскими пути развития. Но такое уточнение сильно поколебало бы хрупкую схему «Русофобии», вот Шафаревич и «замял для ясности» не столь уж ясный и простой вопрос о русских социалистических теориях. Да и какие там «русские теории», когда разрабатывались они на Западе и пропагандировались «эмигрантами»! Только вот... как же быть, например, с христианством, которое зародилось — страшно сказать! — в Палестине и привнесено было в Россию из-за рубежа? Неужели на этом основании и православию отказать в русскости?

Не в пользу концепции Шафаревича срабатывает и другой его аргумент: противопоставление русской народной утопии западным идеям социализма. Действительно, народная мечта о Царстве Правды и братстве людей имеет мало общего с весьма земными, замешенными на экономическом расчете западными исканиями путей к социализму. Но Шафаревич не хочет видеть опасности соединения социалистической идеи с психологией радикального утопизма. Соединения, в результате которого социализм перестает быть экономической и политической теорией и превращается в квазирелигиозную мифологию.

И, наконец, совсем уж непонятно, почему западное общество, которое, по Шафаревичу, «родилось с мечтой о социализме», так серьезно противится попыткам эту мечту осуществить (я не говорю здесь о шведском демократическом социализме, который имеет иную, не «мечтательную» природу). И почему, с другой стороны, Россия вот уже семь с лишним десятилетий осуществляет чуждую ей мечту, да еще и в невиданных на Западе формах, превосходящих воображение даже германских национал-социалистов?

Да, непривлекательный образ России создает Шафаревич своими неуклюжими попытками защитить ее самобытность!

---

[32] Отрывки из «Опавших листьев» В. Розанова опубликованы в «Огоньке», 1989, № 9.

[33] И. Шафаревич. «Русофобия», «НС», 1989, № 6, с. 170.

[34] Восхищаясь нравственным величием и духовной мощью раскола, Валентин Распутин задается вопросом: «А что, если бы не десятая, не пятая часть народа, а вполовину и за половину происходил он из тех же качеств,...— что стало бы с этим народом?!» Цитируемая статья В. Распутина «Смысл давнего прошлого» опубликована в том же номере «Нашего современника» (1989, № 11), что и вторая часть «Русофобии» И. Шафаревича.

[35] И. Шафаревич. «Русофобия», «НС», 1989, № 6, с. 170.

[36] Е. Черных. «Донос», «Комсомольская правда», 1989, 12 сентября.

[37] И. Шафаревич. «Русофобия», «НС», 1989, № 6, с. 170.

[38] Там же, с. 171.

[39] А. И. Герцен. Собр. соч., т. 7, 1956, с. 326.

Только Гоббс со Спинозой придумали тоталитаризм — глядь, он уже у нас осуществляется. На Западе социалистическая мечта — мы ее в реальность! Прямо по пословице: научи дурака богу молиться... Тот ли это образ России и русского народа, который хотел отстоять Шафаревич?

Неосновательно выглядят и попытки защитить русскую мысль от обвинений в мессианизме, кое-какие «слоны» и здесь остаются непримеченными. Термин этот хоть и связан генетически с иудаизмом, обозначает существенный элемент христианского, в том числе и русского православного сознания. Судите сами: «...На Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея — идея славянская, идея нарождающаяся,— может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы» [40]. «Великая наша Россия во главе объединенных славян скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще не слыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского...» [41]. Сказано это не эмигрантом Герценом, а православным русофилом Достоевским, идеи которого Шафаревич прекрасно знает и высоко ценит. Но почему-то не хочет принимать во внимание. Вновь мы сталкиваемся с догматическим избеганием информации, способной подорвать символ веры изнутри.

Отношение к Западу

Как мы уже видели, Запад является для Шафаревича источником губительных для России идейных влияний. И здесь с особой силой проявляется стремление не видеть различий, красить одним цветом весьма разноцветные явления и процессы. Чего стоит хотя бы термин «либеральное течение прогресса», введенный в оборот в статье «Две дороги — к одному обрыву» («Новый мир», 1989, № 7). Под либералами, пишет Шафаревич, «мы будем понимать всех западных деятелей, исходивших из концепции демократии, прав человека, свободы, идеологии прогресса» [42]. Вот уж поистине безразмерное понятие. Можно было сказать и проще: под либералами мы будем понимать всех западных деятелей, кроме национал-социалистов. Картера и Рейгана, Штрауса и Пальме, Марше и Тэтчер, Джексона и Буша... Даже Сартр в период своего увлечения маоизмом является для Шафаревича... либералом! И вся эта западная либеральная команда по сути своих взглядов вовсе не враждебна советской «командной системе» (читай — тоталитаризму). Более того, Шафаревич считает, что либералы обрушились на Россию с ожесточенной критикой именно тогда, когда в ней произошел отказ от самых бесчеловечных аспектов системы. Вывод, что называется, сам просится. Советский тоталитаризм симпатичен западному либерализму. И вновь Шафаревич не хочет считаться с внутренними различиями и закономерностями развития западной идеологии. Не хочет видеть тех уроков, которые западная мысль получила от гитлеризма, сталинизма и брежневизма и которые в значительной мере способствовали массовому идеологическому откату вправо. Не хочет видеть, что понятие прав человека и демократии находится в развитии и что в 80-е годы оно трактуется не так, как в 20-е. Не хочет заметить в лагере либералов (подлинных либералов) Кестлера и Оруэлла, которые (в 1938-м и 1948 годах соответственно) дали яркие образцы художественно-философской критики тоталитаризма. Не хочет заметить и мощного либерального правозащитного движения, осуждающего тоталитарные режимы не только в СССР, но и в Китае, Пакистане, ЮАР. Эдакие несущественные детали! Эдакая широта взгляда, граничащая с неразборчивостью в средствах аргументации!

При этом Шафаревич дает действительно сильную, последовательную и убедительную критику технологического утопизма, одномерных трактовок прогресса, технократической дегуманизации. Но зачем потребовалось отождествление технологического утопизма именно с либерализмом — ведь в той же мере он (утопизм) характеризует, скажем, и фашистскую идеологию? По-видимому, для того, чтобы, показав неприемлемость технократической концепции прогресса для нашей страны, продемонстрировать заодно и неприемлемость «либеральных» идей демократии и прав человека. Не хочу сказать, что Шафаревич умышленно идет на необоснованное это отождествление. Но смысл отождествления от этого не меняется.

В отношении Шафаревича к Западу проявляется еще одна особенность догматического сознания: уверенное знание будущего, склонность к пророчествам. Так в «Русофобии» предрекается закат западной плюралистической демократии. А чего стоит пророчество о падении ложных западных кумиров — Фрейда, Пикассо и других! Жаль, что для более знакомого ему советского общества Шафаревич не формулирует столь уверенных прогнозов (если не считать апокалипсического видения последствий русофобской пропаганды).

Понятие органичности — одно из ключевых для данной концепции. Справедливо критикуя механистическое понимание прогресса и переустройства общества, Шафаревич противопоставляет

[40] Ф. М. Достоевский. Соч., т. 25, с. 9.
[41] Там же, с. 195.
[42] И. Шафаревич. «Две дороги — к одному обрыву». «Новый мир», 1989, № 7, с. 147.

такому пониманию идею органичных изменений. «Органичные... изменения общества происходят... путем, более похожим на рост организма или биологическую эволюцию» [43]. Вот именно: более похожим на рост организма, чем на переделку механизма. Но не тождественным росту организма. Органическая концепция общественного развития, спору нет, выше и богаче механистической. Но она игнорирует одну весьма существенную особенность человеческого общества, отличающую его от чисто биологической популяции. Эта особенность, эта надбиологичность, надорганичность человечества — в его духовности и свободе. Понятиям духа и свободы воли нет места в концепции органичности. Странно, как Шафаревич, пекущийся о сохранении религиозных основ жизни народа, не замечает этого обстоятельства. И в результате воспроизводит концепцию, характерную скорее для социал-дарвинизма, нежели для русской религиозно-философской мысли.

Понятие «Малого Народа» находится в тесной связи с понятием органичности. Именно Малый Народ является носителем неорганичных идей, концепций, образцов поведения. Шафаревич приводит многочисленные исторические примеры «воплощений» Малого Народа. Один из них — английские пуритане (чем-то очень они Шафаревичу насолили: в «Двух дорогах...» разговор о них заводится аж четыре раза). Но в чем же неорганичность этого течения? В жестокости, с какой пуритане истребляли американских индейцев? Но «органичные» испанские католики в этом деле не уступали пуританам. Дело, видимо, в другом. В том, что это течение в крайних формах воплотило протестантскую этику — важнейший, по М. Веберу, духовный источник капитализма. Выходит, капиталистическое развитие неорганично не только для России, но и для Запада! Поневоле приходишь к этому выводу, когда в числе Малых Народов находишь, помимо пуритан, еще и французское III сословие. Вот и получается, что уже два столетия историческое развитие не только России, но и всего мира является результатом злого умысла Малых Народов.

Но можно и не ограничиваться последними столетиями. Вряд ли можно придумать что-нибудь более неорганичное для римской империи, чем христианство. Первые христиане империи служат ярким примером того, что Шафаревич называет «Малым Народом». Как показал еще в 1895 году русский историк культуры М. С. Корелин, основными причинами антихристианских гонений являлась претензия христиан на религиозную исключительность, презрение к народным идолам (языческим) и нравам (культ зрелищ), отсутствие всякой связи с национальностью [44]. Характерно, что в отношении христиан высказывались обвинения, весьма схожие с теми, которые в прошлом и нынешнем веке выдвигались против евреев. Говорили, пишет Корелин, «что христиане собираются по ночам в уединенные места, убивают ребенка, причем всякий из присутствующих должен поесть его мяса, и предаются самому необузданному разврату. Нетрудно представить себе, какое широкое распространение имели эти возмутительные нелепости почти 2000 лет тому назад, если принять во внимание, что и теперь еще находит доверие гнусная сказка об употреблении евреями христианской крови. И тогда, как теперь, бессмысленная клевета распространялась и в образованных классах» [45].

Какое же счастье, что у древнеримских шафаревичей не хватило сил истребить неорганичный этот Малый Народ! Иначе, наверное, до сих пор царила бы в Европе органичная рабовладельческая языческая империя.

Пример с христианством позволяет глубже понять неорганическую суть духовной свободы. Позволяет понять также, что носителями подлинного духовного прогресса в истории подчас выступают малые группы (Малые Народы) людей, живущих в разладе с общепринятыми верованиями и нравами.

Но вернемся в современную Россию. Кто здесь выступает в роли Малого Народа? Шафаревич не желает быть обвиненным в антисемитизме. И поэтому прибегает к весьма противоречивым формулировкам. С одной стороны, речь идет об «определенном течении еврейского национализма» — то есть о течении идей. Но тут же, в том же буквально абзаце сказано, что Малый Народ у нас — «национальная группа», что «еврейские национальные чувства являются одной из основных сил, движущих сейчас Малый Народ». И далее — о «еврейском влиянии» [46]. Не сходятся концы с концами. Шафаревич как будто повторяет героя пушкинской трагедии: «Проклятый жид, почтенный Соломон!» Что критерием еврейства, а значит, и принадлежности к Малому Народу здесь является кровь, видно из негодования, которое у Шафаревича вызывает вопрос одного из оппонентов: не являются ли «арапчонок» Пушкин и «жиденок» Мандельштам более русскими (по языку, культуре), чем русский пьяница у пивного ларька? В самом вопросе Шафаревич видит... русофобию [47].

Что ж, биологический антисемитизм вполне согласуется с биологическим же взглядом на общество (идея органично-

[43] Там же, с. 164.
[44] М. С. Корелин. «Падение античного миросозерцания». С.-Пб., 1901, с. 137—152.
[45] Там же, с. 141.
[46] И. Шафаревич. «Русофобия», «НС», 1989, № 6, с. 189—190.
Во второй части эссе (которую «Наш современник» не решился опубликовать в июне 1989 г.) есть раздел, прямо названный: «Еврейское влияние в «революционный век» («НС», № 11, с. 165—189).
[47] И. Шафаревич. «Русофобия», «НС», 1989, № 6, с. 187.

сти). Примеры такого согласования хорошо известны. Достаточно вспомнить «Майн Кампф» [48].

Взгляд на будущее России

Отбрасывая идеи плюралистической демократии как неорганичные для России, Шафаревич как-то очень мало, вскользь говорит о том, что для России органично. Любовь к земле, чувство единства с судьбой народа? А что, для голландца это не органично? И какие отсюда практические, политические выводы? В другом фрагменте говорится об органичности сильного государства. Но надо обладать большим воображением, чтобы считать существующую систему власти «сильным государством». Я уж не говорю, что некоторые политологи (А. Мигранян) высказывают сомнения, может ли сложившаяся система власти называться государством. Уместнее вспомнить А. Зиновьева, который отмечал мощь нашей системы в разрушениях и запретах, немощь — в созидании. Да, нам нужно сильное государство. Но получить-то мы его можем не через сохранение тоталитаризма, а через демократические изменения. Государство ведь не только КГБ, армия и тюрьмы, это еще и Советы депутатов. В «Двух дорогах» вопрос об ориентирах органичного развития ставится также весьма узко — в плане системы духовных ценностей. Но как идти к утверждению этих ценностей?

Но если принять (в разумных пределах) идею органичности, потребуется, вероятно, понять, что же органично сейчас для народа в теперешнем его состоянии. А для этого, вероятно, потребуется знать мнение самого народа. И не только знать мнение, но и дать возможность народу, разделенному на многочисленные социальные группы, самому решать, что для него органично, а что чуждо. А для этого потребуются институты плюралистической демократии: легальные политические объединения, парламентская борьба, свобода печати.

Но Шафаревич против. Конечно, лучше самому решать, что́ народу русскому органично. Не в одиночку, конечно, а всем дружным коллективом «Нашего современника». Не замечая при этом, что есть серьезный риск: пойти наперекор чаяниям Большого Народа и превратиться в еще одну историческую разновидность Малого Народа.

Рискуя впасть в грех пророчеств и предвидения, выскажу некоторые прогнозы. Выше мы видели, что современный этноцентризм весьма «неорганично» сочетается с христианской традицией. Он по сути своей куда ближе к антихристианскому натурализму. (Шопенгауэр, например, был куда последовательнее Шафаревича, критикуя и христианство как плод иудейского влияния.) С другой стороны, заметна «неорганичность» связи этой идеологии и с коммунизмом. Поэтому вполне возможна ситуация, при которой это течение в ближайшее время сбросит «православные» и «коммунистические» обличья, перестанет заигрывать и с христианской традицией, и с правящей партией и тогда явится самостоятельной силой. Как знать, не появится ли тогда какая-нибудь «русская национал-социалистическая рабочая партия»? Сила этого течения будет прямо пропорциональной глубине и длительности переживаемого кризиса. Ведь страдания переплавляются в ненависть, а ненависть находит себе объект, дезорганизация рождает массовую тоску о Новом Порядке.

С этой опасностью надо считаться всерьез. Идеи, пущенные в оборот солидными журналами, уже вовсю гуляют по улицам и площадям русских городов, обретая чудовищные организационные и политические воплощения. То, что в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии» говорится вполголоса, вперемешку с цитатами из русских философов, на улицах звучит злобным окриком, вперемешку с площадной бранью и угрозами заменить мегафоны на автоматы. Агрессивность уличных националистов достигла черты, за которой — резня, кровопролитие, погромы.

Все это происходит на фоне настораживающего благодушия властей, причина которого, думаю, в том, что интересы бюрократии удивительным образом совпадают сегодня с интересами националистов. Да и лозунги сходятся подчас текстуально. Боюсь, что в этой ситуации у кого-то может возникнуть желание использовать новоявленных «штурмовиков» при нанесении решающего удара по младенчески слабым демократическим силам. Сценарий понятен: кровопролитие на национальной почве в крупных городах России. Введение чрезвычайного положения. Соответствующие ограничения прав и свобод. И... движение на пять (в лучшем случае) лет назад. Неужели эта перспектива не остановит литературных проповедников этнической розни? Неужели они считают такое развитие отвечающим интересам русского народа, о р г а н и ч н ы м ему?!

[48] Биологические, генетические концепции духовной культуры, кажется, весьма характерны для идейного течения, представленного «Нашим современником». Вот критик Владимир Бондаренко, не мудрствуя лукаво вокруг всякой там «органичности», пишет: «Генетики пришли к выводу, что искоренить народ, оказывается, не так просто. Пусть даже будут истреблены духовная аристократия, интеллигенция, корневое крестьянство; оставшаяся часть обезличенных способна б л а г о д а р я к о м б и н а ц и я м г е н е т и ч е с к о г о к о д а (разрядка моя.— **В. К.**) буквально за поколение вновь обрести необходимые компоненты дальнейшего развития нации. И вместо ожидаемого упадка следует национальное возрождение...» («Стержневая словесность», «НС», 1989, № 12, с. 165). Комментарии излишни.

Л. САРАСКИНА

С т р а н а для эксперимента

«Вспыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, местью, все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухой жизни, ложью и грязью политики,— люди будут убивать друг друга, не умея уничтожить своей звериной глупости».

М. ГОРЬКИЙ, 18 октября 1917 г.

«Социальная борьба не есть кровавый мордобой, как учат русского рабочего его испуганные вожди».

М. ГОРЬКИЙ, 13 января 1918 г.

В день расстрела мирной демонстрации в Петербурге, в то самое кровавое воскресенье 9 января 1905 года, М. Горький писал Е. П. Пешковой: «Итак — началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью» [1].

В разгар первой русской революции, в октябре — ноябре 1905 года, М. Горький совершил открытие: он открыл в Толстом и Достоевском мещан. «...Однажды,— писал Горький,— они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране. Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе пред виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка...» [2].

Литературой мещан назвал Горький русскую литературу за ее гуманистическую проповедь ненасилия. Писателями-мещанами назвал Горький главных проповедников ненасилия — Толстого и Достоевского «Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников,— заявил он,— я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию... Это — преступная работа...»

В 1913 году в обиход русской общественной мысли было введено понятие «социальной педагогики» в связи с инсценировкой «Бесов» в Художественном театре.

«Русский садизм» — такова характеристика «Бесов», предложенная Горьким.

Писатель предусмотрительно напоминает «господину Немировичу-Данченко» как режиссеру театра о том, «что еще недавно «Бесы» считались пасквилем и что произведение это ставилось многими из лучших людей России в один ряд с такими тенденциозными книгами, каковы: «Марево» Клюшникова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского и прочие темные пятна злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы».

Писатель сигнализирует: «...Есть публика, которой забавно будет видеть неумную карикатуру на Тургенева в годовщину тридцатилетия его смерти, и приятно посмотреть на таких «дьяволов от революции», каков Петр Верховенский, или на таких «мерзавцев своей жизни», каковы Липутины и Лебядкины; ведь, глядя на них, очень легко и удобно забыть, что есть люди честные, бескорыстные...»

Писатель, наконец, апеллирует к доводу, как ему кажется, неотразимому:

[1] М. Горький. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. т. 28. М., ГИХЛ, 1954, с. 348.
[2] Ф. М. Достоевский в русской критике. М., ГИХЛ, 1956, с. 386. В дальнейшем статьи Горького о Достоевском цитируются по этому изданию.

к социальной пользе. «Меня интересует вопрос,— риторически восклицает Горький,— думает ли русское общество, что изображение на сцене событий и лиц, описанных в романе «Бесы», нужно и полезно в интересах социальной педагогики?»

Как же понимал «нужность и полезность», а вернее «ненужность и вредность» «Бесов» Горький, предложивший «всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни,— протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров»?

Нужно и полезно то, что внушает «духовное здоровье, бодрость, веру в творческие силы разума и воли». Нужно и полезно то, что способствует «дружному единению умов и воль». Нужно и полезно то, что может повысить «температуру нашего отношения к действительности». Больше этого из статей Горького не следует — по части положительной программы, кроме разве того, что «мы должны тщательно пересмотреть все, что унаследовано нами из хаотического прошлого, и, выбрав ценное, полезное,— бесценное и вредное отбросить, сдать в архив истории». Достоевский с его «Бесами» заносится по списку безусловно вредных, стоящих на пути «оздоровления».

Признавая за Достоевским умение изображать болезни духа, «воспитанные в русском человеке его уродливой историей», Горький требует изоляции «темных, спутанных, противных», а также искаженных, болезненно злых, «бесформенных» русских душ. Ведь «пока эта безумная душа ищет себе стержня или наказания,— сколько она — попутно в монастырь или на каторгу — прольет в мир гнилого яда, сколько отравит детей и юношества!». «Ведь они заражают, внушая отвращение к жизни, к человеку, и — кто знает — не влияла ли инсценировка Карамазовых на рост самоубийств в Москве?» «Не здесь ли один из источников все растущего хулиганства, которое — в существе своем — та же карамазовщина?»

Итак, Достоевский, обличивший карамазовщину и бесовщину, изобразивший это «озеро яда», обвинялся Горьким в растлении общества и поколения. Диагноз болезни объявлялся ее причиной и первоисточником. Отсюда и призыв: «Пора подумать, как отразится это озеро яда на здоровье будущих поколений». Отсюда и санкции: предлагаю протестовать против Достоевского.

Свой протест против Достоевского Горький квалифицировал как протест «против тенденций и явлений, враждебных росту человечности в обществе», как прием политической борьбы. Горький возмущался: «один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу».

Заметки Горького «О «карамазовщине», в которых накануне первой мировой войны и последовавшей за ней революции он борется с «злым гением» Достоевского как с реальным и опасным злом, поучительны и символичны. В них заложена вся будущая программа управления искусством, намечены (пока еще в весьма смягченном варианте) уставные положения того репрессивного метода руководства литературой, который спустя двадцать один год под названием «социалистический реализм» войдет с подачи того же М. Горького в жизнь нового, теперь уже «духовно здорового» общества.

Помнил ли Горький свое обещание «не сжигать Достоевского», когда в 1934 году с трибуны Первого Всесоюзного съезда советских писателей в чине «великого пролетарского» громил автора «Бесов»?

Думал ли о том, чем может обернуться не только для покойного Достоевского, но для живых, сидящих в зале писателей его старая идея: «протест общества против того или иного литератора одинаково полезен как для общества, которому пора сознать свои силы и свое право борьбы: против всего, что ему враждебно, так и для личности»?

Предполагал ли, как отзовется в судьбах тысяч и тысяч писателей сконструированное им клеймо «социально вредный»?

Во всяком случае, спустя двадцать один год с Достоевским Горький не церемонился. Получив полномочия власти, он постарался надолго отлучить Достоевского от русской культуры и русского народа. И Достоевский, представленный перед делегатами Первого съезда писателей Страны Советов как предтеча фашизма, как средневековый инквизитор, как изувер и проповедник социального дегенератства, не имел никаких шансов быть «нужным и полезным», равно как и его роман «Бесы», в буквальном смысле репрессированный на несколько десятилетий. Приговор был подписан в самом верху: нарком Луначарский объяснял, что «в наше время любить Достоевского как своего писателя может только та часть мещан и интеллигенции, которая не приемлет революции и которая так же судорожно мечется перед наступающим социализмом, как когда-то металась перед капитализмом» [3].

Одно бесспорно: «социально вредный» Достоевский, давший миру «Бесов», где (как писал в том же 1914 году анонимный критик) «все время вы не можете отличить, где кончается революционная партийная работа и где начинается грязная провокация этих грязных дельцов» [4], конечно же, не уживался, не совмещался с властью «победившего социализма».

[3] А. В. Луначарский. О Достоевском.— В кн.: Ф. М. Достоевский в русской критике. М., ГИХЛ, 1956, с. 434.

Еще в начале 1917 года отношение Горького к «преступникам» и «мещанам» было прежним, и хотя из публикуемого сборника статей 1905—1916 гг. он исключил наиболее резкие высказывания о «злых врагах жизни», тем не менее счел необходимым пояснить в предисловии, что его точка зрения на «социальную педагогику» как Достоевского, так и Толстого не изменилась и не может измениться.

Однако и в жизни Горького был момент, когда он сам заговорил этим ненавистным ему языком «мещан» — языком ненасилия. «Несвоевременные мысли», или публицистика Горького 1917—1918 гг.,—литературный и человеческий документ исторической важности; он запечатлел феномен духовного сопротивления насилию со стороны писателя и общественного деятеля, долгие годы утверждавшего торжество «бури». И когда поэтическая метафора «пусть сильнее грянет буря!» реализовалась во всех ее стихийных подробностях и последствиях, певец бури и буревестник революции стал ее оппонентом. Главный редактор газеты «Новая жизнь» и ее ведущий публицист М. Горький после победы Октября стал критиком новой власти, критиком «издержек» революции, защитником гуманизма, прав и свободы личности. В разгар «бури» Горький, продолжая «преступную работу» своих нелюбимых учителей, выступил с проповедью ненасилия. И пусть потом, в момент закрытия газеты, в июле 1918 года, Горький каялся в своем инакомыслии и бунте против большевистской власти («Ежели бы закрыли «Новую жизнь» на полгода раньше — и для меня и для революции было бы лучше»), его проповедь мира, добра и милосердия, его страстное стремление не замарать невинной кровью святое дело свободы в высшей степени поучительны.

Человек, который в октябре 1905 года писал: «Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка», человек, который в дни «печального разброда сил», в октябре 1913-го, защищал русское общество от «злого гения» — Достоевского, этот человек в октябре 1917-го увидел те самые бездны, о которых предупреждал и которые сумел разглядеть автор «Бесов».

Многие реалии совершившегося переворота Горький, может быть, сам того не осознавая (во всяком случае, нигде не признаваясь в этом), воспринимает как реализованную метафору из того самого ненавистного романа.

«В России можно все попробовать»,— были убеждены «наши» из «Бесов».

Россия 1917—1918 гг., к ужасу и негодованию Горького, стала не страной победившей революции, а значит — источником счастья, света и радости, а добычей экстремистов-фанатиков — Страной для эксперимента.

«Я защищаю большевиков? Нет, я, по мере моего разумения, борюсь против них... Я знаю, что они производят жесточайший научный опыт над живым телом России...» [5].

«Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть».

Горький обращается к рабочим и призывает их «вдумчиво проверить свое отношение к правительству народных комиссаров», «осторожно отнестись к их социальному творчеству». Само слово «эксперимент» Горький употребляет в смысле прямом и однозначном—с точным адресом: «Мне безразлично, как меня назовут за это мое мнение о «правительстве» экспериментаторов и фантазеров, но судьбы рабочего класса в России — не безразличны для меня.

И пока я могу, я буду твердить русскому пролетарию:

— Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!»

Идеи и образы «Бесов» вспыхивают перед глазами писателя, не опознанные и не отождествленные с первоисточником, но почти буквально реализованные — воплощенные во вздыбленную революцией российскую действительность.

«Революция сделана для того, чтоб человеку «лучше жилось и чтоб сам он стал лучше»,— убеждает читателя Горький. Но, вступая в полемику с «демагогами и лакеями толпы» по поводу кардинальной идеи революции — равенства, он отчетливо видит и оборотную сторону этой медали: «все рабы и в рабстве равны». Не все и не во всем равны! И не могут, и не должны быть равны, уравнены, загнаны в равенство,— это убеждение возникает у Горького в ходе революции, в ее экстремальных, чрезвычайных ситуациях. Батальонный комитет Измайловского полка отправляет в окопы 43 человека, среди которых артисты, художники, музыканты, люди, как пишет Горький, «чрезвычайно талантливые, культурно-ценные». Они

[4] Там же, с. 399.

[5] «Литературное обозрение», 1988, № 12, с. 89. В дальнейшем все цитаты из публицистических статей М. Горького в «Новой жизни» даются по изданию: «Литературное обозрение» (№№ 9—10, 12), с использованием цитат А. М. Горького из предисловия И. И. Вайнберга «Революция и культура» («Лит. обозрение» №№ 9—10).

не знают военного дела, не обучались строевой службе, не умеют стрелять. Посылать их на фронт, убежден Горький,— «такая же расточительность и глупость, как золотые подковы для ломовой лошади», «смертный приговор невинным людям».

И вот Горький, который, по его уверению, «немало затратил сил на доказательства необходимости для людей политического и экономического равенства» и который знает, что «только при наличии этих равенств человек получит возможность быть честнее, добрее, человечнее», произносит слова, убийственные для этого главного идеологического пугала: «Я должен сказать, что для меня писатель Лев Толстой или музыкант Сергей Рахманинов, а равно и каждый талантливый человек, не равен Батальонному Комитету Измайловцев».

Вот так, вот здесь, вот при каких обстоятельствах смогла проявиться в полной мере абсурдная как будто угроза Шигалева — Верховенского: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями... Рабы должны быть равны...»

«Если Толстой,— продолжает Горький свое сопоставление,— сам почувствовал бы желание всадить пулю в лоб человеку или штык в живот ему,— тогда, разумеется, дьявол будет хохотать, идиоты возликуют вместе с дьяволом, а люди, для которых талант — чудеснейший дар природы, основа культуры и гордость страны,— эти люди еще раз заплачут кровью» И, обращаясь к Совету солдатских депутатов, Горький спрашивает у этого Совета,— сознавая бессилие своей риторики: «Считает ли он правильным постановление Батальонного Комитета Измайловского полка? Согласен ли он с тем, что Россия должна бросать в ненасытную пасть войны лучшие куски своего сердца — своих художников, своих талантливых людей? И — с чем мы будем жить, израсходовав свой лучший мозг?»

Вся публицистика Горького этого периода — это отчаянный крик, страшная боль, смертельная тоска — не по убитому старому, а по убиваемому новому. И этот крик, и эти боль и тоска адресованы в первую очередь к человеку, ставшему материалом для эксперимента. Может ли он переделаться в д р у г, р а з о м?[5] Правда ли, что если «р а з о м», то из «ангельского» дела будет «бесовское»?

«Достоевские» вопросы, поставленные почти полвека назад, проходят и на глазах Горького через суровые, кровавые испытания — пытку огнем и мечом.

«Все совершится топором и грабежом»,— предостерегает Петра Степановича его отец на страницах подготовительных материалов к «Бесам».— «Неужели же вы не видите, что подобное перерождение человека, какое вы предлагаете, и лично, и общественно не может совершиться так легко и скоро, как вы уверены... Так медленно на практике организуется и устраивается такая насущная потребность каждого человека!.. А если это только веками может создаться, то как можете вы брать на себя создать это в несколько дней (как вы буквально выражаетесь сами)? Итак, не легкомысленны ли вы и какую ответственность берете вы на себя за потоки крови, которые вы хотите пролить?»

Буквально те же вопросы, в тех же словах и интонациях, с той же страстью и энергией задает спустя 50 лет Горький — но уже не воображаемой, а реальной революции, и не в споре с персонажами чужого романа, а в публичном обращении к реальным ее деятелям. Думал ли он, что заговорит когда-нибудь языком Шатова, что словами Достоевского будет опровергать «принцип топора»?

В разгар революции, в тот, может быть, самый драматичный ее этап между Февралем и Октябрем, в июле 1917-го Горький, знаток и певец народной жизни, с ужасом и почти с отвращением сознает: этот «свободный» русский народ, который «отрекался от старого мира» и отрясал «его прах» с ног своих, этот самый народ, эти толпы людей устраивают публичные отвратительные по жестокости самосуды, «грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови».

Революция — ее хаос, случайности и закономерности, ее коварные повороты — убеждает Горького: в два месяца не переродишься; «этот народ должен м н о г о п о т р у д и т ь с я для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, м е д л е н н ы м огнем культуры». Горький ставит перед собой вопросы честные и мужественные: что же нового дает революция? Как изменяет она звериный русский быт? Много ли света вносит она во тьму народной жизни? Пролетариат у власти, он получил возможность свободного творчества, но в чем выражается это творчество?

Анализ «революционного творчества масс», проделанный Горьким, беспощадно правдив

— «Во время винных погромов людей пристреливают, как бешеных волков, п о с т е п е н н о п р и у ч а я к с п о к о й н о м у и с т р е б л е н и ю б л и ж н е г о».

— «Развивается воровство, растут грабежи, бесстыдники упражняются во взяточничестве так же ловко, как делали это чиновники царской власти».

— «Темные люди, собравшиеся вокруг Смольного, пытаются шантажировать запуганного обывателя».

— «Грубость представителей «правительства народных комиссаров» вызывает общие нарекания, и они — справедливы».

— «Разная мелкая сошка, наслаждаясь властью, относится к гражданину как к побежденному, т. е. так же, как относилась к нему полиция царя».

— «Орут на всех, орут как будочники в Конотопе или Чухломе. Все это творится от имени «пролетариата» и во имя «социальной революции», и все это является торжеством звериного быта, развитием той азиатчины, которая гноит нас... Нет,— в этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии».

— «Бесшабашная демагогия людей, «углубляющих» революцию, дает свои плоды, явно гибельные для наиболее сознательных и культурных представителей социальных интересов рабочего класса. Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными; чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и т. д. суть «буржуи».

— «Революция все углубляется во славу людей, производящих опыт над живым телом рабочего народа».

— «...В тюрьмах голодают тысячи,— да, тысячи! — рабочих и солдат».

И Горький вынужден констатировать: пролетариат ничего и никого не победил. Идеи не побеждают приемами физического насилия. Пролетариат не победил — по всей стране идет междоусобная бойня, убивают друг друга сотни и тысячи людей Горький вынужден признаться самому себе: «Но всего больше меня и поражает, и пугает то, что р е в о л ю ц и я н е н е с е т в с е б е п р и з н а к о в д у х о в н о г о в о з р о ж д е н и я ч е л о в е к а, н е д е л а е т л ю д е й ч е с т н е е, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки их труда» И отсюда поистине горький, безутешный вывод: «совершилось только перемещение физической силы».

Перемещение силы, совершенное насилием, как и само насилие во всех его вариантах, причинах и следствиях,— лейтмотив публицистики Горького, в разгар революции и междоусобной вражды обнаружившего, что он, критик «непротивленцев», проповедник «активного отношения к жизни», не может, не хочет, не должен принять и признать правоту тех, кто осуществил насилие.

«Третий год мы живем в кровавом кошмаре и — озверели, обезумели. Искусство возбуждает жажду крови, убийства, разрушения; наука, изнасилованная милитаризмом, покорно служит массовому уничтожению людей. Эта война — самоубийство Европы!» — такой диагноз ставит Горький в апреле 1917 года.

Менее чем через год, в январе 1918-го, уже вкусив первые плоды революции, Горький видит, кто и как воспользовался всеобщим озверением и озлоблением, почему лозунги социальной революции измученный народ переводит на свой язык всего несколькими словами: громи, разрушай, грабь... В современных условиях русской жизни нет места для социальной революции, «ибо нельзя же, по щучьему веленью, сделать социалистами 85% крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов инородцев-кочевников».

Народ и власть одинаково воспитаны и одинаково испорчены насилием и убийствами. Атмосфера безнаказанных преступлений рождает, как пишет Горький, арифметику безумия и трусости: «За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии». Дикие русские люди, развращенные и измученные старой властью,— к ним обращается Горький и настойчиво твердит: да, у б и т ь п р о щ е, ч е м у б е д и т ь; но очнитесь, одумайтесь, оглянитесь, и вы поймете, что в вас, в вашем реве и стоне звучит кровавая отрыжка старины. «Перевешать, перестрелять, уничтожить», «Перебить, перевешать, расстрелять» — вот язык революции, которым овладевают в совершенстве народ и даже его слабая половина — женщины. И Горький вновь и вновь повторяет: «Не надо закрывать глаза на то, что теперь, когда «народ» завоевал право физического насилия над человеком,— он стал мучителем не менее зверским и жестоким, чем его бывшие мучители»; «И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются своим «правом» с явным сладострастием, с невероятной жестокостью».

Горький, учась у практики, у реального опыта, будто заново открывает те психологические черты революции, которые исчерпывающе и бесстрашно показаны в «Бесах». Освобождение и новое порабощение, переплетенные в революции, безграничная свобода и безграничный деспотизм, идущие рука об руку вначале и резко дифференцирующиеся затем,— кому только свобода, а кому только деспотизм,— эти почти математические истины, добытые Достоевским, осваиваются Горьким в ходе самого гигантского исторического эксперимента.

Горький оказался свидетелем, очевидцем: он увидел и понял то, о чем предостерегал Достоевский. Психологическая механика революции действительно сводится к стремлению бывших рабов стать деспотами, бывших обиженных — обидчиками, бывших несчастных и страждущих — мучителями и истязателями. «Революция — жестока и безнравственна, она ступает по трупам и купается в крови, она предпочитает мучительство, издевательство, потому что совершается теми, кого мучили и над кем издевались,— писал исследователь Достоевского и современник Горького в 1921 году.— Революция — дело униженных и

[5] Разрядка везде моя.— Л. С.

оскорбленных, в душе которых накапливается, как пар в закрытом котле, разрушительная жажда мести, жажда унизить и оскорбить. Мы привыкли видеть униженных и оскорбленных жалкими и не подозревали, что в них есть много страшного. В революции и обнаруживается во всей силе то страшное, что заключено в психике угнетенных и оскорбленных в виде потенции. Революция несет с собой ужас. террор, деспотизм, потому что те, кого держали под страхом и в покорности, хотят внушить страх и покорность, стремятся стать деспотами и террористами»[7].

Однако Горький открывает в революции не только предвосхищенный Достоевским деспотизм полуграмотной массы над угнетенной личностью. Вслед за автором «Бесов» он обращает самый пристальный, самый пристрастный взор в сторону русского человека у власти.

«В чьих бы руках ни была власть,— за мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически. И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти,— недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего».

«Фанатики и легкомысленные фантазеры», «демагоги»,— они по мысли, по чувству, по наблюдению Горького, губят Россию. Обвинительная лексика Горького в адрес правительства «экспериментаторов и фантазеров» поразительна: не подражая и не заимствуя оценки и определения из слишком хорошо ему известного романа, публицист Горький дает те же, те самые характеристики. Нелестные и невеселые мысли о моральном и социальном самосознании людей у власти Горький направляет в сторону их деятельности и видит, как «вожди взбунтовавшихся мещан» «проводят в жизнь нищенские идеи Прудона, но не Маркса, развивают Пугачевщину, а не социализм и всячески пропагандируют всеобщее равнение на моральную и материальную бедность». В среду лиц высшего эшелона власти (как говорят сейчас) «введено,— пишет Горький,— множество разного рода мошенников, бывших холопов охранного отделения и авантюристов...».

Читателя, знакомого с биографией и историей Петра Степановича Верховенского, эти наблюдения Горького заставляют вздрагивать и оглядываться по сторонам, а суждение о том, что «обилие провокаторов и авантюристов в революционном движении должно было воспитать... естественное чувство недоверия друг к другу и вообще к человеку»,— почти с суеверием думать о публицистике неслыханной смелости. Буквально по нотам разыгрывается старая пьеса: будто те же самые лица, те же маски, те же сны и химеры — те же вечные, вечно злободневные и проклятые темы. «Послушайте, господа,— обращается публицист к своим оппонентам, и чувствуешь, будто попал в гостиную Виргинских, к «нашим»,— а не слишком ли легко вы бросаете в лица друг друга все эти дрянненькие обвинения в предательстве, измене, в нравственном шатании? Ведь если верить вам — вся Россия населена людьми, которые только тем и озабочены, чтобы распродать ее, только о том и думают, чтобы предать друг друга!»

Но, пожалуй, самое тревожное, самое болезненное впечатление Горького о новой власти — это ее боязнь критики, боязнь правды.

«Нужны вожди, которые не боятся говорить правду в глаза»,— едва ли не в каждой публикации призывает Горький. «Уничтожение неприятных органов гласности не может иметь практических последствий, желаемых властью, этим актом малодушия нельзя задержать рост настроений, враждебных г.г. комиссарам и революции... Уничтожая свободу слова, г.г. комиссары не приобретут этим пользы для себя и наносят великий вред делу революции»,— проповедует, убеждает писатель. «Дайте свободу слову, как можно больше свободы...— наконец требует он.— Лишение свободы печати— физическое насилие, и это недостойно демократии».

«Несвоевременные мысли» — этот «Дневник писателя» эпохи «кровавого кошмара» — несомненно, нравственный и гражданский подвиг Горького. Убитые, которые не смутили писателя в 1905 году (ибо «история перекрашивается в новые цвета только кровью»), напомнили о себе: совершающаяся на глазах массовая адаптация к насилию, постепенное приучение к спокойному истреблению ближнего заставили иначе смотреть на историю и революцию. Противоречия так называемых «реального гуманизма» (когда во имя реальной революции не жалко любой крови) и «социального идеализма» (когда совесть человеческая протестует против бессмысленной жестокости даже во имя революции), противоречия, неразрешимые в пределах того опыта, который давала Горькому Октябрьская революция, вызвали у него, «великого пролетарского писателя», принципиально иную реакцию на события текущей действительности, нежели та, которую ему, казалось бы, полагалось иметь как «провозвестнику бури».

В свое время пророчества Достоевского по поводу «дьяволов от революции» казались Горькому «темными пятнами злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы». Настало время, когда и «буревестник революции» Горький заговорил языком учителей-пророков Прежде его заботило, как отразится на здоровье будущего поколения «о з е р о я д а», то есть Достоевский с его «Бесами» в Московском Художественном театре: «не усилит ли дикое пьянство темную жестокость нашей жизни, садизм деяний и слов, нашу дряблость, наше печальное невнимание к жизни мира, к судьбе своей страны и друг ко другу?» Теперь его до глубины души волнует будущее страны и та, по его словам, безумная авантюра, за которую русский народ заплатит «о з е р а м и к р о в и».

Октябрьский переворот вызывает у Горького впечатления самые мрачные, предчувствия самые грозные. Очутившись на краю бездны, писатель оценивает происходящее по законам совести и морали, а не по правилам политической борьбы и революционного насилия. Человек, однажды написавший, что трактирное рассуждение Ивана Карамазова о «слезинке ребенка» — это «словоблудие» и «словесный бунт лентяя», «величайшая ложь и противное лицемерие», теперь страшится кровопролития, анархии, жестокости, террора и гибели культуры. Теперь, в самые дни переворота, он произносит речи, преисполненные трагического звучания: «Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции». Именно в эти дни в статье «К демократии» Горький пророчествует: рабочий класс «ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция».

Политический диагноз случившегося формулируется Горьким в терминах вряд ли случайных: догматизм, нечаевщина, деспотизм власти, разрушение России. Ключевое слово здесь — несомненно, нечаевщина. «Конечно — Столыпин и Плеве шли против демократии, против всего живого и честного в России, а за Лениным идет довольно значительная пока часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроют пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его нечаевско-бакунинский анархизм».

Спустя месяц после переворота мысль Горького, его анализ ситуации идут еще дальше, еще глубже — в самую суть проблемы. Колоссального внимания заслуживает аргументация Горького: его обращение в самый экстремальный момент жизни страны к идеям и образам все тех же «Бесов» Достоевского. Горький вспоминает два пункта из «предвыборной программы» Петра Верховенского. «Что вам веселее,— спрашивает Петруша у своих «наших»,— черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото?» «Откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно»,— убеждает Ставрогина тот же Верховенский.

«Вниманию рабочих» — так называется воззвание Горького от 10/23 ноября 1917 года. «Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева («на всех парах через болото»).— И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к погибели в трясине действительности, очевидно, убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». И вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей... Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России...»

Именно под углом зрения политического авантюризма, оголтелой нечаевщины рассматривает Горький суть того жестокого опыта над русским народом, опыта безжалостного и бесчеловечного, который «уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции». Атрибуты нечаевщины высвечиваются своими специфическими, сугубо «достоевскими» штрихами, заметными скорее со стороны лексической, чисто художнической. «Конечно,— пишет Горький уже в марте 1918-го,— мы совершаем опыт социальной революции,— занятие, весьма утешающее м а н ь я к о в этой прекрасной идеи и очень полезное для ж у л и к о в. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг: «Грабь награбленное!»

Пророчества Горького, возникшие под влиянием вооруженного восстания и приготовлений к нему — событий в общем-то скоротечных,— были тем не менее продолжены во времени. Спустя три недели после переворота он вновь повторяет уже не однажды высказанное: «Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе надежды, не осуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачную реакцию».

Длительная и мрачная реакция... Но прежде случится другое: «От этого безумнейшего опыта прежде всего пострадает рабочий класс, ибо он — передовой отряд революции, и он первый будет истреблен в гражданской войне. А если будет разбит и уничтожен рабочий класс, значит, будут уничтожены лучшие силы и надежды страны». И вновь, в который уже раз, Горький повторяет, подчеркивает тот главный, по его мнению, порок, ту пагубную черту вождей революции, которые обрекают ее на крах и катастрофу. Их доктринерство, догматизм, утопизм, готовность подтвердить свои политические иллюзии и теоретические мечтания любой ценой и любой кровью, их непонимание человеческой природы и способность безжалостно ломать живую жизнь и человека в угоду «учению» — вот узнаваемые Горьким в реальностях

[7] В. Переверзев. Достоевский и революция — «Печать и революция», 1921, № 3, с. 6.

революции «достоевские» предвидения. И предчувствуя, уже отчетливо видя, что в честь теории будет разрушен созидаемый тысячелетиями социальный и культурный организм, что на алтарь догмы вожди, захватившие власть, способны положить десятки миллионов человеческих жизней (те самые, «достоевские», «сто миллионов голов»), Горький бросает им тяжкое обвинение.

— «...Практический максимализм анархо-коммунистов и фантазеров из Смольного — пагубен для России и, прежде всего,— для русского рабочего класса».

— «Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции».

Партийное сектантство, стремящееся одной политикой воспитать «нового человека» и превращающее методы в догматы, фракционная борьба, которая изуродовала и продолжает уродовать здоровые силы общества, его народ и интеллигенцию, «увеличивает количество пагубных заблуждений». И самая большая беда, самая отвратительная опасность, которую уже видит и предвидит в будущем Горький,— это угроза междоусобной войны в самой партии, в самой революции: «Садическое наслаждение, с которым мы грызем глотки друг другу, находясь на краю гибели,— подленькое наслаждение, хотя оно и утешает нас в бесконечных горестях наших». Взаимное истязание и истребление, которым столь усердно предаются и наверху, и внизу; темный народ, в жилах которого течет «злая рабья кровь — ядовитое наследие татарского и крепостного ига» и который упрямо не хочет идти в направлении гипотетического прогресса; кровавый кошмар насилия и какой-то дьявольский обман, та самая «безумная авантюра» — все это совокупно увиденное и осмысленное создает картину поистине апокалипсической. И эта картина дополняется еще одним весьма выразительным обстоятельством: тем, как относится власть к критическим прогнозам, предчувствиям и пророчествам Горького.

Шестнадцать месяцев существования «Новой жизни», в течение которых Горький выступает редактором, главным публицистом и основным оппонентом новой власти, дают ему поучительный и во многом символичный опыт. Позже, почти в конце жизни, он, говоря о «Бесах», скажет: «В этом романе есть фигура, на которую критики и читатели до сей поры не обратили и не обращают должного внимания,— фигура человека, от лица которого ведется рассказ о событиях романа»[8]. Горький одним из первых в русской критике заметит эту странную, не всегда понятную, отчасти даже парадоксальную фигуру — Хроникера. Горький почувствовал в нем фигуру значительную, заслуживающую *должного* внимания. Почему? Вопрос не праздный. «Хотел ли Горький найти лишний, окончательный аргумент против романа, чтобы поставить и окончательный крест на «Бесах»? — размышляет в своей статье, специально посвященной Хроникеру в «Бесах», Ю. Карякин.— Или предчувствовал нечто обнадеживающее в этом образе? Кто знает?»[9].

Что такое Хроникер в «Бесах» Достоевского, Горький понял еще тогда, в 1917—1918 годах. Понял и почувствовал на себе, каково это ремесло — быть Хроникером революции, ежедневно писать о ее хаосе, насилии, крови, обмане, заблуждениях и надеждах. И писать не частный дневник, не приватные наблюдения для себя, в стол,— а открыто, вступая в спор с теми, кто сильнее, кто страшнее, кто у власти. Шестнадцать месяцев «Новой жизни», ставшие хроникой революции, показали Горькому, из ее провозвестника сделавшемуся ее обличителем, всю тяжесть взятой им на свои плечи непосильной ноши.

Ибо — как это ни парадоксально — именно к нему, по его адресу вернулась (эффект бумеранга!) та самая критика, те самые (будем точны) оскорбления, которые он позволял себе по отношению к своим собратьям-писателям, уже не могущим себя защитить. В грозные дни и месяцы Октябрьской революции Горький вызвал на себя шквал партийного и официального негодования, лексически и стилистически оформленного им самим во время первой революции, когда, как уже казалось, тень Достоевского и «Бесов» мешает общему революционному порыву и отравляет радость по поводу «бури».

Газета «Правда», главный критик и оппонент Горького, отвечала ему его же текстом, его же манерой: «...Мещане, как раз те, о которых писал Горький, начинают вопить о гибели Русского государства и культуры». Так в ноябре 1917 года Горький был зачислен по тому же ведомству, куда он сам прежде зачислил Достоевского и Толстого.

«Я не знаю более злых врагов жизни, чем они»,— писал Горький, как мы помним, в 1905 году, но уже в конце 1917-го услышал о себе: «продался немцам», «продался кадетам», «предает Россию», «изменяет делу рабочего класса», «хныкающий обыватель», «заговорил языком врагов рабочего класса». Так Горький из «буревестника революции» стал «гробокопателем революции», о чем с чувством глубокого возмущения сообщала «Правда»: по мнению газеты, Горький в разгар бури «не нашел ничего лучшего, как примкнуть к... незначительной группе размагниченных интеллигентов, которые постоянно метались в душевной тревоге не столько за судьбы народа, сколько за свои собственные интересы»[10]. Как здесь не вспомнить горьковское же: «Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка... Это (проповедь ненасилия.— **Л. С.**) — преступная работа, она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи заблуждений, она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично — душа мещанина спокойна. Он — индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха». Как не вспомнить и вместе с тем как не заметить, что в эти дни, несмотря ни на что, «Правда» все-таки питает к «автору талантливейшей пролетарской эпопеи» «Мать» чувства, куда более пристойно и прилично выраженные, чем у автора «эпопеи» по отношению к двум величайшим гениям.

Довелось Горькому пережить и опыт, недополученный Хроникером из «Бесов»,— опыт расправы со свободным Словом.

«Советская власть,— пишет он в мае 1918-го,— снова придушила несколько газет, враждебных ей. Бесполезно говорить, что такой прием борьбы с врагами — не честен, бесполезно напоминать, что при монархии порядочные люди единодушно считали закрытие газет делом подлым, бесполезно, ибо понятия о честности и нечестности, очевидно, вне компетенции и вне интересов власти, безумно уверенной, что она может создать новую государственность на основе старой — произволе и насилии». Интересно, вспоминал ли Горький, пиша эти строки, о том, что при монархии порядочные люди единодушно считали подлым не только закрытие газет, но и запрещение спектаклей? Пришли ли ему на память его собственные слова всего четырехлетней давности — начало статьи «Еще о «карамазовщине»: «Мой призыв к протесту против изображения «Бесов» и вообще романов Достоевского на сцене вызвал *единодушный* отклик со стороны господ литераторов, более или менее резко выразивших порицание мне»? Не мучили ли ассоциации?

Факт тот, что теперь, в 1917-м, он отчетливо понял: «Гонимая идея, хотя бы и реакционная, приобретает некий оттенок благородства, возбуждает сочувствие...» Обращаясь к «г.г. комиссарам», он предупреждает: реальные политики, неужели они думают, что сила слова может быть механически уничтожена ими? Неужели не понимают они, что, «украшая растущую реакцию ореолом мученичества, они насыщают ее притоком новой энергии?.. Неужели они до такой степени потеряли веру в себя, что их страшит враг, говорящий открыто, полным голосом»?

Апеллируя к комиссарам, к их уму и чести, а также к их политической выгоде, Горький как будто мимоходом указывает на одно, по его мнению, существенное различие: есть противники их безумств и есть принципиальные враги революции вообще. Себя, разумеется, Горький причисляет к первой категории, т. е. к противникам «их безумств». Однако не может не поражать политическая наивность Горького: кто же признается ему в том, что совершает «безумства», кто же признается в глупостях и ошибках? И те, кто явился принципиальным противником революции, и те, кто, как Горький, обличал ее искажения, искривления и крайности, воспринимаются властями одинаково нетерпимо; «...об этом,— пишет Горький,— лучше всего свидетельствует та жадность, с которой мы стремились и стремимся пожрать племена, политически враждебные нам». Яростное поношение демократии в партийной большевистской печати, не разбирающее, кто есть кто, попытки внушать истину «путем словесных зуботычин и бичей» — именно этими приемами («старыми приемами удушения свободы слова») и была в конце концов (а именно в июле 1918 года) закрыта газета Горького.

«Жизнью правят люди, находящиеся в непрерывном состоянии «запальчивости и раздражения»... «Гражданская война», т. е. взаимоистребление демократии к злорадному удовольствию ее врагов, затеяно и разжигается этими людьми. И теперь уже и для пролетариата, околдованного их демагогическим красноречием, ясно, что ими руководят не практические интересы рабочего класса, а теоретическое торжество анархо-синдикалистских идей... Чем все это кончится для русской демократии, которую так упорно стараются обезличить?» — так писал Горький через два месяца после переворота, в конце декабря 1917 года. А за считанные дни до закрытия газеты вновь трагически сознает тотальное разъединение политики и нравственности; на глазах Горького, уверенного, что революция совершена в интересах культуры, гуманизма, очеловечивания человека, происходит то самое шигалевское «понижение уровня образования, наук и талантов».

«Издохла совесть. Чувство справедливости направлено на дело распределения материальных благ... Полуголодные нищие обманывают и грабят друг друга — этим наполнен текущий день... Где слишком много политики, там нет места культуре, а если политика насквозь пропитана страхом перед массой и лестью ей — как страдает этим политика советской власти — тут уже, пожалуй, совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении к человеку и обо всем другом, что политический цинизм именует «сентиментальностью», но без чего — нельзя жить».

Однако впоследствии оказалось, что

[8] М. Горький. Об издании романа «Весы».— «Правда», 1935, 24 января

[9] Ю. Карякин. Достоевский и канун XXI века. М., 1989, с. 244

[10] Цит. по: «Литературное обозрение» 1988, № 12, с. 99.

жить без этого — можно: во всяком случае, для самого Горького. Оказалось возможным отказаться от гуманистической, морально-нравственной, этической позиции, от эмоционального, чисто художнического отношения к действительности, от всей этой «сентиментальности», смешной, нелепой и презренной с точки зрения политического цинизма. Оказалось возможным свой отказ от общечеловеческих ценностей объяснить просто и однозначно. «В 1917 году я ошибался...» «Известно, что Октября я не понял...»

Что это? Признание в прежних слабостях и мировоззренческих заблуждениях? Позднее раскаяние за годы заграничного, вне России, существования? Может быть. Но задумаемся о месте, времени, а главное — поводе, по которому сказаны эти слова.

«Известно, что Октября я не понял...» — цитата из письма Горького И. И. Степанову-Скворцову, редактору «Известий», от 15 октября 1927 года, написанного в ответ на телеграмму «Привет Горькому», опубликованную в «Известиях» 12 октября 1927 года по случаю юбилея 35-летней творческой деятельности писателя. Это были первые слова, которыми откликнулся Горький на первую же хвалебную публикацию в его честь, организованную сталинской «командой», устраивавшей возвращение Горького в Россию[11].

Реконструируя возможный ход мысли Сталина, которому понадобился Горький как авторитет европейского масштаба, известный в том числе и как антагонист русского крестьянства[12], для прикрытия намечаемого наступления на деревню, исследователь пишет: «Пожалуй, пришла пора возвращать Горького. И пусть люди скажут: «Когда уехал Горький? Горький уехал при Ленине, уехал потому, что не мог оставаться. Когда вернулся Горький? Горький вернулся при Сталине. Вернулся, потому что не мог не вернуться!»[13].

И в самом деле: Горький при Ленине и Горький при Сталине — тема огромная, тяжелая, трагическая, тема сдачи и гибели человеческого духа. Достаточно прочесть «Московский дневник» Ромена Роллана, достаточно осмыслить контекст сталинской эпопеи приручения Горького, чтобы посочувствовать пролетарскому писателю, потонувшему в буре народных оваций, в волнах любви своей страны, захваленному и осыпанному знаками внимания «самого Сталина и других выдающихся товарищей». Но следует также вдуматься в тот поистине «дьяволов водевиль», в котором назначили на роль первого актера именно его — Горького. Следует осознать: почему, по каким тайным движениям души и ума он, отвергая Ленина за его политическое тождество Петру Верховенскому, стал авторитетнейшим проводником политики Сталина; как, каким образом «гордый буревестник», «смелый и свободный» Хроникер революции стал марионеткой в руках сталинской Великой Инквизиции и материализованной бесовщины. Следует, наконец, констатировать тот факт (хотя бы для того, чтобы потом его понять), что самые черные, самые безумно-жестокие и отвратительно-циничные идеи и лозунги сталинской репрессивной машины апробировались, а затем и внедрялись в массовое сознание с подачи Горького, ставшего в конце 20-х годов главным идеологом режима.

«Ведь если верить вам,— писал он в декабре 1917-го, обращаясь к правительству Ленина,— вся Россия населена людьми, которые только тем и озабочены, чтобы распродать ее, только о том и думают, чтобы предать друг друга!.. Поймите,— обвиняя друг друга в подлостях, вы обвиняете самих себя, всю нацию».

«Внутри страны,— писал он в ноябре 1930-го,— против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями,— против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще *в состоянии гражданской войны*»[14].

Черным вороном — вестником беды — называют знаменитую крылатую фразу Горького из финала вышеприведенной статьи в «Правде»: «Если враг не сдается,— его уничтожают». Но уже, собственно, бедой становятся его выступления-агитации, речи-дифирамбы в честь нового вождя. Поразительно, как не слышит сам себя, как не замечает, что доказательством «от противного» является он сам, Хроникер прежних лет. «Великий человек,— утверждает Горький в статье «Правда социализма», напечатанной в книге «Беломорско-Балтийский канал им. Сталина» в 1934 году,— *которого карлики именовали* «*фантазером*» *и, ненавидя, пошло высмеивали*,— этот великий человек становится все величавее. Из всех «великих» всемирной истории Ленин — первый, чье революционное значение непрерывно растет и будет расти.

Так же непрерывно и все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина, человека, который, наиболее глубоко

[11] См. об этом: В. Баранов. «Да» и «нет» Максима Горького.— «Советская культура», 1989, 1 апреля.

[12] Сталнну была хорошо известна брошюра Горького «Из прошлого. О русском крестьянстве», в которой писатель объяснял жестокость форм революции исключительной жестокостью русского народа и предвещал, что «вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел н деревень — все те, почти страшные люди... и место их займет новое племя — грамотиых, разумных, бодрых людей» (Издание И. П. Ладыжникова, Берлин, 1922 г., с. 21В).

[13] В. Баранов «Да» и «нет» Максима Горького.

[14] М. Горький Полн. собр соч. в 30-ти томах. Т. 25. М., ГИХЛ, 1953, с. 228.

освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять лет достойно замещает его на труднейшем посту вождя партии»[15].

Но, пожалуй, ни с чем не сравним тот нравственный — равносильный катастрофе — урон, который причинил Горький человечности, правде, искусству апологией одного из самых страшных в истории христианской цивилизации «советского» эксперимента. Речь идет, конечно же, о гигантском эксперименте над страной, ее физическом изнасиловании и бесчестии, ее несмываемом позоре и кошмаре — создании ГУЛАГа.

Строительство Беломорско-Балтийского водного пути (на крови и костях заключенных) Горький, вслед за Сталиным и пользуясь его лексикой, без малейшего колебания относит на счет подвигов «чести и славы», «доблести и геройства». «Это,— пишет он,— отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно необходимого труда... Принятая Государственным Политуправлением исправительно-трудовая политика... еще раз блестяще оправдала себя. Она была оправдана и раньше в многочисленных трудовых колониях и коммунах ГПУ, но эту систему «перековки» людей впервые применили так смело, в таком широком объеме»[16].

Каковы же они, эти выгоды «государственно необходимого труда»? Аргументы Горького по нравственной слепоте, бесчеловечности и тому самому политическому цинизму, по-видимому, не имеют аналогов. Аргументов, собственно говоря, немного. Главный из них — политический: «В нашей среде, оказывается (!), прячутся мерзавцы, способные предавать, продавать, убивать. Существование таких мерзавцев недопустимо. Оно было бы невозможно, если б мы в текущей ежедневной героической работе нашей не забывали о том, что враг еще жив, что он следит за нами изо всех углов и всегда способен воспользоваться каждым нашим промахом, ошибкой, обмолвкой... Нужно уметь чувствовать его, даже когда он молчит и дружелюбно улыбается, нужно уметь подмечать иезуитскую фальшивость его тона за словами его песен и речей. Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов»[17]. Фактически это была санкция писателя-интеллигента на безудержный террор, это была наперед выданная палачам индульгенция за масштабность и размах их истребительской практики, это был призыв к тотальной слежке, план-разнарядка по выявлению врагов. Это была заявка на изменение профессионального статуса, на переход из гуманиста в «государственника».

В этой связи стоит подчеркнуть одну деталь. Развивая доводы в пользу такого «государственного» мышления, Горький отмечает еще один небывалый эксперимент, произведенный в его стране. «...Партия большевиков,— пишет он в 1934 году, едва кончился в стране страшный голод, унесший миллионы жизней,— осуществила грандиозную, небывалую «реформу» — она пересадила класс кулаков «на новые места», в условия, где сила «крепкого мужичка» может свободно расти и развиваться по генеральной линии интересов социалистического государства»[18]. И опять-таки не слыша (?), не сознавая (?) кощунства и цинизма в этой своей приверженности генеральной линии, Горький радуется «подлинному» освобождению крестьян от власти земли, от бедствий и нелепостей крестьянской жизни. Оказывается: «крепкий мужик» (он же кулак), вырванный с корнями из своего хозяйства, разоренный и — пущенный не по ветру, а под конвоем, разутый и раздетый, без гроша в кармане, завезенный в северную тьмутаракань, всего-навсего «поставлен в условия, достойные его крепости и силы, но ограничивающие его зоологический инстинкт хищника»[19].

«Государственное», «экономическое» мышление Горького образца 1935 года, вмещавшее и авторитетно благословлявшее рабский, бесплатный труд заключенных, сам пафос писателя, с каким он говорит о «перековке» «социально опасных» и «социально чуждых», азарт «хозяйственника», который вдруг открывает для себя неслыханные выгоды от использования дармовой и самовоспроизводящейся рабочей силы, завершают формирование «нового гуманизма» — «активного» гуманизма.

«Даже тогда,— восторгается Горький этим пролетарским гуманизмом,— когда человек обнаружил социально вредные наклонности и некоторое время действовал как социально опасный,— его не держат в развращающем безделье тюрьмы, а перевоспитывают в квалифицированного рабочего, в полезного члена общества»[20]. Нагляднее всего демонстрируется гуманизм пролетариата, как уверял Горький в статье, написанной за полгода до смерти, в январе 1936 года, «От врагов общества — к героям труда»,— работой чекистов в лагерях: именно они, как лично убедился писатель, совершают труднейшую работу «перековки» и последовательнее всего обнаруживают новое качество гуманизма.

«Литература мещан проповедовала «милость к падшим»,— сообщает Горь-

[15] М. Горький. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 27, М., ГИХЛ, 1953, с. 125.

[16] Там же, с. 126.

[17] Там же, с. 390.

[18] Там же, с. 385.

[19] Там же, с. 3В5.

[20] Там же, с. 463.

кий в своей программной статье 1935 года «О культурах»[21]. Ни такая литература, ни такая культура, ни гуманизм, исповедующий «милость к падшим», не устраивают более «великого пролетарского». Неугасимая пролетарская ненависть, классовая беспощадность, безжалостное истребление социально опасных, вредных и подозрительных — таковы краеугольные камни «нового» гуманизма — «истинного и правильного». С этим пониманием гуманизма — во всяком случае, выраженным публично и печатно,— Горький уходил из жизни.

Ромен Роллан в своих записях 1935 года изобразил Горького как фигуру бесконечно трагическую: «Несчастный старый медведь, увитый лаврами и осыпанный почестями, равнодушный в глубине души ко всем этим благам, которые он отдал бы за босяцкую независимость былых времен, на сердце его лежит тяжелое бремя горя, ностальгии и сожалений... Мне кажется, что, если бы мы с ним остались наедине (и рухнул бы языковой барьер), он обнял бы меня и долго молча рыдал»[22].

Сам Горький в эти летние недели 1935 года, в течение которых он общался с гостем из Франции, писал, например: «Гуманизм революционного пролетариата прямолинеен. Он не говорит громких и сладких слов о любви к людям... Задача пролетарского гуманизма не требует лирических изъяснений в любви — она требует сознания каждым рабочим его исторического долга, его права на власть, его революционной активности...»[23].

Из этого понимания гуманизма вытекали и задачи литературы: в том же 1935 году Горький их сформулировал в зловещем афоризме: «Не следует жалеть ярких красок для изображения врага»[24].

«В чьих бы руках ни была власть,— за мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически».

Вспоминал ли Горький, ослепленный, оглушенный и опутанный властью Сталина, эти свои слова, сказанные в далеком 1917 году? Хотел ли хоть на миг, хоть в мыслях своих воспользоваться своим человеческим правом? Если поверить проницательности Ромена Роллана, записавшего: «У старого медведя в губе кольцо»[25], то остается только глубоко сожалеть, что прозрения и ослепления великих людей, имея коварную особенность чередоваться в каком угодно порядке, обходятся очень дорого истории, культуре, человеку.

Воистину: падение доброго — самое злое падение.

[21] Там же. с. 465.
[22] «Вопросы литературы», 1989, № 5, с. 183.
[23] М. Горький. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. т. 27. М., ГИХЛ. 1953. с. 466.
[24] Там же, с. 430.
[25] «Вопросы литературы», 1989, № 5, с. 183.

К 100-летию со дня рождения Б. Пастернака

Александр ГЛАДКОВ

Встречи с Пастернаком

В середине шестидесятых годов сошлось у меня дома несколько литераторов. Завязался разговор о мемуарах, благо в ту пору открылась целая россыпь этого рода литературы. Одни из них, как «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга и последние части «Повести о жизни» Константина Паустовского, публиковались в журналах, составляя подножный наш духовный корм. Другие, как автобиографическая проза Марины Цветаевой и воспоминания Юрия Анненкова, добредали к нам из-за границы. Третьи, как «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и построенные на мемуарной основе «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, хоть и не тиражировались в виде печатной продукции, читались таким широким кругом читателей, о каком могли только мечтать иные баловни типографского станка.

В том давнем разговоре кто-то потревожил тень Эккермана и сказал, что есть какая-то загадочная странность в том, что именно ему, человеку вполне заурядному, личности совершенно бесцветной, посредственному стихотворцу, великий Гете поверял сокровенные свои мысли. На это другой собеседник, завзятый полемист, тотчас же возразил, что решительно ничего странного в этом не видит. Это только в стихотворении Лермонтова, сказал он, звезда с звездою говорит. На самом деле ни малейшего позыва разговаривать друг с другом звезды не испытывают. Каждой из них достаточно того, что она излучает свет. Царь не может жить изо дня в день в компании царей, как наш брат живет в домах творчества. Это противоестественно. Ему нужны не цари, а придворные. Гении искусства тяготятся обществом равных себе, предпочитая им идолопоклонников, которые ходят за ними тенью и почтительно ловят каждое роняемое ими слово. Чего уж там искать примеров на стороне, когда в нашей стране у Льва Николаевича и Достоевского ни разу не возникла потребность пересечься друг с другом и потолковать по душам. А ведь появись у них такая потребность, им не понадобилось бы для ее осуществления преодолевать особые препятствия. Эти препятствия сидели в них самих. Чудесно обходились, не встречаясь друг с другом. И нисколечко при этом не чувствовали себя обделенными. Стоит ли удивляться выбору Гете? По части сознания своего величия этот олимпиец далеко позади себя оставил Толстого и Достоевского. Да, именно потому, что Эккерман был ничем не примечателен, кроме разве что услужливой готовности самозабвенно фиксировать каждый чих знаменитого своего соотечественника, именно потому, что он был чем-то вроде магнитофона в образе человека, Гете и не чаял в нем души. Эккермана можно понять. Бедняга догадывался, что ни мытьем, ни катаньем при отпущенных слабых силенках славы ему не добыть, вот и решил погреться в лучах славы великого человека.

Присутствовавший при этих доморощенных дебатах Александр Константинович Гладков поначалу не раскрывал рта. Хотя он и принадлежал к разряду тех, кто не лезет за словом в карман, он в иных случаях поразительно умел молчать. Чаще всего, когда мог почерпнуть нечто новое или когда высказывались мнения, вызывавшие у него решительный протест. На этот раз он все больше и больше мрачнел. Недурно зная его, я подозревал, что ему сильно не нравится оборот, какой принял разговор. Подозрение это не замедлило подтвердиться. Эккерманов хулитель не сказал еще, очевидно, и половины того, что приготовил для нашего слуха, как Александр Константинович перебил его речь и яростным голосом произнес целый монолог. Он сказал, что отказывается понимать, как это можно с презрительным высокомерием говорить о человеке, который заслуживает величайшей признательности. О человеке, который создал замечательную книгу, положившую начало новому литературному жанру. Даром, что ли, ее на протяжении более чем века читает не одно поколение читателей? Если мы имеем возможность слышать живой голос Гете, приникать к его духу, следить за ходом его мысли, то этим мы всецело обязаны Эккерману. Из чего это видно, что он был чуть ли не бездарностью и ничтожеством? У него были задатки, что-

бы стать проницательным критиком. Гете ведь и обратил на него внимание потому, что как-то раз прочитал критическое сочинение о себе, написанное Эккерманом. Нет ничего глупее, чем сравнивать бездушный магнитофон с человеком, общение с которым рождало у Гете потребность поразмыслить и высказаться о сложнейших и тончайших проблемах истории, философии, естествознания и искусства. Чтобы постоянно пробуждать в собеседнике, да еще в таком, как Гете, эту потребность, надо было быть незаурядной личностью. Как и для того, чтобы понимать гениального человека, быть равным ему в этом понимании, хорошую голову надо было иметь. Одних ушей для этого недостаточно. Говорят, что большой писатель целиком и полностью выражается в своих книгах. Но ведь это только отчасти верно. Конечно, выражается, но вряд ли большой писатель, если он даже очень продуктивно работает, до донышка выкладывает все, что он мог и хотел бы сказать. Не о внешних преградах речь, не о том, что кто-то или что-то мешает ему высказаться. Большой писатель всегда шире того, что он успевает написать. Ведь чтобы все написать, мафусаилова века не хватит. Многое из того, что он мог бы сказать и говорит, остается незафиксированным. Если современникам, тем, понятно, кому посчастливилось непосредственно соприкасаться с ним, что-то еще перепадает из этого богатства, то потомкам, коли осведомленные современники не ловили мышей, ничегошеньки не достается. Почему самые разные читатели из рук рвут воспоминания современников больших писателей? Да потому, что вызванная книгами писателя жажда узнать о нем как можно больше требует утоления. Нет, как бы вы тут ни унижали Эккермана, то, что он сделал, я назвал бы святым делом. И как жалко, что возле больших наших писателей за вычетом, пожалуй, одного только Льва Толстого, с которым нам в этом смысле повезло, не нашлось своих Эккерманов. Будь вот такой Эккерман рядом с Пушкиным, не пришлось бы нам ломать голову и теряться в догадках, каков был в точности разговор Николая с Александром Сергеевичем после казни декабристов. Кстати, сам Пушкин, у которого по части собственных замыслов все было в полнейшем ажуре, не гнушался записывать каждое более или менее любопытное свидетельство современников Екатерины и Павла, — и не только с практической целью, как это было, когда писал о Пугачеве, но и как бы без особой цели, не задумываясь, послужит это материалом для будущего сочинения или нет. Знал цену таким свидетельствам. Дорожил ими. И сердился, когда другие не понимали этого. Горевал, что замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов, что мы ленивы и не любопытны. И остается только руками развести, когда тот, кто побарывает эту лень, вызывает у нас не одобрение, а иронию.

Горячность, с какой Гладков ринулся защищать репутацию автора «Разговоров с Гете», коренилась не в том, что он имел известные основания пренебрежительный тон, которым говорилось об Эккермане, отнести на свой счет и почувствовать себя лично задетым. Уверен, что Гладков, который к тому времени успел предать гласности часть своих записей о Мейерхольде, был бы только польщен, если бы его сравнили с Эккерманом, книга которого надолго пережила ее создателя. Но в том давнем споре Александр Константинович не только отдавал должное автору этой книги. Он отстаивал насущную необходимость сохранять для потомства то, что происходит на наших глазах, и не дать забвению поглотить события и факты, составляющие строительный материал истории, знанию которой он придавал огромное значение. Он видел в истории не застывшее прошлое, канувшее в Лету, а живую материю, которая, взаимодействуя с современностью, многое определяет в ходе ее развития. Он считал, что правдивое воссоздание минувших времен возможно лишь тогда, когда наличествуют не только документы, но и субъективные свидетельства тех, кто жил в эти времена. Чем больше таких свидетельств, тем больше шансов, что история предстанет перед нами в неискаженном виде. Выступая в 1974 году на обсуждении проблем мемуаристики в «Вопросах литературы», он говорил:

«...Я думаю, что мемуары сейчас — самый необходимый род литературы... Труднее всего разобраться в эпохе, от которой осталось мало мемуаров, ибо мемуары — это раскрытые окна в прошлое... Богатство или бедность мемуаристики данной эпохи — это уровень зрелости общества, его исторического самосознания, как личная память — признак человеческой зрелости. Плохая память, общественная или личная,— свойство бессознательной, как говорится, «растительной» жизни. Люди, которым нечего помнить, обычно — неинтересные, серые, малосодержательные люди. Потребность поделиться запасами памяти — черта общественного человека. Какой-то философ сказал: «Помнить — это значит предвидеть». Это почти всегда верно... Мне могут возразить, что кроме талантливых мемуаров во множестве существуют и вялые, невыразительные, серые. Бесспорно. Но можем ли мы отринуть их, руководствуясь только критерием, так сказать, художественности? Если они в любой форме доносят до нас новые факты, ранее неизвестные и никем не описанное,— ни в коем случае. Я, мемуарный читатель-фанатик, предпочитаю плохо написанные мемуары, бескрасочные, но правдивые,— бесчисленным «средним» романам и повестям, появляющимся в большом количестве. Для цельной большой исторической картины могут оказаться полезными любые мемуары».

Примечательно, что эти слова принадлежат не присяжному летописцу, всегда готовому во имя фактической достоверности пожертвовать художественной выразительностью, а профессиональному литератору, влюбленному в искусство слова. Но, пожалуй, еще более примечательно, что сознание бесценности непосредственных свидетельств современников и потребность внести свой посильный вклад в сохранение исторической памяти зародились у Гладкова еще очень рано, когда он пребывал в нежном возрасте. На пороге юности он обратился к дневнику, который с неизбежными и по большей части от его воли не зависевшими перерывами вел до конца дней своих.

В 1930 году, когда ему было восемнадцать лет, Гладков стал сотрудничать в московских газетах. Поначалу на скромных ролях репортера, а затем в качестве рецензента. Увлеченность сценическим искусством — истовым театралом он заделался, еще учась в старших классах школы, — привела его в ГостиМ (Государственный театр имени Мейерхольда), где он числился в странной должности сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Впрочем, не такой уж и странной, если помнить, что руководитель театра стремился освободить работу актера от кустарничества и строить ее на научном фундаменте. Ежедневно общаясь с Мейерхольдом, видя и слыша его на репетициях, совещаниях, обсуждениях, в часы досуга, Гладков, у которого был уже накоплен кое-какой опыт газетного репортажа и ведения дневника, стал регулярно записывать высказывания Мастера, как называли Всеволода Эмильевича все, кто был причастен к работе театра.

Сегодня, когда мы знаем, что этот уникальный театр по мановению свыше в одночасье был ликвидирован, что его создатель был арестован и расстрелян, что на протяжении без малого двух десятилетий беспощадно выкорчевывалась память о ГостиМе и его руководителе, что восстановление исторической правды уже после юридической реабилитации Мейерхольда, наталкиваясь на массированное сопротивление временщиков, командовавших искусством, шло медленно и туго, что те, кто мог бы пролить свет на эту намеренно затененную страницу нашей культуры, постепенно одни за другими уходили из жизни, всем нам понятно, какую прозорливую ответственность проявил Гладков, сохраняя то, что было обречено на исчезновение. Но тогда, в середине тридцатых годов, когда он с головою ушел в жизнь театра и львиную долю энергии отдавал своим записям, это далеко не всем было очевидно. Его не могло не ободрить, что сам Мейерхольд, познакомившийся с этими записями и убедившийся, что молодой сотрудник точно воспроизводит движение его мысли, благодарно оценил их. Но зато те, кто составлял ближайшее духовное окружение Гладкова и с чьим мнением он привык считаться, иронически пожимали плечами, недоумевая, зачем он обрекает себя на жалкую роль исполнителя примитивных секретарских функций. Готовясь завоевать творческие вершины (некоторым из них, к слову сказать, это вскоре удалось), веря, что и у Гладкова тоже есть все данные для этого, его друзья смотрели на него как на упрямого чудака, закапывающего свой талант в землю.

В феврале 1966 года в письме ко мне Гладков вспоминал: «...Я был прав, когда не уходил из ГостиМа, когда мои преуспевающие приятели звали меня холуем Мейерхольда... У Мейерхольда моя зарплата была грошовой, а занят я был так, что мне трудно было заниматься параллельно журналистикой (хотя я и занимался). И я часто сидел без денег, а мои приятели всегда почти были при деньгах и глядели на меня с недоумением». И обращаясь к поре, когда писалось письмо,— только что прошел суд над Синявским и Даниэлем, не оставлявший сомнений, что для литературы наступают трудные годы,— приходил к выводу: «Если наше время примечательно, как и всякое иное (а может быть, и немного больше), то сидеть в норе стоит, лишь если ты Шаламов — то есть если у тебя есть требующий выражения огромный опыт, или новый Кафка, но лучше и вернее быть активным свидетелем времени».

Таким активным свидетелем времени, пока позволяли силы, стремился быть Гладков, хотя и ему под давлением обстоятельств случалось уползать в нору. С театром Мейерхольда он — и отнюдь не по соображениям собственной безопасности — расстался незадолго до его закрытия. В 1937 году был арестован и на десять лет отправлен на Колыму его младший брат. Три года после этого Гладков перебивался случайными работами, мало что дававшими его уму и сердцу. В 1940 году, поставив крест на службах и перебиваясь с хлеба на воду, он дерзнул начать писать пьесу в стихах, которую закончил за несколько месяцев до начала войны. Пьеса эта — героическая комедия «Давным-давно» — сделала его имя широко известным. Поставленная впервые Николаем Акимовым в блокадном Ленинграде, она затем обошла сцены многих театров страны. В ней были заняты актрисы милостью божьей Мария Ивановна Бабанова и Любовь Ивановна Добржанская. Впоследствии, когда Гладкова уже не было в живых, Игорь Ильинский писал: «Его первая «счастливая» комедия «Давным-давно», несмотря на разные прогнозы и придирки, останется навсегда. ...Хотя труд автора этой комедии не был увенчан никакими лаврами, эта нежная, по-своему виртуозная, «несерьезная» пьеса не сойдет со сцены». Успех пьесы два десятилетия спустя разделил созданный на ее основе фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Послевоенные годы сложились для Гладкова трудно. Его пьеса «Жестокий

романс» подверглась яростному разносу и была снята с подмостков всех театров, где была поставлена или только репетировалась. Она угодила в черный список «О репертуаре драматических театров», своего рода дочернего документа более фундаментального постановления — о журналах «Звезда» и «Ленинград». Того самого, где втаптывались в грязь Ахматова и Зощенко и которое недавно официально было отменено.

Беда одна не ходит. Не успел Гладков оправиться от литературных напастей и мало-мальски встать на ноги, как был арестован. По ходовому в то время обвинению в антисоветской деятельности, к которому подверстывалось все что угодно, ои был приговорен к десяти годам заключения. Шесть лет он провел в лагерях иа Севере. В 1954 году его амнистировали, но реабилитирован он был лишь пять лет спустя. Выйдя на волю, он вернулся к драматургии и написал несколько пьес. Одним из них повезло больше, другим — меньше, третьим совсем не повезло. Самая большая, на мой взгляд, его драматургическая удача, пьеса о Байроне, до сих пор так и не дождалась света рампы, да и типографский облик она обрела уже после кончины автора.

В шестидесятые годы Гладков отдался мемуаристике, к которой основательно был подготовлен всей своей предыдущей жизнью. В альманахе «Театральная Москва», в журнале «Новый мир», в сборнике «Тарусские страницы» одни за другими появляются его записи высказываний Мейерхольда и воспоминания о нем. В последующие годы ему удалось напечатать мемуарные очерки о Юрии Олеше, Константине Паустовском, Алексее Попове, Илье Эренбурге. Даря мне в октябре 1975-го (жить ему оставалось ровно шесть месяцев) коллективный сборник воспоминаний, куда вошел и его очерк, он написал: «от мемуариста-графомана». В этом словосочетании, которым он определил себя, ощутима не только самоирония, но и горечь. Большая часть его воспоминательных работ так и не увидела света при жизни автора, да и те, что после долгих мытарств все же были опубликованы, выходили в искалеченном виде, с неисчислимыми потерями, а он не унимался, продолжал писать мемуары, неутомимо, если воспользоваться его метафорой, раскрывать окна в прошлое.

В 1963 году Гладков в адресованном мне письме сообщал: «Я написал о Б. Л. пол-листа и отложил... Это не статья о поэзии, это воспоминания о поэте. Пишу для тех, кто знает и любит его стихи. Кстати, среди записанных мною его высказываний есть кое-что, что покажется парадоксальным или странным иным его поклонникам, но им придется примириться. Я не согласен с Евтушенко, написавшим, что Б. Л. в жизни «играл». В том смысле, в котором он это пишет, это неверно. Людям, не имеющим привычки или смелости быть самими собой, кажется позой наиестественнейшее поведение углубленного в себя человека. У меня будет не меньше 4 листов».

В том же 1963 году Гладков вчерне закончил первый вариант воспоминаний, которым дал название «Встречи с Пастернаком». Как явствует из его дневника, я был первым их читателем. Сколько помнится, они тогда составляли чуть больше половины окончательного их текста. На протяжении полутора лет автор возвращался к рукописи, обогащал ее новыми мотивами, дополнял мемуарные свидетельства размышлениями о творческом пути, стихах и прозе поэта. При этом он не только ничего не смягчал, не только не приспосабливал воспоминания к наличным цензурным условиям, но прямо и откровенно, без обиняков и лукавства говорил о том, чего в ту пору ни под каким видом не принято было касаться.

Человек, искушенный в литературе, Александр Константинович достаточно хорошо ориентировался в обстоятельствах, в каких в середине шестидесятых годов пребывало печатное слово, чтобы не заблуждаться относительно реальных возможностей более или менее скорой публикации «Встреч с Пастернаком». Но нет ничего ошибочнее, чем думать, что он принимал эту прискорбную данность с легким сердцем, баюкал себя доводом, что благодарные потомки, до которых дойдут плоды труда его, почтительно воздадут ему должное. Ему — и это в полной мере приложимо если и не ко всем пишущим, то к преобладающей части их — нужны были не посмертные лавры, а живые отклики современников. Нельзя сказать, чтобы таких откликов вовсе не было. Хотя автор палец о палец не ударил, чтобы пустить рукопись в плавание по вольным волнам самиздата, копии ее множились, и я едва ли погрешу против фактов, если выскажу предположение, что количество ее вкземпляров исчислялось внушительной цифрой. В марте 1966-го он сообщал мне в письме: «В прошлом году она (рукопись) кружила по Ленинграду, а сейчас кружит по Москве, и как это случилось — я сам не понимаю». Среди читателей воспоминаний были Ф. Абрамов, Б. Балтер, Н. Берковский, Ю. Домбровский, Е. Дорош, Н. Мандельштам, А. Марьямов, В. Некрасов, В. Панова, К. Паустовский, В. Семин, М. Слонимский, Б. Слуцкий, Ю. Трифонов — называю только тех, о ком доподлинно мне известно и кого нет уже в живых. Все они были единодушны во мнении, что воспоминания очень удались автору. Одобрительные отзывы собратьев по перу окрыляли Гладкова, но все же не могли заглушить чувства неудовлетворенности.

Как и всякого профессионального литератора, его не могло устроить, что «Встречи с Пастернаком», над которыми он работал свыше полутора лет, обречены гулять по белу свету в полулегальном машинописном виде. Ему хотелось увидеть их опубликованными. Ему хотелось, чтобы они стали достоянием не только

элитарного круга избранных и посвященных, но и широкого слоя самых разных читателей. Когда после долгих мытарств и проволочек в Большой библиотеке поэта вышел том стихотворений Пастернака, у Гладкова затеплилась надежда, что ему удастся «под видом рецензии протащить хотя бы отрывок из воспоминаний», но упованиям этим не суждено было сбыться. Как не увенчались успехом попытки почитателей этих воспоминаний поместить их в периодике. У нас в стране при жизни автора не было напечатано ни строчки из «Встреч с Пастернаком». Полнейшей неожиданностью для Гладкова явился выход их в 1973 году отдельной книжкой в Париже. Узнав об этом, он и обрадовался, и встревожился. Он опасался, как бы зарубежная публикация не навлекла на него новые беды. К счастью, страхи оказались напрасными. Никаких последствий издание книги во Франции за собой не повлекло.

В 1978-м, через два года после смерти Гладкова, воспоминания о Пастернаке были напечатаны в «Литературном обозрении». Разумеется, не полностью, а выборочно. Все, что сопряжено было с темами и сюжетами, о которых молчать считалось хорошим тоном и чем-то вроде гражданского такта, осталось за бортом этой публикации. По меньшей мере опрометчиво было бы метать громы и молнии в публикатора рукописи В. Забродина и в работников журнала, давших ей приют, за то, что, печатая ее, они не сумели обойтись без обширных и весьма чувствительных купюр. Чтобы в ту пору напечатать «Встречи с Пастернаком», пусть и в сильно усеченном виде, надо было обладать никак не меньшей отвагой, чем для публикации нынче того, на чем десятилетие назад лежал тотальный запрет.

Воспоминания * Гладкова, в которых Пастернак предстает перед нами «живым, живым и только, живым и только до конца», говорят сами за себя и ни в каких пояснениях не нуждаются. Единственное, что требует комментариев,— это отношение автора к «Доктору Живаго». Впрочем, в таких комментариях не было бы никакой надобности, если бы не опасение, что ясная и безупречная позиция Гладкова может быть взята на вооружение теми, кто с помощью сомнительной акробатики стремится принизить Пастернака и его роман. Не успел с опозданием на тридцать лет появиться в отечественной печати «Доктор Живаго», с благодарностью прочитанный и продолжающий читаться тысячами наших современников, как он стал предметом — уже по второму кругу — новых поношений. Под благообразными прикрытиями нам внушается идея, что русская литература решительно ничего не выиграла от возвращения этого многострадального романа из небытия и, следовательно, ничего не потеряла из-за того, что он вчера был предан анафеме. Конечно, куда денешься, три десятилетия назад малость погорячились, кое-чего лишнего наговорили, чересчур большой шум подняли, но, если разобраться, создатель романа от этого внакладе не остался. Благодаря скандалу мировую славу обрел. Думаете, преувеличиваю? Да нисколечко.

Высокий ценитель художественности, бывший вожак комсомола страны, а впоследствии шеф КГБ В. Семичастный, тот самый, который под гром одобряющих аплодисментов на весь мир заявил, что Пастернак хуже свиньи, уже в наши дни, в июне 1989 года, не только не испытывает позыва посыпать главу свою пеплом и пожалеть о чудовищном оскорблении, какое нанес травимому поэту, но на голубом экране, без тени стыда и сожаления, уведомляет честной народ: «Я и теперь считаю, что роман Пастернака «Доктор Живаго» — это не роман высшего класса... Но роман-то не заслуживает тех, понимаете ли... Мы этому роману такими акциями создали рекламу». Оказывается, изъян того, что Семичастный деликатно называет «акциями», состоял не в том, что с грязью смешивался прекрасный русский поэт, не в том, что покрыли позором нашу страну, а в том, что неосторожно спровоцировали успех роману, который без рекламной травли не имел никаких шансов стать приметным событием культуры.

Знакомые речи.

Незабвенный полковник Скалозуб, слушая похвалы Москве, изъяснялся в похожем духе:

По моему сужденью.
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Бедная Москва! Не будь она спалена во время нашествия Наполеона, и, глядишь, легко сыскалась бы другая «столица, как Москва». Без акций Семичастного и его боевых соратников роману Пастернака суждено было бы тихо и бесславно зачахнуть. Бывшего комсомольского вождя почему-то нимало не смущает, что факты в его интервью поставлены с ног на голову. Кто не знает, что не скандал вызвал успех романа, а, наоборот, успех романа породил этот скандал? Напечатанный в Италии, «Доктор Живаго» был тотчас же переведен на главные европейские языки и триумфально стал расходиться по миру. Читательское признание, высокая оценка, данная ему авторитетными писателями, в частности такими, как Альбер Камю и Франсуа Мориак, послужили причиной того, что Нобелевский комитет решил присудить премию Пастернаку. И именно присуждение этой премии положило начало развязанной против него кампании ненависти.

Удивляться тому, что память подвела Семичастного, нет никакого резона. Память не бесстрастное механическое уст-

* Для предлагаемой вниманию читателей публикации мною подготовлены только те страницы «Встреч с Пастернаком», которые до сих пор не были напечатаны в нашей стране.

ройство. Она органически связана с духовным обликом человека и его моральными качествами.

Куда в большей мере достойно удивления, что и среди пишущей братии находятся люди, которые из кожи вон лезут, пытаясь доказать, что роман Пастернака решительно никуда не годится, что его автор потерпел закономерное поражение, поскольку вопреки незаслуженной им репутации он и поэтом был не ахти каким, что, в свою очередь, коренится в том, что он эгоцентрически был замкнут на своих ничтожных переживаниях, отгородивших его от мира. За этой системой оценок и приговоров стоят вполне реальные и отнюдь не бескорыстные интересы. Одни из нынешних хулителей Пастернака в свое время приложили руку к его изъятию из литературного и общественного обращения, и им, гримирующимся под патриотических радетелей за высокие гражданские и эстетические ценности, страсть как хочется предстать перед широкой публикой в облике незапятнанной респектабельности. Коли роман плох, коли и стихи его создателя не так хороши, как об этом твердили и твердят экзальтированные поклонники поэта, то они совершили чуть ли не богоугодное дело, развенчав ложного кумира. Другие нутром чувствуют — и надо отдать им должное, инстинкт самосохранения не обманывает их, — что возвращение поэзии и прозы Пастернака задвигает их в тень, а с такой перспективой они, избалованные искусственным светом юпитеров, ни при какой погоде не желают мириться. Третьи, небескорыстно спешащие на подмогу первым и вторым, страдают недугом, который едва ли поддается излечению. Даже если те, кто поражен им, не обделены эрудицией и увенчаны учеными степенями и званиями.

Дабы не возникали сомнения, о каком именно недуге идет речь, уместно вспомнить давнишнюю байку.

Идет репетиция оркестра. Исполняется классика. Не то Моцарт, не то Бетховен. Оркестранты играют замечательно. Музыка звучит прекрасно. Но дирижер, начавший репетицию в приподнятом настроении, чем дальше, тем больше чувствует себя не в своей тарелке. Его выводит из себя виолончелист, с лица которого не сходит брюзгливая хмурость. Дирижер старается не замечать этого, но потом не выдерживает, опускает палочку, стучит ею по пюпитру и спрашивает виолончелиста, что ему не по нутру и почему у него на физиономии такая кислая мина. Виолончелист молча пожимает плечами. Может быть, неважно себя чувствует? Нет, чувствует он себя недурно. Может быть, что-то случилось дома? Нет, дома как будто все в порядке. Может быть, его раздражают обстановка, интерьер там или освещение? Нет, обстановка как обстановка. Может быть, расстроен инструмент? Нет, виолончель звучит вполне сносно. И тогда дирижер, потеряв терпение, срывается на крик:

— Так в чем же дело, черт подери?

Виолончелист выдавливает из себя:

— Видите ли, дело в том, что я с детства музыки терпеть не могу...

Гладков любил «музыку». С отроческих лет он жил поэзией, ставшей неотъемлемой принадлежностью его душевного мира. Он отдал дань писанию стихов. Он был неутомимым читателем современной ему поэзии. И мало кого из современных ему поэтов он так чтил, как Пастернака. В своих воспоминаниях о Борисе Леонидовиче он написал об этом с исчерпывающей определенностью:

«В стихи Пастернака я влюбился... еще в средней школе... Понимание не предшествовало любви, скорее — наоборот. Очень скоро все напечатанное поэтом вошло в душевный инвентарь юности. Все летние дожди стали казаться цитатами из него, все туманные рассветы, все закапанные утренней росой сады — природная природа горожанина, которую волшебство поэзии лишило скуки обиходной привычности и вернуло ей блеск и трепет чуда. Стало ясно, что куст домашней сирени ничем не хуже какого-нибудь романтического дуба на обрыве или есенинской березки. Неоромантизм Пастернака не уводил далеко в экзотику дальних гор или морей. Он отлично уживался со скамейкой на Гоголевском бульваре, купальней на Клязьме, Нескучным садом. Он превращал в поэзию все окружающее, с детства знакомое,— город, его мостовые, шелуху семечек, вкус апельсиновой дольки, шелестящий под дождем ночной сад, расплыв вальса, книжные полки с томами старых философов и историков. В одной точке чудесно соединились сразу бессмертное и почти бессмысленное чмоканье фетовского соловья, ирония Гейне, философская высота Тютчева и пряная музыка импрессионистов... Поколения, рано полюбившие Пастернака, сразу взяли барьер вкуса, ставший обязательным на всю жизнь. Мир юности сложен, и тяга к простоте ей чужда, если это не притворство. И в моем личном опыте, и в опыте моих ровесников поэзия Пастернака никогда не противостояла поэзии Маяковского: наоборот — она ее дополняла, углубляла, расширяла...

Впоследствии Пастернак читался и перечитывался по-разному. Я говорю сейчас только о первом узнании поэта, о том, как он когда-то вошел в мою жизнь, а сколько этих встреч было потом. Всегда книги его открывались на каких-то страницах и строчках, нужных именно в данное мгновение, и каждый раз знакомые, но заново прочитанные стихи становились чем-то вроде ключа к тайнописи душевной путаницы, из которой поэзия помогала выбираться без урона.

Летом 1933 года вышло «Второе рождение». Из этого лета я сейчас и помню только бесконечные проходящие ливни, маленькую книжку со стилизованной крышкой фортепьяно на обложке, все места, где она читалась, и тех, с кем она

читалась. Стихи из нее не нужно было стараться запоминать. Едва прочтенные, они не уходили из головы сами. Это было именно то, что должно называться стихами, нечто невозможное в пересказе, кратко и поражающе точно. Как и строфы из «Сестры моей жизни» и «Поверх барьеров», они сразу становились формулами душевного опыта, расшифрованной стенограммой чувств, озарением догадки о многом еще не испытанном, но предстоящем».

Разочарование Гладкова в «Докторе Живаго» коренилось не в том, что он находил какие-то изъяны в личности его автора (он был покорен его нравственной чистотой и душевным величием), не в том, что охладел к поэзии Пастернака (он до последнего вздоха продолжал жить ею), а в том, что роман оказался не совсем таким или, точнее говоря, совсем не таким, каким он рисовался его ожиданиям. Внутренняя близость к Пастернаку, поглощенность его поэзией, как это ни странно по первому впечатлению, помешали Гладкову ощутить своеобразную новизну романа. Александр Константинович думал, что в нем разовьются те свойства пастернаковской прозы, какие с такой отчетливостью проявились в ставшей настольной книге Гладкова «Охранная грамота», а «Доктор Живаго» оказался совсем иным, не развернутой исповедью, где исторический фон как бы абсорбирован восприятием автора, не классическим романом, развертывающимся без какого бы то ни было вмешательства его создателя, а сюжетным повествованием, в котором мощная лирическая струя растворена в эпическом потоке. Гладков чувствовал себя так, словно «шел в комнату, попал в другую». И, отдавая должное перу Пастернака, восхищаясь отдельными страницами и сценами этой книги, считая, что она «как писательский поступок мужественна и героична», что «моральные ее предпосылки безукоризненны», он как художественное целое не сумел ее принять.

Кто знает, может быть, доведись Гладкову дожить до наших дней, он оценил бы роман несравненно выше, чем оценил его при первом знакомстве. «Доктор Живаго» из тех книг, глубина и значение которых открываются по мере движения времени. Четверть века назад Гладкову казалось, что «все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано... Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед; стилизованная эссенция России». Сегодня очевидно, что это не стилизованная, а реальная Россия, которая, несмотря на то, что ее самоуверенно, кто с ликованием, кто со скорбью, объявляли упраздненной, существует и дает о себе знать.

Гладков полагал, что «беда Б. Л. — в неверном выборе жанра для того большого сочинения в прозе, к которому его так тянуло всю жизнь». С этим трудно согласиться. Пастернак нашел тот жанр, который идеально отвечал его художественным устремлениям и позволил ему выразить сложное отношение к сложнейшей эпохе, в какую выпало жить ему самому и его героям. Нам привычно думать, что новаторство в искусстве проявляется исключительно и только в решительной ломке устоявшихся форм, но пример романа Пастернака убеждает в том, что внутренней новизне случается таиться в обличии до мелочей знакомой, отчасти даже рутинной традиционности, и именно в этом состоит, пожалуй, едва ли не самая характерная особенность «Доктора Живаго», не уловив которой трудно постичь его своеобразие.

Рассказывая об одной из встреч с Пастернаком, во время которой разговор зашел о «Докторе Живаго» (роман в ту пору только писался, и до его окончания оставалось около десяти лет), Гладков вспоминал: «...Он сказал странную фразу, которую я тогда записал буквально: «Я пишу этот роман о людях, которые могли бы быть представителями моей школы, если бы у меня такая была...»

Мне кажется, что в этой «странной фразе» — ключ к замыслу, природе и жанру романа. Под школой тут, очевидно, следует понимать не цеховую группу, спаянную однородными профессиональными задачами, а неизмеримо более широкую общность — круг интеллигентов, связанных близким мироощущением и родственными интересами, к которому всем своим существом принадлежал автор, но ведущий рассказ не о себе, поскольку в силу достаточно редкого стечения обстоятельств (сын признанного художника, ученик Скрябина, студент Марбургского университета, счастливо реализованный поэтический дар) судьба его была отмечена печатью избранности, а о менее заметном, если угодно, рядовом представителе этого круга. Глазами героя романа увидено все, происходящее с ним и вокруг него. Герой выступает в роли незримого соавтора творца романа. Но это скрыто эпической формой повествования, идущего не от первого, а от третьего лица, и только в самом конце, когда «затихает гул» сюжетного течения, герой «выходит на подмостки», и в чередующихся друг за другом стихах голос его звучит открыто, непосредственно, в полную силу. Стихи бросают обратный свет на ход романа и одновременно подводят ему лирический итог.

Когда сегодня задаешься вопросом, почему этот роман, явившийся в потоке книг, вышедших на поверхность, не затерялся в мощной лавине публикаций, приходишь к выводу, что это случилось не только потому, что он воскресил картины жизни и образы людей, которые умышленно вытравлялись из памяти и намеренно искажались, что само по себе достойно признательности, но в куда большей мере потому, что в «Докторе Живаго» содержится философское осмыс-

ление участи русской интеллигенции в катастрофически трудные годы ее бытия. Чем больше конкретных фактов мы узнаем о людях русской культуры, перед которыми встал страшный выбор: сохранить верность нравственным заветам ценою собственной гибели или сохранить свое существование ценою отречения от этих заветов,— тем больше вырастает в наших глазах роман Пастернака. Думая о горьком жребии, выпавшем на долю Кондратьева и Чаянова, Мандельшама и Флоренского, тысяч других известных и мало кому ведомых близких им по духу современников, понимаешь, что их мученические и подвижнические судьбы сродни жизни Юрия Андреевича Живаго. Иной в тех обстоятельствах эта жизнь быть не могла, ибо, как сказал автор стихотворными устами своего героя, «но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути».

Л. ЛЕВИЦКИЙ

Я познакомился с Борисом Леонидовичем в конце зимы 1936 года в доме Мейерхольда. /.../

Встречая после Б. Л. на концертах довольно часто, я кланялся, и он отвечал, но разговаривать с ним мне долго не случалось, кроме одной встречи на Гоголевском бульваре, когда он сам остановился и заговорил с необычайной прямотой и откровенностью. Было это осенью 1937 года, в разгар арестов и расстрелов. Говорил он один, а я молчал, смущенный неожиданной горячностью его монолога, который он вдруг оборвал чуть ли не на полуслове. Он был взволнован и вспоминал Достоевского. Помню фразу о Шигалеве. Незадолго перед этим был арестован мой брат, и запись о встрече в моем блокноте красноречиво лаконична: дата, Гоголевский бульвар, Пастернак...

В начале года он подвергся поношениям на так называемом «пушкинском» пленуме правления Союза писателей, — расплата за похвалы Бухарина в докладе о поэзии на Первом съезде писателей. Особенно злыми были выступления А. и Х. Речь Х. на первый взгляд может показаться странной. Почему он, сам подлинный, тонкий поэт, присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно только, если представить психологию времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью. Откройте любой лист газеты того времени, и вы увидите, как часто завтрашние жертвы, чтобы спастись, обливали грязью жертвы сегодняшнего дня. Еще осенью или в начале зимы 1936 года разыгралась история с отказом Пастернака подписать протест против книги А. Жида «Возвращение из СССР». Пастернак сослался на то, что он не читал книги, и это было чистейшей правдой, но ее не читало также и девять десятых писателей, давших свои подписи. Нравственная щепетильность Пастернака казалась позой вызова, чем она вовсе не была. Помню, как искренно негодовал литератор В., подписавший протест. «Ну и что же, что не читал? — говорил он. — Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали! И чего ему больше всех надо? Ведь «Правда» написала, что книжка — вранье...» В этом эпизоде уже был в зародыше тот конфликт Пастернака с Союзом писателей, который так драматично определился в дни Нобелевской премии. Ведь тогда тоже большинство осуждавших Б. Л. не читало его романа.

После этого Пастернака долго не печатали. Только перед самым началом войны вышла книжка переводов и в журнале «Молодая гвардия» был опубликован «Гамлет» (перевод трагедии). /.../

Пастернак иногда возникал на страницах журналов или вновь надолго исчезал, подвергаясь критической анафеме. Он обладал способностью нечаянно попадать в разные политически двусмысленные обстоятельства. То это были комплименты Бухарина, то дискуссия о книге А. Жида.

Я слышал выступление Б. Л. на Первом съезде писателей. Это было в конце лета 1934 года, а в декабре выстрелом в Кирова раскололись тридцатые годы. Убийство Кирова положило начало сталинским репрессиям против его реальных и воображаемых недругов. О массовых высылках из Ленинграда все знали, но считали это локальным и единичным мероприятием. Только дальнейшее показало, что это была прелюдия к расправам 1937-го и последующих годов.

В литературной среде до конца 1936 года обострения не замечалось, и даже арест О. Мандельштама в мае 1934 года никого особенно не встревожил. Летом 1936 года умер Горький, и только после этого события стали развертываться круто. Все это время Пастернак много переводил грузинских поэтов. Двумя изданиями вышел его однотомник. Впрочем, из второго издания в поэме «Высокая болезнь» уже были выброшены строки, заключавшие описание выступления Ленина на съезде Советов: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». В них аполитичный поэт оказался более зорким пророком, чем многоопытные политики.

Моя память довольно точно датирует с начала тридцатых годов все полосы «признания» Пастернака и полосы «опал». Время признания длилось до конца 1936 года, т. е. до упоминавшегося мною эпизода с книгой А. Жида. Высшими его точками можно считать телефонный звонок Сталина Пастернаку с вопросом об арестованном Мандельштаме и овации после речи на съезде писателей. Потом где-то в середине 1940 года снова наметилось смягчение после почти четырехгодичной «опалы». Это

был короткий период общей разрядки, необходимость которой, вероятно, диктовала обострившаяся военная опасность. Вышла книга переводов Б. Л., печатался переведенный в эти годы «Гамлет». Тогда же вышел сборник «Из шести книг» А. Ахматовой со стихотворением, посвященным Пастернаку. Оно кончалось так: «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил». Эта полоса продолжалась до первых послевоенных лет. В марте 1947 года в газете «Культура и жизнь» появилась резчайшая статья о Пастернаке, и новая эпоха «опалы» длилась до смерти Сталина. Кроме переводов, ничто выходящее из-под его пера не печаталось вплоть до 1954 года, когда журнал «Знамя» поместил цикл стихов Пастернака из романа «Доктор Живаго». Я прочитал его, еще находясь в лагере. Когда я вернулся в Москву, по рукам уже ходила рукопись романа. Все ждали его появления в журнале и отдельным изданием, называлась даже фамилия редактора книги, и никому не приходило в голову, что вскоре он станет запретным плодом. Готовился к печати новый большой сборник стихов Пастернака. Но в 1957 году роман вышел в Италии, а в 1958 году получил Нобелевскую премию. Позднее осенью Пастернак был исключен из членов Союза писателей. Я его видел в последний раз в самый разгар этих событий. Чаще всего я встречался с ним во время войны и в первые послевоенные годы. /.../

В этот период я записывал более-менее подробно разговоры с ним, т. е., конечно, главным образом то, что говорил он. Несмотря на дальнейшие передряги моей жизни, записи сохранились. Они являются основным содержанием этих заметок, а все прочие воспоминания должны помочь восстановить реальный фон наших разговоров — обстоятельства времени и места.

В самом конце осени 1941 года я попал в Чистополь, куда была эвакуирована часть Союза писателей. /.../

Мой первый разговор с Пастернаком в Чистополе свелся к воспоминаниям нашего знакомства. Не прошло еще и двух лет с гибели Мейерхольда, о подробностях которой долго никто не знал: он просто исчез, как тогда исчезали многие. О судьбе его ходили самые разнообразные слухи, совершенно неверные, как потом оказалось. С этих слухов и начался наш первый разговор, предопределивший тон откровенности и доверия.

Жизнь Б. Л. в Чистополе зимой 1941—1942 года не была «сладкой сайкой». В бытовом отношении ему жилось хуже, чем большинству писателей, не говоря уже о литературных первачах. Некоторые из них снимали целые дома, а он ютился в небольшой и неудобной комнатушке (ул. Володарского, 7). Контраст его быта с бытом, например, Л. или Ф., был поразительный. Л. держал даже специального сторожа, который охранял по ночам с охотничьим ружьем его чемоданы. Он же бочками скупал мед на скудном местном рынке, где цены вскоре стали бешеными. Другой литератор, чтобы не зависеть от привоза на рынок мяса, купил сразу целого быка. Но большинство бедствовало. Я помню новеллиста Г., продававшего на рынке белье жены и, разумеется, по неопытности ничего не выручавшего. На том же рынке поэт А., женатый на сестре жены Г., привезший большие сбережения и живший припеваючи, бродил с сумкой, скупая за бесценок разные вещи. Поэт и переводчик, в прошлом парижанин, музыкант и танцор, книга стихов которого вышла с иллюстрациями Пикассо, Валентин Парнах, похожий в своей видавшей виды заграничной шляпе на большого попугая, следил в столовке за пару мисок пустых щей, чтобы входящие плотно прикрывали дверь. Помещение не отапливалось. /.../

Поведение и отдельные неловкие поступки Б. Л. часто вызывали смех и улыбки. Во время работы Первого съезда писателей съезд пришла приветствовать делегация метростроевцев. Среди них были девушки в резиновых комбинезонах — своей производственной одежде. Одна из них держала на плече какой-то тяжелый металлический инструмент. Она встала как раз рядом с сидевшим в президиуме Пастернаком. Он вскочил и стал отнимать у нее этот инструмент. Девушка не отдала. Инструмент на плече — это был рассчитанный театральный эффект. Пастернак, не понимая этого, хотел облегчить ее ношу. Наблюдая их борьбу, зал засмеялся. Пастернак смутился и начал свое выступление с объяснений по этому поводу.

Высокий комизм происшествия заключался в том, что тяжелый инструмент на плече у метростроевки лежал не по необходимости, а, так сказать, во имя некоего обряда — надуманного и тем самым фальшивого. Он в данном случае был трудовой эмблемой, а Б. Л. своим прямым и естественным зрением этого не заметил, а увидел лишь хрупкую женщину, с усилием держащую какую-то неуклюжую металлическую штуку. Над ним хохотали, сконфуженно улыбался он сам, поняв наконец свою оплошность, но по-настоящему смеяться следовало над организаторами этого лжетеатрального приветствия.

Своеобразие эпохи было в том, что у всех выработалась привычка к подобным демонстративным и напыщенным изъявлениям гражданских чувств. Уже никого не удивляли не только это ненужное кайло на женском плече, но и огромные стихотворные послания от имени целого народа великому вождю или на протяжении многих месяцев печатаемые в газетах длинные колонки списка его поздравителей ко дню рождения. Еще не так много времени прошло с тех пор, а это

уже кажется почти невероятным и странным, а тогда странным казался чудак, не принимавший всерьез этих обрядов почитания. /.../

Когда летом 1934 года к Пастернаку неожиданно позвонил Сталин и спросил его мнение об арестованном О. Мандельштаме, то разговор этот кончился тем, что Сталин на полуслове повесил трубку, и Б. Л. после этого долго был в отчаянии, упрекая себя, что он не сумел сказать что-то самое веское для облегчения участи Мандельштама и рассердил великого вождя неуместной фамильярностью. По словам Н. Я. Мандельштам, вдовы поэта: «Б. Л. разговаривал со своим собеседником, как он разговаривал со всеми людьми,— со мной, с Анной Андреевной, с кем угодно. И именно поэтому что-то было здорово сказано — неожиданно и точно до предела. И мы все трое — А. А., О. Э и я — очень это оценили». (Из письма Н. Я. Мандельштам.) И весь ход этого разговора был тоже с какой-то сугубо практической точки зрения — величайшей наивностью (Б. Л. мало помог Мандельштаму и испортил отношение к себе), но и тут тоже он остался самим собой, естественнейшим из людей. /.../

Он представляет Сталина как нового Скалозуба, который построит нас в шеренгу и станет командовать еще круче.— «Если после войны останется все по-прежнему, я могу оказаться где-нибудь на севере среди многих своих старых друзей, потому что больше не сумею быть не самим собой...» /.../

Б. Л. читает характеристику Макбета. Я рассказываю ему, как однажды в разговоре о процессах 1936—1938 гг. В. Э. Мейерхольд сказал: «Читайте и перечитывайте «Макбета»!..» Б. Л. охает, замолкает, потом говорит: «Нет, не будем об этом. Это слишком страшно.— Помолчав: — Вот видите, какой живой этот великий Шекспир. Он вам внушает ассоциации, от которых страшно» /.../

Б. Л. в разговоре о войне замолкает, делается рассеян, о чем-то думает, потом вдруг неожиданно спрашивает: нет ли у меня на два-три дня взаймы 15 рублей? К счастью, у меня есть. Он берет, благодарит, потом порывисто снова вынимает бумажник из кармана, достает деньги и протягивает их обратно:

— Нет, не могу взять у вас. Вы не Погодин.

— Так вы же берете не полторы тысячи, а пятнадцать рублей.

— Да, конечно, но... (Он колеблется.) Видите ли, у меня сейчас такой заворот с деньгами... Ну, хорошо, я возьму... Впрочем, нет. Вы бедняк, и вам самому нужны. Да?

— Да нет же, Б. Л., я обойдусь.

— Нет, нет, я знаю, слышал, вы живете не как Ф. и Л.

— Но у них вы и не просите. А мы в этом равны, и взять у меня естественно.

— Ну, хорошо, я возьму. Мне очень нужно. Как это глупо: просить 15 рублей. Спасибо.

Мы оба сконфуженно и преглупо себя чувствуем. /.../

На очередной «литературной среде» в Доме учителя должен быть вечер переводов молодого поэта Якова Кейхауза. Мороз и метель. Кроме автора приходят только старик Павел Арский, Гуго Гупперт и я. Кейхауз, скверно одетый, чахоточный, высокий малый с ассирийского вида бородкой и тонкой шеей, замотанной в зеленый шарф. Пока решаем, что делать и не перенести ли вечер, появляется оживленный и румяный с мороза, доброжелательный и приветливый Б. Л. и красноречиво просит прощения за опоздание, и Кейхауз заявляет, что он готов читать для собравшихся.

Он читает «Остров Бомини» Гейне и несколько очень хороших переводов из «Исторического цикла» Киплинга. Б. Л. слушает с видимым удовольствием и просит повторить довольно длинную поэму «Остров Бомини». Кейхауз розовеет от счастья. Б. Л. слушает, улыбаясь, и после очень хвалит перевод. Он просит прочесть какие-нибудь оригинальные стихи. Кейхауз, извинившись за мрачность своих тем, читает вступление и несколько отрывков из поэмы «Ночь в одиночке», посвященной 16 октября в Москве, эвакуации, войне. Потом читает три стихотворения о сыне, второе из которых Б. Л. очень хвалит и тоже просит повторить. Он говорит, что ему нравятся стихи Кейхауза за то, что они существуют не «по инерции ритмической, подражательной или словесной, а как акты познания мира». Бедняга поэт на седьмом небе. Мне этот скромный вечер доставил больше радости, чем вечер Асеева на прошлой неделе. На обратном пути я провожаю Б. Л. и слушаю его хаотические монологи, из которых запомнил, как всегда, только малую часть... Он очень опечален тем, что в следующую среду отменяется чтение недавно законченного им перевода «Ромео и Джульетты» из-за намеченного на этот день пушкинского вечера.

Б. Л. говорит, что 11-го — день его рождения (29-го по старому стилю) и поэтому он очень хотел читать именно в этот день. Его огорчение по-детски непосредственно и велико. До площади с нами идет Гуго Гупперт, немецкий поэт, эмигрант, отличный переводчик Маяковского. На днях в газетах было напечатано обращение к немецкому народу германских писателей и общественных деятелей. Среди прочих подписей есть и подпись Гупперта. Я спрашиваю Гуго: как у него запросили из Чистополя подпись, но оказывается, что он вообще ничего не знает об этом и слышит от меня первого. Смеясь, он говорит, что утром первым делом побежит в парткабинет читать газеты. /.../

«Я люблю у Ницше одну мысль. Он где-то говорит: «Твоя истинная сущность не лежит глубоко в тебе, а недосягаемо высоко над тобой». Это уже почти христианство.

Во мне есть еврейская кровь, но нет ничего более чуждого мне, чем еврейский национализм. Может быть, только великорусский шовинизм. В этом вопросе я стою за полную еврейскую ассимиляцию, и мне лично единственно родной кажется русская культура, с широтой любых влияний на нее, в пушкинском смысле... /.../

Меня многие принимают не за то, что я есть. Это всю жизнь отравляло мои отношения с Горьким. В Переделкине Фадеев иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной...

Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение «человек с двойной душой». У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются...» /.../

Хороший, почти весенний денек, и интересный разговор, из которого записываю малую часть.

Он начинается с того, что Б. Л. говорит о вмерзающих в Каму барках, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. «Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи...

Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказать ей это так часто, как ей это, может быть, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была,— поэзии...

Конечно, она была более русской, чем все мы, не только по крови, но по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку...

Все мы писали в юности плохо, но у меня этот период затянулся, так как вообще я человек замедленного развития: у меня все приходит позже. Марина прошла свой подражательный период стремительно и очень рано. Еще в том периоде жизни, когда все ошибки и ляпсусы простительны и даже милы, она уже была мастером редкой силы и уверенности...

Я виноват, что в свое время не отговаривал ее вернуться в Советский Союз. Что ее здесь ждало? Она была нищей в Париже, она умерла нищей у нас. Здесь ее ждало худшее еще — бессмысленная и безымянная трагедия уничтожения всех близких, о которой у меня еще нет мужества говорить сейчас...»

Я спрашиваю Б. Л.: кто виноват в том, что она, вернувшись на родину, оказалась так одинока и бесприютна, что в сущности, видимо, и привело ее к гибели в Елабуге?

Он без секунды раздумия говорит: «Я!..— И прибавляет:— Мы все. Я и другие. Я и Асеев, и Федин, и Фадеев. И все мы... Полные благих намерений, мы ничего не сделали, утешая себя тем, что были беспомощны. О, это иногда бывает очень удобно: чувствовать себя беспомощным. Государство и мы. Оно может все, а мы — ничего. В который раз мы согласились, что беспомощны, и пошли обедать. Большинству из нас это не испортило даже аппетита. Это наше общее преступление, следствие душевной глухоты, бессовестливости, преступного эгоизма». /.../

Мы говорим (переход понятен) о Сталине и о том, о чем любили поговорить люди тридцатых и сороковых годов,— знает ли он о всех преступлениях режима, о репрессиях? Естественно, что эту часть разговора я записывал в очень сокращенном и зашифрованном виде.

После небольшой паузы Б. Л. говорит:

— Если он не знает, то это тоже преступление. И для государственного деятеля, может, самое большое...

Далее Б. Л., говоря о Сталине, называет его «гигантом дохристианской эры человечества».

Я переспрашиваю: может быть, «послехристианской эры»?

Но он настаивает на своей формулировке и длинно мотивирует ее. Но я этого не записал. /.../

Гуляем с Г. О. Винокуром и после обычных разговоров о войне переходим к Пастернаку. /.../

Я прошу Г. О. прокомментировать мне странную фразу, недавно сказанную Б. Л. о том, что «квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции»... Г. О. усмехается, молчит, но потом с оговорками, что это только его личное мнение и прочее, начинает рассказывать о дружбе Бриков со знаменитым Яковом Аграновым, крупным чекистом, занимавшимся по своей линии литературными делами.

Агранов сначала заведовал специальным отделом в ГПУ и НКВД, потом стал заместителем наркома и погиб в 1937 году (тогда говорили, вспоминал я, что он выбросился из окна, когда за ним «пришли»). Агранов с женой бывал у Бриков. Г. О. сам его у них встречал. По его могучей протекции Маяковскому так легко разрешали частые заграничные поездки, но когда В. В. влюбился в Париже в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 года в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке и, вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ

в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью он не мог понять и примириться с тем, что ему, Маяковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая привела его к самоубийству. Г. О. говорит, что это необязательно трактовать плохо: со своей точки зрения Брики, может быть, и были правы, оберегая Маяковского от этого опасного, по их мнению, увлечения, но так или иначе во вмешательстве Агранова было что-то зловещее. Вероятно, Б. Л. имел в виду этот эпизод, о котором друзья Маяковского знали. /.../

Почти пятичасовой разговор с Б. Л. у него дома, после которого я ухожу пьяным от счастья.

«Вы мне сказали, что я перехвалил последние стихи Асеева. Я после думал об этом. Может быть, вы и правы, но я хвалил отчасти потому, что хотел поддержать его в укреплении чувства внутренней независимости, которое Асеев после многих лет стал возвращать себе только здесь, в Чистополе, очутившись вдали от редакции и внутрисоюзных комбинаций. Ряд лет я был далек от него из-за всего, что определяло атмосферу лефовской группы, и главным образом из-за кампании вокруг Бриков. Когда-нибудь биографы установят их гибельное влияние на Маяковского. Асеев — очень сложный человек. Уже здесь, в Чистополе, он недавно ни с того, ни с сего оскорбил меня и даже вынудил жаловаться на него Федину. То, что вы называете «перехвалил», вероятно, находит свое объяснение в моем желании побороть обиду и неприязнь, которым я решил не дать расти в себе...

Всякая стадность — убежище неодаренности. Все равно на какой платформе — на основе ницшеанства, марксизма или соловьевского христианства. Тем, кто любит и ищет истину, не может быть не тесно в любых марширующих рядах, куда бы они ни маршировали...

Мне странно, что многие живущие здесь писатели ноют и жалуются и не могут оценить тех благ, которые им дала эвакуация в отношении приобретения внутренней независимости. Я уверен, что я буду навсегда благодарен Чистополю за одно это...

Мое положение в литературе двусмысленно. Почему вы улыбаетесь? Это правда. Меня ценят за большее, чем я дал. Я в огромном долгу и со всей своей известностью часто кажусь себе Хлестаковым (с заметной горечью). А иногда мне кажется, что я нечто вроде привидения. Когда я попадаю в общество так непоколебимо уверенных в себе Фединых, Леонова и других, я чувствую себя очень странно. С одной стороны, есть как бы литературное имя и даже за рубежом. С другой стороны, я живу с непреходящим чувством, что я почти самозванец. Что я сделал? Что мы все сделали? Мы получили в наследство замечательную русскую культуру и разменяли ее на поденки и куплеты. /.../

Нет ничего более полезного для здоровья, чем прямодушие, откровенность, искренность и чистая совесть. Если бы я был врачом, то я написал бы труд о страшной опасности для физического здоровья криводушия, ставшего привычкой. Это страшнее алкоголизма... /.../

Когда я бываю изредка на собраниях в нашем Союзе писателей, я, слушая речи моих собратьев, которых я, вероятно, ничем не лучше, всегда почему-то вспоминаю героев «Плодов просвещения», с их банкетно-адвокатским красноречием, с приподнятой фанфарной пошлостью, которая вошла в обычай и стала как бы обязательной.

Не говорите мне, что во всем плохом, что окружает нас, мы сами ничуть не виноваты. Общественные настроения не создаются дедуктивно или спускаются откуда-то сверху. Мы сами создали себе добавочные путы, мы сами возвели в ежедневный и ежечасный ритуал присягу в верности, которая, чем чаще ее повторяют, тем больше теряет в своей цене...

Мы окружены во всем, что делаем и говорим, предвзятыми мнениями и застарелыми предрассудками. Нам бы сейчас нового Толстого, чтобы он по нам ударил своей бесцеремонной правдивостью, а мы все больше в них укореняемся. Заметили ли вы, что многие ложные взгляды стали догматами только потому, что они утверждаются в паре с чем-нибудь иным, неопровержимым или святым, и тогда часть благодати с бесспорных и абсолютных истин переходит на утверждения сомнительные или совсем ложные?..

В наши дни политический донос — это не столько поступок, сколько философская система...

Сколько аморальных, жестких, злобных понятий существовало под прикрытием великого слова «Революция»». /.../

Я рассказал Б. Л., что весной был у В. И. Немировича-Данченко, совсем незадолго до его смерти, и он говорил, что с нетерпением ждет окончания Пастернаком перевода «Антония и Клеопатры» — «моей любимой пьесы», как он сказал. План ее постановки был им уже разработан.

— Теперь без Владимира Ивановича ее не поставят. Видите, как мне не везет с театром. Кажется, все хорошо, но потом вдруг что-нибудь случается...

И он с горечью вспомнил прекращение репетиций «Гамлета» в Художественном театре.

Уже тогда глухо поговаривали, что это было сделано по личному указанию Сталина, т. е. не то чтобы Сталин прямо приказал не ставить; он просто выразил недоумение — зачем нужно играть во МХАТе «Гамлета»? Разумеется, этого было достаточно, чтобы репетиции немедленно остановились. Сталин был против постановки «Гамлета», вероятно, потому же, почему он был против «Макбета» и «Бориса Годунова»,— изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе. /.../

Личные стратегические планы его были таковы: добиться постановки одного или нескольких из своих переводов шекспировских трагедий на сцене и тем самым войти в непосредственный контакт с театрами. Написать свою пьесу. Написать реалистическую поэму (он говорил «роман в стихах») о войне и военном быте. /.../

Когда уже в конце войны я спросил как-то Б. Л. о судьбе поэмы, он мне ответил, что ему писать ее «отсоветовал Фадеев, пришедший в ужас» от реализма изображения противоречий и неустройств военного быта. Именно в это время Фадеев утверждал, что советские писатели должны учиться не у Чехова, а у Тургенева. Связь одного с другим очевидна.

Вот открывок напечатанного стихотворения «Зарево» и рядом отрывок из ненапечатанных глав поэмы. Кстати, в моем списке она тоже называется «Зарево».

Напечатано:

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Все сказочнее и неведомей
В зеленом зарева салюта...
. . . .
В пути из армии, нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов...
. . . .
Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами
Зовет с дороги рев клаксона.

Я привел начало, середину и конец, выпустив 10 строк. Теперь из ненапечатанной поэмы:

Его переродило порохом.
Как все, он омоложен риском.
Он охладел к машинным шорохам
И треснувшим горшкам и мискам.
Он не изменит нравам воина,
Бесстрашью братии бродячей,
Лесам, стоянке неустроенной,
Боям, поступкам наудачу...
«Дай мне уснуть. Не разговаривай.
Нельзя ли, право, понормальней».
Он видит сон, лесное зарево
С горы заглядывает в спальню.
Он спит, и зубы сжаты в скрежете.
Он стонет. У него диалог
С какой-то придорожной нежитью.
Его двойник смешон и жалок...
Из кухни вид. Оконце узкое
За занавескою в оборках,
И ходики, и утро русское
На русских городских задворках.
И золотая червоточина
На листьях осени горбатой,
И угол, бомбой развороченный,
Где лазали его ребята...

Не нужно обладать исследовательской интуицией Кювье, чтобы по этим разрозненным фрагментам угадать целое. В самом замысле поэмы была открытая полемика с лжеискусством годов культа Сталина. Поэт и не думал этого скрывать.

...В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падучею,
Горел и был страданьем светел.
Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли.
Я тьму бумаги перепачкаю
И пропасть краски перемажу,
Покамест доберусь раскачкою
До истинного персонажа.
Зато без всякой аллегории
Он — зарево в моем заглавьи,
Стрелок, как в песнях Черногории,
И служит в младшем комсоставе...

(Цитирую по списку, полученному от Б. Л.)

Мудрено ли было Фадееву не «придти в ужас». Он, положивший свой незаурядный талант и жизнь на службу сталинскому культу и защищавший его не за страх, а за совесть, отговорил Б. Л. продолжать работу над поэмой. Это был один из тех компромиссов с собственной творческой правдой, которых Пастернак в более поздние годы стыдился. Я рассказываю об этом так подробно потому, что для многих непонятно и необъяснимо, как «чистый лирик» Борис Пастернак, несравненный пейзажист и тончайший психолог, пришел к произведениям последних лет. Некоторые даже решились обвинять его в «двойной жизни», которую он будто бы раньше вел. Никакой двойной жизни не было. История неоконченной и ненапечатанной поэмы «Зарево» говорит об этом со всей очевидностью. /.../

Если он избегал читать газеты, то не потому, что хотел отгородиться от злободневности, но потому, что он не мог переносить ту сладкую риторическую кашу, из которой эту злободневность нужно было вылавливать. /.../

Когда Б. Л. что-то нравилось, то он был необычайно щедр и царственно расточителен в своих похвалах. Я почти не помню его отрицательных оценок. Он или молчал, или хвалил. Всего равнодушнее он, как это ни странно, относился к тому, что могло показаться сделанным под его влиянием и близким к себе, и, наоборот, очень часто восторженно говорил о стихах или прозе далеких и даже полярных своей личной манере. Хорошо помню его хвалебный отзыв о «Василии Теркине». Он называл поэму Твардовского «чудом полного растворения поэта в стихии народного языка».

Однажды на литературном вечере он должен был читать после Павла Васильева, прочитавшего известное стихотворение «К Наталье». Б. Л. им был так пленен, что, выйдя на эстраду, заявил аудитории, что считает неуместным и бестактным что-либо читать после этих «блестящих стихов». Вспоминая бурный расцвет молодого П. Васильева, он однажды сказал мне (еще в Чистополе), что после гибели Васильева больше ни у кого не встречал такой буйной силы воображения. Я, несколько знавший лично П. Васильева и с иной поэтической стороны, пытался с ним спорить, но Б. Л. настаивал на самой лестной оценке поэта.

Такой же почти восторженный отзыв Б. Л. дал стихам П. Васильева, когда у него попросили характеризовать погибшего поэта для его посмертной реабилитации в 1956 г. /.../

В начале 1937 г., познакомившись в рукописи с «Воронежскими тетрадями», Б. Л. пишет находящемуся в ссылке поэту: «Ваша новая книга замечательна». И дальше: «Я рад за вас страшно. Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно материализована в словаре, и метафорике, и редкой чистоте и благородстве»... «Где я, что со мной дурного?» в этом смысле поразительно до подлинности выражения»... /.../

В одном из моих последних разговоров с Б. Л., при случайной встрече в Переделкине (дальше я вернусь к этому), уже после того, как роман «Доктор Живаго» был написан и вскоре должен был выйти в Италии, Б. Л. с тоской говорил мне о том, что он предвидит, что впечатление от романа, вероятно, заставит зарубежных издателей «вытащить из небытия и начать переводить все, что я успел пролепетать и накарякать в годы, когда я не умел еще ни писать, ни думать, ни говорить и больше того, старался этому не учиться...» Говоря так, Б. Л. имел в виду не только «Близнеца в тучах», но и «Сестру мою — жизнь», и «Поверх барьеров», и поэмы 1905 года, и почти все остальное. Говоря о поэмах, он сетовал на их «пустоту и многословность». /.../

Находящийся в одном из колымских лагерей мой брат написал мне, что он получил там драгоценный подарок. Товарищ по несчастью, поэт и критик Игорь Поступальский подарил ему в день рождения истрепанную книжку стихов Пастернака. Я не удержался и рассказал об этом Б. Л. На него это произвело большое впечатление: он стал меня расспрашивать о брате и о его судьбе. Разговор был в трамвае, к нам прислушивались, и меня это связывало. Но Б. Л., не понижая голоса, задавал все новые и новые вопросы. «Спасибо за то, что вы мне сказали. Мне это очень нужно. Спасибо ему за то, что он об этом написал. Спасибо им всем, что они меня помнят...» Он взволновался и не раз после вспоминал об этом разговоре, при каждой встрече спрашивая о брате. /.../

11 ноября снова встретил его на Пятницкой. Я возвращался из дома в Лаврушинском переулке, он шел туда. Я повернулся и пошел его провожать, и мы еще минут двадцать стояли у подъезда и разговаривали. Он уже закончил «Отелло» и снова клялся, что больше не возьмет переводов. Я опять задал вопрос о поэме. Вот тут-то он мне и сказал, что читал Фадееву и тот не советовал ее продолжать. Он помолчал, усмехнулся и добавил, что у него на выходе две книги и пока не стоит рисковать их судьбой. До этого у Б. Л. еще не было случаев, когда рассыпали по приказу свыше набор готовой книги: это ему только предстояло. Говорили еще о разных злобах дня: о переизбрании Рузвельта в четвертый раз президентом, о боях под Будапештом, о замене в Малом театре Судакова Провом Садовским после разгромной статьи в «Правде», о постановке толстовского «Грозного» («Вот видите, как мне везет,— говорил Б. Л.,— Судаков собирался ставить весной «Ромео и Джульетту»), о новой книжке Шкловского «Встречи», обезображенной придирчивой редактурой и цензурой (из нее выброшены большие куски о Зощенко, Шостаковиче и изобретателе Костикове, в связи с какой-то связанной с ним неблаговидной историей зашифрован Джамбул, и вообще от книги остались рожки да ножки). Говорим о слухе, что решен вопрос о нашем вступлении в войну против Японии. На этот раз Б. Л. меньше, чем когда бы то ни было, показался мне отрешенным от окружающей жизни, и я даже пошутил на эту тему, сказав, что он не оправдывает своей репутации небожителя. Он рассеянно улыбнулся.

В начале февраля 1945 г. вышла книжка «Земной простор». Нового в ней было мало: тот же состав стихотворений, что и в «На ранних поездах» с добавлением нескольких о войне. Цензура вторично сняла стихотворение «Вальс с чертовщиной», в котором детскими глазами описана рождественская елка: вероятно, за слово «чертовщина». Впервые это стихотворение было помещено в сборнике 1961 года. Книжка была напечатана на очень скверной бумаге, и Б. Л., как-то мельком встреченный в клубе, сказал, что у него к ней «физическая неприязнь».

В 1945-м и 1946 г. я редко встречал его. Кончилась война, но первые послевоенные годы были трудными и в бытовом отношении, и еще главным образом потому, что уже нечего было ожидать так, как мы ожидали победу. Ставский, попавший под конец в немилость к Сталину, погиб на фронте, но скалозубов нашлось много и без него. «Культ» приобретал все более откровенную и отталкивающую форму. Были исключены из Союза писателей Ахматова и Зощенко. Пресс сталинского произвола становился тяжелее с каждым месяцем. Даже у благополучного и умеренного Федина была разругана вторая часть воспоминаний о Горьком.

Пастернак большей частью жил в Переделкине, где я бывал редко. Прежние случайные встречи прекратились. Искать самому этих встреч не хотелось: настроение у меня тоже было неважное. Одна из моих комедий попала в список пьес, снятых с репертуара. Раньше как-то повелось, что в беседах с Б. Л. я был всегда заядлым оптимистом; теперь эта роль была бы смешна и фальшива, а нытиков на людях и паникеров я сам не терпел. Все думалось: скоро что-то разъяснится и будет приведено в норму. Разум не мирился с произволом как системой. По-прежнему каждое его проявление казалось или недоразумением, или злосчастным стечением обстоятельств. Искали логики в бессмысленности и оправдывали неоправдываемое. Б. Л. считал меня счастливцем и удачником, и я не

желал, чтобы он видел меня расстроенным и потерявшим уверенность.

Косвенным путем до меня долетали слухи о нем и его настроении. Однажды неизменно жизнерадостный профессор Морозов с восторгом прочитал мне экспромт Б. Л.: «Я под руку с Морозовым, Вергилием в аду, все вижу в свете розовом и воскресенья жду». М. Морозов — известный шекспировед — был поклонником переводов Б. Л., писал о них статьи и комментировал.

Не очень веселая ирония здесь слишком очевидна. В другой раз А. Е. Крученых показал мне присланное ему ко дню рождения стихотворное поздравление от Б. Л. В нем были и такие строфы:

Я превращаюсь в старика,
А ты день ото дня все краше.
О, боже, как мне далека
Наигранная бодрость ваша!
Но я не прав со всех сторон.
Упрек тебе необоснован.
Как я, ты роком пощажен,
Тем, что судьбой не избалован.
И близкий правилам моим,
Как все, что есть на самом деле,
Давай-ка орден учредим
Правдивой жизни в черном теле!..

Стихи помечены концом февраля 1946 года. Некоторая шутливая небрежность не помешала здесь прорваться самым серьезным мыслям поэта, к которым он впоследствии возвращается не раз и в стихах, и в прозе. («Быть знаменитым некрасиво» и «Автобиография».)

Эти годы — 1945 и 1946 — будущие биографы Пастернака, вероятно, назовут эпохой его глубокого душевного перелома. Гадательно — события его внутренней жизни происходили так: острое и мучительное сознание творческого тупика (неудачи с поэмой и с театрами), дошедшее до крайности недовольство собой и, как выход, решение вернуться к давно начатому, но оставленному роману в прозе, значение которого для своей литературной судьбы Б. Л. внутренне необычайно преувеличивал и после завершения работы над ним называл единственным трудом своим, которого он не стыдился.

В другом письме Б. Л. пишет: «Я немного писал своего нового, но теперь буду больше роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни не столько художественной, сколько содержательной...» Дальше он пишет: «Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем я мог предполагать в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность и так же сильно усложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства не осталось и следа. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускал случая открыто и прямо заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу у меня не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась и у меня нет выбора»... Письмо не датировано, но в нем Б. Л. сообщает о смерти отца, известного художника Л. О. Пастернака. Он умер в середине 1945 года, следовательно, письмо можно отнести ко второй половине этого года.

Не обязательно всегда искать прямых соответствий между стихами поэта и жизненными обстоятельствами, но иногда они напрашиваются. Высказанное Б. Л. в письме кажется прозаическим «подстрочником» неизвестных строк из «Гамлета», написанного в то же самое время.

...Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути...

Я лично от него услышал, что он вернулся к работе над романом в прозе, при случайной встрече на Моховой, близ станции метро в последние часы 31 декабря 1945 года. Я спросил, является ли этот роман тем самым произведением, несколько отрывков из которого он напечатал в «Литературной газете» еще в середине тридцатых годов под заглавием: «Из романа о 1905 годе». Он ответил, что кое-что из написанного пойдет в роман, но что замысел его очень изменился. И далее он сказал странную фразу, которую я тогда записал буквально: «Я пишу этот роман о людях, которые могли бы быть представителями моей школы — если бы у меня такая была...» Сказав это, он как-то по-своему, по-пастернаковски, полусмущенно улыбнулся. Было тепло. Легкий снежок занес его воротник и шапку. К нему это очень шло. Я напомнил, что ровно четыре года назад в это время я зашел к нему в Чистополе, а он лежал с прострелом и читал Гюго о Шекспире.

— Неужели прошло четыре года?

— Вам кажется, это мало или много?

— И много, и мало,— сказал он.— Много пережито, и мало сделано.

Вокруг нас суетилась предпраздничная толпа. Непохоже было, что он торопился. Но нас толкали, мы всем мешали. Нужно было отойти в сторону или проститься.

Он стал мне желать всего самого лучшего. Я ответил тем же. Мы разошлись.

Сделав несколько шагов, я оглянулся. Он медленно шел под легким новогодним снежком к Волхонке...

Из письма к прежнему адресату от 26 ноября 1946 года:

«У меня сейчас есть возможность поработать над чем-нибудь, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10—12 главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может что-нибудь случиться до окончания работы, и как часто приходится прерываться»... «Сейчас помимо моей воли вещи очень большого смысла входят в

круг моей судьбы»... «Я всегда знал, что для настоящей ноты нравственной и артистической мало прижизненного поприща и этот прицел охватывает более далекий круг... Сейчас мне нельзя оставаться тем, что я есть...» «Мне недостает О. Э. (Осипа Эмильевича Мандельштама.— А. Г.). Он слишком хорошо понимал эти вещи, он, именно и сгоревший на этом огне».

Поэтическая параллель к этим признаниям — стихотворение «Гамлет», которое так проникновенно было прочитано над свежей могилой Пастернака. Оно тоже датировано 1946 годом, как и большая часть цикла стихов из романа.

Повторяю, в этот и последующий годы я встречался с ним уже гораздо реже и о многом пишу по догадкам, связывая ими его разрозненные и разновременные рассказы о себе при наших беглых встречах. Они всегда были сердечными и теплыми, и ни о чем в своей жизни я так не жалею, как о том, что их не было больше.

В эти годы в жизнь Б. Л. вошла новая любовь. Лучше всего о ней он рассказал сам в своих стихах. Я узнал из них неизмеримо больше, чем из противоречивых московских слухов, но героиню этой любви я впервые увидел на похоронах Б. Л. А вот что он писал об этом сам: «В противоположность всем сменявшимся течениям последних лет на мою жизнь опять ложится очень резкий и счастливый личный отпечаток» (из этого же письма Б. Л. от 26 января 1946 г.).

Начало зимы 1946 года. Еду в метро и, держась за металлический поручень, читаю в газете корреспонденцию из Парижа об итогах выборов в парламент, где коммунисты собрали голосов больше всех других партий.

— Александр Константинович!..

Узнаю тембр голоса и поднимаю голову. Это Б. Л. Едем вместе всего один перегон. На мой вопрос о том, как он живет, отвечает:

— Работаю, и это главное...

Когда так отвечают, значит, живется не слишком весело. Сказал, что пишет роман и написал хорошую статью о своих переводах Шекспира. Так сам и сказал: «хорошую» с наивной чистосердечностью, в которой нет и тени самодовольства. Собирается еще писать большую статью о Блоке. Сняв перчатку, жмет руку и выходит на площади Революции. Смотрю вслед. Шуба все та же, чистопольская, очень поношенная, но шапка новая, высокая, котиковая. Словно догадавшись, что я гляжу на него, обернулся уже с перрона и улыбнулся белозубой улыбкой. Он самый молодой из всех своих современников...

С начала 1947 года я часто встречаюсь с критиком Т. Мы оба книжные собиратели, и у нас идет оживленный обмен раритетами. Т. страстный поклонник Пастернака. У него в толстых папках собраны вырезки любых статей, где только упоминается его имя, что не мешает ему активно участвовать во всех критических налетах на него. Он это делал с грациозным бесстыдством, не обременяя себя ни колебаниями, ни раскаянием. Написав что-нибудь наставительное в адрес Пастернака, звонил ему через несколько дней и выпрашивал его новые стихотворения. Как это ни странно, Б. Л. относился к нему снисходительно. Он приписывал Т. какую-то непонятную ему сложность и особого рода тонкость, чего не было и в помине. Впрочем, в широте вкусов Т. отказать было нельзя: он, бывший самым рьяным и ортодоксальным адептом «соцреализма» в поэзии, однажды несколько часов подряд читал мне с упоением Сологуба. Если бы Т. кто-нибудь назвал в глаза лицемером, он искренне огорчился бы. Мир для него естественно делился на черные и белые квадраты. Он твердо знал правила игры: один слон ходит только по белым квадратам, другой по черным,— и, не подвергая правила сомнениям, старался лучше и искуснее играть обоими слонами, что ему большей частью и удается, сохраняя при этом репутацию доброго малого. Но стихи все н всякие он любил искренне и был прирожденным эклектиком. Где-то в глубине души он был убежден: что бы он ни писал о ком-либо, хорошие стихи есть и останутся хорошими стихами, а неприятности, причиняемые поэтам статьями, преходящи и скоро забудутся. Так оно и случалось: он умер, и все его вспоминают вполне дружелюбно. Он вовсе не был психологическим уникумом. В те годы я знал одного человека, серьезно и глубоко интересовавшегося религиозно-философскими проблемами. Редкие книги, которые ему были нужны для его занятий, выдавались в Ленинской библиотеке только для «научных занятий» по особому разрешению (Флоренский, Федоров и др.). И он пошел служить в газету «Безбожник» — это было еще перед войной, чтобы получить оттуда бумажку на пользование засекреченными книгами как бы для целей атеистической пропаганды.

Именно от Т. я получил впервые список нескольких стихотворений Пастернака, называющихся: «Стихи из романа в прозе». Это были «Гамлет», «На Страстной», «Объяснение», «Рождественская звезда» и что-то еще. Т. говорил о них с восторженным придыханием: стихи он понимал. Мне сразу стало ясно, что это начало новой «манеры» Б. Л., которую он искал в предыдущие годы: простой, но не обедненной, естественной, но поновому образной. Евангельские мотивы не смущали Т. Он принимал их, как принимал античную мифологию у Пушкина и Тютчева, т. е. как очевидную условность, расширяющую и обогащающую содержание стихов и вовсе не обязывающую к вере во всех этих бесчисленных богов. «Миф как миф, не хуже всякого другого»,— говорил Т., смакуя строки

Пастернака. Но я уже тогда догадался, что дело здесь не в замене мифологии другой, а в чем-то большем.

Для меня обращение Пастернака к евангельским сюжетам вскоре стало понятным. Как ни парадоксально, но это была форма его поворота к жизни, протест против бесчеловечности культа Сталина, отказ от позиции артистического высокомерия и башни из слоновой кости, от духовной изоляции и эстетического индивидуализма. Старые большевики, сидевшие в лагерях, утешали себя воспоминаниями о Ленине и о молодости партии. Это давало им силу продолжать жить. Я лично знал таких и говорю об этом не понаслышке. Другие кутались в цинический фатализм, прятались в волюнтаристскую чешую, в неодарвинистическую философию приспособления. Я говорю о тех, кто еще умел видеть и думать. А большинство просто жило день за днем. Часть из них (самые недалекие) искренне верили во все, что им говорилось, остальные делали вид, что верили. Ведь какая-то вера была все-таки нужна и ничуть не меньше, чем холодильник или радиоприемник: без душевного комфорта жить тоже голо и неуютно.

Именно высокая человечность Пастернака, его прирожденный и самовоспитанный демократизм, его потребность в тепле людского общежития, в простоте форм жизни, высокие уроки всего, что он любил и признавал в искусстве, обратили его к стихотворным циклам последних лет с их своеобразной религиозностью, к опыту «Доктора Живаго». Трагично, что это не было правильно понято и истолковывалось совсем иначе, и, может быть, еще более трагично, что роман в прозе не стал его полной художественной удачей и придал его безукоризненной моральной позиции ту уязвимость, которая позволила многим о нем говорить свысока (я уже не говорю о брани оголтелых недругов Б. Л.).

В начале марта 1947 года имя Пастернака снова стало часто упоминаться на разных писательских собраниях. На совещании молодых писателей против него резко выступил Фадеев. В воздухе носились какие-то ругательные упоминания его там и сям, и еще задолго до появления статьи о нем в газете «Культура и жизнь» было ясно, что готовится новая проработка. Появлению этой статьи предшествовали прямые высказывания Сталина об искусстве и некоторых исторических вопросах (ответ в «Большевике» профессору Разину с критикой ленинских высказываний о войнах, прием Эйзенштейна и Черкасова и новое утверждение культа Ивана Грозного, резкий отзыв о пьесе Леонова «Золотая карета», сразу запрещенной). Как обычно, все эти высокие «указания» стали внизу «развиваться». За несколько дней до появления статьи я встретил Б. Л. в писательской сберкассе в Лаврушинском: он был уныл и заметно нервничал. Никто не мог знать, как это обернется. Было известно, что у Ахматовой и Зощенко после их исключения из Союза писателей даже отобрали продовольственные карточки. Тиражи готовых книг обоих пошли под нож. В конце концов Ахматовой дали какую-то карточку как пенсионерке, а про Зощенко ходили слухи, что он припомнил одну из своих многочисленных профессий времен военного коммунизма и шьет дамские туфли. И вот наконец ожидавшаяся проработочная статья появилась. Это было 22 марта 1947 года. Я тоже с нетерпением ждал ее, но, прочитав, вздохнул облегченно: при всей недобросовестности и умышленной тупости в ней не было окончательного «отлучения». Стало ясно, что на этот раз вопрос об исключении Пастернака из ССП не будет поставлен.

Весна была ранней и очень теплой. 4 апреля я встретил Б. Л. на Каменном мосту. Он в шубе и странной желтой шляпе. По Москве-реке шел лед. Б. Л., как всегда, был приветлив, но как-то смущен. Я почувствовал, что ему надоели выражения сочувствия, и решил воздержаться от них, хотя потом упрекал себя за то, что не придумал ничего сказать ему сердечного и теплого.

Репрессии все-таки последовали: вскоре была уничтожена уже напечатанная книга его избранных стихов. Несколько экземпляров чудом уцелело. Т., конечно, достал один из них и с торжеством показывал его мне. На этот раз он удержался от выступления против Б. Л., но заметно трусил. Он мне сказал, что на него давит редактор журнала, где Т. работал, требуя, чтобы он выступил.

Вернувшийся незадолго до этого из эмиграции А. Вертинский где-то встретился с Б. Л. и подошел к нему с каким-то жалостным словом, и Б. Л. очень резко ему ответил.

20 апреля я опять встретил Б. Л. в Лаврушинском переулке. Я спросил его: правда ли, что говорят о его столкновении с Вертинским? Он подтвердил и начал говорить о нем с неожиданной для него злостью, которая показалась мне новой, незнакомой прежде чертой Б. Л. О статье в «Культуре и жизни» мы в этот раз не говорили. Он упомянул о ней только обиняком, сказав:

— Решили все-таки не дать мне умереть с голоду: прислали договор на перевод «Фауста»...

В конце июня я сидел в Александровском саду с книгой. /.../ Мы просидели больше двух часов, разговаривая о разном, в той части сада, которая выходит к набережной. /.../ Вечером по старой привычке записал кое-что из этого разговора... /.../

«Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье; клясться в любви тому, что не любишь; вести себя противоположно нашему собственному инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт; лжем самим себе, как рабы, идеализируем свою неволю...

Я вернулся к работе над романом, ког-

да увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась, как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но все же победила инерция прошлого. Роман для меня — необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Я помню, вы тоже были отъявленным оптимистом во время войны, и я даже с вами спорил, хотя мне хотелось иногда верить вам... /.../

Как это ни странно, но фатализм или политический мистицизм стал свойствен именно тем, кто называл себя материалистами...» /.../

Целый день потом думаю о его романе, замысел которого как-то необычно вырос в моих глазах после этого разговора. Мне хотелось спросить Б. Л. еще о многом: о месте стихов и композиционной структуре романа, о связи автобиографического элемента с романной фабулой, но разговор Пастернака редко бывал диалогом, а перебивать его я не решался. /.../

В конце мая я снова встретил Б. Л. в нашей писательской сберкассе. Он был в белой панаме, в светлом костюме, моложавый и красивый. В городе уже давно ходили слухи о его новом «серьезном» увлечении. Мы вместе вышли и постояли недолго у подъезда дома в Лаврушенском переулке.

Он сказал, что недавно читал четыре часа подряд приехавшей из Ленинграда А. А. Ахматовой законченную первую часть романа. «Я так ее уморил, что у нее чуть не начался приступ грудной жабы...» — Он старался держаться беспечным, и разговор не вышел из границ легких шуток. Спросил, когда у меня премьера. Я сказал, что репетиции затянулись и, наверно, пьеса пойдет только к началу сезона. «Обязательно пригласите!» — сказал Б. Л. «Конечно, Борис Леонидович!» Он вошел в подъезд.

19 сентября у меня в дневнике такая запись: «Золотая осень сменилась ненастьем. По городу ходит рукопись первой части романа Пастернака. Через несколько дней получу: мне обещал достать ее Т.».

Но 1-го октября 1948 года, как раз в день генеральной репетиции моей пьесы, я был арестован. Премьера не состоялась. /.../

Прошли годы.

В конце лета 1954 года, в самом начале потока «реабилитированных», exавших из лагерей, я возвратился в Москву после почти шестилетнего отсутствия. И вскоре — в той же писательской сберкассе в Лаврушинском, где в последний раз встретил Б. Л. Пастернака, я снова увидел его. Когда я вошел, он заполнял чек у окошечка контролера. Я его окликаю. Он поворачивается, всматривается, узнает, обнимает и крепко целует.

— Уже слышал, слышал, что вернулись,— сказал он, не понижая голоса и не обращая внимания на окружающих.— А я вот не исправился...

Мы вместе вышли.

Я рассказал ему, как я читал весной в «Знамени» его стихи (кажется, первые напечатанные за все эти годы). Это был цикл «Стихи из романа «Доктор Живаго». А его однотомник, подаренный им мне во время войны с такой доброй надписью, мне прислали из дома, и я почти все время заключения возил его с собой. Обыкновенно я читал его стихи по утрам, просыпаясь в бараке раньше остальных, и если мне что-нибудь мешало, то чувствовал себя потом, как будто не умывался.

Я смотрю на него, и мне кажется, что он почти не постарел.

В последующие годы — несколько беглых встреч, обмен приветствиями, разговоры на ходу о пустяках. Как-то он мне сказал, что видел афишу о возобновлении в ЦТСА спектакля «Давным-давно»...

— Вот видите, я оказался хорошим пророком. Сколько перемен во всем, и в наших судьбах тоже, а ваша девушка-гусар все еще скачет по сценам...— И он грустно добавил: — А мне не повезло в театре.

— Зато нам повезло,— сказал я,— ведь после постановки в Художественном вашего перевода «Марии Стюарт» родилась «Вакханалия».

— О если бы я знал это тогда, в те темные годы! — сказал Б. Л.— Мне легче жилось бы от одной мысли, что я тоже т а м...

Он улыбнулся.

— А вы ее уже знаете? И, конечно, заметили, что она написана наперекор всему, что я писал перед этим и после?

Мое восторженное отношение к «Вакханалии» его как будто удивило.

Я сказал ему, что большое и сложное по содержанию стихотворение, вернее, маленькая поэма, кажется написанной одним дыханием, в один присест, залпом.

— Это хорошо, если так чувствуется, но не совсем верно. Я написал это почти в два присеста, как пишу большую часть своих стихотворений. Но вы правы, оно было неожиданным для меня самого. Это прилив того, что обычно называют вдохновением. Знаете, бывает так: всю зиму в чулане стояла закупоренная бутылка с наливкой. Она простояла бы еще долго, но вы нечаянно дотронулись до нее, и пробка вдруг вылетела. Эти стихи — моя вылетевшая пробка. Они удивили меня самого, но для меня — еще большая неожиданность, что они многим так нравятся...

Среди рукописей Б. Л., оставшихся после смерти, нашлось начало большой пьесы о крепостной актрисе, которую он писал в самые последние годы, так и не расставшись с мечтой о завоевании театра.

Во время той же встречи в Переделкине он на мой вопрос, что он теперь пишет, ответил:

— Не думайте ради Бога, что я уклоняюсь от ответа, но я сам еще нахожусь сейчас в том периоде неопределенности, который, наверно, по существу уже есть инкубационная стадия работы. Скажу коротко — снова думаю о пьесе...

В одном из писем Б. Л. через два года после этого разговора и менее чем за год до смерти Б. Л. писал об этом его последнем, видимо, большом замысле. «Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и еще очень отдаленному завершению захватившей меня работы. Из состояния безразличия, с каким я подходил к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным желанием или делается страстью»...

При нескольких встречах Б. Л. звал меня приезжать к себе в Переделкино, но я ни разу не воспользовался приглашением. К моей природной застенчивости добавилась психологическая скованность, обычная у людей, вернувшихся «оттуда». Я не был сразу реабилитирован. Мои пьесы уже снова шли на сценах московских и ленинградских театров, а паспортные дела все еще были не в порядке. С запозданием был восстановлен и в членах Союза писателей. (Впрочем, в этом была и своя хорошая сторона: это избавило меня от присутствия на собрании московских писателей, где голосовали за резолюцию об исключении Пастернака, или — от уклонения от присутствия.) Все это меня внутренне связывало, и я так и не собрался к нему. Кроме того, я слишком любил Б. Л. и дорожил его отношением к себе, чтобы рисковать появлением некстати. Вернее, я не отказывался от встреч, но откладывал их до более спокойного времени, которое так и не пришло.

18 августа 1957 года я поехал в гости к знакомым в Переделкино и на мостике через речку встретил Бориса Леонидовича. Он был в чем-то вроде пижамы или легкого летнего костюма: белое с синим. Уже совсем седая голова и молодое лицо. Очень приветливо здоровается. Сначала разговариваем, стоя на обочине шоссе у моста. Его здесь все знают, и проходящие оглядываются на нас. Впрочем, мало кто здоровается... Он пригласил пойти погулять. Я забываю о том, что меня ждут к завтраку, и иду с ним.

Помню все, как будто это было вчера,— и светло-серый пруд с лилово-розовым налетом, и насыпь с раскидистыми ветлами, огороженную низкими белыми с черной каемкой столбиками, и прекрасные старые липы, кедры и лиственницы в сохранившейся части парка, куда привел меня Б. Л., и его милое, так хорошо знакомое гудение. Он показывает мне старинный дом с колоннами — бывшее имение Самариных, описанное им в стихотворении «Старый парк». В студенческие годы Б. Л. дружил с одним из молодых Самариных. О печальной и странной судьбе Дмитрия Самарина он бегло рассказал в «Автобиографии». Он же, по-видимому, явился прототипом Юрия Живаго, во всяком случае, по внешней рамке судьбы.

Бродим вдвоем часа два и говорим о многом и разном, вернее, как и прежде, говорит один Б. Л.

И говорит он совсем по-прежнему, т. е. стремительно набрасывает кучи фраз, сам себя перебивает, уклоняется в отступления, возвращается к прерванному со всей той кажущейся сбивчивостью его речи, к которой нужно привыкнуть, чтобы понимать ее неуклонную последовательность. Он кажется взволнованным и желающим выговориться.

Не могу не сказать, что поначалу мне показалось, что он многое преувеличивает. Предчувствия ожидаемых гонений и бед в это прекрасное воскресное летнее утро в тихом, будничном Подмосковье представилось мне чрезмерностью воображения. Через год и два месяца я понял, что не он был слишком насторожен, а я чрезмерно благодушен. Впрочем, о многом я узнал только в этом разговоре.

По словам Б. Л., над ним нависла грозовая туча. Роман вскоре должен выйти в Италии. Б. Л. хотел остановить его печатанье, но почему-то этого не сделал или уже не мог сделать. «Я не имею права теперь это делать»,— сказал он. В прошлом году от него отказался «Новый мир». Котов собирался его печатать в Гослитиздате, но умер, а остальным не до этого — все заняты мышиной карьеристской возней. В Союзе писателей роман окрещен «контрреволюционным». «Если бы это было так, я не побоялся бы это признать, но это неверно...» Говоря об этом, Б. Л. употребил сравнение: «Это все равно, что характеризовать этот кедр только тем, что он отбрасывает на солнце тень, в которой мы сейчас стоим...»

— Из меня хотят сделать второго Зощенко... Да, да уверяю вас. Нет, теперь уже ничто не поможет. Таков приказ свыше. В пятницу меня вызывали в Союз на заседание секретариата. Оно должно было быть закрытым, но я не поехал, а они все там обиделись и приняли страшную резолюцию против меня. Нашлись доброхоты, которые все раздувают и лихорадят атмосферу, как, например, К. Даже Панферов держится спокойнее его и ему подобных. Вдруг выяснилось, что у меня множество недругов. Впрочем, на этом секретариате зачем-то составили комиссию для переговоров со мной... Нет, нет, не спорьте, на этот раз мне будет плохо. Пришел мой черед. Вы же ничего не знаете. Тут все очень сложно. В это дело запутано много разных самолюбий, престижей, идет ду-

эль авторитетов. До самого романа им очень мало дела. Большинство занимающихся этим вопросом его и не читало. Кое-кто и рад бы замять — о, нет, не из сочувствия ко мне, а из мещанской боязни уличного скандала, но это уже невозможно. Говорят, что меня на секретариате кто-то назвал рекламистом, любящим шум и раздувающим скандал. О, если бы они знали, как это все чуждо и враждебно мне! Я иногда просыпаюсь в ужасе и тоске от самого себя, от несчастного своего характера, требующего полной свободы духовных поисков, и от этого неожиданного поворота в моей судьбе, доставляющего столько неприятностей моим близким.

Я стараюсь перевести разговор на другую тему, и мы говорим о недавней беседе Твардовского с Хрущевым о писателях, которые, как птицы, делятся на «ловчих» и «певчих», и еще о многом.

Вспоминаю, что у меня в записной книжке лежит фотография, где в 1936 году были сняты он, В. Э. Мейерхольд и я. Отдаю ему ее. Он благодарит, но справляется, есть ли у меня еще экземпляр.

— У меня все пропадает. И она пропадет. Какой тут хороший Мейерхольд. А как вы изменились! Но я помню вас еще таким в чистопольские времена...

(Он оказался прав. Через некоторое время А. Е. Крученых при случайной встрече предложил мне «уступить» фото, где я снят с Мейерхольдом и Пастернаком. Заинтересовавшись, я выяснил, что фотографию он получил от приятельницы Б. Л., которая, в свою очередь, выпросила ее у него.)

Мне показалось, что к концу нашего разговора, после двухчасовой прогулки, Б. Л. как-то успокоился, может быть, потому, что выговорился с привычным собеседником.

Когда мы прощались, он снова настоятельно звал меня к себе:

— Приезжайте без церемоний в любое воскресенье после часа...

Но, приняв это за обычную любезность, я не воспользовался приглашением, хотя мне очень хотелось спросить его о многом.

За несколько месяцев до этого я прочитал его «Автобиографию». Э. Казакевич намеревался напечатать ее в третьем томе «Литературной Москвы», и мне ее дал на короткое время кто-то из членов редколлегии (может быть, и сам Казакевич — сейчас уже не помню).

Блистательно написанная, с тугой сжатостью мыслительной энергии, которая свойственна лучшим образцам поздней прозы Б. Л. (к сожалению, «Доктор Живаго» не весь написан на этом уровне), она поразила меня односторонностью и каким-то преднамеренным сужением огромного и разнообразного опыта артистической жизни автора.

«Автобиография» не повторяет и не продолжает «Охранную грамоту», но, соприкасаясь с ней, как бы музыкально ее варьирует. В ней есть задуманная сухость и решительная жесткость оценок, которые противоречат прежним взглядам Б. Л. (в частности, например, в отношении Маяковского). Б. Л. в этой работе почему-то опускает многое из того, что не могло не формировать его как художника и чему даже я был свидетелем (война, работа над Шекспиром, Чистополь и пр.), как бы выбирая и оставляя только то из своей жизни, что вело и подводило его к созданию «Доктора Живаго», пропустив и замолчав все прочее и резко и несправедливо осудив целые большие и плодотворные периоды своей поэтической работы. Впрочем, нового в этом для русской литературы ничего нет: вспомним Гоголя, вспомним сложное отношение Л. Толстого к составившим его славу романам и даже прямое отречение от «Войны и мира».

В этом смысле надетая на себя Б. Л. схима отречения от ранней лирики — явление вполне традиционное. В целом «Автобиография» с ее предельно субъективной и, несомненно, искренней и мучительной самопереоценкой, вызвавшей по закону резонанса попутную переоценку былых влияний и пристрастий, а также соседних себе явлений в искусстве, показалась мне чем-то обедняющей и даже искажающей портрет того Б. Л. Пастернака, которого я знал и любил уже много лет. Мне почудился за всем этим какой-то вызов кому-то, вызов очень одинокого, отчаявшегося и уставшего от одиночества и отчаяния художника, и еще почудилась та тоска человека слова по поступку, которая тоже нам хорошо знакома по судьбе Толстого.

Не знаю, решился бы я говорить об этом и спорить с Б. Л., хотя раньше он очень просто и мягко принимал мои возражения. По некоторым признакам я мог думать, что он за прошедшие годы стал не так широк и терпим, как раньше, может быть, тоже от усталости.

В это время в литературной среде уже ходили рассказы об его резкостях, ранее немыслимых. Это был другой Пастернак, чем тот, которого я знал, и тот прежний Б. Л. вряд ли был бы способен на грубую отповедь пошлому и оскорбительному тосту В. Вишневского.

В конце года я еще встретился с Б. Л. на спектакле «Фауст» на гастролях Гамбургского театра. Роман уже вышел по-итальянски, и за ним в антрактах толпой ходили иностранные корреспонденты. Кто-то из них сунул ему в руку томик «Фауста» в его собственном переводе, и его стали фотографировать. Прежний Б. Л. счел бы это нескромной комедией, а этот новый покорно стоял в фойе театра с книжкой в руках и позировал журналистам при вспышках магния. Видимо, он считал это нужным для чего-то, потому что представить себе, что это ему было приятно, я все равно не могу. Мировая слава нагнала его, но он не казался счастливым. И в искусственности позы, и в лице чувствовалась напряженность. Он выглядел не победителем, а жертвой. Во всем этом было что-то оскорбительное. Я хотел подойти к нему, но раздумал и ушел из театра со странным и неприятным осадком в душе.

Как известно, рукопись романа была отдана Б. Л. миланскому издателю, коммунисту Фельтринелли, с ведома редакции «Нового мира» и руководства Гослитиздата, но с условием опубликовать ее только после первой публикации в СССР. Публикация эта реально готовилась, роман анонсировался журналом, и Б. Л. работал со штатным редактором издательства. Ничего нелояльного в соглашении с Фельтринелли не было. Положение обострилось только после того, как стало ясно, что в СССР роман в ближайшее время напечатан не будет. А тем временем перевод на итальянский язык был уже готов. На встревоженные запросы издателя Б. Л. сначала ответил телеграммой, что тот может поступать, как ему угодно, а потом, после оказанного на него давления, что он просит подождать.

Впрочем, ни срока ожидания, ни прочих условий сообщено не было. Фельтринелли предпочел послушаться первой телеграммы. В октябре 1957 года группа советских поэтов поехала в Италию. Приглашен был и Б. Л., но вместо него поехал А. Сурков, который, видимо, старался вызволить у Фельтринелли обратно рукопись романа. Говорят, что посредником в этих переговорах был Тольятти, но Фельтринелли был упрям, и вскоре роман вышел в Милане.

Первое издание его было распродано в течение нескольких часов. На протяжении зимы, весны и лета 1958 года вышли издания романа и на других языках. Советская пресса об этом молчала до поздней осени 1958 года, когда наконец разразилась буря.

Итак, вовсе не выход романа за рубежом, а только присуждение Пастернаку Нобелевской премии вызвало начало кампании против него. С момента выхода романа к этому времени прошел уже целый год. Затянувшееся молчание по поводу появления романа в печати было первой из длинной цепи неловкостей, совершенных в связи с этим делом. Ведь только за содержание романа мог в какой-то мере нести ответственность писатель, а вовсе не за его многочисленные переиздания, комментарии, статьи и присуждение премии. Мы только что видели, что Нобелевская премия была присуждена Сартру, несмотря на его возражения, винить Б. Л. за присуждение ему премии было так же нелогично, как и Сартра. С советской стороны никогда раньше не осуждалось принятие этой премии, когда ею награждались наши ученые. Стало быть, дело было не в принципиально отрицательном отношении к этой премии вообще, а только в данном случае. Но почему Б. Л. должен был отказываться от премии, если от нее не отказывались наши физики, медики и биологи?

Роман в рукописи несколько лет ходил в Москве по рукам, официально обсуждался в наших редакциях, и об отклонении его журналом нигде не сообщалось. В самом отклонении рукописи еще нет ничего исключительного. Разве не бывает, что рукопись отклоняется одной редакцией и принимается другой? Чтобы не ходить далеко, можно напомнить историю напечатания «Синей тетради» Казакевича и многих других произведений последних лет. В чем же был криминал? Все делалось не тайком, не из-под полы, а открыто, на глазах у всех. Сам вопрос о присуждении Пастернаку Нобелевской премии за рубежом в литературных кругах обсуждался и раньше и вне всякой связи с романом «Доктор Живаго». Об этом серьезно говорили уже в 1947 году. Тогда кандидатуру Пастернака выставила группа английских писателей. В Москве об этом тоже знали. Я помню, как в одном литературном доме осенью 1947 года шел об этом разговор в присутствии первой жены Б. Л.... Времена были куда более крутые, и все присутствующие высказывали опасение за положение Б. Л. у нас, если это произойдет, и почти в той же самой формулировке, которую дал он в разговоре со мной через десять лет, говоря, что из него сделают «второго Зощенко». Может быть, эти слухи повлияли на решение об уничтожении тиража сборника избранных стихотворений Б. Л. в серии «Избранные произведения советских писателей» — по примеру уничтожения уже напечатанных книг Ахматовой и Зощенко за год до этого.

Судя по разговору со мной в августе 1957 года, Б. Л. ясно представил, что его ожидает, и ничего не преувеличивал. Настоящие поэты часто предсказывают в своих стихах свое будущее, и Пастернак задолго до мрачной осени 1958 года писал: «На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси...» Предощущение судьбы, так фатально оправдавшееся, замечательно в его «Гамлете», написанном за 12 лет до исключения Б. Л. из Союза писателей.

Неправильно думать, что Б. Л. желал «пострадать». От сознания неизбежности до ее желания — расстояние большое. Можно трезво предвидеть эту неизбежность и в то же время отказываться уклониться от нее. Дважды эта тема возникает в послевоенных стихах Б. Л., включенных им в состав романа. После вышеприведенных строк следует: «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси»... Эта же моральная дилемма составляет содержание одной из прекраснейших легенд — легенды о молитве в Гефсиманском саду, и не случайно ей посвящено большое стихотворение Б. Л.

...Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца...

Стихи приписаны автором герою романа Юрию Живаго, но это кажется натяжкой: в опыте жизни Живаго нет этому никаких реальных параллелей. Тут голосом героя говорит его живой протагонист, но отнюдь не двойник — сам автор.

Разве Б. Л. не хотел, чтобы роман был напечатан в «Новом мире» и вышел в Гослитиздате? Можно счесть странным, что он на это надеялся. Но это был 1956 год, год Двадцатого съезда. Многое менялось. Открывались новые пути. В подобные моменты крутых переломов сбывается то, что недавно казалось невероятным. Когда я впервые прочитал в рукописи «Ивана Денисовича» и «Матренин двор», я готов был держать любое пари, что эти вещи еще не смогут быть напечатанными. К счастью, я ошибся. «Нецензурность» «Доктора Живаго» относительна, многие идеи, высказанные в нем, содержатся в еще более ясном виде в поэме «Высокая болезнь», которая не раз переиздавалась и в годы культа Сталина.

Знать свою судьбу и идти ей навстречу, не зажмурившись и не обольщаясь утешениями, делая то, что он верно или ошибочно считал своим долгом,— вот содержание и смысл последних лет жизни Б. Л. Пастернака.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь!

Этот «выбор», это решение были не просты уже тем, что они противоречили прирожденному характеру Б. Л.— артистически мягкому, далекому от ограниченности фанатизма, доверчивому и открытому. Виктор Шкловский написал про него в книге «ZOO, Или письма не о любви»: «Он проживет свою жизнь счастливым и всеми любимым». (В издании 1964 года эта фраза опущена.) Для меня острые углы «Автобиографии» означают сломы и рубцы поэта в борьбе с самим собой...

В 1936 году в стихотворении «Художник» Б. Л. Пастернак писал:

..Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой...

Хочется процитировать все стихотворение целиком. Сейчас кажется чудом точность, с которой проецируется в нем вся дальнейшая судьба поэта. Но подлинная поэзия всегда чудо, иначе зачем она нужна?

«Все до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось»,— сказал о своей жизни Б. Л. в одном из поздних своих прекрасных лирических стихотворений о русской природе, где достигнута та высокая поэтичность, в которой не сравнения и уподобления метафорического порядка придают значительность простому и скромному пейзажу, а он сам собой как бы углублен до просторного образа, не переставая быть тем, что он есть, т. е. точно выписанной картинкой природы.

Выбор был не прост еще и потому, что никаких иллюзий у человека, потерявшего в годы культа Сталина столько близких друзей и не раз в глухую ночь в Переделкине ждавшего стука в калитку агентов Ежова и Берия, быть не могло. Что тогда сохранило Пастернака? Трудно сказать. Известно только, что в 1955 году молодой прокурор Р., занимавшийся делом по реабилитации Мейерхольда, был поражен, узнав, что Пастернак на свободе и не арестовывался: по материалам «дела», лежавшего перед ним, он проходил соучастником некоей вымышленной диверсионной организации работников искусства, за создание которой погибли Мейерхольд и Бабель. Еще в этом деле мелькало имя тоже не арестовывавшегося Ю. Олеши. Этот честный и добросовестный молодой человек был далек от литературных кругов, а само имя Пастернака широкую, всеобщую известность приобрело только после инцидента с Нобелевской премией.

На каком-то этапе изготовления этой зловещей инсценировки, видимо, где-то было решено ограничиться уже арестованными Мейерхольдом и Бабелем, но так или иначе, судя по материалам «дела», очевидно, что во второй половине 1939 года Б. Л. находился под реальной угрозой уничтожения, да и тогда ли только? Когда Б. Л. впоследствии попросили дать для реабилитации Мейерхольда характеристику его политических взглядов, он кратко написал, что Мейерхольд был всегда гораздо более советским человеком, чем он, Пастернак. В этом слышатся и горькая шутка и странная бравада, но хорошо, что наступили времена, когда стало возможно т а к шутить.

Все сказанное не означает полного принятия мною идей и образов романа «Доктор Живаго» и даже хотя бы относительного согласия с авторской оценкой его как главного труда жизни.

Когда рукопись романа ходила по Москве, я ее не прочитал. Почему-то мне казалось, что роман вскоре будет напечатан, и я не проявлял особого рвения к тому, чтобы его достать, хотя это вовсе не было трудно, да и сам Б. Л. дал бы мне его, если бы я попросил. Прочитал я его гораздо позднее, когда миновала буря вокруг него, уже после смерти Б. Л.

Нужно ли здесь писать об этом? Да, мне кажется, нужно. Ведь я пишу о встречах с Б. Л. Пастернаком, а это тоже одна из «встреч»...

Говоря кратко — роман меня разочаровал. Не поверив себе, я, перевернув последнюю страницу, стал снова читать

его с самого начала. Выносить суждение об этой уже такой знаменитой книге было делом слишком серьезным и ответственным перед самим собой. Я прочитал его дважды и потом еще много раз перелистывал, просматривая отдельные главы и страницы, споря мысленно с Б. Л. и с самим собой.

Скажу больше — знакомство с романом было для меня драматичным: и потому, что я очень любил Б. Л. как человека и художника, и потому, что мне очень не хотелось увеличивать ряды тех, кто бранил роман, не задумавшись над ним глубоко (а часто и вовсе не прочитав его). Я навсегда останусь бесконечно благодарным Б. Л. за все, что получил и продолжаю получать от его поэзии, но он сам где-то на страницах своей книги говорит, что главная беда времени — отсутствие у людей собственного мнения, и поэтому, исполняя завет Б. Л., я решаюсь сформулировать собственное мнение об его романе, каким бы оно ни было.

В «Докторе Живаго» есть удивительные страницы, но насколько их было бы больше, если бы автор не тужился написать именно р о м а н, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени и своей жизни. Все, что в этой книге от романа, слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов — или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированная под диалог, или неискусная подделка. Все народные сцены по языку почти фальшивы: э т о г о Б. Л. не слышит (эпизоды в вагоне, у партизан и т. д.). Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, натянуты, отдают сочиненностью или подражанием. Заметно влияние Достоевского, но у Достоевского его диалоги-споры — это серьезные диспуты с диалектическим равенством спорящих сторон (как это превосходно доказал в своей книге Бахтин), а в «Докторе Живаго» все его действующие лица — это маленькие Пастернаки, только одни более густо, другие пожиже замешенные.

Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведения эпического рода. Это моралистическая (даже не философская) притча с иллюстрациями романтического и описательного характера. Все, что говорит о природе, прекрасно. И об искусстве. И о процессе сочинения стихов (без этих страниц в будущем не обойдется ни один исследователь поэзии Пастернака). И многие попутные мысли и рассуждения (в некоторых из них я встретился с уже слышанным ранее от Б. Л.— правда, большей частью иначе сформулированным). И отдельные психологические этюды разбросаны там и тут по ходу действия. И, конечно, стихи. И еще кое-что. Но великого романа нет.

Даже при беглом чтении в глаза бросается много самоповторений, или, вернее, автоцитат. Это не только мысли и размышления автора, но и образы. Например, в «Охранной грамоте» говорится о Маяковском: «За всем этим, как за прямотой разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно».

А в романе автор говорит о своей героине Ларе: «Точный общий разгон в жизни она взяла давно в детстве, и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия». Любопытно здесь не то, что автор пошел на самоповторение,— Пастернак рассматривал «Доктора Живаго» как свое главное и в каком-то смысле итоговое произведение, и естественно, что роман вобрал в себя весь художественный и интеллектуальный опыт писателя; подобные «прецеденты» можно найти и у Лермонтова, и у Толстого, и у Чехова,— интересно другое. Подвергнув в «Автобиографии» резкой переоценке историю своих отношений с Маяковским, Пастернак все же не захотел внутренне расстаться с его образом таким, как он его видел раньше, и переадресовал свое былое восторженное отношение к нему, вылившееся в вышеприведенной характеристике, своей любимой вымышленной героине. Но если к Маяковскому эта удивительная по точности и психологическому мастерству характеристика прилегала плотно и безошибочно верно, то в портрете Лары она кажется риторическим украшением, так как сама Лара вся насквозь придумана и условна. От неправды целого бесконечно проигрывает и деталь образа, как она ни превосходно вылеплена сама по себе.

Автор не раз говорит от себя и в речах героев о прелести «повседневности» и «быта», но как раз этого-то совсем нет в романе: бытовые подробности приблизительны, вторичны, а часто неточны (и прежде всего у с л о в н ы), почти как в слабой пьесе, лишенной воздуха и деталей. Есть непонятное внутреннее противоречие. Вначале автор голосом одного из героев говорит, что человек «живет не столько в природе, сколько в истории». Мысль верная, но вся концепция романа насквозь антиисторична даже в пастернаковском понимании истории как «разгадки смерти и ее преодоления». Странная конспективность, а местами неоправданная беглость рассказа выдает неопытность руки не-мастера или, вернее, мастера иной формы. Отчетливо подражательны многие сюжетные реминисценции: все эти бесконечные ночные разговоры, объяснения, выстрел Лары и уход от нее мужа. Это все «литература», как и почти все другие необыкновенные встречи и совпадения, вплоть до появления дочери доктора в конце. Мне кажется, что беда Б. Л.— в неверном выборе жанра для того большого сочинения в прозе, к которому его так тянуло всю жизнь. Вместо того, чтобы, как Толстой, самому найти естественную и единствен-

ную для себя форму большого эпического произведения, или, как Герцен, создавший свою неповторимую и сложную по форме книгу-исповедь, Б. Л. взял форму, чуждую своей индивидуальности, и не растворился в ней, а неплотно натянул ее на свой замысел и оказался пленником заимствованной формы. Вероятно, Б. Л. хотел написать именно р о м а н для того, чтобы его книга нашла более широкую и, так сказать, демократическую аудиторию, чем труд исповеднически-философский или чисто мемуарный. Мне было знакомо его стремление к завоеванию самой широкой аудитории, не поэтому ли он говорил, что «завидует» авторам «Цемента» и «Разгрома», и рвался к успеху в театре. Замечено, что когда прозаики пишут пьесы, то, стремясь овладеть законами театральности, они часто делаются рабами лжетеатральности. Эволюция Чехова-драматурга от «Иванова» к «Вишневому саду» — это путь эмансипации его от условий театральной формы. Так, видимо, и Б. Л.: желая высказать в прозе свои заветные мысли и наблюдения, но избрав для этого традиционную форму романа, так сказать, для завоевания галерки, он пал жертвой ложного стремления к занимательности, доступной драматичности, фабульности.

Все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано. Иногда мне казалось, что я читаю переводную книгу (особенно в романических местах) — такая уж это литературно-традиционная Россия, Россия вторичного отражения. Так пишут и говорят о России, кто знает ее не саму по себе, а по Достоевскому или позднему Бунину. Так и мы часто пишем и говорим о загранице. Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед; стилизованная эссенция России. Не потому ли так велик был успех этой книги за границей? Она вышла к тому времени, когда к традиционной загадке славянской души прибавилась загадка большевистской России, выигравшей страшную войну, и еще одна суперзагадка культа Сталина. Принятая за ответ на эти загадки-вопросы, книга не отвечает по-настоящему ни на один из них. Ни одна из сторон русской жизни описанного времени не показана в ней верно и полно. Это в целом очень неуклюжее и антипластичное соединение иногда проницательных, часто тонких субъективных наблюдений автора с грубо построенным макетом эпигонского романа в манере Достоевского.

Беспомощность Пастернака-рассказчика в романе иногда так велика, что останавливаешься в недоумении перед обилием общих мест, которых совсем нет в поэзии Б. Л., и думаешь — одна ли рука это писала? Но по другим кускам (чаще по лирическим или описательным отступлениям) видишь, что это рука Пастернака-поэта. «В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеже надкусанной французской булкой». По одной этой фразе можно узнать автора. Или — «Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Деревья и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп». И еще: «Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее бегом, всю в дыму за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четвероугольниками лужаек, и шипит и гаснет, упав в сугроб», и «запах лип, обгоняющий поезд, как слух»...

Таких мест много, но как много и натянутого, ходульно-преувеличенного, подражательного. Как верен автор своему отличному вкусу в отрывках, подобных вышеприведенным, и как он изменяет ему, когда вторгается в чужую себе сферу.

В русском искусстве еще один такой (и еще более трагический) пример беспомощности большого художника в чуждой ему области: это стихотворные опыты А. Г. Скрябина, опубликованные после его смерти М. О. Гершензоном в одном из томов «Русских пропилеев». Оригинальный, неповторимый, бездонноглубокий в музыкальном творчестве композитор оказался неискусным и вялым подражателем общих мест символистской поэзии в искусстве словесном. А известно, что он своим опытам в стихотворчестве придавал огромное значение и искренно считал себя новатором, идущим по еще не открытым путям. Оговариваюсь: Пастернак писал отличную прозу, но прозу иного рода, в жанре же традиционного романа он потерпел обидное поражение.

Когда-то еще в Чистополе мы с Б. Л. раздумывали над странным признанием Л. М. Леонова о том, что высоким достижением русской литературы он считает «Капитанскую дочку», и Б. Л. тонко и глубоко комментировал непонятное мне противоречие между тем, что писатель Леонов любит, и тем, как он пишет, но теперь с ним случилось почти то же самое. Восхищаясь Толстым и Чеховым, он оказался эпигоном Достоевского, не продолжателем, а подражателем. Субъективно-монологический дар Б. Л. не справился с созданием идейного романа с конфликтующими сторонами. Там же, где он в романной живописи оставался верным «толстовскому», он показал себя прозаиком чистым и сильным (замечательный эпизод приезда царя в армию, например). Не стану ничего говорить о высказавшей себя в романе поздней религиозности автора — это дело личной совести каждого. Все связанное с этим мне странно: я разделяю убеждение молодого Пастернака, что майское расписание Камышинской ветки — «грандиозней святого писанья»...

Много можно сказать об этой необычайной книге, такой внутренне противоречивой, пестрой и ненужно сложной. Как писательский поступок, она мужественна и героична, моральные предпосылки ее безукоризненны, но художественный результат — двусмыслен и спорен. Что же касается того в ней, чем она пришлась особенно по вкусу некоторым кругам на Западе и насторожила многих у нас в стране, то мне хочется процитировать авторскую оценку одного из главных героев романа, данную им самим на страницах книги: «Он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он и по сей день сводит с ней счеты»... Можно ли сказать точнее!

Я начал писать эти заметки из неостывающего чувства любви и признательности к Б. Л. Пастернаку и удивления перед ним. Я был бы недостоин этих чувств и дорогого дружеского расположения, если бы умолчал или слукавил в вопросе о романе «Доктор Живаго». Будем любить своих избранных, и не рабской любовью: это тоже один из его великих уроков.

Присуждения Пастернаку Нобелевской премии по литературе ждали еще в 1957 году, а в 1958 году говорили об этом с уверенностью. Я уже не помню, что питало слухи,— может быть, зарубежные радиосообщения. В конце октября этот слух стал действительностью.

В Москве узнали об этом, кажется, 24 октября. Накануне выпал первый в этом году снег, но быстро стаял.

На следующий день в «Литературной газете» (редакция, видимо, заранее подготовилась), появилось огромное, почти на две полосы, письмо к Пастернаку от членов редколлегии журнала «Новый мир» с объяснением мотивов отклонения романа и редакционная статья исключительной резкости. 26-го была напечатана большая статья Д. Заславского «О литературном сорняке» («сорняк» — это Б. Л. Пастернак). Именно в эти дни имя поэта стало известно всем.

За две недели до смерти С. Есенина Н. Асеев разговаривал с ним о призвании поэта и многом другом. Есенин защищал право поэта на написание ширпотребной лирики романсного типа. Асеев записал слова Есенина: «Никто тебя знать не будет, если не писать лирики: на фунт помолу нужен фунт навозу — вот что нужно. А без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись — тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!..» Асеев добавляет: «Он именно так и сказал, помню отчетливо» («С. А. Есенин». Воспоминания под редакцией И. Евдокимова. Гос. издат. Москва, 1926 г.). Любопытно, что в своей позднейшей мемуарной статье об Есенине Асеев приводит совсем другой текст разговора — без имени Пастернака.

Для Есенина в середине двадцатых годов имя Пастернака являлось нарицательным примером непопулярности. За тридцать с лишним лет изменилось немного. Известность Пастернака по-прежнему не выходила за узкие пределы окололитературной среды, студенчества, некоторой части интеллигенции. Но за эти два дня — 25 и 26 октября — имя Пастернака стало известно буквально всем.

В ночь на 26-е снова выпал снег и лежал почти до вечера. Днем я сидел в парикмахерской на Арбатской площади, и как раз в это время по радио читали статью Заславского. Все слушали молча, я бы сказал — с каким-то мрачным молчанием,— только один развязный мастер стал что-то говорить о том, какую сумму получит Пастернак, но его никто не поддержал. Я знал, что для Б. Л. тяжелее всего не суровость репрессий, а пошлость обывательских кривотолков. С утра на душе лежала какая-то тяжесть, но молчание это меня ободрило.

Несколько дней на еще зеленой траве московских скверов лежал снег, и это было очень красиво. Потом снег снова стаял, зима отступила, и вернулась осень с чудесной солнечной погодой.

А антипастернаковская кампания нарастала. 27 октября президиум ССП исключил его из числа членов Союза писателей. 31-го собрание московской организации ССП подтвердило это решение и в своей резолюции потребовало лишения Б. Л. советского гражданства.

Это событие еще у всех в памяти. Стоит ли говорить, что многие выступавшие против Пастернака были неискренни. Это был последний рецидив того великого страха, который остался нам в наследство от годов культа Сталина. Вспоминаю одну из жестоких проработок середины сороковых годов. Литератор Х. резко выступил против Зощенко. Я спросил его, как это совместить с его недавними похвалами по адресу Зощенко. Он ответил мне пышно и эффектно: «Если нужно выбирать между родиной и Зощенко, я выбираю родину...» Эта великолепная в своей откровенной демагогичности формулировка могла пригодиться и многим обличителям Пастернака, но на самом деле людей просто-напросто охватил знакомый, противный, липкий страх...

Два известных писателя жили в это время в ялтинском Доме творчества. Географическое пространство делало для них невозможным присутствие на происходивших в Москве собраниях, но, опасаясь, видимо, что их молчание будет для них невыгодно истолковано, они оба поспешили написать резкие антипастернаковские статьи в местную ялтинскую газету. Один из них был видным поэтом, о котором Б. Л. не раз хорошо отзывался, а он сам печатно называл его своим учителем, а другой — его бывшим почти другом, близко знавшим его не од-

но десятилетие и много раз восторженно о нем писавшим в своих книгах.

Миша Светлов, живший в эту осень в Переделкине, рассказал мне, что в один из темных осенних вечеров местные хулиганы и пропойцы кидали камни в окна дачи Пастернака. Не обошлось и без антисемитских выкриков. Миша сочувствовал Б. Л. и сетовал, что его не хотят понять. Ночью мне не спалось, и я представлял себе темную дачу Б. Л., занавешенные окна, запертую калитку...

О своем состоянии в эти дни Б. Л. рассказывал в стихотворении «Нобелевская премия»:

Оно начинается так:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет...

В театрах, Художественном и Малом, где шли переводы Б. Л., с афиш было снято его имя.

Эта «примета времени» (как любят выражаться критики) сразу повлекла за собой цепь трагических ассоциаций. Казалось, что произойдет что-то еще более страшное и непоправимое. Все с утра кидались за газетами, а вечерами не отрывались от радиоприемников. Мир был набит новостями; Конклав в Ватикане избрал кардинала Анджелло Ронкалли новым папой под именем Иоанна 23-го. Академик Тамм и еще два советских ученых тоже получили Нобелевские премии. В Риге умер С. Э. Радлов, в Ленинграде — академик Орбели. Но говорили все только о Пастернаке. Вот как пришла к нему та самая слава, о которой мечтал когда-то Сергей Есенин.

Дни становились все короче и темнее. На душе было тяжело не только потому, что было жалко Б. Л. и стыдно за многих, а еще потому, что во всей этой истории чувствовался рецидив черной памяти лет культа Сталина.

В последний день месяца стало известно о письме Б. Л. в комитет Нобелевских премий. Оно у нас не было опубликовано, и текст его таков: «В связи с тем значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ». Одновременно Б. Л. обратился с известным письмом к Н. С. Хрущеву с просьбой сохранить ему гражданство СССР (оно было опубликовано в газете 2 ноября). В ответ на это последовало заявление ТАСС о том, что Пастернаку предоставляется право поступать так, как ему угодно. И хотя Кочетов еще называл в печати Б. Л. «отщепенцем», а Михалков сочинял про него издевательские стишки, кампания медленно, но неуклонно пошла на спад.

После этого Б. Л. стал все чаще болеть. Вскоре он начал писать пьесу, о которой я говорил выше, и вел огромную переписку, отвечая на множество писем, приходивших к нему со всех концов мира.

Вчерашний трудолюбивый затворник, не читающий газет, превратился в модную и сенсационную фигуру. За ним охотились иностранные корреспонденты, ловившие каждое его слово. Те из них, которым удавалось проникнуть к нему в дом, описывали его рабочий стол, соломенное кресло, книжные полки и галстуки. Их репортажи, в которых была немалая доля фантазии, печатались в крупнейших газетах мира. А в ответ на них почтальоны приносили новые груды писем.

Вот как он писал об этом:

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдаль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль...
Годы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики...
Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

В 1959-м и в начале 1960 года я почти не жил в Москве и мало что знаю о жизни Б. Л. в это время. Изредка до меня долетали зловещие слухи о его болезни. Мелькнуло черное слово «рак».

Верным и близким другом Б. Л. все эти трудные месяцы оставался его сосед по даче Всеволод Вячеславович Иванов. Я слышал от него, что Б. Л. не раз искренне выражал свой ужас, что к успеху романа, коим он дорожил, примешалась мода. Он написал переводчикам на Западе несколько писем с просьбой не переводить его раннюю лирику, но его не слушали. Сам он собирался закончить пьесу о крепостной актрисе, а также мечтал о новой прозе, в которой он хотел показать, «чего можно достигнуть сдержанностью слога», который позволяет становиться «как бы собственным языком положений и вещей, которые он изображает». Он намеревался превратить отдельные свои заметки о переводческой работе в большую статью о Шекспире и Гете. (Запись рассказа В. В. Иванова. Февраль 1961 года.)

Я не знаю, как точно датируется стихотворение Б. Л. «Быть знаменитым — некрасиво». Поэт включил его в предполагаемую книгу «Когда разгуляется», объединяющую стихи, написанные в 1956—1960 гг. Но даже если оно написано до получения Нобелевской премии и горьких испытаний осени и зимы 1958 года, то все равно как бы отвечает на раздумья Б. Л., связанные с его новым положением в мире и в своей родной стране: ведь у подлинных поэтов лирический отзвук иногда не следует за звуком, а предвосхищает его. Да и, кроме того, Б. Л. прекрасно знал, на что он идет и как все это будет. Не совпали, может быть, только подробности...

...Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов...

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

И, наконец, этот удивительный, памятный до мельчайших подробностей день — 2 июня 1960 года — день похорон Бориса Леонидовича Пастернака.

Незадолго до этого я уехал в Ленинград, зная, что он тяжело болен. Вечер и часть ночи перед отъездом я провел у моего товарища по лагерю, профессора-историка, знатока Ближнего Востока Е. Л. Штейнберга — одного из «крестников» Я. Эльсберга. Он нежно любил поэзию Пастернака, и в далеком Обозерске близ Белого моря мы с ним не раз соревновались в том, кто больше знает наизусть его стихов. И в этот вечер в Москве, в одном из Кисловских переулков, мы, конечно, тоже говорили о Б. Л. и об его болезни, — только что прошел слух, что ему стало лучше.

В Ленинграде я часто со страхом разворачивал очередной номер «Литературной газеты», боясь встретить объявление с черной каемкой на последней полосе внизу справа.

Я вернулся как раз в этот день — 2 июня. Купил на вокзале «Литературку» и, не посмотрев, сунул в карман. Еду по делам в два-три места — и домой. Только вошел — телефонный звонок. Друзья рассказывают: час назад кончилась кремация тела Е. Л. Штейнберга, скоропостижно умершего в ночь на 31 мая. Не успеваю еще задать ни одного вопроса, как узнаю, что они через двадцать минут едут в Переделкино на похороны Пастернака, умершего в ту же самую ночь. Уговариваемся ехать вместе. Долго стою оглушенный. Потом почти машинально лезу в карман плаща за газетой и читаю знаменитое извещение о похоронах «члена Литфонда» Б. Л. Пастернака...

Жарко. Утро безоблачное, но в середине дня появились легкие перистые облачка. В машине нас четверо. По дороге мне рассказывают обстоятельства течения болезни и последних часов жизни Б. Л. Его просьба — открыть окно, повторенная настойчиво несколько раз, уже когда окно было открыто, воспринимается не в бытовом, а в символическом значении, как восклицание: «Больше света!» (Гете), как прощанье с книжными полками Пушкина. С этим ничего не поделаешь. Каждый пустяк увеличивается до мифа. Любая подробность «в прощальном значении своем подымалась», говоря словами самого Б. Л. Простая северная ягода морошка для меня навсегда связана с предсмертными минутами Пушкина. Будто Б. Л. об окне говорил в полузабытьи. А перед этим, придя в сознание, он сказал тоскливо во время очередного укола:

— Ну, зачем вы меня мучаете? Ведь я все равно умру...

Может, он говорил не это, а совсем другое, или и это, и другое, или вообще ничего не говорил (хотя в этой фразе есть какая-то пастернаковская интонационная подлинность — я ее почти слышу). Время еще не выбрало из всех действительных или апокрифических версий свою «морошку», которая завтра станет легендарной. Миф еще не сгустился.

Серой лентой змеится дорога, то в гору, то под гору. Вот налево от нее отделяется, уходя в густой и темный лес, другое шоссе, ведущее прямо к бывшей даче Сталина. Прошло уже семь с лишним лет после его смерти, но все тут еще кажется полным мрачных тайн, хотя на даче давно уже разместился какой-то детский дом отдыха, и, проезжая мимо этой зловещей развилки, москвичи вспоминают былую суровую дорожную охрану, дежурных мотоциклистов и милиционеров, которые вовсе не милиционеры. Но это уже все прошлое. Мы проносимся мимо него со скоростью 80 км в час. Машина летит дальше мимо зеленых подмосковных рощ и цветущих садов. Летний день прекрасен. Вот один поворот, вот другой, едем по дачному поселку, вот пруд и мост, окаймленный низкими черными с белыми полосками столбиками, и раскидистые ветлы (три года назад я встретил здесь гуляющего Б. Л.), вот остатки парка с липами и лиственницами...

На предпоследнем повороте стоит посредине улицы милиционер. Это неспроста. Никогда ничего подобного тут не было. Он останавливает машину и строго спрашивает: куда мы едем? Хозяин машины на всякий случай, чтобы не афишировать цели поездки, называет одну из дач, соседних с дачей Пастернака. Разгадав уловку и ничуть не удивляясь, милиционер невозмутимо говорит, что если мы приехали на похороны, то машину нужно оставить здесь. Справа вдоль улицы уже стоит десятка полтора-два машин. Кто-то из спутников заметил, что у милиционера погоны майора. Другой увидел среди стоящих машин несколько посольских. Не знаю, я уже ничего не замечал. Сворачиваем на улицу Павленко. Вторая или третья от угла — дача Пастернака. Входим в распахнутые настежь ворота. В саду уже порядочно народа. Мелькают знакомые лица. Из раскрытых окон дома слышны звуки фортепьяно. В саду полным цветом цветет белая и лиловая сирень. В розовато-белом одеянии стоят тоненькие яблони.

Проходим в комнаты к телу Б. Л. Он лежит в черном костюме и белой манишке. Гроб полузасыпан цветами. Желто-бледное, очень исхудалое, красивое лицо.

К стене рядом и к подножью гроба прислонены три больших венка. Ленты скомканы, но можно прочесть отдельные слова: ...«другу, поэту»... Потом мне сказали, что это от В. В. Иванова, от К. И.

Чуковского и третий, поменьше, от нашего родного Литфонда. В соседней комнате громко звучит фортепьяно. Сменяя друг друга, непрерывно играют М. В. Юдина, Святослав Рихтер и Андрей Волконский.

Идем медленно мимо гроба, не сводя глаз с прекрасного лица.

Впервые не удивляюсь его моложавости, но это и не лицо старика. Я мало видел его поседевшим и не успел привыкнуть к седине, так контрастировавшей с его молодым лицом. Хорошо помню самые первые серебряные нити в этих волосах, еще почти не заметные и так его красившие.

Уже в дверях замедляю шаги и оборачиваюсь.

Проходим через сени и выходим из дома с противоположной стороны.

Сад постепенно наполняется народом, хотя до назначенного часа выноса еще два с лишним часа. Вижу К. Г. Паустовского, Льва Славина, В. А. Каверина, старика И. С. Соколова-Микитова... Все стоят кучками и тихо разговаривают. Кто-то шутит, и это не шокирует. В общем настроении нет ни подавленности, ни скорби, а скорее даже какая-то приподнятость и торжественность. Буйный цвет сада, высокое июньское небо...

В распахнутые ворота непрерывно входят все новые и новые люди. Хорошо знакомые писательские лица, музыканты, художники и молодежь, много молодежи.

В саду же порядочно и иностранных корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров. Они спокойные, деловитые, большей частью рослые малые в серых и черных костюмах с галстуками-бабочками, многие с очкастыми переводчицами, хладнокровно и умело, без лишней суеты делают свое дело. Мне показывают известного Г. Шапиро, представляющего в Москве самое крупное американское агентство. Он выделяется и небрежностью костюма, маленький, толстый.

Все они щелкают фотоаппаратами, особенно часто снимают Паустовского. Я пожалел, что не взял свой «Зенит».

Почти все приходят с цветами. В комнатах уже горы цветов.

Меня тихо окликают. Потный, с облупившимся носом, с плащом через руку и книгами под мышкой передо мной стоит Ш. Это мой товарищ по лагерю. Он живет после реабилитации в маленьком белорусском городке и учится на заочном отделении в библиотечном институте. Приехал на экзаменационную сессию, пришел утром в институт, узнал от студентов про похороны Пастернака, бросил все и, как был, с тетрадями и книгами отправился на Киевский вокзал. По его словам, у кассы пригородных поездов висит написанное от руки большое объявление о похоронах с указанием, куда ехать и как найти дачу. Вспоминаю, что Ш. писал в лагере стихи и как-то читал мне шепотом в спящем бараке. Его освободили через год после меня, и это наша первая встреча с 1954 года.

И еще одна случайная встреча и тоже с бывшим коллегой по заключению. Это блестящий молодой ученый-филолог, исследователь восточного сказочного эпоса, Мел-ий. Он уже успел после лагеря выпустить солидную книгу, а там, за колючей проволокой, был незаметным статистиком санчасти.

Впрочем, так ли случайны эти встречи здесь сегодня?

Ведь мы помнили эти строки: «Душа моя, печальница о всех в кругу моем...».

Я уже рассказывал, как горячо расцеловал меня Б. Л., встретив впервые после освобождения. Иногда мне хотелось написать ему о т т у д а, но я опасался его скомпрометировать. Мне известно, что другие писали и он отвечал, и даже незнакомым. Его письма есть у находившихся в заключении поэтов В. Ш. и К. Б. Об этом можно много не говорить — достаточно перечесть стихотворение «Душа».

А народ прибывает. Невозможно перебрать всех близко и отдаленно знакомых, известных в лицо и понаслышке, толпящихся в саду, возле дома. Называю только первых попавшихся по случайной прихоти памяти, пропуская многих других не по умыслу, а по невозможности перечислить. Вот Борис Ливанов, репетировавший в Художественном театре роль Гамлета в переводе Б. Л. Вот многолетний друг поэта, профессор В. Ф. Асмус, философ и историк. Вот переводчик и художник Вильгельм Левик. Вот старая поэтесса Вера Звягинцева. Вот поэтесса Мария Петровых, приятельница Б. Л. по Чистополю. Вот историк литературы Возрождения профессор Пинский, тоже «крестник» Эльсберга. Вот бывший эсер и эмигрант, а ныне корреспондент «Либерасьон» Сухомлин, вот еще одна бывшая «парижанка» и тоже бывшая лагерница Н. И. Столярова. Вот П. А. Марков, В. Любимова, А. Гранберг, А. В. Февральский, Е. М. Голышева, Н. Д. Оттен, Н. К. Чуковский, Л. М. Эренбург, В. В. Иванов. Мелькает бледное лицо Эли Нусинова. Критики: Л. Копелев, А. Синявский, А. Белинков. Молодые поэты: В. Корнилов, Н. Коржавин, Б. Окуджава. Молодая проза: Ю. Казаков, Б. Балтер и многие, многие другие.

Очкастые молодые люди — не то гиковцы, не то будущие архитекторы, юные музыканты, знакомые по консерваторским конкурсам, седые женщины с опухшими от слез глазами (слышу, одна из них, рассказывая о Б. Л., называет его «Борей»; кто она ему?), худой подросток с оттопыренными ушами, будущий физик или поэт, а может быть, астроном. Он на всю жизнь запомнит этот день.

Все поколения, все профессиональные ответвления московской интеллигенции.

Резко бросается в глаза отсутствие Федина, Леонова и друга юности Б. Л. Ник. Асеева. Про одного известного поэта говорят, что он уже третий день пьет и доказывает своим собутыльникам, что все люди — подлецы. О Федине слышно,

что он сказался больным и, сидя на своей даче поблизости, велел занавесить окна, чтобы до него не доносился с похорон гул толпы.

Я уже давно ищу глазами своего приятеля И., живущего совсем рядом. Он гордился шапочным знакомством с Б. Л. и не раз искренне возмущался всем, что с ним произошло. Наконец замечаю его жену. Встретив мой вопросительный взгляд, она сама подходит ко мне и торопливо, как бы извиняясь, начинает объяснять, что И. с утра «вызвали» в город, а то бы он обязательно пришел. Она слишком старается меня убедить в этом, чтобы не почувствовать фальши.

Другого знакомого литератора К. я уже давно вижу стоящим за забором с женой и тоже не входящим. Они о чем-то говорят, она громко, он смущенно. Она махнула рукой и вошла в ворота, а он остался за забором. В его растерянности, как в книге, читается инерция многих лет страха. Не у всех совесть так уживчива, как у И., предусмотрительно приготовившего себе алиби. Невольно думается, как много существует вариантов и оттенков трусости — от респектабельной и почти благовидной до истерически-надрывной, от бесстыдной до лицемерно прячущейся.

А вот еще одно темное пятнышко. В толпе стали очень заметны некие вовсе не праздно наблюдающие люди. Они тоже прислушиваются к разговорам и щелкают фотоаппаратами. Одного я заприметил и долго наблюдал за ним. Он делал вид, что идет с толпой в дом, все время топчется на месте, зыркая вокруг; расстегнутая ковбойка, низкий лоб и выражение лица, которое не спрячешь. Э т и и иностранные журналисты, тоже работающие и только за этим приехавшие,— единственный чужеродный элемент в этой пестрой, но охваченной общим настроением толпе.

А народу все больше и больше. Знаменателен удивительный, никем не организуемый и не контролируемый порядок. Никто не распоряжается и не указывает, и сотни людей, не спеша и не толкаясь, проходят сквозь дом мимо гроба Б. Л. Правда, иногда в толпе мелькают незаменимый и умеющий быть незаметным душевный и тактичный Арий Давидович Ратницкий и еще один официальный представитель Литфонда с испуганным и кислым лицом.

Толпа уже запрудила весь сад между домом и забором. Многие стоят за воротами.

Сколько здесь? Тысяча человек? Две? Три? Четыре?

Трудно сказать. Но, пожалуй, несколько тысяч и вряд ли меньше трех. Когда мы ехали, я боялся, что все это будет малолюднее, жальче. И кто мог ожидать, что это будет так? Ведь сегодня сюда никто не пришел из внешнего приличия, из формального долга присутствовать, как это часто бывает. Для каждого здесь находящегося этот день — огромное событие, и то, что это так,— еще одна победа поэта.

Мне показывают Ольгу Ивинскую. Она сидит на скамейке у дома и, опустив голову, слушает что-то говорящего ей К. Г. Паустовского.

Это последняя героиня любовной лирики Пастернака, и, вглядываясь в ее черты, я ищу ее сходства с женскими поэтическими портретами в памятных строфах...

Проходят часы, а мы все стоим в этом празднично-цветущем саду, и в ворота все идут новые группы людей с цветами в руках.

Так прошло несколько часов, не помню точно — сколько. Все это время мы говорим только об одном — о Б. Л. Пастернаке.

Но вот доступ к гробу закрыт на двадцать минут для всех, кроме семьи и близких. Ивинская осталась в саду. Потом она взбирается на скамейку и смотрит в окно. Газетчики в восторге. Сразу защелкал десяток камер.

Окна раскрываются, и из них в толпу стали передавать охапки цветов с гроба. Цветов множество, и это продолжается довольно долго. Цветы плывут над головами и возвращаются в руки тех, кто их принес.

Когда процессия тронулась, снова почти все шли с цветами.

Из дверей передают венки, крышку гроба, и вот уже выносят сам гроб.

Что-то подступило к горлу...

Чтобы не оказаться в конце шествия, мы прошли вперед.

Предусмотрительные американцы уже воздвигли за воротами какое-то сооружение из досок и ящиков для кинооператора и фотографов и заранее заняли позицию.

Кладбище от дачи Пастернака метрах в 600—700, если идти по дороге, и гораздо ближе напрямик через картофельное поле. Мы идем через поле и подходим минут за двадцать до траурного шествия.

Для гроба была заранее подготовлена машина, но молодежь не дала ставить гроб на машину и понесла его на руках.

Место для могилы Б. Л. выбрано красивейшее — лучше невозможно — открытое со всех сторон, на пригорке под тремя соснами, в видимости от дома, где поэт прожил последнюю половину своей жизни.

Здесь толпа кажется еще большей, чем в саду.

Вот и процессия с гробом. Перед тем как спустить его на землю, рядом с могилой, его почему-то поднимают над толпой, и я в последний раз вижу исхудалое, прекрасное лицо Бориса Леонидовича.

Я стою шагах в восьми—десяти от могилы. Проталкиваться вперед, как делают журналисты, не хочется. А они уже и здесь нашли (или принесли с собой) какие-то ящики и соорудили помост. Мимо меня, энергично работая локтями, пробирается Г. Шапиро.

Начинается траурное собрание. Пер-

вым говорит профессор Асмус. У него нелегкая задача, но он превосходно справляется с ней. Я плохо запомнил его речь, но в ней ничто не показалось бестактным, ненужным, лишним...

Чтец Голубенцев читает: «О, знал бы я, что так бывает...»

И другой, незнакомый мне, современный и искренний голос читает до сих пор не напечатанного, но широко известного «Гамлета».

Трудно сделать лучше выбор.

В ответ на последние строки «Гамлета» в толпе пробегает шум.

Атмосфера мгновенно накаляется, но тот же голос, который объявлял об открытии траурного митинга (я не вижу этого человека за головами впереди стоящих), поспешно его закрывает.

Еще больше шум и голоса протестов.

И сразу, еще на общем шуме и возгласах какой-то сладкий голосок что-то говорит о росе, в которую скоро превратится поэт, и тому подобную приторную, мистическую чушь.

Он еще не кончил, как хриплый и едва ли трезвый голос выкрикивает, что он должен от имени рабочих Переделкина (какие же в Переделкине рабочие?) заявить, что «они» не понимают, почему «Пастернака не печатали и что он любит рабочих»... Начинает попахивать политической провокацией, но вездесущий Арий Давидович тихо распоряжается, и вот раздаются слова команды.

— Раз-два, взяли...

Это опускают в землю гроб.

Слышатся возгласы:

— Прощай, самый великий!

— Прощайте, Борис Леонидович!

— Прощайте...

И вдруг сразу наступает тишина, и вот уже застучали комья земли по крышке гроба Бориса Пастернака.

По-прежнему жарко, но небо закрылось тонкой облачной пеленой.

Стрекочет портативный киноаппарат. Кто-то зарыдал: нервы не выдержали.

А вообще слез в этот день было немного — только при выносе гроба из дома и сейчас. Общее настроение торжественное, приподнятое.

Но вот гроб закрыт, и сразу же в нескольких кучках молодежи начались громкие споры. В других кучках читают стихи. Кто-то ищет валидол, говорят, М. Петровых стало дурно.

Мы медленно возвращаемся к машине. У меня в руках ветка белой сирени с гроба.

Всю обратную дорогу молчим. Разговаривать не хочется. Каждый несет в себе то, что надо не расплескать, сберечь навсегда.

В город вернулись уже в восьмом часу. Жаркий день сменился душным вечером.

Это был мой последний день с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

В старинной книге, которой увлекались наши предки, в знаменитом «Ручном Оракуле», написанном еще в конце 17-го века испанцем Бальтасаром Грасианом, говорится, что высшим качеством человека, кроме ума и дарований, является «непосредственность и благородная, вольнолюбивая независимость сердца».

Загорянская. Сентябрь 1963 г., Комарово. Декабрь 1964 г.

Вступление, подготовка текста и публикация Л. ЛЕВИЦКОГО.

Мир Сигизмунда Кржижановского

Сигизмунд Кржижановский. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М., Московский рабочий, 1989.

Я боюсь, что, взглянув на имя автора, иной читатель подумает, что это перевод с польского, а взглянув на заглавие, иной даже, может быть, вспомнит давний немецкий шарлатанский фильм о пришельцах. Они обманутся. Раскроем книгу: таким языком переводы не пишутся.

«Боковая ветка,— подумал Квантин,— ржавая узкоколейщина, саркофаги на колесах, как бы не заехать в катастрофу». Но вдоль темного низкокрышья уже скользнул голубой глаз фонаря. Свисток на высокой сверчковой ноте проиглился сквозь тьму. Наткнувшись на ступеньку, Квантин схватил подставившийся поручень и впрыгнул в вагон. Лязгнули тимпанным переплеском буфера, и поезд тронулся. Сначала окна вагонного кузова медленно терлись о воздух. Старый паровичок, шаркая паром, казалось, шел сквозь ночь, волоча мягкие ночные туфли, то и дело спадающие с пят. Но постепенно колеса надбавляли скорости... кривые рессоры вагонных кузовов ахали на стыках, из всех щелей шуршал рассекаемый паровозной грудью воздух. Обгоняя ночь, окна скользили уже сквозь голубое предсветье, загибающееся вслед бегу колес сшибом углов и выгибей быстро — до слиянности — мелькающих контуров...»

Рассказ называется «Боковая ветка». Поезд не простой: он увозит героя в страну снов. Там люди живут во сне и спят наяву. В самом деле: давно уже сказано, что если сделать сны продолжающими друг друга, а явь прерывистой, то сны покажутся явью, а явь — снами. Но пропаганда давно приучила всех видеть единые сны, простейше-связные, а газеты давно целиком обновляют мир каждое утро. Сон блаженства, единый сон о единении. Действительность защищается, но закрытые глаза ее не видят. Легкий сон не выдерживает трения о действительность, а тяжелый хорошо ассимилируется с жизнью. Хорошо просненные подушки; подушки нового образца, набитые, как портфели, цифрами и диаграммами. Все на тяжелую индустрию тяжелых снов! Оптовая поставка утопий. Вечерние курсы ночных видений. Дневное оцепенение, ночная страда: кошмароделы и экспедиторы фантомов торопятся...

Как меняются местами сон и явь, так меняются вымысел и действительность. Персонажу обидно быть выдумкой какого-то выдумщика; и он доказывает, что не автор измышляет его, а он измышляет автора. Выйдя из книги, такой персонаж обычно становится критиком книг: ему жизненно необходимо, чтобы все поверили, что Рудин или Пигасов — выдумка, а он, слабая их копия,— реальность. Не поэтому ли о Тургеневе преимущественно пишут пигасовы, о Достоевском — фердыщенки, а о Грибоедове — молчалины? Если персонаж особенно энергичен, он может и убить своего автора — например, на дуэли. Но он этого не делает, потому что тогда-то станет ясно, что без автора он ничто. (Сюжет шварцевской «Тени»? Да, но на десять лет раньше.)

Что отличает настоящих людей-творцов от этих выдуманных ими тварей? Честность. «Звездное небо надо мною — моральный закон во мне». (Жизнеописание этой мысли — ее рождение под черепом Канта, мученический путь из головы в рукопись, под шрифт, на склад, в магазин, к компиляторам, к цитаторам, к комментаторам, в цифровые сноски и, наконец, к столетнему юбилею, на гробницу к Канту — составляет отдельный рассказ в шесть страниц.) Моральный закон заставляет настоящих людей быть благодарными за свое бытие — пусть неизвестно кому — и платить, кто чем может: живописец гармонией красок, музыкант — звуков, философ — идей (рассказ «Чужая тема»). Это — независимо от того, как воспримут подобное мнимые люди. А они воспринимают однозначно: «Рассказы ваши, ну, как бы сказать, — преждевременны. Спрячьте их — пусть ждут... А сами-то вы из зачеркнутых или из зачеркивающих?» Писать можно только о зачеркнутом и для зачеркнутых.

Кантовский мир существует в пространстве и времени, потому что только в пространстве и времени может его представить себе человеческое сознание. Но что заставляет сознание порождать пространство и время? Боль, отвечает автор. Когда нам больно, рефлекс толкает нас отбросить источник боли как спичку, которая обожгла руку. Отбросить подальше — от этого возникает пространство; отбросить подавнее — возникает время. Общий знаменатель

пространства и времени — боль. Поэтому время можно преобразовать в пространство и путешествовать во времени, как в пространстве (повесть «Воспоминание о будущем»). И, попав в будущее, путешественник опять видит: вокруг — трудноразличимые настоящие люди и мнимые люди. Мнимые — это те, которые порождены не настоящим, а прошлым, запроектированы им, живут, шумят и митингуют под лозунгами прошлого, стертыми, как десятая копия под копиркой. Какой год на календаре этого будущего? 1951-й. Автор умер годом раньше, а писал это двадцатью с лишним годами раньше.

Каитовский мир был четко поделен на истинный и мнимый — мир вещей в себе и для себя. Но это — упрощение: существуют не два, а четыре мира. По краям — сияющий мир вещей без теней («звездное небо над нами...») и черная пропасть теней без вещей; между ними — мир, где вещи отбрасывают тени, и мир, где тени отбрасывают вещи. Мы живем среди теней, которые отбрасывают вещи, и мы сами — такие же тени. Но мы убеждаем себя, будто живем среди вещей, которые отбрасывают тени. Сиянье вещей в себе — это мир е с т е й, наш — мир н е т о в. («Объявившихся на государеву службу почитать в естех, а протчих людишек писать нетами» — из писцовой книги XVII века). Рассказ «Страна нетов» написан от лица больше чем путешественника во времени — от лица человека из не соприкасающегося с нетами мира естей. Неты живут на шаре, который кажется плоским, под неподвижным солнцем с кажущимися восходами и закатами. Пишут книги о том, что они есть; доказывают себе себя, хотя, чем доказывать свою жизнь, естественнее было бы жить. Учат, что «мыслю — следовательно, существую» (но многие ли из них мыслят?) или что мир — лишь скверная привычка так называемой нервной системы. Боятся истины, потому что она их отменит, и упражняются в умении не знать. В их религии мир сотворен из ничего, а прародители вкусили от древа познания, но не вкусили от древа жизни. Умирают и этим обнаруживают свое подлинное небытие (если не умирают). Умеют, быв ничем, казаться всем.

Между нетами и миром — пропасть, заполненная болью: болью соприкосновения. (Познать — значит позвать свою боль, ставшую миром, обратно в себя; а это страшно.) Эта ограда помогает им выжить. Помните, на краю старинных карт народец с огромными ушами, в которые можно кутаться, как в одеяла? Когда настали гиперборейские холода, этим тварям пришлось выбирать: или, вслушиваясь в шорох мира, погибнуть, или сложить уши вокруг себя и выжить. Выжили закутавшиеся (рассказ «Итанесиэс»).

Неты живут кучно: им кажется, что из многих «нет» можно сделать одно «да». Но и в куче они прячутся друг от друга — спина к спине; и не верят друг в друга — человек человеку призрак. Их любовь — это когда одно небытие выдумает образ другого небытия. Их ненависть — это когда одно небытие видит небытие другого и догадывается о собственном. Ненависть эта так сильна, что злоба дня, собранная в аккумулятор, может двигать машины. Небольшая размолвка с женой окупает обед из трех блюд. А ведь, кроме семейной вражды, есть еще национальная и классовая (рассказ «Желтый уголь»).

Что такое любовь, говорится в рассказе «В зрачке». Не буду его пересказывать: достаточно сказать, что он ведется от лица мужского образа, запавшего (через зрачок) в сознание женщины и там растворяющегося в забвении. Вокруг него — образы других, запавшие сюда до и после него. Все пронумерованы, но не в хронологическом, а в ассоциативном порядке. Четные номера смиренны, нечетные нахальны: диалектика сердца. Процесс забывания аналогичен остыванию раскаленного тела: из алмаза в уголь, через промежуточную точку аморфности. Если у людей эта точка смутности между любовью и нелюбовью расплывается порой на всю жизнь, то это потому, что забвение не измена, а ряд измен: мы меняемся, и любить можно, лишь изменяя вчерашнему человеку с сегодняшним. Измена может опережать эти изменения или отставать от них и т. д.

Кто-нибудь скажет: это игра в понятия? Нет, это мышление образами. «Художество — это ненадуманное думанье». «Искусство думать — легкое, а вот искусство додумывать — труднейшее из всех». Эти образы картонные? Не больше, чем у Свифта и Эдгара По. Неживые? Вспомните, как ехал поезд в страну снов. Схематичные? Да, они конспективны: это дисциплинирующий стиль, он спасает болящего от неврастеничности. В рассказе «Книжная закладка» на 12 страницах перебираются шесть тем (помните, как Чехов брал в руки пепельницу и говорил: хотите, завтра будет рассказ «Пепельница»?). Рассказ «Чужая тема» начинается предложением: «Не хотели б вы приобрести, граждании, философскую систему? С двойным мироохватом: установка и на микро- и на макрокосм... Миросозерцание вполне оригинально; не подержано ни в чьих мышлениях. Вы будете первым, просозерцавшим его... Не стану скрывать: система идеалистична. Но ведь я же и недорого прошу... Если миросозерцание вам не по средствам, то, может, вы удовлетворитесь двумя-тремя афоризмами...» Цинично? Нет, автор — скептик, но не циник. «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работающим на бытие»,— говорит он; это солипсизм наизнанку. Сухо? Можно и распространить. «Теперь у меня было достаточно материала, чтобы попробовать закрепить тему... Прежде всего надо перечеркнуть правду, зачем она? Потом распестрить боль до пределов фабулы, да-да; чуть тронуть бытом и поверх, как краску лаком, легкой пошлотцой — и без этого ведь никак; наконец, два-три философизма и...» Многоточие автора.

Мне бы не хотелось вдаваться в оценки: каждый, читающий эту заметку, думаю, сам уже почувствовал, броситься ли ему искать эту книгу по прилавкам и библиотечным полкам или без нее будет спокойнее.

Человека, который создал этот мир, начинающийся с боли, звали Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887—1950). Какой мир запроектировал его самого, мы не знаем: о своих дореволюционных годах он молчал, а бумаги только свидетельствуют: шесть лет—на юридическом факультете, год учения (чему?) в Западной Европе, с 1914-го — присяжный поверенный в Киеве. В первые годы после революции он читает лекции по истории и теории культуры в студиях Киева, поражая слушателей энциклопедичностью знаний и яркой точностью образов. В 1922-м переезжает в Москву, голодает, зарабатывает литературной поденщиной: переводы, инсценировки, сценарии, либретто, потом статьи о Шекспире и Шоу. Свои рассказы он читал в литературных кружках, их слушали, дивясь, «как любопытный скиф афинскому софисту»; только вокруг были не Афины, а Скифия. Вишневский учил его стучать кулаком на редакторов, но софист этого не умел: «Я тот пустынник, который сам себе медведь». Из нескольких томов его прозы напечатано было лишь несколько рассказов. Четыре раза он пробовал издать книгу, и четыре раза это срывалось. «Литература — борьба властителей дум с блюстителями дум». «Когда над культурой кружат вражеские разведчики, огни в головах должны быть потушены». Безвестность спасла его от гибели в годы репрессий. Из Москвы он не эвакуировался, писал очерки «Москва в первый год войны», но составить из них книгу уже не мог. Пил; на вопрос, почему, отвечал: «От трезвого отношения к действительности». От мозгового спазма потерял способность читать, заново учился азбуке. На проверочный вопрос психиатра, «любите ли вы Пушкина», заплакал — единственный раз на памяти женщины, которая знала его тридцать лет.

«Пусть ждут»,— говорили о его рукописях «зачеркивающие». Если эта его первая книга смогла увидеть свет, хоть и почти через сорок лет после его смерти, то это заслуга двух людей, разделенных двумя поколениями. Это вдова писателя, артистка А. Г. Бовшек, профессионально подготовившая для печати все его рукописи, снабдившая их библиографией, хронологией, воспоминаниями об авторе, но не дожившая до их издания. И это поэт В. Г. Перельмутер, составитель и автор вступительной статьи и примечаний к этой книге; он понял, что Кржижановский — это событие, и сделал его событием, преодолев инертность тех, на которых Кржижановский не умел стучать кулаком. Тираж 100 000 — это много для «Московского рабочего» и мало даже для Москвы. Пусть серая бумага и опечатки в каждом втором латинском слове (к сведению читателя: стр. 78, 95, 102, 197, 276, 278, 401, 403) — все равно, спасибо издательству. Пусть в катастрофически тесном комментарии порой не хватает необходимого (оглавление рассказа «Квадрат Пегаса»: «Звезды», «Гнезда», «Седла», «Отцвел», «Приобрел», «Надеван», «Запечатлен»,—кто, кроме историков языка, помнит, что это — список слов на «ё», писавшихся через «ять»?) — все равно, спасибо составителю. Сейчас он готовит вторую книгу Кржижановского: его повести и воспоминания о нем.

Три раздела книги «Воспоминания о будущем» — рассказы, повесть, очерки — это три первые просеки сквозь мир Сигизмунда Кржижановского. «Избранное» издано, «неизданное» осталось: для читателя еще многое впереди.

М. ГАСПАРОВ

Перед зеркалом

•

Михаил Жванецкий. Год за два. М., «Искусство», 1989.

•

Не будем мелочиться, граждане. Обобщать так обобщать. Оставим в покое клинических идиотов, патологических антисемитов, а также ту категорию людей, кому чувство глубокого удовлетворения давно заменило чувство юмора — прочно, надежно и навсегда. Все остальное подавляющее большинство (в том числе и автор этих строк) очень любит Михаила Жванецкого, и те, кому посчастливилось раздобыть его книгу, получат большое удовольствие. Рискну высказать предположение, что они будут смеяться. Даже, наверное, взахлеб. В крайнем случае, если у читателя ушла жена или он серьезно болен, просто улыбаться. Этот смех объединяет, являя морально-политическое единство советского народа. Цементирующей основой, крепко сплотившей всех нас — итээров и художников слова, неформалов и милиционеров, бомжей и народных депутатов,— оказывается одинаковая реакция на шутки Жванецкого. Мы смеемся.

И этот наш дружный, объединяющий, искренний смех наводит меня на самые что ни на есть грустные размышления.

В темные дожванецкие времена все было просто. Существовало в основном два вида смеха. Первый касался Очень Больших Людей и Больших Дурных Порядков, второй — Очень Маленьких Людей и Мелких Житейских Неприятностей. Первый существовал в виде едких, злых и остроумных анекдотов, был загнан в подполье, оттеснен на кухни и отгорожен статьями Уголовного кодекса: сначала 58-й, а позже — 70-й и 190-прим. Второй господствовал на экране, на эстраде, в журнале «Крокодил» и чаще всего не высовывался дальше проблем тещи, продавца или сантехника. Первый привлекал резкостью и прямотой, но в силу своей абсолютной беззаконности отличался локальным, камерным распространением. Второй навязывался сверху, и если был для кого-то доступным и вполне подходящим, то для многих других пустым, неглубоким и раздражающе-пошлым. Заслугой Жванецкого стало то, что он увидел и ярче других выразил в своем творчестве Третий путь. Писателем был необыкновенно точно и верно угадан объект самых серьезных, глубоких и, без сомнения, честных сатирических обличений, бичеваний и разоблачений. Вся прелесть Третьего смеха заключалась в том, что объект сатирика мы знали очень хорошо, с детства знали все его слабости и теневые стороны, а потому понимали Жванецкого с полуслова. Жанр сатирического намека здесь получил наиболее широкое распространение, по слову мы могли угадать фразу, по фразе — ситуацию. Сама специфика смеха Жванецкого позволяла сколь угодно широко распространить его тематику, и в то же время начальство (конечно, умное) ни минуты не сомневалось в полной нашей лояльности: политически этот смех был вполне безопасным... Так над кем же мы с вами с такой готовностью и с таким энтузиазмом потешались? Угадали, конечно?

Правильно. Над собой.

В условиях тотальной несвободы каждому из нас было все-таки даровано торжественное право встать у зеркала и честно, с гражданским мужеством отшлепать себя по щекам. И не Михаил Михайлович Жванецкий был в этом виноват — он талантливо и умно реализовал только наши желания. Что хотели, то и получали.

В книгу «Год за два» вошли лучшие миниатюры, монологи и диалоги, созданные писателем за последние два десятилетия. Большинство из них мы знаем по блистательному исполнению Райкина, по телевыступлениям, пластинкам Карцева и Ильченко, раннего Хазанова, наконец, самого Михаила Жванецкого. Далеко за примерами ходить не надо, достаточно вспомнить монологи «В греческом зале», «Дефицит», «Молчание — золото», вспомнить ирреальную и такую привычную для нас историю о выставке в Париже, куда отправили не изобретателя, а совсем другого человека, с «правильными анализами». Причем наши соображения о том, что Жванецкий приглашает читателей в первую очередь посмеяться над собой, не следует понимать буквально. Изобразив пьяного хама, расположившего селедку на плече у Аполлона, или ведомственное мурло, привыкшее кататься за кордон за счет чужого таланта, сатирик не требует, чтобы мы немедленно отождествили себя с ними. Дело в другом: то, что кому-то могло бы показаться немыслимым, неслыханной аномалией, нам представляется обычным, заурядным и разрешается только нашим слегка конфузливым смехом. Что поделаешь — привыкли. (Где-то мне недавно попался рассказ о том, с каким напряженным интересом смотрели французы наш фильм «Афоня», считая его искусно сделанным сюрреалистическим произведением: это, мол, надо придумать же, чтобы жителей целого дома терроризировал один слесарь-сантехник!..) Слово «притерпелость», придуманное Евгением Евтушенко, как нельзя лучше обозначает все эти ситуации. Тот пришепетывающий гражданин, которому целая бригада шила костюм, а другая вставляла мост,— это мы. И тот скромный дядечка, потерявший где-то собственное достоинство и призвавший не беспокоиться того, кто его найдет,— это тоже мы. Мы — нервный субъект, которому без его ведома сменили номер телефона, адрес и фамилию (национальность, впрочем, оставили прежней), и мы — суетливый товарищ, которому вроде бы пришла повестка куда-то и который готов во всех учреждениях доказывать свою дисциплинированность и законопослушность. Жванецкий безжалостен к нам. Эпизод, когда командированный в билетной кассе прямо на наших глазах заражается чудовищной подозрительностью кассира Сидорова и через минуту может в этой подозрительности его и переплюнуть, не гротеск, а реальность. И когда отдельные особо бдительные граждане, отсмеявшись и вытерев слезы, начинают упрекать Жванецкого в традиционном «огульном охаивании», то это просто недоразумение: они не поняли его функции в нашем обществе. В тех случаях, когда джентльмен требует сатисфакции или зовет полисмена, мы призываем Жванецкого. Даже сейчас, когда, казалось бы, руки у нас развязаны, нам привычнее и проще не преодолевать административный кретинизм, а только смеяться над нашим неумением его преодолеть. Наше коллективное покаяние началось не с перестройкой и не с фильма Абуладзе, а гораздо раньше, возможно, с первых сатир Жванецкого. Каждый весело смеялся над собственными грехами и с улыбкой каялся; интеллигенция, как ей и положено, каялась за всех сразу. Это было едва ли не единственной разрешенной формой протеста: Салтыков-Щедрин лет сто назад такое состояние назвал «бунтом на коленях».

Тут автора этих строк можно обвинить

в непонимании разницы между недавним застойным прошлым и нынешним светлым перестроечным настоящим и еще в том, что не замечено-де качественное изменение сатир Жванецкого в новых условиях — прирост смелости и политической остроты. На это можно было бы возразить, что книга «Год за два» заканчивается миниатюрами, созданными—долог производственный цикл книги! — три года назад, то есть в пору скорее ожидания перемен, нежели самих перемен. А если взять монологи Жванецкого самого последнего времени, которые в книгу не попали (скажем, «Так жить нельзя» или «Как это делается»), то в них раскованности и эпатажа действительно больше, но вот качественных изменений... Смелости-то сатирику и раньше было не занимать, но острота большей частью носит по-прежнему оттенок политического харакири (есть, говорят, такой японский обычай: если хочешь досадить своему врагу, можешь зарезаться у него на глазах). И пока мы вслед за сатириком заклинаем дружно «Так жить нельзя!» и живем по-прежнему, и пока мы бичуем самих себя за все издержки отечественного парламентаризма, пальцем не пошевелив для каких-либо перемен, Административная Система будет, как и прежде, чувствовать себя вполне комфортно.

Один из недавних своих сатирических монологов Жванецкий заключает словами: «Мы — не рабы. Рабы — не мы. А кто?» Надо хоть что-то нам делать — для того, чтобы в эпоху плюрализма ответ на этот вопрос не был столь пугающе однозначным.

Роман АРБИТМАН

г. Саратов

Ее глазами

•

Лидия Чуковская. Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуковском. М., «Московский рабочий», 1989.

•

Прошло двадцать лет, как не стало Корнея Ивановича Чуковского. Эта книга и о нем, и о подаренном им дочери и двум сыновьям детстве, светлом и чистом, как вода в репинском артезианском колодце.

Книга написана в 1971 году. Многолетняя выдержка — время опалы автора и строго соблюдаемого табу на самое упоминание опального имени: например, из моих воспоминаний о Корнее Ивановиче предупредительные редакторы в 1977 году сняли его вопрос ко мне, потому что там отец произнес имя дочери.

«Моим детям посчастливилось: они с малых лет дышали воздухом искусства»,— сказал Корней Иванович много лет спустя одной посетительнице. Воспитание искусством. Воспитание любви к нему и искреннего уважения к людям, творящим его. И все в игре, в беседе, во время лодочных прогулок в Финском заливе.

Детская память сохранила и гнев отца, когда он оскорблялся за искусство. В Куоккале под вечер он читает стихи гостям. Дети тоже слушают. Вдруг на веранду вбегает няня и спрашивает, подавать ли самовар. «Поглядев на нее с таким удивлением, будто кто-то из них двоих сумасшедший, Корней Иванович в бешенстве разбил тарелку, раскровянил себе палец и крикнул:

— Как вы смеете — смеете — говорить при стихах?!

Тоня заплакала. Он накричал на нее не только при стихах — при гостях. И это был тот самый человек, который деликатности с прислугой требовал от себя и от нас, детей, безупречной... Вспылив... он опомнился и побежал за Тоней на кухню просить прощения. Он утешал ее и при этом по складам выговаривал:

— Когда читают стихи, перебивать можно только в одном случае: если загорелся дом! Других причин я не знаю!..»

Прошли десятилетия. Осенью 1962 года Корней Иванович возмущенно рассказывал нам, трем научным сотрудникам, посетившим его в подмосковном санатории, как во время лекции, которую он читал на днях по просьбе здешних обитателей, его прервала жена высокопоставленного моссоветовца: «Корней Иванович, вот вам восемьдесят лет, а читаете без очков. Как вам удалось этого добиться?» «Они мне лекцию сорвали!» — долго не остывал Чуковский, которому пытливая сановница помешала читать стихи Маршака. Публичное неуважение к настоящему искусству Корней Иванович всегда воспринимал как оскорбление, нанесенное ему лично.

В игре отец приучал детей к посильному физическому труду. Игру привносил и в обучение их английскому языку, придумывая для перевода такие, например, русские тексты: «Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку... Старая дева, объевшись замазкой, упала в пруд». Дети переводили «подобную ахинею верстами» и приходили от нее в восторг. Но отец был и суров, когда обнаруживалось нерадение. И порой, пожалуй, если употребить выражение А. С. Макаренко, «срывался с педагогического каната». Сам великий труженик, великий самоучка, он страстно ненавидел всякое безделье, убивание времени. Отвратительным символом этого была для него игра в карты. И хотя Корней Иванович, конечно, знал, что в карты играли Пушкин,

Некрасов, Толстой, на карты в его доме существовал запрет. Лидия Корнеевна запомнила бурю, которая грянула, когда отец застал детей с самодельными картами за игрой в безобидного «пьяницу»...

Репин в 1914 году в письме к А. Ф. Кони назвал любовь Чуковского к литературе «феноменальной и заражающей». А за девять лет до этого Корней Иванович написал жене: «На меня искусство так действует, что я у художника руки готов целовать». Как есть люди с абсолютным музыкальным слухом, так есть люди с абсолютным литературным вкусом. Корней Иванович был из их числа. Но он был не только истинным ценителем искусства, он был еще и критиком-ученым и критиком-художником. Эта фанатичная любовь к литературе, людям искусства, это неукротимое стремление понять особость художественного мира, построенного писателем, и обнажить технологию построения, а потом воссоздать духовную личность автора наполняли его жизнь высоким смыслом. И лечили, и спасали. «Работа задвигала горе, заслоняла его собой, учила «держать себя в тисках». И более того, поднимала сопротивляемость, требуя душевного подъема»,— говорит Лидия Корнеевна и добавляет: «Я никогда не видывала литератора, которому писание давалось бы трудней, чем ему...» Написанное достигалось «тяжким трудом. Тяжким — но веселым».

Одна из постоянно ощущаемых болевых точек Чуковского, которую Лидия Корнеевна называет «родной ему болью»,— это трагическая тема «расправы с гением и талантом, учиняемая сплоченной и могучей бездарностью». Пушкин, Лермонтов. А сколько потом было расправ уже при жизни Корнея Ивановича: расправа царского суда с великим языковедом И. А. Бодуэном де Куртене, а в советское время — от расправы с Гумилевым до расправы с Пастернаком, Бродским, Синявским и Даниэлем, Солженицыным. Да, эпоха сильно позаботилась, чтобы «родная боль» не проходила...

Воздух детства, озонированный искусством, не был загрязнен ни бездельем, ни пошлостью, ни чинопочитанием, ни спесью. «Официальная табель о рангах теряла в нем смысл. Мы ведать не ведали, что, например, Репин имеет чин тайного советника».

Много знаменитых людей видели маленькие Чуковские. К счастью, замечает Лидия Корнеевна, «воздух искусства» оставлял нас детьми и не учил пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе». Но, как теперь понимает Лидия Корнеевна, отец беспокоился: хорошо, что дети не чувствуют некую свою особенность («А у нас Шаляпин был!»), но хорошо ли, если изобилие знаменитых посетителей делает их в глазах детей заурядными, стирает чудесность, лишает ощущения счастья от их присутствия, ощущения, которого он сам никогда не терял? Беспокойство было напрасным: дети оставались детьми (для этого шарады, лодка, городки, лыжи, скаканье на одной ноге, фокусы), что не мешало им исподволь впитывать отцовское отношение к поэзии и шире — искусству, проникаться отцовским чувством преемственности, ценить содружество талантов по «Чукоккале» и не забывать того утра, когда руки отца бережно переворачивали перед ними листы некрасовских автографов.

Дети выросли друзьями отца. И когда в феврале 1928 года Н. К. Крупская в «Правде» вдруг сочла возможным интерпретировать сказку Чуковского «Крокодил» как злую пародию на Некрасова, назвала ее «буржуазной чушью» и для Корнея Ивановича наступило тяжелое время, Лидия Корнеевна обратилась с письмом к Горькому в Италию. Она писала, что в семье всегда говорили о нем как о заступнике за писателей, что она не видела отца в более угнетенном состоянии, чем сейчас, что у него опустились руки и что вряд ли теперь ему дадут продолжать работать над Некрасовым. И Горький пришел на выручку: в двух газетах, московской и ленинградской, был напечатан его ответ Н. К. Крупской. Чуковский был спасен. Лидии Корнеевне шел тогда 21-й год.

Диктуя завещание, Корней Иванович с гордостью сказал: «Ни у кого не было таких крепких друзей, как у меня». Книга, о которой я здесь кратко рассказал, написана одним из них, самым крепким.

Маленькие Чуковские несли воду из репинских «Пенатов», распевая «водяной гимн»:

Два пня,
Два корня,
У забора,
У плетня,
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито.

Спасибо Лидии Корнеевне, сумевшей, не расплескав, донести до нас свежесть впечатлений необычного детства.

Эр. ХАН-ПИРА

«Чуткая душа не могла бы вынести...»

•

«Документы свидетельствуют». Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг. М., Издательство политической литературы, 1989.

•

По станичной улице мчится неоседланная лошадь. Вьется на зимнем ветру рыжая грива. К ней приколот плакат: «Бери — кто хочет». С хохотом бегут мальчишки, мрачно смотрят на невиданное зрелище взрослые, понимая, сколько отчаяния стоит за этой демонстрацией. Идет январь тридцатого года.

Эта сцена описана в информационной сводке Колхозцентра, вошедшей в посвященный истории коллективизации сборник «Документы свидетельствуют». Описана с характерным для того времени комментарием: «Одинокая рыжая кобыла, пущенная со столь ехидной запиской, сыграла роль кулацкого агитатора за массовое разбазаривание скота».

В таком же платоновском стиле пишутся письма крестьян.

«На торжественном собрании граждан дер. Коровики... один колхозник заявил — перед нами стоит задача сдать хлеб рабочему, а он тогда до некоторой степени снабдит промтоварами».

«По-наружному очень хорошо, и машины, и трактора, и скот... А посмотри внутрь: членство полуголодное, и с позором не выполнен план хлебозаготовок».

«В России много помирало с голода, так что негде было взять хлеба. Ели собак, лошадей, кошек, лягушек... Чуткая душа не могла бы вынести того положения, на котором претерпело человечество».

Медленно, со скрипом, нехотя приоткрываются двери архивных хранилищ, чтобы выпустить на свет божий запертые в них живые голоса. Не художественную прозу, что пишется по прошествии полувека и несет на себе отпечаток нынешнего нашего восприятия событий, не публицистику, всю пропитанную страстями современными, а дополинные архивные материалы — доклады, сводки, письма, дневники, где жалоба ограбленного крестьянина («Какой же я кулак? Я трудовик») соседствует с ораторскими упражнениями Бухарина, пытающегося оправдать провал нэпа, и с мрачными инвективами Сталина. С одной стороны — мольба зажиточной трехпоколенной крестьянской семьи не разорять ее, с другой — жалоба на то, что бедняку некуда податься. Дневниковая запись о том, как в сельсовете весело, с шутками зачисляли в кулаки даже по ничтожным признакам (например, арендовал человек немного земли), то есть весело, с шутками губили людей; и сводка поджогов, нападений на колхозных активистов. Читателю как бы предоставляется возможность самому судить о том, что же происходило в те роковые годы, дать объективную оценку событий.

И он судит-рядит в меру своего понимания истории, сформированного у кого в сороковые, а у кого в шестидесятые годы. Ищет аргументы, кто в пользу коллективизации, а кто против нее, сознательно или бессознательно пытаясь выработать критерий оценки исторического факта. У историка этот критерий зависит от политического мировоззрения — стоит ли он на позициях марксистских или русской государственности. Или руководствуется нравственной мерой, той самой нравственной мерой, которую точно определил один из солженицынских героев: «Волкодав — прав, людоед — нет».

Пытаясь возродить в себе этот нравственный критерий, эту житейскую философию истории, мы читаем документы шестидесятилетней давности глазами современного человека, знающего, что разрушенный в тридцатые сельский уклад так и остался невосстановленным, а зачатые в насилии, замешенные на крови колхозы именно в силу таких своих качеств не сумели накормить страну. Но не только к подобным выводам, ставшим общим местом современной публицистики, подводят нас собранные в книжке документы. Они заставляют глубже понимать сегодняшние общественные процессы.

От ассоциаций с современностью невозможно отделаться на протяжении всей книги. Читаешь ли о ножницах цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию или о лжекооперативах, обращаешься ли к сталинскому рассуждению о том, что крупные зерновые совхозы в отличие от капиталистических хозяйств могут обойтись минимумом прибыли, узнаешь ли о массовом обобществлении коров и даже кур — все на уме то шестидесятые, то семидесятые, то, наконец, наши нынешние восьмидесятые годы с их страстями вокруг кооперативов, крестьянскими сетованиями на дороговизну сельхозмашин и мучительными попытками хозяйствовать с реальной прибылью.

Но то лишь верхний ассоциативный слой. Сборник фиксирует наше внимание на судьбоносных моментах отечественной истории, в общем-то известных, многократно описанных, но здесь ощутимых особенно выпукло и драматично в силу многоплановой документированности событий, позволяющей увидеть их то в личной судьбе, в семейной трагедии, то в докладе, статье, сводке.

Вот первое серьезное испытание чистоты намерений творцов нэпа — хлебозаготовительный кризис конца 1927 — начала 1928 года. Причины его ясны. Бухарин излагает их 13 апреля 1928 го-

да на собрании ленинградской парторганизации. Промышленность не может обеспечить товарами возросший спрос деревни. Дефицит платежного баланса составляет полмиллиарда рублей — по нынешним нашим временам сумма небольшая, но ведь и деньги были другие. Однако село имело не только свободные деньги. В ожидании лучшей конъюнктуры оно припрятывало зерно. (Ситуация, возможная только в условиях свободного товарного рынка, а отнюдь не жесткой плановой системы, созданной уже спустя два-три года.)

Какими виделись пути выхода из кризиса? Повышение заготовительных цен? Покупка хлеба на внешнем рынке? Мобилизация товарных ресурсов? Предлагались разные варианты. В выступлении Бухарина еще звучит человеческий голос, живая (хотя подчас по нашим меркам и схоластическая) политическая мысль. Это последний год его пребывания у власти, впоследствии он будет лишь маневрировать, оправдываться, каяться. Речь Сталина, выступившего в тот же день, 13 апреля, в Московской партийной организации, однозначна: «Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту».

Образ врага проходит затем через выступления других партийных руководителей, газетные статьи, письма крестьян. Кулак — грабитель, поджигатель, эксплуататор, приспособленец.

Как легко внедряется в массовое сознание образ врага и сейчас! Кооператор — спекулянт, торговый работник, припрятывающий дефицитный товар,— вот в ком причина наших бед. В злонамеренном эгоизме отдельных людей, коллективов, а не в органических пороках системы, разъединяющей экономические интересы людей и целых социальных слоев, отторгающей эти интересы от общественного блага.

Проходят перед нами в документах сборника и образы притеснителей кулака, ревностных исполнителей политики насилия. Хорошо знакомые, но по-новому увиденные образы. Крыленко — первый советский главковерх и многолетний наркомюст, обрушивающий свой гнев на судей, у которых рука не поднимается применять высшую меру к «классовому врагу». Калинин, этот единственный крестьянин в Политбюро, терпеливо и мягко разъясняющий, как важна насильственная ликвидация кулака, «ибо она обеспечивает здоровое развитие колхозного организма в дальнейшем». Николай Погодин, разоблачающий в «Правде» кулацкие хитрости и уловки.

Все это читать тем более грустно, что нам дано знать будущее этих людей: восемь лет спустя к Крыленко применят ту же высшую меру, и он кончит жизнь под пулей сталинского палача; а Калинин будет умирать в своей кремлевской квартире от тоски по жене, превращенной в лагерную прачку. Погодин же станет автором «Кубанских казаков» — комедии о счастливой послевоенной жизни колхозного крестьянства.

Но то, что было будущим в тридцатом, станет далеким прошлым в 89-м. Прошлым, на котором так важно учиться.

М. ЗАРАЕВ

Сдано в набор 08.02.90. Подписано к печати 26.02.90. А 06844. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 1940. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 241-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.